

ISSN 0130-7673

# НОВАЯ МИРА

2

---

1996

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(850)

Февраль, 1996 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Два рассказа	3
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Она вошла в каком-то темном платье, стихи	23
ЮРИЙ ВОЛКОВ — Ольга, повесть	27
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — Царство земное и небесное, рассказ	51
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Эн-ден-ду, стихи	71
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ — Изморозь, оторопь... Стихи	77
ВИКТОРИЯ ФРОЛОВА — Цыпленок летящий, рассказ	82
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН — Перо и рука, стихи	96

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — К небу мой путь, роман. Перевел с английского А. Гобузов	98
--	----

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. КОРЖАВИН — В соблазнах кровавой эпохи. Часть вторая. Окончание	123
---	-----

## ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ — Евразийская мистерия	163
ДАНИ САВЕЛЛИ — Дракон, гидра и рыцарь	187

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ — Неистовый Фиглярин	194
--	-----

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЦАРЬ-КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ... И ДЛЯ РАЗДРАЖЕНИЯ? — Е. Н. Лебедев. Достойный себя монумент; Алексей Пурин. Царь-книжка; Владислав Кулаков. Преждевременные итоги; М. Л. Гаспаров. Книга для чтения	205
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ПО ХОДУ ДЕЛА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Отчего дрожит рука? 216

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 220

Марлен Кораллов. Сесть на рельсу!

Майя Злобина. Гибель в пути, или Неизвестный Камю.

Алена Злобина. Гари-Ажар, единый в двух лицах.

И. Мочалов. Человек неправдоподобной доброты.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. САВЧЕНКО — Семь лет рядом со Львом Гумилевым 240

КНИЖНАЯ ПОЛКА 251

ПЕРИОДИКА 253

SUMMARY 256

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

*В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.*

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

БОРИС ЕКИМОВ



## ДВА РАССКАЗА

### ФЕТИСЫЧ

**В**ремя — к полудню, а на дворе — ни свет, ни тьма. В окна глядит сияя наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.

Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну — отчаянно кислого «откидного» молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча — кудрявая Светланка.

Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.

— Места не хватило? — спросил его Федор.

— Я вам не буду мешать, — пообещал Фетисыч. — Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у меня портится.

— Чего-чего? — переспросил Федор.

— Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не ве-ришь.

Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.

Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила — и вручала отцу с коротким: «На!» Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.

Фетисыч скоро от уроков отвлекся.

— Хочу тебя обрадовать, — для начала сказал он отчиму. — Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому — одну, а по арифметике — две.

Федор лишь вздохнул.

— Ты не думай, это непросто, — продолжал Фетисыч. — Одну пятерку по арифметике — за домашнее задание, а другую — по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.

— Заткнись, — остановил его Федор.

Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: «Все» — и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: «Дай». Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: «Дай!»

Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы — шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые

подглазья, морщины — пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем — красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадам и морщится, он сказал:

— Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.

— Это ты сам придумал? — спросил Федор.

— Конечно.

— Значит, дурак.

Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча — Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила:

— Сидите? Дремлете? А мамка ваша — вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит.

— А бригадир чего же? — живея, спросил Федор.

— От него проку... Ходит — роги в землю, ни на кого не глядит.

— А Мишки Холомина «Беларусь»? Он — гожий.

— Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболевает... Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык — скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На солошке попрет.

Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго:

— А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет?

Фетисыч, не дожидаясь, пока погонят его, резво подался в сарай, за углем. Вернулся он, как всегда, с новостями:

— Набирал уголь... Там глыба такая огромная. Я молоток взял и ка-ак ударил ее! Со всех сил! И вдруг — взрыв такой! Все осветилось! — Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом. — Там же темно. И вдруг — огонь! Синий такой!

— Ты, может, спичкой чиркнул? Поджег? — тревожно спросила мать.

— Нет. Я глыбу ударил — и сразу такой взрыв!

Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся.

— Чего там? — спросила жена.

— Как всегда, брешет, — махнул рукой Федор, а пасынку сказал: — Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник.

Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки четыре куриных яйца и сказал матери:

— Ты меня не ругай, ты прости меня. Я одно яйцо разбил нечаянно.

— Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул.

— Зато я сделал доброе дело: тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их десять было. Пять темных и пять белых. Я сообразил: у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры — белые, значит, ее куры у нас снесли. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была. Я ее и обрадовал, отдал пять яиц и сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал?

Федор ухмыльнулся.

— Тебя кто за язык тянул? — досадуя, спросила у Фетисыча мать. — Тебе кто велел лезть в эти гнезда? Темные, белые... Грамотей. Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут? Знахарь... Она своих кур сроду не кормит. А мы вволю сыпем. Вот они и бегут на чужбинку. А ты ей — яйца. И она взяла, бесстыжая. А ты вечно суешь свой нос куда не просят.

Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый: три комнаты кроме кухни. Самая дальняя — его. В невеликой этой комнатке стол да кровать помещались, на стене — красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической, по фамилии Шварценеггер. Фетисыч когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, девять лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно: челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок — далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на пятерки целых шесть раз.

Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать:

— Это вы вчера рамы с медпункта пропили? Доумились?

— Разведка доложила?

— Доложила. Вот участковый прищепит — назад потянете. Курочат все подряд. Все на пропой, на пропой. А нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку — печку. Летом так расхорошо, не жарко. И курник стоит раскрытый. Шифера бы листов пять или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут, для дела, а ты...

— Пузырь поставь — и к тебе притянем.

— Да уж все растянули. Свинарник какой расхороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет.

— Полов... Вспомнила. Уж потолки снимают.

— Либо Рабуны? Они же кухню строить задумали. Рядом живут. Хозяева. А у нас курник раскрытый.

— Пузырь. И все будет! — оживился Федор.

— Да если в дело, я два поставлю.

— Это уже разговор.

— Бесстыжий... Для дома, для семьи, а ты готов...

— Это не разговор, — перебил ее Федор.

— Разговор, не разговор. Засели, как баглаи. Только и глядите, где бы чего украсть и пропить. Нет чтобы на ферму прийти да женам помочь, — корила Анна. — Бабы — в мыле, а мужики прохладничают.

— Вы задарма горбитесь — и мы пойдем рядом с вами. Коммунистический труд? Пошли они.

— Вот и пошли... А водку кажеденно глотать...

Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень.

А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там.

Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробился быстро и выбрался на волю.

Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету, хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви все насквозь было видать: от далекого Заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера, с белым песком на берегу, с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони: серые нахоленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело — зябкая слякотная осень; другое — работы нет. Свиной давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толкся, на

бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят.

От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей — девять лет, ребятам-двойняшкам — по восемь, дальше — вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, для первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы.

За долгие годы улицу выездили, посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его ловить. Лужа и летом не высыхала, зеленея. А уж теперь словно море была, топя заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, заборам ли уцелеть.

Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных — настезь, а чаще — чернеют пустыми глазницами.

В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой — и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынче — все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дерматин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Полхутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу — и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли.

Хуторская школа — длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте — когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя... Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мария Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием «спортзал», со шведской стенкой, трапедией да перекладной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить.

Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал:

— Натопила?

— Натопила, натопила... Иди проверяй, завхоз.

У школьного крыльца стояли корыто с водой и большой сибирьковый веник, чтобы сапоги отмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободней, чем дома.

Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки — детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу.

Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска — шестилетнего Вовика, который ревмя ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно.

Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова — махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое.

Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал:

— Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь!

Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости.

— Башелукова.

— Здесь, — тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком — словно городская первоклассница.

— Капустина.

— Здесь.

— Капустин Петр... Капустин Андрей.

— И я здесь, — отметилса Капустин-младший, довесок.

В журнал его не положено было записывать, а хотелось — как все.

Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника — Фетисыча. Он старался.

А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почувал неладное: настежь были открыты все двери — коридорная, кухонная, сарая.

— Мария Петровна! — заглядывая в дом, позвал Яков.

В доме горел свет. Но никто не ответил.

— Мария Петровна! — окликнул он во дворе.

Старая учительница была в сарае. Она стояла навалившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней:

— Мария Петровна...

Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон.

Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. «Про уроки забудут, — подумалось ему. — День пропал, его не вернешь», — повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась — может, еще оживет.

В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все — за партами, даже Капустин-младший.

Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребяташкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены — короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.

Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:

— Яша... У меня кончилось.

— Что у тебя кончилось?

— Букварь.

Яков подошел к ней. Все верно. Мария Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова «сел» и «съел». И как это бывало ранее: сначала —



с ним, в прошлом году — с братьями Капустиными, — Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:

— Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.

— Ура-а!! — вылетели из-за парт братья Капустины — невеликие, крепенькие, горластые.

— Ура! — поддержал их младший Капустин.

— Перемена! — объявил Яков. — Десять минут, — и первым было кинулся в класс соседний — спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одноклассница, тоже Марина, спросила:

— Яша, а Мария Петровна не придет?

— Не придет.

— Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно?

Марина Капустина — старшая дочь в большом семействе — в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего.

— Подожди, — остановил ее Яков, — уроки кончатся.

К перемене второй, «большой», как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф — блинцы ли, пышки, пироги — кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье — в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит:

— Тебе — блин, тебе — блин, тебе — блин, тебе — сладкий пирожок, тебе — пышку с каймаком. Ты же каймак любишь...

— Люблю, — тихо призналась Кроха. — У нас тоже Катька не нынче-завтра отелится.

— Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня, — наставительно сказала Марина-старшая. — А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить — первое дело.

— А кто у нас ведьма? — так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь.

— Раньше Карпиха ведьмачила, — ответил Яков.

— Карпиха, — подтвердила Марина-старшая. — Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвется. Позвали деда Архипа, он в этом деле понимает. Архип молозиво на сковороду и — на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: «В окно гляди. Кто пройдет мимо и его будет корезить, это — ведьма». Мамка глядит — точно, идет Карпиха и ее вправду корезит: то остановится, топчется, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она.

Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им.

— Карпиха точно ведьмачила, — подтвердил Яков. — Она и померла по-своему. В самую пургу ушла к ярам. Туда ее черти призывали. Там и померла.

— А теперь кто у нас ведьма? — спросила Кроха.

— Кто-нибудь да есть, — твердо ответил Яков. — Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыпет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернется. Вот тут, — показал он на печку, — на загнетке, на ножах перевернется — и в другой облик. Захочет в белого телка, или в рябую свинью, или в зеленую кошку. А через черную кошку, — добавил он, — всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду — и ты меня не увидишь.

На него воззрились удивленно.

— Надо поймать черную кошку, но чтобы жуковая была, без подмеса, — учил молодых Яков. — Посеред ночи поставить казан на перекрестке, костер развести и варить ее. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котел. Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-звериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: «Петя!» А ты не оглядайся. Оглянулся — конец, — предупредил Яков. — А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечистая сила вокруг воет, ревет, а ты свое дело делай. Останется в казане лишь малая косточка. Ее надо ощупкой, не глядя брать. Берешь и кладешь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила — по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят.

— А у деда Архипа черная кошка, — сообщил самый младший Капустин-«довесок».

— Точно! — в один голос подтвердили его братья и переглянулись.

— Это все неправда, — поняв их мысли, сказала Марина-старшая. — Неправда ведь, Яша?

— Старые люди говорят... — пожал плечами Яков. — Перемена кончилась, — объявил он. — Давайте по местам.

Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: не просто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и свое делать. После третьего урока Яков сказал Крохе:

— Марина, можешь домой идти.

Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание, на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут.

А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидьей высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней — вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперек пути лесистое займище, да две глубокие балки — Катькин ерик и Кутерьма, да еще речка нравная — Бузулук. Будто и рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь — на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.

Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе.

И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его:

— По такой погоде... Черти тебя поджигают. Тем более — волки. Чеченские... Враз голову отхватят.

Яков стоял на своем:

— Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть.

— Натурный... — ругалась мать. — Бычок упористый... Потонешь в Катькином ерике... Там вода верхом идет. Переждал бы дождь... Люди поедут, я поспрошаю.

Яков слушал ее, но сделал, как всегда, по-своему: он ушел рано утром, лишь засерело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Федор дал ему две ракеты. Дернешь за шнурок — она стрельнет.

От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскок: пробежит — и пойдет потише, снова пробе-

жит — и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.

Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. «Чем по домам сидеть, лучше в школе, — так Яков решил. — А то пропустим, нам же и догонять». Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.

Дорога была не раз хоженная и еженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропадая в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова — тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую, хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алешкин виден издали на высоком берегу. Теперь — лишь серая мга, короткий окоем. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины — долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине, кольхнулись — и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?..

Опять колесит дорога. Нынче ее не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеей, выбирая, где легче.

\* \* \*

Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор — и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе — раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет.

— Ты куда? — сразу признала она чужого.

— К Галине Федоровне.

— Она на уроке. Лишь начался урок, — сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.

Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало.

— А вызвать ее можно? Я по делу.

— И она не гуляет. Жди, — постановила уборщица.

Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок — чуть не час, а дом Галины Федоровны — рядом. Туда Яков и подался.

Старая баба Ганя признала его и встретила, как родного:

— Моя сынушка... Откель? Весь промок. Либо пешки?

— Пешком, баба Ганя, пешком.

Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза.

— Ты либо с матерью пришел, в магазин?

— Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна.

— Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.

— Я помогу, — сказал Яков и, не дожидаясь согласия, снял с вешалки рабочую телогрейку. — Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего...

— Моя сынушка, да ты прямо хозяин... — поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя.

Якову же домашние заботы были в привычку: курам — зерна, корове да козам — сена, свиньям — запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стояла в один ряд. Вода — из крана. Сенник, закрома, скотья кух-

ня — все рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.

Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видеком.

За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское:

— Тетка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции. Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла, — сообщил он главную новость.

— Какая беда... Да как же...

К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:

— Господи... Как мы ее любили... Так вас и пестала до последнего. А схоронили где?

— В райцентре, дочка забрала, — сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел: — Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу?

Завтракали и слушали Якова.

— Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.

— Сейчас их везде закрывают, — вздохнула Галина Федоровна.

— Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке — с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услышал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата — сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе — кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все... И как хочешь... Учительницу бы нам найти, — попросил он.

Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной — настоящая директорша.

Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.

— Отец наш приехал, — объявила Галина Федоровна. — Завтракать.

— Галина! — раздался из коридора голос. — Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?

— Нет.

— Управились мы, управились в четыре руки с помощником, — горделиво сообщила баба Ганя. — Накормили и напоили.

— Молодцы! Кто у тебя в помощниках?

Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде — по новой казачьей моде.

— Это чей такой? Либо землячок?

— Угадал.

— Спасибо, земляк. Мне легче жить.

— Предлагаю вам красную лампочку вернуть в курятник, — сказал Яков. — Я в журнале читал, в «Науке и жизни». Куры лучше несутся при красном свете.

— О! — удивилась Галина Федоровна. — В «Науке и жизни»? Надо попробовать.

— Ввернем, — пообещал ей муж. — Какие еще будут предложения по ведению хозяйства?

— Козам пора гречишной соломы понемногу класть, — шутки не принимая, сказал Яков. — Скоро пух щипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдает.

— В журнале, что ли, прочитал?

— Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух щипать.

— Правильно гутарит, — поддержала баба Ганя. — Делали так.

— Что ж, привезем гречишной соломы. А то ведь и вправду щипать их несладко.

Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.

— Мария Петровна умерла, — сказала мужу хозяйка. — Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет? — задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. — Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать.

— Не могла наша Петровна чуток потерпеть, — со вздохом попенял Яков. — Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не... Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться?

Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:

— А ты живи у нас. Школа — рядом. И мне будет с кем погутарить.

Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее.

— Живи, — подтвердил приглашение хозяин. — Лампочку красную в курятник ввернем, куры усиленно занесутся, харчей хватит. — Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший — в институт, младший — в техникум. Стало в доме непривычно пусто. — Живи, — повторил он.

Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:

— Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.

У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там... Школа своя вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединный класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа — дворец. А дом Галины Федоровны... Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: «Замолчи... Прикуси длинный язык...» Здесь — книг полная комната, все стены в полках.

— Я обещал к обеду вернуться, — сказал Яков. — Мамка ждет.

— Конечно, конечно, — одобрила Галина Федоровна. — Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку. — И мужа попросила: — Ты куда едешь? Может, подбросишь его?

— До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдет мотоцикл. Там круто и развезло теперь.

— Не пройдет, — подтвердил Яков.

— Но до ерика довезу. Собирайся.

До Катькиного ерика — глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьем по дну — могучий мотоцикл «Урал» докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик, Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню, когда он уйдет в Алешкин, в тамошнюю школу, к Галине Федоровне.

По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческого, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лежках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и не таясь переждал, пока он пройдет. Пара тонконогих косуль легкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листе скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья — и нет их.

Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.

Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачило нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?

В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.

— С Галиной Федоровной повидался, — доложил Яков. — Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете. — И разом перешел к учебным делам: — Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей... Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее — и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, — попенял он старшей Маринке. — Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов... Они не забывают.

Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.

— А что отмечать? — забурчали братья. — Дождь да дождь.

— Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте.

Легко поднялась старшая Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдет к ней и сядет рядом. Все пошло по-обычному.

Но гость редкий, нежданный — колхозный хуторской бригадир Каледин — уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели — и стали ждать.

А бригадир вначале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых, настенные планшеты, стенды: «Наши отличники», «Колхозные ветераны», «Они защищали Родину». Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографии глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе и долго.

Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом.

— Сидите, сидите, — махнул он рукой и похвалил: — Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут.

Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:

— Сиди. Ты же теперь за старшего. Учись? — спросил он.

— Учимся, — ответили нестройно.

Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.

— А может, вам у Башелуковых собираться? — спросил он. — Хата большая, теплая, и они не против.

У Якова перехватило дыхание.

— А библиотека? — бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. — А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, — убеждал он бригадира. — Значит, можно жить. А увидят замок — и развернутся.

— Верно, верно... — успокоил Якова бригадир. — Это я так, попытал... Будет Варя топить, приглядывать. Дров напилим. А там учительницу найдем.

Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил — «роги в землю». Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно.

Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив:

— Это я сам нарисовал.

— Здорово... — похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором.

Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.

— Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надёжа.

Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли — гуртом, словно телята.

В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока. потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле — дождь. А там, хоть и окон-дверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке кино-механика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим.

Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами...

Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.

У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча.

— Тебя ныне бригадир видел? — спросила мать.

— Он в школе у нас был.

— Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток... Мы к нему приступом, а он головой покачал: «Бабы, бабы, — говорит. — Я бы сам закричал по-пожарному и убежал не знаю куда...» Тебя по двух раз похвалил... — И вдруг она вспомнила главное: — В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себя думайте. Спасайтесь своими средствами.

— И правильно, — одобрил Федор. — Поделить все.

— Вы уже поделили... Шалаетесь, как бурлаки... Все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все — затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут...

— Куда этих овечек. Сено травить?

— Резать да на базар.

— Сама повезешь.

— А вот Виктор Паранечкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Паранечка им не нахвалится.

— Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно... Чем стоять кланяться всем.

— А шалаться — не гребостно...

Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним — ругней. От стола он ушел к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну.

Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю — это Яков знал точно — школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время — по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.

Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.

То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. «Бычок упористый...» — говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.

Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: «Молодец...» А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: «Молодец, молодец...» — и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: «Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну проснись, не плачь...» И горячие слезы сушили слезную влагу.

Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:

— Я здесь, мой сынок... Не плачь... Ну не плачь...

А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабанил по крышам. Но с вечера же явно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено.

К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними — третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.



## МИКОЛАВНА И «МИЛОСЕРДИЯ»

Который год уже по утрам в зеленой глухой чащобе вишен и слив, что стоят вдоль забора, поет садовая славка. Солнца восход. Прохлада и тишина. И вот зажурчала негромкая птичья песнь. Это — славка. Голос ее негромок, словно тихий ручей, журчит и журчит. Комочек легкого пуха: с ветки на ветку, с ветки на ветку, что-то склюнет — и снова журчит. Никто ее не тревожит.

Окраина поселка. В нашем дворе — покойно. В соседском и вовсе глухая тишь. Там старая Миколавна живет одиноко.

За высоким забором, за зеленой стеной деревьев ни с улицы, ни с нашего двора Миколаву не видать. Тем более что ходок из нее — никакой. Телом тучная, тяжелая, с трудом она движется на подпорах: костыль да клюка, а чаще — табурет, который толкает перед собой, на него опираясь. Горе — не ходьба. И потому дороги ее коротки: от дивана, на котором ночует и днюет — то лежа, то полулежа, — до кухонного, обеденного же, стола. А если по летнему времени на волю захочется из жаркой комнатной духоты, то с кряхтеньем и стонами выбирается Миколавна на крыльцо, надежно укрытое от сквозняков стеклянными рамами и дверями. В летнюю пору она подолгу сидит в этом стеклянном прогретом скворечнике, вздыхая и охая, порою что-то мурлычет. Песни ее — словно птичьи, слов не понять. И сама она будто большая старая птица, облезлая, обескрылевшая, еле живая, прячется, словно в дупле, в глухой огороже стен, высокого забора, густой зелени.

Только я слышу ее. Порой она меня окликает:

— Милосердию мою не видал?

— Не видал, — отвечаю ей.

— Увидишь, перекажи, пусть зайдет. Все мыкается.

«Милосердия» — это Дуня ли, тетка Дуня, а для молодых — давно уже бабка Дуня, которая живет против нас, через улицу. Она — казак вольный, в вечных походах. Ранним утром торопливо шлепают ее просторные калоши через улицу, в соседский двор.

— Миколавна! — окликает она. — Живая?..

— Слава Богу, дышу... А всю ночь промучилась. Лишь чуток комариным сном задремлю — и враз меня жаром осыпает...

И пошли речи известные, стариковские: о ночных хворях да недобрых снах.

С веранды моей видна лишь крыша дома соседского да верх стены. Все остальное заслоняет высокий забор да зелень. Но голоса и речи ясно слышны. И словно вижу картину привычную: на крыльце, на низкой скамеечке, — большая оплывшая Миколавна в просторной ночной рубахе, а рядом — тетка Дуня, худая и востроносая, словно воробей. Она не присядет. Костлявые черные ноги в просторных калошах покоя не ведают, с утра тем более. Сучит тетка Дуня ногами, уже занудившись. Соседкиным жалобам сострадает участливым быстрым говорком:

— Какая беда... Какая беда... Это надо... Беда так беда. — И успеваешь новости выложить и собственное, больное: — Таиса Абрамкина своего прогнала. Капеля он, говорит, и боле никто. Поросяенок опять не жрет, гад. Била его, била. Кобель гавкать не стал. Ночью, слышала, кто-то возле двора шалался, а он, сволочь такая, молчит. Нажрался и спит, нет ему горя. Ныне дам ему порки.

Беседа течет обычная, она не смолкает. Но слышится по двору шлепанье тетки Дуниных калош. Помойное ведро убрать, свежей воды принести. Летят короткие приказы с крыльца:

— Постановь... Прибери в сарай. Ведрушку — на крылец. Подотри... Подай...

Шлепанье калош убыстряется. Вихревыми кругами носится тетка Дуня по двору и скоро убегает, на ходу захлеб передавая дела предстоящие:

— Макарьевна из проулка, ты ее знаешь, они кур помногу держали, вроде помирает, надо бежать глядеть. Мишка вчера бутылок привез два мешка, а в нашем магазине их не берут. Сваха переказала...

И вот уже калоши зашлепали вон со двора. Снова тишь. Лишь Миколавна в голос бурчит:

— Прозвонила — и нет ее... Коза комолая... Черти ее поджигают, лётом летит... Милосердия называется.

Это уже — для меня, чтобы я посочувствовал.

Спустя час ли, другой услышу я зов:

— Покличь мою милосердию... Увееялась...

Но где ее сыщешь, бегучую тетку Дуню? Надежный замок на воротах. Кобель хрипло лает, видно, пошла впрок наука. Хозяйка же — вольный ветер.

— Милосердия называется... — желчно цедит в своем дворе Миколавна. — Денежки любит получать.

— Не глядел? — порой снова окликает меня. — Нету ее?

— Не видать, — отзываюсь я.

«Милосердия» — это тетки Дунина официальная должность при хворой соседке. Миколавна — человек одинокий. Таким людям с недавних пор собес нанимает помощниц. Оплата — сущие копейки, отсюда и круг забот: заглянуть раз-другой в неделю, хлеба купить да молока; иная полы подотрет — спасибо и на этом. Но старые люди мудрят: всяк — свое. Отсюда и споры. Обязана «милосердия» с огородом помогать или не обязана? Щи варить?.. В хате прибирать?.. Обязана — не обязана... Деньги им платят.

У Миколавны за короткий срок этих «милосердий» сменилось трое или четверо. «Обязана... Не обязана»...

— У людей милосердия грядки поливает, — сообщала тетка Дуня. — А твоя процедит сквозь пальцы — и ушла.

— У людей — стирают, а твоя — с маникюром, культурная.

Кончилось это понятным; других отстранив, тетка Дуня заступила на должность при Миколавне: носить из магазина хлеб, молоко, получать хоть и малую, но копейку. Выслушивать укоры:

— Ушла и в тину села. Не дошумишься. Так и скачешь, так и скачешь.

Тетка Дуня и впрямь скачет весь день, словно воробей, промышляя. Востроносая, ростом невеликая; из-под заношенного платка быстрый глазок ее шныряет туда да сюда, словно воробьиный, ища поживу.

— Тетка Дуня! — окликнешь ее. — Тебе не надо...

— Надо, надо... — не даст она и закончить и скачет ко двору.

Траву ли скосишь, яблоки-паданки некуда девать, вяленая рыба год провисит на чердаке, пожелтеет, старую крупу шашель поточил, арбузные корки ли, капустные листья — все тетке Дуне идет.

— Кабан пожрет, — говорит она. — Куры поклюют.

Порою и не зовешь, она сама углядит:

— У тебя терновка падает, либо не нужна? Я заберу, — и тащит к себе еще зеленую кислую ягоду.

— Картошку старую заберу... Мелкую тоже заберу...

Выйдешь ли за двор, на улицу, глядишь — волокет чего-нибудь. С мешком ли гнется, на тачке везет.

— От Ильченки, — сообщает. — Груши падают, черномяски. Порезу да посушу. У меня груш нету, негде приткнуть.

— От Лаптевых... Огурцов у них нарастает, не успевают собирать. Мне и желтяки сойдут. Своих бы насажала, да негде.

А уж от Миколавны с пустыми руками не выйдет. Какую-нибудь плоску ли, банку несет. Старые щи, засохший хлеб... Залежалось ли что, прокисло — все впрок птице Божьей.

К вечеру тетка Дуня устает. Долог день летний. Устанет — уже не скачет. Годочки свое берут. А их уже — семьдесят. Ширк да ширк калошами — к Миколавне бредет.

Миколавна же порой вечерней, когда в стеклянном скворечнике дышать нечем, спускается во двор на волю. За день она выпалась, отекла ли, припухла ото сна. Но сидит гоголем, рассказывает про телевизор: что показывали да как. Главное, конечно, кино. Сначала была «Мария», потом «Роза», теперь «Тропиканка». Миколавна смотрит эти фильмы дважды: утром и вечером. Помнит их наизусть. А тетке Дуне всегда недосуг. Утром — в бегах, а вечером — засыпает. Включит телевизор — и заснет перед ним. Порою за полночь светят синим ее окошки. Это — включенный телевизор. А хозяйка спит. Все проспит, а узнать любопытно: про Марию, про Розу — они ведь, считай, свои. Спасибо Миколавне, она доложит в подробностях, кто, как и с кем.

Течет неспешный рассказ.

Просторная скамейка возле крыльца. Во дворе — вечерние тени. Тетка Дуня сидя тут же задремывает под мерный рассказ. Голова ее клонится, клонится, и даже храп раздается.

— Ты чего не слушаешь, спишь?! — окликает ее Миколавна.

Тетка Дуня вскидывается и говорит в свое оправдание:

— Ныне, гутарят, такая и смерть будет: поснем все — и конец.

— Кто гутарит?

— Люди. В магазине, в очереди.

— Брежут они. А в каком магазине?

— Возле станции.

— Ты и туда добралась?

— С бутылками. Мишка два мешка притянул. Говорит, сдай. А в нашем магазине не берут их. И на площади не берут. Пришлось туда переть.

Мишка — это сын тетки Дуни. У нее две дочери, сын. Все отдельно живут.

— Здоровье у тебя хорошее, — говорит Миколавна, — вот ты и прешь.

— Откель? — слабо протестует тетка Дуня. — Ныне с утра под лопатку ширяет. Ширь да ширь, ширь да ширь.

— Мало ширяет. Надо бы — до болятки, — свое гнет Миколавна. — Не жалься. Хорошее у тебя здоровье, прямо кониное.

Это уже — обида. Трудно ее стерпеть. Но приходится. Тетка Дуня терпит, горько вздыхая, склоняя седую голову.

— Кониное... — бьет и бьет ее Миколавна. — У меня вот здоровья нет, я дома сижу. А ты — как на шильях, с утра до ночи скачешь и скачешь.

— Сравнила... — дрогнул тетки Дуни голос. — Меня нужда гонит. Кабы не нужда...

В этом вся суть: Миколавна — богатая, а тетка Дуня — бедная. Потому и носит чужие горшки. Это понятно всем.

— Денег мне хватит, — при случае говорит Миколавна. — И еще останутся.

Наши люди и впрямь живут небогато, но еще и прибедниться не прочь, чтобы не гневить Бога. Миколавна же напрямик режет: «Мне денег за глаза... Еще и останутся».

Вся улица знает: так оно и есть. В голодные годы, после войны, Миколавна работала в столовой, при хлебе. Потом всю жизнь торговала. Тогда это называлось спекуляцией. Так ее за глаза и величали — «спекулянтка проклятая». Теперь это дело обычное: поехать в Москву, тряпок купить, в поселке их продать подороже. Прежде такое занятие осуждалось и даже преследовалось по статье уголовной. Миколавна кого надо из милицеских кормила да поила. Берегли ее. И она ездила в Москву, в Ленинград, в Прибалтику, привозила оттуда ковры, обувь, одежду. В нашем старом доме до сих пор висит немецкий ковер с оленями. Покупали у Миколавы. Еще, я помню, долго носил зеленые шаровары «с начесом». Тоже из ее рук. Наши магазины в поселке были бедны, а уж про хуторские, окрестные, нечего и говорить. По хуторам Миколавна и ездила. Откуда у колхозников деньги? У них — трудодни. Она и «благодетельствовала», меня привезенное добро на масло, сало, козий пух, пряжу, яички. Пряди на

нее и вязали. Теплые перчатки, носки, пуховые платки, береты ехали с Миколавной на край света, на Север, к людям денежным. Оттуда везла меховые воротники. Не в поселок наш, Богом забытый, а к грузинам, в Тбилиси. Оттуда — товар иной. Колесом шли дела, ходором.

Другая статья дохода — огород. Он у Миколавны — немереный. Была в силах, то справа, то слева у соседей прихватывала, в задах прирезала немалый кус. Покойный мужик ее на этой земле все долгое лето мытарился. Одной картошки до двадцати мешков накапывали; помидоры да огурцы первыми на продажу везли. Туда же — яблоки, абрикосы, виноград. Но умер старик, у Миколавны ноги стали отказывать. Тут она и осела. Началась обычная старость. Но вся улица знала: Миколавна богатая.

А тетка Дуня всегда считалась бедной. Работала уборщицей, муж — шоферил, двух дочерей и сына они растили. Овдовев и пенсию уже получая, тетка Дуня подрабатывала там и здесь: мыла полы в конторах, топила печи. Дело в том, что огород у тетки Дуни — две грядочки да пара рядов картошки. Это по-настоящему изъян великий. От земли живем. А уж старики-пенсионеры тем более. Круглый год своим кормятся: картошка, капуста, лук, огурцы и прочее. Кормятся, да еще и на базар несут — к пенсии добавка. У тетки Дуни земли — с гулькин нос, вот она и скачет, и к Миколавне прилепилась, вначале вроде по-соседски, а теперь — «милосердия». Какая ни на есть, а копейка.

— Мою милосердию не видал? Увееялась — и знаку нет.

Днем бывает по-всякому. Но рано утром и к вечеру шлепают через улицу тетки Дунины калоши — «милосердия» прибыла.

— Любит она со мной завтракать и ужинать, — не таясь, объявляет Миколавна.

Тихий вечер. Тишина смыкается над дворами и улицей. В зарослях смородины, вишен да слив густеют ранние сумерки. В соседнем дворе готовятся к позднему чаю. Недвижная Миколавна: круглое пухлое лицо ее, словно летняя луна большая. Короткие команды:

— Столик ближе подвинь. Еще чуток.

— Каймак в холодильнике. Там щи старые, себе забери.

— Булки принеси.

— Колбасу. И яички вареные. Поем, а то в желудке нехорошо. Весь день не было аппетита.

— Молоко неси, забелить.

Тетке Дуне дважды повторять не надо. Она — скок да скок, шлеп да шлеп калошами: в коридор, в хату, к холодильнику. Все она знает. Не первый день при Миколавне, не первый год.

— Гляди крутым кипятком заваривай. Да ополосни.

— А булки принесла столешние.

— Истинный крест, Миколавна: только сгрузили, машина лишь подъехала, и я взяла, — оправдывается тетка Дуня.

— Закоржанелые. Топором не урубишь. Ты же все заторопом да летом. Мясо купила — одни мослы. Лишь кобелю грызть. И ты не обижайся, я правду говорю. Я привыкла правду — в глаза.

— Истинный крест, Миколавна. Я вроде глядела...

— Не знаю, куда ты глядела, а мослов набрала.

Угодить Миколавне трудно.

— Так и сыскивает, так и сыскивает ежеминутно... Свекруха... — жалуется порой тетка Дуня.

Люди сторонние, уличные, ей сочувствуют, зная Миколавнин характер. Свои же, родные, отвечают просто: «Сто раз говорено: хватит чужие горшки выносить. Чего тебе не хватает? Пенсия есть. Живи себе». Тетка Дуня молчит, лишь вздыхает. И чуть свет спешит к Миколавне:

— Ты живая?

— Да вроде... А ночь не спала.

Миколавна — человек одинокий. Поразмыслив, решила она искать опору: «Чтобы было кому воды поднести...» Родня ее — седьмая вода на

киселе: двоюродная племянница с детьми да со стороны покойного мужа — такие же внучата. Но уж какие есть. Других на базаре не купишь.

Надо заметить, что Миколавне повезло. Как говорится, кому — война, а кому — мать родна. Новые времена пришли: цены полезли дуром, а тут еще беженцы со всех сторон — на дома поднимают цены. Раньше, бывало, помрет человек одинокий, в хате ставни закроют, и стоит она, никому не нужна. Нынче любая хибара — в драку, миллионы за нее дают. За родительские дома дети дерутся да судятся, ссорятся навек. У Миколавны дом завидный: кирпичный, высокий, под шифером, на улицу — три окна. Богатство немалое, если продать. Тем более что усадьба богатая — земли много.

Сговорились с племянницей: она ухаживает, докармливает Миколавну — дом берет после смерти. Съездили к нотариусу, бумагу подписали.

Толстая, поперек себя шире, племянница хорошо, если в неделю раз прибредала к тетке. Приходила, охала, жалуясь на здоровье. Миколавна потом весь день бурчала:

— Помогальщица... Слезы лить... Обещали стирать, полы банить. Потонешь в грязи с такими помогальщиками.

Тетка Дуня подпевала ей:

— Непочетники... Такое счастье им в руки, такое богатство... В ножки бы, в ножки всякий день кланяться да Бога молить. А если ты больная, зачем соглашалась, подписывала документ? Дом тебе нужен, а старый человек — хоть помри... А в огороде — глядеть тошно. Одни бурьяны растут.

— Она и приходит лишь с проверкой: может, я подохла, — догадывалась Миколавна.

— Непочетники... — страдала за Миколавну тетка Дуня. — Ты — больная. А дочка твоя — кобыла здоровая. Почему не прийти?.. Такое богатство ей... Непочетники... В проулке Вера-хромая живет, на чужих записала дом. Они ей кажденно везут слаженого да соложеного. Потому что почитают. А твои — непочетники, лодыри. Такой огород пустует, столько земли... Лишь работай.

Племянница скоро была отставлена. На место ее явились претенденты новые, тоже неблизкая родня ли, свойство, но люди молодые — супружеская пара с детьми.

— Нотариуса привозили. Племянницу ликвидировали. Теперь все на этих будет, на новых. Они — хозяйева, — сообщала тетка Дуня народу любопытному.

Во дворе нашем, поглядывая на забор, она шептала с горечью:

— Обдурят они ее, обдурят... Пovyманят все, а бабку — в дурдом. А мне что?.. Не век чужие горшки выносить. Да еще сыскивает. Мне дочери давно говорят: бросай. И кину. Пойду в собес, заявлю: снимите колоду. Чужие хвосты заносить несладко. Вечно чего-то плетет. То банки у нее пропали, то навоз. Брошу и буду спокойно жить.

К Миколавне тетка Дуня стала ходить реже, отвечая на ее укоры: «У тебя теперь есть помогальщики». Но к нам во двор стала прибегать чаще. И не столько нас проведать, сколько к соседям заглянуть.

— Как там? Новые-то... — И, не дожидаясь ответу, кралась к забору, приникая к щелям его: — В огороде чего сажают?

Новые хозяйева ли, наследники приезжали на машине порой вечерней, после работы. Не всякий день, но бывали. Посадили картошку, другие овощи. Приезжали обычно с детьми, и в соседском дворе делалось шумно. Но ненадолго. Ведь у них был свой дом, свой огород, свои заботы. Так что подолгу у Миколавны они не рассиживались, навещая и помогая набегом. И потому в скором времени тетка Дуня стала навещаться к соседке. Хлеб из магазина несла, молоко, чаевничала, передавала новости — все, как прежде. В речах не скрывала осужденья:

— Уж не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Разве так картошку сажают? От рядка к рядку хоть аукайся. Подказала бы им...

— Я подсказывала... — оправдывалась Миколавна. — Они рукой машут.

— В ножки бы поклониться... — вздыхала тетка Дуня. — Такое добро. И обязаны слушать тебя. Ты — хозяйка. Такое поместье, такая земля пропадает задаром.

Тетка Дуня уходит и приходит, шлепая калошами. Речи все те же:

— Не приезжали? Вот так никому мы не нужны. Огород сохнет, травой зарастает... Чего вырастет?

— Вроде воду качали... — застывает Миколавна. — Толклись там.

— Вот то-то и оно, что толклись... Чужое, оно чужое и есть... Капусту червяк поел, морковку трава забила.

День ото дня вечерние речи горше и откровеннее:

— Глядела я... Полы моет. Лужей нальет. Журчит вода под плитуса. И чего это будет? Погниет все.

— Машина эта... То заедет, то выедет — всякий день. Скрип да скрип ворота, скрип да скрип. А потом — оторвутся. Будем со всем белым светом жить: все собаки — наши, все кошки, все алкаши, какие по улицам бродят, все цыгане... Отбейся тогда от них.

— Желудок у тебя слабый, больной. А они в тебя — котлеты да котлеты, котлеты да котлеты... Это до поры.

И самое главное — про огород:

— Не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Какое богатство, а все — в распыл. Картошка еле дышит, лишь взошла, а желтая, воцаная. На помидорах и цвету нет. Огурцы вылезли и стоят. А люди уже на базар несут, и цены хорошие. А тебе на погляд нету, еще и покупать придется, от пенсии копеечку отрывать. Да-да! Зато травы, бурьянов развели — темный лес. Волков водить. Потому что ты молчишь, а они — бессовестные...

— Я подсказывала, — оправдывается Миколавна. — Они рукой машут.

— Потому что бессовестные... Такое поместье испоганили, такое богатство... Сквозь пальцы течет...

Вечерние песни, они не нынче, так завтра свое берут: «Не хотела тебя расстраивать, но как промолчать... Ты сама потом будешь упрекать».

В середине лета помогальщики ли, наследники от огорода были оставлены напрочь. К Миколавне они стали ездить реже, в огород — ни ногой. Хозяйничала там тетка Дуня. И теперь калоши ее шлепали к соседскому двору в час вовсе ранний. Шлеп-шлеп-шлеп — мимо Миколавы, напрямик в огород. А тот огород лишь доброму трактору под силу.

Тетка Дуня же словно век земли не видала:

— Поздней капусты посажу...

— Помидоры семечками... — захлеб спрашивала ли, извещала она Миколаву.

— Сажай. Меньше мыкаться будешь.

— Сажай. Может, прищепишь хвост.

Тетку Дуню торопило время — месяц июль и словно молодой азарт поджигал: наверстать упущенное.

На пустой земле уже поднялась, крепко укоренясь, сочная лебеда, жиловатая конопля — хоть прячься там. Тетка Дуня дергала траву руками с корнем, отвоевывая за пядью пядь.

— Баклажанов... На зиму закрутить.

— Картошки... Она успеет...

А нынешнее лето — сухое, знойное. Термометры день ото дня стараются: тридцать четыре да тридцать пять. Это — в тени. На солнце и вовсе пекло. Тетке Дуне и жара не помеха. Шлеп да шлеп калошами. За неделю она вовсе высохла, почернела и сделалась словно галка.

Дети стали ругаться:

— Тебе это надо? Годы свои хоть считаешь?

— Земля-то гуляет, — вначале оправдывалась она. — Помаленьку копаюсь. Что мне, перину мять? — А потом на приступ пошла: — Жалельщики! Сами зимой летите три раза на дню: «Ой, мама, томату дай... Ой, мама, у тебя огурцы расхорошие». Дай да дай.

Дети от нее отступились, а Миколавна ругается:

— Милосердия называется... Огородница... Проскакала — и нет ее. Ни здравствуй, ни прощай.

Миколавна ругается, колотит костью по ведру — знак условный. Ведро громыхает и катится. А тетка Дуня — далеко, в конце огорода, не слышит ли, не хочет слышать.

— Делучая... Вот не дам воды, будет знать, — пугает Миколавна.

С водой в соседском дворе беда. Старинный качок еле чвиркает, добывая за каплей каплю. У всех теперь электронасосы «Камы» да «Агидели», шланги да трубы змеятся по огородам. Нажал кнопку — и бьет струя.

Тетка Дуня ведрами поливает. Утром, когда еще в силах, таскает по два ведра, вечером одно еле волокет. Все же семьдесят лет — это возраст. Тем более — такая жара.

Вечерние посиделки в соседском дворе теперь короче.

Миколавна, как и прежде, рассказывает о жизни далекой, из телефильма:

— Она к нему имеет симпатию, а он — женатый, детный...

Тетка Дуня дремлет под мерную речь, порою всхрапывает, сразу просыпаясь. А въяве не чужие страсти ее тревожат, а свое, огородное. И она вставляет невпопад:

— Новая напасть: зеленый червяк на капусте. Лист — как кружево.

Миколавна смолкает, ей нужно время, чтобы перебраться из жизни киношной в свою.

— Тертый табаком попытай, — советует она и продолжает прежний рассказ: — Он — детный, у ней — никого нет, а молодая, в соку...

Тетка Дуня снова задремывает, голова ее беспомощно валится на грудь.

— Спи иди... — говорит ей в конце концов Миколавна.

— Пойду, — соглашается тетка Дуня. — Так ныне заморилась, так заморилась...

— Заморилась она. Дур напал. В дощечку высохла, а жадаешь. Все тебе мало. Значит, здоровье хорошее. По такой жаре...

— Какое здоровье... Ныне полола. И враз в глазах — темная ночь, и все цветками пошло: красный, зеленый... Плывут и плывут. Белого света не вижу. На карачках к бане подлезла, в тенек, там отдыhalась, в память вошла. Так, видно, и помирают, — раздумчиво сказала она.

Миколавна поверила, укорять не стала. Мысли ее разом ушли в годы давние:

— Мы с мамочкой, бывало, на хуторе... Работаем, работаем. Огород — большой, не сравнить. Работаем, работаем, а потом упадем под грушинку, в прохладу. Я падаю и по-мертвому сплю. Проснусь, а мамочки нет, она работает. И я — к ней. Девчонкой была...

Забыты страсти телевизионные: мексиканская любовь, война в Чечне — все в сторону. Рассказ о своем, о годах далеких, в которых — хутор Ерик, мамочка, большой огород. А при советской власти на хуторе сделали коммуну, забрали коров и раз в неделю давали детям молоко. Мамочка из него молочную кашу варила. Маленькая Миколавна любила такую кашу. Однажды спешила с молоком от фермы, споткнулась, упала, и крынка вдребезги. Долго плакала, потому что не будет молочной каши. И мамочка плакала, обещала: «Молочную козу заведем... Козу не возьмут в коммуну».

Так далеко это все. Но так памятно и так горько.

Потом тетка Дуня уходит. Миколавна долго сидит одна, что-то мурлычет, поет. Печально звучит ее голос в покойном вечеряющем мире.

А по утрам в густых зарослях вишен и слив поет садовая славка: журчит и журчит ее нехитрая песнь. Потом торопливо шлепают через улицу калоши. Это тетка Дуня спешит, по прозвищу Милосердия.

— Миколавна, ты живая?

Начинается день.

---

---

## ЕВГЕНИЙ РЕЙН



### ОНА ВОШЛА В КАКОМ-ТО ТЕМНОМ ПЛАТЬЕ

#### «Арарат»

Год шестьдесят второй. Москва и святки,  
Мы вместе в ресторане «Арарат»,  
Что на Неглинной был в те времена.  
Его уже преследовали. Он  
В Москву приехал, чтобы уберечься.  
Но уберечься выше наших сил.  
Какое-то армянское сациви,  
Чанахи суп, сулгуни сыр, лаваш.  
На нем табачная простая тройка,  
Пиджак, жилет да итальянский галстук,  
Что подарил я из последних сил.  
А публика вокруг — что говорить?  
Московские армяне — все в дакроне,  
В австрийской обуви, а на груди — нейлон.  
Он говорил: «В шашлычной будет лучше».  
Но я повел в знакомый «Арарат».  
Он рыжеват еще, и на лице  
Нет той печати, что потом возникла, —  
Печати гениальности. Еще  
Оно сквозит еврейской простотою  
И скромностью такого неопита,  
Что в этом «Арарате» не бывал.  
Его преследует подонок Лернер,  
Мой профсоюзный босс по Техноложке,  
Своей идеологией, своей коррупцией.  
И впереди процесс, с которого и начался  
Подъем. Ну а пока армянское сациви,  
Сулгуни сыр, чанахи — жирный суп.  
Он говорит, что главное — масштаб,  
Размер замысленный произведенья.  
Потом Ахматова все это подтвердит.  
Вдвоем за столиком, а третье место пусто,  
И вот подходит к нам официант,  
Подводит человека в грубой робе,  
Подвиньтесь — подвигаемся,  
А третий садится скромно в самый уголок.  
И долго, долго пялится в меню.  
На нем костюм из самой бедной шерсти,  
Крестьянский свитер, грубые ботинки,  
И видно, что ему не по себе.



«Да, он впервые в этом заведении», —  
Решает Бродский, я согласен с ним.  
На нас он смотрит, как на миллионеров,  
И просит сыр сулгуни и харчо.  
И вдруг решительно глядит на нас.  
«Откуда вы?» — «Да мы из Ленинграда». —  
«А я из Дилижана — вот дела!»  
И Бродский вдруг добреет. Долгий взгляд  
Его протяжных глаз вдвойне добреет.  
«Ну как там Дилижан? Что Дилижан?» —  
«А в Дилижане вот совсем неплохо,  
Москва вот ужас. Потерялся я.  
Не ем вторые сутки. Еле-еле  
Нашел тут ресторанчик „Арарат”». —  
«Пока не принесли вам — вот сациви,  
сулгуни — вот, ты угощайся, друг!  
Как звать тебя?» — «Ашот». —  
«А нас Евгений, Иосиф — мы тут тоже ни при чем».  
Вокруг кипит армянское веселье,  
Туда-сюда шампанское летает,  
Икру разносят в мисочках цветных.  
И Бродскому не по душе все это:  
«Я говорил — в шашлычную!» — «Ну что же,  
В другой-то раз в шашлычную пойдём».  
И вдруг Ашот резиновую сумку  
Каким-то беглым жестом открывает  
И достает бутылку коньяку.  
«Из Дилижана, вы не осудите!»  
Не осуждаем мы, и вот как раз  
Янтарный зной бежит по нашим жилам,  
И спутник мой преображен уже.  
И на лице чудесно проступает  
Все то, что в нем таится:  
Гениальность и будущее,  
Череп обтянулся, и заострились скулы,  
Рот запал, и полысела навзничь голова.  
Кругом содом армянский. Кто-то слева  
Нам присылает вермута бутылку.  
Мы отсылаем «Айгешат» — свою.  
Но Бродскому не нравится все это,  
Ему лишь третий лишний по душе.  
А время у двенадцати, и нам  
Пора теперь подумать о ночлеге.  
«У Ардовых, быть может?» — «Может быть!»  
Коньяк закончен. И Ашот считает  
Свои рубли, официант подходит,  
Берет брезгливо, да и мы свой счет  
Оплачиваем и встаем со стульев.  
И тут Ашот протягивает руку,  
Не мне, а Бродскому, и Бродский долго-долго  
Ее сжимает, и Ашот уходит.  
Тогда и мы выходим в гардероб.  
Метель в Москве и огоньки на елках —  
Все впереди, год шестьдесят второй.  
И вот пока мы едем на метро,  
Вдруг Бродский говорит: «С е человек!»

## Тициан

Стояли холода и шел «Тристан»...

*М. Кузмин.*

Стояли холода. Шел Тициан  
в паршивом зале окнами на Невский.  
Я выступал, и вдруг она вошла  
и села во втором ряду направо.  
И вместе с ней сорок девятый год,  
черника, можжевельник и остаток  
той финской дачи, где скрывали нас,  
детей поры блокадной и военной.  
А сорок шесть прошло немалых лет.  
Она вошла в каком-то темном платье,  
почти совсем седая голова,  
лиловым чуть подкрашенные губы.  
И рядом муж, приличный человек,  
костюм и галстук, желтые ботинки.  
Я надрываясь кончил «Окроканы»  
выкрикивать в благополучный зал  
и сел в президиуме во втором ряду.  
А через час нас вызвали к банкету.  
Тогда-то я и подошел, и вышло  
как раз удобно, ведь они пришли  
меня проведать — гостя из столицы.  
Как можжевельник цвел, черника спела,  
задив чувствительно мелел к закату,  
и обнажалось дно, и валуны  
дофинской эры выставлялись глыбой.  
Вот на такой-то глыбе мы сидели,  
глядели на Кронштадт и говорили  
о пионерских праздничных делах:  
«Костер сегодня — праздник пионерский,  
но нам туда идти запрещено.  
Нас засмеют, поскольку мы уже  
попали под такое подозрение,  
как парочка, игравшая в любовь».  
Я так всмотрелся в пепельный затылок,  
что все забыл — костер и дачный поезд,  
который завтра нас доставит в город.  
И в тот же пепельный пучок глядел сейчас.  
Совсем такой же. Две или три пряди  
седые. Вот и все. Как хорошо. Как складно  
получилось: вы пришли, и мы увиделись,  
а то до смерти можно не поглядеть  
друг другу в те глаза, что нынче  
стеклами оптически прикрыты.  
А рядом муж — приличный человек,  
перед которым мы не погрешили,  
а если погрешили — то чуть-чуть.  
Была зима, и индевелый Невский  
железом синим за душу хватал.  
Ее я встретил возле «Квисисаны»,  
два кофе, два пирожных — что еще?  
Студент своей стипендией не беден.

Мы вышли из кафе и на скамейку  
на боковой Перовской вдруг уселись.  
Тогда она меня поцеловала.  
Я снял ей шапочку и в пепельный затылок  
уткнулся ртом, я не хотел дышать,  
и мы сидели так минут пятнадцать.  
— Ну как Москва? — Москва? Да что сказать,  
я, в общем, переехал бы обратно,  
когда бы не провинция такая,  
как Петербург, куда податься тут?  
— Ах, ферт московский, постыдился бы... —  
А Тициан на масляном портрете  
сиял пунцовой гвоздикой из петлицы.  
Уборщица посудой загремела —  
пора, пора, пора, пора, пора!



---

---

ЮРИЙ ВОЛКОВ

\*

## ОЛЬГА

*Повесть*

### 1. ОЛЕГ

**Я** Ольга, в девичестве Хелга, в крещении Елена, вдова Игоря Старого, родилась в доме варяга-руса на княжем ловище под Плесковым.

Ребенком была здорова, сильна; от мамок меня забрали, когда научилась ходить; во всякое время дралась, лазала по деревьям, скакала и плавала под водою как рыба. В зимнее время рубила со всеми лед на реке, совершая обколку судов, да разносила лопатами снег на дорогах; летом гнала с работниками отца лесосплав, собирала мед да охотилась вволю.

Великий князь Киевский Олег благоволил отцу. Приезжая на ловище, забирал с собою в охоты. Десяти лет от роду скакала рядом с Великим князем и доставала зверя вперед его слуг, и вперед его самого. Говорил мне так: «Через пару годков пришлю тебе сватов от князя нашего Игоря. Лучшей жены ему не найти, хотя ты и босая».

Сам Игорь наехал на берег Великой в последнюю из купальских ночей, когда мне было годов двенадцать. От мест, селений на Мокошь-Обрыв, под который должен был выйти Ящер, собирався народ; жгли костры и пели. Оголившись, себя овивали листвою и так ходили через огонь, а тот, кто не мог пройти, приносил жертву Хорсту. Старики забирали малых детей и носили через огонь без ожога; и стояли в середине костра на углях, а когда не могли стоять — плясали.

Резали птицу и скот и всякую рыбу, и, обмазавшись кровью, любилась в костровой золе, и когда молодёц покрывал девицу, поднимали над ними овцу с порезанным горлом, так чтобы кровь уходила на их тела, а также бросали цветы и пели. А иных, сплетенных, хватали вдруг и, пронеся к обрыву, кидали в омут — Великому князю подземных вод, и они, биясь и крича, возвращались.

Была же одна, избранная невестой Ящеру-Роду (ее жребий потоп впереди остальных), и скоро ей предстояло стать женою владыки в подводном царстве, полном цветов и птиц, прислужниц хвостатых и всяких явств и всего остального. И нетерпение ее было так велико, что несколько раз убегала в воду до срока, и следили за ней, и когда подвигалась к обрыву — ее не пускали.

Была она ближней моей подругой, а лет ей было пятнадцать, ее наряжали, и ходила украшенная золотом и камнями и отдавалась на удище всем, кто мог, от малого до старика, и матери к ней подносили сынов-малюток, совокупляя на счастье, она же смеялась и пела.

---

Волков Юрий Владимирович родился в 1951 году. Окончил специальную школу при Академии художеств по классу скульптуры, затем изучал режиссуру. Драматург, автор более двадцати пьес и книги стихов и рисунков «Дневник Иродиады» (изд-во «Студия-69», 1995). В настоящее время — руководитель Московского «Открытого театра». Пьесы печатались в сборниках «Драматург» и «Сюжеты». В журнале «Знамя» (1995, № 5) опубликована повесть «Вирсавия».

И в третью ночь (когда наехал князь) подняли кострище до неба, и вышел Ящер.

Многие видели: был он о двух головах и светился; и встал посредине реки, точно дуб, восшедший из чрева глубин, и стали кричать и бросать свои требы.

Колдуны возопили с обрыва и, взяв невесту его, провели по самому краю — ему показать, и связали, и хотели уж бросить, как вдруг неведомо как очутилась я рядом и, крепко подружку свою обхватив, повалилась с ней в пропасть.

Мы упали. Вода ударила нас и стала давить — я оглохла; добыча моя, обратившись в русалию, билась в объятьях моих, и едва коснулась я дна, отпустила ее. «Вот треба моя! — закричала Роду, — пусть мне будет по жертве моей!» — и, сказавши так, подалась обратно. А когда выходила наверх, ударилась в Ящера, был он огромен, как стена, возвысился надо мной; я хотела тонуть, да кто-то меня уж схватил и за косы вынул. Оказалось, что князь полетел на коне вслед за нами, и когда выходила я из воды, содвинулась с мордой его коня и решила, что — Ящер.

И многие тогда полетали с обрыва за мною вслед, крыча от радости: «Вот моя треба!» — да я была первой и счастье было за мной. Говорили так: «Прими от меня, и от дома моего, и от рода, и от подрода моего, и от всякой домашней твари!»

Тринадцати годов от роду я стала женой Игоря Рюриковича, Великого князя варягов-русов: Олегово слово ко мне сбылось.

В Киев меня везли великою сворой, от которой я то и дело уходила вперед, и только у самых ворот спешила и в город вошла на санях, в нарядах.

Княжий терем, челядь, приемы; целое войско девок и ближних боярынь моих обрушилось на меня — я бежала. За стены через посад к реке. Киев меня напугал, за городом мне дышалось вольготней.

Но вот что обрадовало меня — моя личная сотня! Сотня княгини Ольги, настоящая моя дружина, отобранная из лучших витязей на Руси. «Даю тебе клятву, — так кричала на полном скаку, отправляясь с дружиной моей в охоты, обращаясь уже не помню к кому, должно быть Перуну, — что я сарматка-всадница и никогда не буду сидеть в палатах! вот я!»

Мой князь удовольствия ради сбивал мне охоту. Появлялся внезапно, своею стеной, отсекая нашего зверя; и тогда я летела ему вперехват с булавою Олега, закинутой над головой. Увидев меня, он пускался прочь, да я настигала его и била с такою нещадною яростью, что князь едва успевал укрываться щитом. За что? За то, что мой зверь — это мой зверь. Обсекала искусно и била без устали; князь уже отсмеялся, говорил мне что-то, да я не слышала, продолжая его теснить, загоняя в воду, пока он не вырвал мою булаву и не выбросил в реку. Я взвыла — подарок Олега! Только князь мой уже не шутил, придавивши меня к земле, говорил осклабясь: «Зверь ты или жена мне? дружина смотрит».

Боярские жены меня взненавидели, злословили так: «Зеленое яблочко... тварь безродная... князя борзая».

Боярин Лют уворовывал лес, забирая стволы вверху по реке, — от каждого плавежа брал лучшие бревна. Надзирателей за плотами пороли, пытали щупом, да они молчали, боясь расправы от Люта, и все это знали. Я велела тайно пометить лес еще на прогоне Олеговым знаком на ствол, а ствол залатать корою. И когда этот сплав пришел и лес был сворован, позвала старейшин, иных бояр и пошла на подворье Люта с дружиной моей и открыла те бревна.

И там же, при всем народе городском и посадском, велела боярина Люта высечь. Олег был в походе, а Игорь в охоте, а выкупа я не брала и боярства высокого не боялась — дружина стояла за мной, моя страшная

сотня; и могла я весь Киев стереть с земли, когда бы мне перестал быть нужен.

В год 6415 (907)<sup>1</sup>, в четвертое лето мое в княгинях, Олег пошел на греков, оставив Игоря за себя.

Готовился этот поход три года: кривичи делали струги, кияне колеса для волока и повозки; мостили мосты от Днепра до Днестра. Олег собрал под собою: варяг и славян, и мерь, и чудь, и кривичей, и древлян, и полян, северян, вятичей, радимичей, хорват, дулебов — Великая Скифь пошла на Царьгород в две тысячи кораблей и трижды по столько колес; и бессчетную тьму лошадей и воев...

Греки замкнули Суды, а Город сам затворили крепко. И тогда Олег воевал города побережья вокруг, и множество их пожег, и много побил народу: кого брали в плен, кого иссекли, а иных побросали с лодий в воду.

И был сильный ветер с моря; Олег поставил корабли на колеса, паруса же их распустил и пошел на гору — по суку, аки по морю; и испугались того ромей. Вышли послы царя говорить о мире; и возложил Олег на Царьгород дани: на две тысяч лодий по двенадцать гривен на человека (а в каждой лодье по сорок мужей), а также дани городам русским, начиная с Киева и Чернигова, — и остальным городам также; и содержание послов от Руси, и месячное купцам в половину года по их пребыванию в Царьгороде; также — все, что им нужно в обратный путь. И пусть входят в город в одни ворота без оружия по пятьдесят человек, и торгуют свободно, безо всяких налогов. И о том цари греческие Леон и Александр целовали Олегу крест; Олег же клялся мечом и Перуном. И, уходя из Царьгорода, прибил к его главным воротам свой щит, повелев оставить его навечно. И за тот поход нарекла Русь Олега Вещим.

В пятый год от того похода Олег отправил боярина Карла и с ним мужей для подписания с царями окончательной хартии мира. И была та хартия продумана боярством и князьями до подробностей мельчайших: о торговле, о преступлении и о войне.

Многие вечера я сидела с Олегом и Игорем в тех застольях, когда говорили мужи, и видела земли Руси, как будто склонившись над ними: кто сеет, кто промышляет в лесах и на реках; и люд городской, и волхвов, и дружину — народ, от варягов названный русским.

В год 912, когда посольство ушло на Царьгород, разболелся и умер Олег.

За городом выбрали место, открытое ветру, очертили великий круг и вырыли нижнюю краду; землю с глубокого рва носили на холм, воздвигая его вокруг домовины; и когда насыпали гору, стали готовить тризну.

Кто занимался всем этим? Ни я, ни Игорь, ни старейшины, ни бояре — *волхвы*.

Перед тем как идти на греков, призвал их к себе Олег и спросил: сколько мне жить? и сказали: пять лет. И торопил он боярство свое на творение хартии мира с Ромеей, и умер на пятый год от гаданья того.

Волхвы появлялись внезапно: по двое и трое в окруженьи невзрачных жрецов; их одежды до пят, белизна и камни, и гладко бритые детские лица. Явившись, смотрели, как смотрят птицы, доставая до самого дна души.

И, видя их издали на праздниках и моленьях Перуну, думала: вот они, и не знают, что есть такая княгиня Ольга! Волхвы знали обо мне все.

И вот еще думала: Олег владеет своим народом и своими волхвами в числе народа, но вот он умер — и волхвы им владели. И оттого, как готовили тризну по князю, как бояре Олега, властительнейшие из мужей, уступали им место с почетом и страхом и лестью, поняла, что их власть и сила

<sup>1</sup> Далее для удобства прочтения летоисчисление приводится от Рождества Христова. (Примеч. автора.)

в стране не менее княжеской или дружинной. И увидела ясно: простой народ боится волхвов и их заклятий более, чем суда мирского. И Игорь о них говорил осторожно, понижая голос, и точно боясь своих слов.

Когда холм возвели, в домовину вложили Олега; и на козлы с ним рядом восставили трупы его двух коней; и, закрыв домовину, сложили над нею кострище в четыре роста мужских и поверх него положили оружие Олега. Все было готово к обряду.

В вечер явилась Русь — белотканна. К холму невозможно было пройти; курган воздвигался, как темный остров посредине кипящего пеной моря, — но вот поднялись наверх волхвы (их было четверо), за ними тянулись жрецы, чародеи, колдуны и баяны, служки и чадь. По знаку волхвов колдуны возопили Олегу, и жрецы, подняв головни, разошлись вокруг кострища, запалив его с четырех сторон.

Сухая солома и хворост схватились мгновенно, и встал пылающий терм; и стали кричать, и бросали в огонь принесенные вещи; и те, что стояли сзади, примяли передних, подвинули их на огонь, на цепи дружины и смяли один из рядов; и стоял невиданный ор и гуденье огня, и пенье, и стон, и плач, — стало жарко.

Я смотрела в огонь, захлестнувший все небо (дым понесло на город), — внутри домовины горящей находился Олег, мой названный отец, говоривший со мной, учивший меня, ласкавший меня в моем детстве, — князь Великий, устрашающий многие земли, прибивший свой щит на ворота Царьгорода, — Олег польхал в домовине!..

Когда мы вернулись от братчин в вечер другого дня — холм возвышался вдвое (когда он вырос? и кто его насыпал?), точно чудом земля поднялась над могилой Олега, — на самом верху ее высился столб в два обхвата, и снизу казался он дротом, воткнутом в мягкую землю; когда же мы с князем взошли, он воздвигся над нами; мы сели, земля была теплой; под нами мерещилось море огней — народ жег лучины. Передние кольца боярства, верхней дружины, старейшин сидели в коврах, расстеленных, заставленных тесно; волхвы возгласили к Перуну, и быстрым ключом (по среднему рву), отсекая народ от дружины, понесся огонь — схватилась средняя крада; и тотчас (за людом купеческим и городским) запылала нижняя — мы поднялись и с полными рóгами бдын обошли, поклонившись четырежды, и толпа отвечала на каждый поклон многотысячным ревом.

Вот народ, оставленный нам Олегом! Игорю — князю и мне — княгине. Я знала, что князь уйдет с дружиной Олега, а я останусь хозяйкой Руси. И впервые здесь, на могильном холме, я узрела воочью мое хозяйство.

## 2. ИГОРЬ

В тот же год, когда, по смерти Олега, стал княжить Игорь, в Царьгороде восцарствовал Константин, сын Леона. Тогда же от нас затворились древяне; Игорь ходил на них и пожег, возложив еще большую дань.

Через год впервые пришли на Русь печенеги. Игорь вышел на них к Днепру, и, отступивши, ушли к Дунаю, где вместе с греками воевали болгар, а затем вернулись на нашу землю и рыскали волками по ее краям так, что Игорь надолго оставил Киев.

Я поднималась в четыре утра, когда открывали ворота в город.

Бедуины, арабы, кавказцы, персы; ревуций поток ослов, лошадей, гремящих на камне повозок, — пыль вставала над городом; все орало, кружилось, толкалось, каким-то чудом уместаясь по улицам. Так, когда мне нужно было пройти через город, дружина везла на своем носу, как свинья навоз, разноразличное месиво, готовое все купить и продать, обменять, заложить, украсть, зарезать.

Вот этот орущий и пыльный город и был мой дом, в котором я содержала порядок.

Каждый год, по осени и до тепла, по смоленскому кругу, через древлян, уходили данники и охрана — изымать по оброчным землям полюдье. И все, что брали от тех земель: дерево и оружие, и всякую глину, и хлебный оброк, медвяной, квасной, и смольной, и шкурной, мясной и рыбный, грибной, ягодичный, соленый, — всякий собирался в Киев, и большая часть от него уходила с купцами в греки, по нашему с греками миру.

Кривичи делали струги, древляне гнали нам лес, хазары варили сталь — мы имели все для торговли. Каждый год на Царьгород уходило войско из купцов и торговцев, посольств, бояр, толмачей и прислуги торговой, дружины. И для них собирали коней, и мостили дороги, и ткали оснастку для лодий без меры; колеса, телеги, смолу, скотину...

И когда уходили они по Днепру, распустив паруса с Олеговым знаком, провожал весь киевский люд, а когда возвращались обратно, встречала вся Русь.

Я гордилась уваженьем царей Константина с Романом ко мне, и моим поездом, и к Руси богатеющей. Как лошадь в пене, я тащила Русь на себе в подъем. И день повторялся в день, уходили годы. И сколько их было таких? десять, пятнадцать, и двадцать...

Игорь метался по землям, держа их повинность, совокупляя на силу Руси. Норманы, ляхи, степь, хазары рвали наши бока, выдирая клоки, и князь летал точно кречет и бил их с лету, и земли их жег, и брал города, и ходил с добычей, а все не мог найти себе славы такой, какая была у Олега.

Однажды в осень вернулся в Киев, измотанный, рваный, да не мог пройти своим войском через запруженный город и врезался в самую гущу, и так, оставляя месиво, шел до самого терема. Ярый от крови, ворвался ко мне:

«Когда сейчас не очистишь город от всей этой дряни, сожгу его, к матерям твоим! Жидовский этот народ подавлю сапогами! Кто я в Руси? Какая слава моя? Или мне жизнь мою и кровью моих людей охранять вонючих твоих купцов? Во что превратила ты Русь, княгиня-торговка? Собирай мужей на совет, говорить с ними буду».

Когда собрался совет, сказал, обращаясь к верховным боярам:

«Объявляю поход на Царьгород и казну забираю до гривны на войско. Цари Константин и Роман заплатят едино и столько, сколько жиды и оброки ваши вовек не снесут. Вот я, рваный шакалами степными и всякой сволочью, говорю вам, лишенным и славы и доблести: *Русь!*»

Дружина встала, за ней поднялись бояре. Я ведала, чьими словами глаголил Великий князь. Человек этот тихо сидел по правую руку от князя: Свенельд. Воевода Игоря, швед, недавно пришедший из греков, служивший у трона ромеев в Царьгороде сотцким варяжской стражи, — этот норман, молодой и наглый, смотрел на меня теперь сквозь рыжую гниль ресниц. Христианин.

Оставшись сидеть, я сказала:

«Русь? Чего же вы для нее хотите? Собрал великое войско, идти на Царьгород? Ну вот пришли и стоим уже в Судах. Цари от нас затворились. Потеряв половиною войско, взяли мы город, что дальше? Ромеи живут не одним Царьгородом, а всею державой, союзом с Римом, готами, франками, Палестиной. Фракийцы, римляне и хазары придут по наши бока. Продираясь обратно, потеряем еще половину того, что осталось, и с четвертью войска вернемся в Русь. Унесем ли нашу добычу? И как далеко? И сколько?»

Олег не затем ходил на Царьгород, чтобы взять этот город, — что бы с ним делал? А затем, чтобы *хартию мира* с царями его заключить о торговле для нас, о купечестве нашем беспошлинном и ежегодном.

Великий князь, воевода Свенельд, дружина, бояре! денег довольно в казне, собирайте войско. Берите варягов и воев, а я подготовлю старейшин земских. Печенегов прикупим. Цари Константин и Роман нарушают Олегову хартию где им удобно. Торговцев грабят у Суд, посольство наше



содержат плохо, как хазар и арабов, — пора напомнить себя. Также важно, заключив с ромеями мир, обручиться с Понтийским морем, торговать с Китаем и дальше — Индийской страной. Орла вам над войском!»

В год 941 пошел Игорь походом на греков в десять тысяч лодий. И брали города по берегу моря и, хватая греков, распинали их по дорогам; и зверствовали, вбивая пленным в макушки гвозди, и вопль греков был так велик, что пришли с востока Панфир-деместик и Фока Патриций с македонянами и Федор Стратилат с фракийцами и окружили мужа. И в жестокой сече едва одолели его, и он бежал. А Феофан на море пустил огонь и пожег его лодьи, и в Русь ушел с остатками жалкими, а придя, затворился. А лет ему было шестьдесят и пять, и называли его Игорь Старый.

Мы потеряли все: и договор Олегов, и всякую торговлю на запад и на восток, и честь свою перед народами всей земли. Новый поход был для нас неизбежен.

Три года ушло на его подготовку. За эти годы ромейский трон трепали жестоко угры.

В лето 944 Игорь Старый, собрав варягов, русь, печенегов, славян, полян, тиверцев, кривичей, весь и чудь, пошел немислимим войском в греки. Корсунцы и болгары сказали царю: «Идет вся Русь». Роман понимал, что, когда побьет сейчас наше войско, придем к нему через год или два, что нет у нас выхода, будем ходить и рвать его, как собаки, в клочья, пока не подпишет он с нами достойный мир. Царь отправил навстречу послов. Игорь держал совет с дружиной. Дружина сказала: «Под нами соленая глубь». И сотворили с греками мир и, взявши дань, повернули обратно. Печенегов отправили воевать в Болгарскую землю.

Игорь Старый вернулся домой невредим, с великой победой, какой не было даже у Олега Вещего.

В тот же год открылось чрево мое, и я родила Святослава.

По весне следующего года послали наших мужей в Царьгород подписать с царями хартию мира, и они вернулись до холодов с посольством от василевса для клятвы Перуну.

Впервые Русь принимала ромейских послов.

По всей земле совершались моленья Перуну. Вековые дубы украшали дарами и клали требы. В Киеве резали птицу и скот, в иных селеньях бросали жребий людской и конский. И когда посольство из греков шло по Днепру, ромеи видели эти кострища и остатки скелетов на козлах, скрепленные лыком.

В десятый день по прибытии греков в Киев волхвы приготовили капь и крады для клятвы Перуну за древним валом.

Мы вышли в вечер, когда весь холм святилища, далеко за его подножье, омывал пришедший в три дня народ. Было бело. Мы вышли из плотного круга людей и дальше, до капища, шли одни. Впереди мы с князем, за нами родня, послы, цари, воеводы, бояре.

Ступив на восточный край капища, остановились. Перед нами, поодаль, один как перст, освещенный по низу малой крадой, воздвигался под небо Воитель-бог, пропадая серебряным шлемом в мраке. С другой стороны, от нас далекой, подошли и встали волхвы; мы пустились в колени. И за нами — народ, точно ветер потряс дубы. Игорь Старый, обнаживши свой меч, обратился к народам Руси, заклинаясь на греческий мир мечом и Перуном.

Едва он окончил, волхвы поднесли головни, и кострище схватилось тотчас: обернулись две нижние крады, сомкнувшись по кольцам холма. Нам подали сосуд с головою медведя, наполненный медом, и пили из пасты. И когда передали стратиту, не мог он его удержать, и слуги послу поднесли, и он выпил.

Народ бесновался, кричал, бросал свои требы в огонь; ревели быки на забое, хлестала по жертвенным камням кровь; когда возопили волхвы, народ подхватил и попер передних на крады. Дружинники их отсекли, да их смяли морем, полезли на копья. В ту ночь под рогожу легло до тысячи разного люда; совершилася клятка.

Я вышла из шумных хором от братчин, вокруг полыхали костры, я пошла между ними. Ночь была теплая, ясная, небо покрыто звездами; я шла одна, без охраны. Простые люди привыкли ко мне и меня не боялись. Они знали, что я добра и разумна к ним, покуда они добры и разумны, а гневать меня не осмелился бы никто.

Никто не спал в эту ночь, народ ликовал победу, о которой сейчас говорили везде, при дворе любого монарха. Послы василевса, царя царей, находились в хоромах волхвов за моей спиной, Игорь Старый увенчал свою жизнь достойною славой, через тридцать лет после славы Олега. А там, в темноте, где за валом внизу таился мой терем, посапывал, хмурясь во сне, Святослав, наш наследник. Кто знает, не он ли станет владыкой мира сего, царем царей?

Я вышла к костру, от которого слышался смех.

«Что тут за шум и битье? Над чем веселитесь?» — спросила, усаживаясь посредине их круга.

«Да вот блажной, из ромеев, Григорий, — вперебой отвечали со всех сторон, — человек добрый и разума непростого, а кроме квасу ничего не пьет!»

За огнем стоял человечек в суконной рясе. На хохот вокруг отвечал смущенной улыбкой.

«Кто ты?» — спросила его.

«Простой монах, пришел с посольством из греков, да сам по себе», — отвечал охотно.

«Для чего?»

«Не ведаю, для чего, но думаю теперь: для того, чтоб увидеть тебя, всеблагая княгиня».

Я видела, что не льстит, говорит, что на сердце.

«И велика ли твоя нужда и страсть по мне?» — Челядь моя покатила со смеху.

«Велика».

«И давно ли так велика?»

«Должно быть, давно, да понял это сейчас, всеблагая княгиня».

Всеблагая! Не слишком ли дерзок этот щедушный монах? Вокруг все умолкли.

«Что же? Вид мой тебя опалил? Что молчишь?»

«Дивлюсь красоте лица твоего».

«Как же дивишься, когда не смотришь ты на меня?»

«Сердцем дивлюсь».

«Что же, любишь ты красоту?»

«Как не любить, когда всему она суть! — (Монашек так взволновался, что встал на колени передо мной; боялась: за руки вдруг ухватит.) — Вот в мае месяце всякая тварь земная процветает, деревья листом одеваются и вся небесная красота на землю льется! Как же тогда убить можно?!»

«Убить всегда можно».

Засмеялись немногие, да притихли; один заступился:

«Не гневайся, матушка княгиня, он не в себе, у него болезнь: черной немочью вдруг обмирает весь, а потом ничего, отходит».

«Придешь ко мне завтра к рассвету, — сказала монаху, — травникам я тебя передам, обмогут. Да осторожнее будь на слова, не поймут тебя в нашей стране; за язык зацепят, да вмиг и отрежут».

Так остался при моем дворе греческий монах Григорий.

Никому не говорила я о детях моих, умиравших во чреве моем, а ему рассказала:

«Вот называешь меня благой, а держит меня земля, и рождаю глину. И сколько я обращалась к Роду, к Матерям Роженицам через волхвов и жрецов, воздвигая им небывалые требы, пока не выговорила на жизнь одного, Святослава. И оттого, что он шел из глубины кромешной, молчаливым родился, как не дитя, а взрослый»

И когда уходили послы, я сказала ему:

«Врачуешь ты сердце мое, да тем размягчаешь. Зачем? Душою ты нежен. Не живут такие на нашей земле, возвращайся к ромеям».

Но он остался. К моей радости тайной, ибо никто доселе не говорил со мною на всей земле и все мои годы. Говорил мне так: «Лицо твое сияющее, точно луч солнечный льющийся».

Зачем это все?

Хмельная от братчин дружина гуляла, обезумев от пьянства, врывалась в дома, блядствуя и творя насилье; и нечем было их удержать, как нельзя удержать наводнение реки.

Игорь Старый ушел в охоты, подарив воеводе древлян и Угличь; и Свенельд с варягами бил уличан, примучив город до черной крови.

Когда он явился, я стала просить, чтобы швед мне отдал деревские дани, обещав по осени все вернуть (мне нужно было на поезд в Царьгород); воевода осклабился: он-де рад, да есть ли что у древлян? дадут ли? — и ушел в деревские земли и брал, и с богатой добычей вернулся в Киев и все, что принес, поделил меж варяг, затворивши в своих теремах.

Игорь Старый, вернувшись в город, взбесился и хотел тогда же идти на варяг, да я удержала его, не дала утопить мой город в крови.

Тем же утром Игорь Старый ушел через Днепр в леса, и шел по деревским кострам и брал, и, собрав, погрузил на лодьи; затем вернулся с малым отрядом назад — древляне вышли ему навстречу и под городом Мала взяли в кольцо и, сбивши в мяч, порубили дружину, а князя, взявши живым, привязали между верхушек сведенных берез и, отпустивши стволы, — разорвали.

### 3. ОЛЬГА

Я узнала о деревском посольстве ко мне среди белого дня, когда готовилась выйти в город. Послы от Мала стояли под Боричевом подъемом, в лодье, ожидая, когда их приму. Но зачем ко мне, а не к Великому князю? И как случилось, что они разминулись с дружиною Игоря? Столица деревская в расстоянии одного дня скачки, а Игорь вышел семь дней тому...

Старейшины дома, пришедшие вдруг все разом, также не знали, что думать, советовали посольство до времени не принимать. Со двора доносились какие-то вопли.

«Кто там орет и зачем? — обратилась к боярам. — Уберите всех. Пошлите к реке дружину Обеспечьте прием послов, приму их немедля».

Это Свенельд, подумала вдруг, когда осталась одна, это его рука на моем горле. И ясно увидела длинные пальцы варяга и локоть барса, покрытый ржой.

Меня одевали к приему. Воевода может увечить славян и русичей сколько захочет, достаточно он богат, чтобы заплатить и за холопа, и за ближнего боярина моего, но Игорь Старый — Великий князь! Ничего не может случиться с ним! И сразу, как подумала, увидела усмешку на тонких губах варяга: так ли уж — ничего? Откуда была такая уверенность в могуществе старого князя? Разве не мог воевода стряхнуть его, как ветхую рукавицу с молодой и сильной руки? Разве не могло это произойти посреди не обычного дня и разве, обобрав древлян наперекор мне, не показал Свенельд, что готов уже это сделать?

В глазах моих потемнело: и без того сумеречные покои представились в ночь. Да нет, такого не может быть: Игорь остался в городе Мала и шлет посольство ко мне от себя, не от Мала; или же принудил деревского кня-

зя послать своих лучших мужей в Киев, затем, чтоб унижить народ деревский и так его наказать. Великий князь был горазд на подобные шутки.

Я вышла в залу приема гостей. По одну сторону стояло мое боярство, по другую варяги Асмуд и Свенельд, середка осталась посольству. Они вошли. Числом двадцать, высокие, как на подбор, одетые в золото и меха, наполнив собой всю залу, встали.

Деревские послы были все молоды и сильны, должно, молодой их князь создавал окружение по себе. Когда вошли, невольно подались к варягам, я видела это.

«Гости добрые пришли», — обратилась к послам.

«Пришли, княгиня», — ответили чуть не хором.

«Говорите, зачем пришли».

Замялись. Выступил один, черный как смоль, красавец. Хороши мужи деревские, но только дики.

«Послала нас Деревская земля, — с такими словами начал с важностью, да вдруг осекся, — мужа твоего мы убили, — (ропот вздохом пошел по толпе бояр, так что древлянин возвысил голос), — так как твой муж расхищал аки волк и грабил».

«Тише, бояре, — обратилась к своим (варяги молчали), — послам мешаете говорить».

«Потому как твой муж расхищал аки волк и грабил, — повторил деревский посол, убыстряя речь, — а коли повадится волк, то и вынесет все стадо, пока его не убьют, так и этот. — (И, не давая боярам себя перебить, почти уж кричал.) — А наши князья хорошие, потому что ввели порядок в Деревской земле. Теперь ты, княгиня, — вдова, иди за нашего князя Мала».

Стало тихо. Свенельд смотрел на меня и ждал, и варяги его глядели нагло. И бояре мои: Искусеви, Ивор; и тысяцкие Игоря пожирали глазами. Когда б я только мигнула!..

«Как погиб Великий князь Киевский?» — спросила как можно ровней.

«Погиб как воин в бою и дрался отважно, княгиня, — охотно в несколько голосов заговорили послы, — перебивши много достойных мужей. Одолели его не сразу».

Не сразу. Когда я стану княгиней деревской, хозяин мне будет Свенельд-варяг, это его земля.

«Где похоронен мой муж?»

«За городом Искоростень, с великою честью, в кургане!»

Игорь Старый в земле. Его больше нет. Я одна.

«Оставьте меня с послами наедине».

Никто не двинулся, я возвысила голос:

«Оставьте меня с послами деревскими наедине».

Когда они вышли, толпясь в пороге, осмотрела внимательно всех послов. Сбитые в кучу, оголенные посреди пустой залы, стояли, как сосны на круче: чего они ждали?

«Мужа мне не вернуть. Погиб Игорь Старый как воин, а ваша речь любезна и здрава и мне по сердцу. — Я помолчала. — Опереться на вашего князя мне будет удобно, крепка моя воля! Ночь будут вас охранять, пошлю с вами дружину. Поутру наденьте все ваши бляхи и укройтесь щитами, но сами ко мне не идите, побьют вас стрелами, останьтесь в лодье. Мои отроки вас пронесут через город. И будет вам честь от Великой княгини».

И с тем, поднявшись из кресла, вышла.

Ночь была черная, снег еще не ложился на землю. Я послала отрока за Алваром и, когда он пришел, сказала:

«Иди через город в двор Теремный, да так, чтоб не видел тебя никто. На Теремном дворе возьми людей и, затворившись наглухо, ройте яму. Перед самыми ступенями крыльца, в сажень от них. И так копайте, чтоб ни звука от вас, ни огня, ни дыма. Яма в три человеческих роста, да не

моих, а твоих; шириною в два, а длиною в четыре, — меряй собой. Землю носите холстами в подвалы и кулями там оставляйте, не сыпьте. Будет в яме копиться вода, крепите бревнами.

Готовую яму накройте тесом, плотно накройте, аки помост, да так, чтоб не ходил под ногой, не скрипел. И яму сокрыл на сажень от края. Да отметьте, какие доски над ямой, а какие лежат на земле.

Здесь тук паволоки пурпурной возьми, застелешь ею помост над ямой. Гладко натянешь, прибьешь гвоздями. И поверх поставишь козлы для струг, рассчитаешь под корпус одной лодьи. И когда соделаешь все, осмотришь и поправишь землю вокруг, подметешь. Вынеси кресло мое из палат и поставь на крыльцо в середке его, покроешь вот этой парчой. Затем людей, что копали, запрешь в подвале, — дай им вина, отпущу их завтра. И после того оставайся там, во дворе, и жди моего прихода, — откроешь ворота. Когда понесут лодьи, направляй, да смотри, чтоб они не ступали над ямой и враз опустили на козлы. Смотри, чтоб оглобли струг не держали, выбей. Все для тебя».

Когда он ушел, велела позвать к себе Ингу и ее чаровниц и приготовить мне баню.

Сухая пыль цветов наговора ложилась на воду котлов; меня раздели. Когда вошла в котел, погрузилась вся, как только лицо оставалось по верху воды. От жара отравы исчезло тело; курилась река во все стороны от меня.

«Хелга к великому Роду!» — услышала над собой и увидела Игоря в стороне от себя. Плыл он в короткой лодье меж дерев. Хотела догнать его, не могла, он сокрылся. С четырех углов шептала Инга. Ромейский царь смотрел на меня. Предслава плакала далеко. По всей реке жгли костры и пели. Слов не могла разобрать — о чем? «Кровь неотмщенная хуже любого увечья», — чей это голос?

Курган поднялся из глуби вверх. Встал отвесной стеной. Разорвался. Сквозь слоистую толщу увидела сход. Разновеликий народ: отца моего и мать, и сестер, и детей моих неживых, и всякую челядь. А над ними выше, во весь горизонт, — идущее войско вспять. Неживое. Какие-то всадники в белом — облак. А по ним, утопая по грудь коня, одинокий всадник: Олег. А кто эти двое выше? Словен, Костомysl? А далее, там? Размытый, огромный, с лицом-лавиной, идущий точно гроза? Не могу разобрать... Он мне говорит? О чем? Я не слышу...

К утру я была свежа и покойна. Вошли бояре, черные после бессонья, с порога начали мне кричать, да я их не слышала.

«Воля моя такова, — объявила не глядя на них, — иди на Теремный двор и позвать посад, и варяг, и волхвов, и жрецов от капищ».

Во главе моей сотни я вышла в город; народ, возбужденный, потек за мною, а войдя в Теремный двор, не вместился. Я приказала тын разобрать, ограда исчезла вмиг. Вот кресло мое, я села.

Нарастал, движился, близясь, шум. В промежке дружины, за их щитами, на плечах моих отроков горьких, шла, продвигаясь вперед, лодья с убийцами мужа и так вступила во двор. Стало мертвенно тихо, только скрипели оглобли под днищем деревского струга. Я нашла глазами варягов. Вот Свенельд. Вот бояре мои и князья и волхвы. За толпою у моста увидела черное платье. Григорий. Не поймет меня отрок сей, один среди всех не поймет.

Подняла правую руку с жезлом Великого князя, древляне встали в лодье, я сказала, обращаясь голосом на весь мой народ:

«Вот посольство деревского князя ко мне. Разорвавши Великого князя, сватает Мал за себя княгиню вашу, вдову, — что мы скажем?»

В народе начался вопль, толпа полезла на копьа, я встала из кресла, дождалась тишины:

«Дорогое посольство по мне. И принять его следует нам по чести».

И с тем повернулась к Алвару, он вышел вперед, и по знаку его опустили на козлы лодью. И сейчас его люди отшвырнули дружинные слеги, а я закричала:

«Вот честь вам!»

Лодья исчезла под землей с великим треском, как шатун языком слизал, только вопль остался! Народ, шарахнувшись, ахнул, подался вперед: дружина, боярство, челядь, варяги — все разом полезли на яму, да люди мои встали кругом, обнаживши мечи. И тогда я сказала:

«Земля холодна, дайте угли».

И посыпали угли горящего дуба в деревскую яму, и страшно крычали послы. Я спустилась с крыльца, наклонилась над ямой. Я увидела огонь в домовине и корчи людские в объятиях Рода. И тогда обратилась к ним, так, чтобы слышал меня весь народ:

«Хороша ли вам честь, дорогие послы?»

И ответил мне кто-то из них:

«Хороша! хороша, княгиня! Пуще Игорева смерти!»

Волхвы стояли неподвижно, я им закричала:

«Пойте! По князю нашему жертва идет Великому Роду, гремите!»

Волхвы возопили кощевье, я руки воздела к народу, и он подхватил. Стало жарко.

И когда не могла уже петь, и унялся огонь, и засыпали яму, и землю над ней утоптали — продолжала кружить и валить друг на друга толпа на могиле деревской, топча ее землю. Кричали: Ольга. И, поднявши меня вместе с креслом моим, понесли через город.

Поутру, отобравши пятьсот, я вышла к деревской столице. Когда подходили к Искоростеню, повалил от темного неба снег. Оставив дружину стоять верхами в расстояньи полета стрелы от стены, отделилась от них, пошла к воротам.

Подойдя, ударила железным кольцом:

«Ольга Киевская к деревскому князю Малу, одна».

Стояла долго, пока не открыли ворота. Опустив поводья, медленно шла по безлюдным улицам. Снег валил. Какие-то люди взяли в бока, повели на княжий двор, во дворе увидела Мала. Помог мне сойти, провел в палаты.

«Поставь мне кресло к огню», — сказала, когда вошла. Поставил.

Низкий бревенчатый потолок, пахнет дымом и кожным потом.

«Мужей я твоих закопала, Мал, — сказала, когда он уселся напротив, — требу хотел Перун, я дала. Воевать с тобой не буду. И о том поклянись на мече Игоря Старого, когда достанешь мне из земли мужа. Пришла я одна. Отвечаю тебе на посольство твое: я согласна. Только не я останусь в Деревской земле, а ты со мною уедешь в Киев. Игоровых людей привела для тризны по Великому князю. Возьми меня, Мал».

Он не понял, о чем говорю, оставался сидеть, я встала:

«Ты высок и силен и молод. Хороший муж для вдовы Игоря. Поцелуй меня, крепкозубый!»

И когда уткнулся мне в губы, приказала ему:

«Целуй до крови!»

Крепкий, бешеный рот у деревского князя! Не то что вонючий Игорев; прижалась к нему всем телом:

«Чресла твои горячие, как земля на деревской яме».

Облапил так, что нечем стало дышать, оттолкнула его от себя:

«Открой свои уды».

И, видя, что медлит, сама ему помогла, схватилась за палку.

«О, как ты могуч и крепок, — сказала, глядя ему в глаза, — точно бдын на могильном холме. Как отпразднуем тризну, взойду на него, жеребец вороной».

И уже отпустила, ушла, оставив стоять с воздыбленной плотью, усе-лась в кресло.

«А мзды никакой от тебя не надо. Ничего у тебя не осталось, все отдал в полюдь. Дай землекопов, коней, повозки, жаровни, мясо, хлеб, вино, женщин — дружине. Курган насыпай приличный Великому князю. Прово-дим по чести. А теперь уйду от тебя на могилу Игоря, дай человека. И сейчас принимайся за дело, пошли землекопов».

Когда курган поднялся, достали князя из Матери-мягкой-земли; я смотрела на то, что осталось от Игоря Рюриковича, — ком грязи. И, обла-чивши в пурпур, вложили его в домовину. Певцы возгласили.

Дружина моя сидела по склону холма. А за нею — безбрежным коль-цом разместились древляне. Я сказала дружине: «Вина не пейте, поите землю». И всю ночь полыхало кострище и пили древляне и пели, а когда стал огонь опадать, послала за Малом. Жених мой поднялся ко мне, весе-лясь и рыгая; и когда подошел, велела его повязать, и заткнуть ему рот, и повесить ко бдыну.

Дружина моя, разделившись, ушла половиной по верху, половиной по низу холма. И по знаку моей головни, отчетливой в черном небе, наступая от верха и низа, сходясь к середине — через вопль и пенье, рубила безруж-ных и пьяных древлян, как рубят поленья.

Я вспомнила Мала. И, вскарабкавшись кошкой к нему, вырвала кляп изо рта — закричал он страшно.

«Хорош ли тебе мой медовый набиз? — спросила, когда он мотал голо-вой. И сказала отрокам: — Вот мой жених, Мал Деревский, отрежьте уды ему, заберу их в Киев с собой, обещала». И так сделали. Сняли со бдына и двух кобылиц привели, привязали его между ними и, ударивши их по бокам, разорвали Мала на части — я видела, как разошелся и лопнул. Я крикнула Игорю: «Мал Деревский к тебе!» Волхвы голосили, и пела дру-жина: кончалась жертва.

Ров забросали телами — возвысился тын непролазный вокруг всей мо-гилы. Побито было пять тысяч древлян на кургане, а сколько в городе после — не знает никто: отдала я столицу дружине. И к рассвету город пы-лал единым кострищем, и едва мы убрались оттуда. И жалела я, что не было Свенельда, чтобы посмотреть на этот костер от владений его. Пovo-рачиваясь в седле, говорила сквозь зубы: «Смотри, христианин!» И не мог-ла уже пить кровь народа деревского, ибо выливалась изо рта моего.

На обратном пути послала в обгон себя слуг, и вся Русь мне вышла на-встречу: река пестрела от струг, когда начала переправу, две тысячи белых голубок пустили от лодок, так что затмилось солнце. Кричали: Ольга.

При входе в город сторожила меня вся верхняя знать с пирогами и со-лью, как если бы только сегодня я стала над ними княгиней, как если бы не была четыре десятка лет попираема ими.

«Что, князья светлые? — обратилась к ним после вина и лобзаний, — дадите мне на купеческий поезд в Царьгород? Собираюсь я в греки».

Придя в палаты свои, велела позвать ко мне моего монаха Григория, да нигде не могли его отыскать, верно, прятался от меня. Велела найти, достать хотя бы из-под земли, и его отыскали, да взять не могли с собой, оттого что боялись потерять в дороге — так высох.

Я сама пошла через город в посад, где был обнаружен монах, и заме-тила: улицы были пусты, как не жили здесь люди.

Заглянула в один и другой двор: где кияне?

«Хоронятся в домах, — отвечали мне, — сейчас достанем оттуда».

«Оставьте, не надо. Пускай себе хоронятся».

Киев меня испугался. Что же, будет больше порядка.

Григорий лежал на соломе в варяжском овине, такой же черный, как Игорь в земле, и едва на меня поглядел. Спросила:

«Зачем здесь улегся, вставай».

Ничего не ответил.

Хозяин двора (по всей вероятности, христианин) говорил, сотрясаясь от дрожи, что не знал-де, кого приютил. Спросила, что делал Григорий во все эти дни.

«Молился».

«Что ж ты его не кормил?»

«Кормил, матушка княгиня, зачем не кормить! да только не ел ничего, проклятый! Хоть силой его наполняй!»

«И сколько вот так лежит?»

«Почитай две недели».

Наклонилась к самому лицу монаха, взгляделась в глаза его ясные, как у младенца, спросила с усмешкой:

«Молился, поди, по мне?»

И едва услышала от него:

«Молился».

#### 4. ИИСУС

В год 945, в зиму, пославши вперед болтливых ямцов, отправилась поездом по Руси.

Путь мой лежал через города: Искоростень, Чернобль, Любичь, Смоленск, Полоцк, Псков, Великий Новгород. Я решила пройти свою землю всю, уходя от торной дороги вглубь и вправо, и влево. И для этого шел за мной бесконечный обоз. Я проходила сей путь впервые.

Мороз запечатал уста Перуна, и сквозь дымку блистал Даждь-бог. Я летела в низких санях посредине запушенной снегом Тетеревки-реки, и скоро должен был стать Чернобль.

Необъятны просторы Руси, по многу дней ни крыши, ни дыма. И когда ступаешь в сторону от дороги, меж становищ, открывается бездна. Стена лесов и множество рек, неизвестно куда и откуда текущих.

Одинок человек на земле этой и перед страшной силой ее беззащитен. Вот я, Ольга, княгиня Руси, объезжаю свои владенья, — разве я здесь хозяйка? В лесных трущобах, вдали от дорог, мы находили людей незнакомых и диких, не говорящих ни на одном из языков наших. Чьи это люди? И есть ли в них душа человеческая? Когда они голые прыгают в снег, удирая от нас, аки волчья стая.

Или прав Свенельд: эта дикая земля и есть — Русь? А на нее от трона ромеев идут варяжские сотцкие, чтобы здесь изодеться в меха, свежую безумный народ, как зверье для лова?

Свенельд.

А мои бояре? а наше княжье? чем они лучше? С этой земли богатеют, ее же грабят! И за одним данником-лихоимцем следом идет другой, и второй, и третий, забирая до кремня, до топора, до малых чад и исподней рубахи. И снимаются эти люди со своих мест, пожигая дома, и уходят в чашу. И пока варяги Свенельда передо мной, боярство мое и дружина моя — за моей спиной, против них. И оттого без варягов мне никуда: отпущу их вовсе или наши их перебьют — все мне горе. Мои заместят их в бесовстве, да так, как варягам и не суметь. И Свенельд про это знает. Свенельд...

Множество народов составляет страну ромеев, да все они понимают один язык, молятся одному богу, соблюдают один закон. И никто не обделен в удалении своем от Царьгорода, как не обделены живой кровью пальцы рук и ног человека от сердца груди.

В свой долгий поход на север взяла я книги, подаренные мне послами царя. *Благая Весть* — описание жизни их Бога, который сходил на землю. За этот мой путь и прочту. Варяги, успевшие креститься в ромейской стране, молятся в церкви Николы своим попам, которые так же жадны, как и наши волхвы, да к тому же еще ничтожны и лживы. Глаголят одно, а живут иначе, утопая в вине и блуде. Таков ли их бог Иисус?



В Чернигове нас встречал весь народ, одевшись на праздник. Кричали: Ольга. Не хотела я городов, в пути мне было вольготней, дышалось легче.

На ночь вставали шатрами, — светился весь берег; вечерами шумно, костры брехали с кострами; один начинал возводить небылицы, другой подхватывал, ввали без меры. Я ходила без церемоний, стараясь никого не обидеть. Так, если вчера была с купцами, сегодня с дружиной, то назавтра пойду к ямцам или слугам. Никогда эти люди не были так близки, понятны и необходимы друг другу. И не так ли бывает в военном походе? Не оттого ли, прошедшие эти походы, едва избежавшие смерти, уже алкают их повторения? И не таким ли должно быть движение всего народа через трупы и снега времени?

Однажды, выйдя к последним шатрам, остановилась против огня, в деревьях. Я видела сидящих, они меня — нет. Говорили о ведьме, оборотне-волчице, будто ночью летала одна или в окружении своих наперсниц, летала *навьином* по дитячьим дворам. И засовы дверей с ворожбы вскрывались, и врывались в ложницы спящих и пили кровь от горла. От губ и лона. Иная баба, проснувшись, орет, а когда прибегают, она уже мёртва. И собаки мертвы у порога, и лошади в стойле. Волхвы деревские признали имя этой ведьмы-волчицы и мужа ее убили, и саму хотели схватить, да она обернулась. И весь деревский народ упрятала в землю. А чрево ее родит мертвецов, и сын ее, малолеток, летает с нею и плачет перед дверями дитя, и молит, пока ему не откроют, тогда они входят...

Я пятилась в чащу, ломая спиной кусты. Красна ваша байка! И когда оказалась от них далеко, схватилась за ствол, как за бдын на могильном холме, и взывала.

«Сие есть Моя заповедь... — читала я, заслоняясь рукой от слепящего света, когда сани мои летели середкой безмолвной реки. — Сие есть Моя заповедь: да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Снег выбивался из-под копыт, взметался радугой, я читала:

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: *не противься злему*. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую...»

Я думала, я ошиблась, перечитала заново: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...» Да он потешается надо мной! юродивый сын Господень! Читала дальше:

«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А а Я говорю вам: *любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас*».

Я остановилась, затем, чтобы перевести дух, но уже не могла не смотреть: в следующих строках объяснится вся эта чушь!

«Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? *Не так же ли поступают и язычники?* Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Я швырнула книгу далеко от себя. Так, что потом пришлось останавливать обоз и искать ее в снеге по всей реке. Разве василевс ромеев из любви к врагу своему побежал навстречу мужу моему, целоваться ему в уста? Так ли поступил, когда б пришел к нему Игорь один, без войска, в слабости и нужде?! Я читала:

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? *Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.* Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?»

Какую силу?!

К вечеру сбилась метель, мы встали. Носило снег, мы ушли в деревья. Люди мои выбивались из сил, рубили ветви, сводя обозы, воздвигали настилы. Костры невозможно было поднять, нас погребало. И пока одни отдыхали, другие бросали снег и били волков — окружила стая. И всю ночь и день, и другую ночь они выли, подступаясь; и когда крычала лошадь, бежали на крик, и в кромешной тьме все мешалось. И много потеряли коней, и людей тоже.

И ко второй ночи подумала: вот конец моего пути, и неизбежные эти леса погребут меня здесь навечно. И волки выжрут мне сердце княгини-волчицы, и все, что строила, здесь оставлю.

Я иду по этой земле, как идет таран, вышибая ворота, закрытые для меня. Вхожу в города и указываю твердым перстом:

«Вот мои погосты, вот здесь и здесь! И там, и везде, где их ставлю. И к моему возвращению чтоб был здесь и двор, и тын, и потребное данцам, и лошади, и охрана. От города твоего — сюда в это самое место; и от селения ближнего твоего — сюда, в это самое место. И не будет места другого по сбору дани на вашей земле. И в погосты мои выбирайте людей честных, коих подкупить нельзя. Потому что если подкупят их, не только самих, но и тех, кто купил, и тех, кто их выбрал, — живьем зарюю! И сюда, от каждого костра, и плуга, и дыма единойды, в то время, которое я назначу, ни раньше, ни позже, — свозить все дани от ваших земель. И сверх того никакому другому данцу ничего не давать, будь он хоть Ольга Киевская или воевода Свенельд. А коли принудят силой, зовите соседей в помощь; а ежели, после того как позвали, поленятся к вам прийти соседи ваши, посылайте ко мне с именами этих несчастных.

Размеры дани устанавливать буду сама по совету старейшин, и сверх того — ни единой шкурки! А ловища зверя и птицы твои вот здесь, а твои — вот тут, от места этого до того предела. И взятый в промысле на чужой земле судим будет».

И когда говорила я так по местам и местечкам, а они о том забывали, я возвращалась:

«Говорили мне от города твоего, что не хочешь ты и старейшины твои брать в содержание мои погосты, оттого я вернулась. Ничего, что потеряла неделю пути, потеряла бы больше. Кем ты себя считаешь? Осиною? дубом? вязом? Так я тебя вырву! Со всеми твоими корнями из этой земли, как сорняк! Я — Ольга. И не будет больше разгула в хозяйстве моем. Я — Русь!»

Дойдя до Угры-реки, повернули к исходу Днепра, а оттуда — к Великой. Сорок лет и три года не была я на родине своей. Плесково. Город встретил меня, как встречают родное дитя, старейшины плакали, народ величался; я целовалась с боярством, и стариками, помнящими меня, и с дальней моей родней. Меня водили по улицам отрочества моего. Когда-то бескрайние и широкие, улицы эти оказались узки и убоги, и то, что мнилось хоромами, вышло в клетки.

Вот и дом, в котором я жила у дядьев моих. В комнатах тесно, темно, и жарко, и людно, — незнакомое мне потомство; я вышла. Вот за этим забором был двор Прастена, где меня всегда ожидали соседи мои, близнецы,

они старше на год. Я к ним вылезала дырой, и, скатившись с обрыва, оказывались на Великой. И были у братьев, сведенные в желоб, двудоскасани, на которых летали с покату на лед, на зависть левобережным. О, как величались мы этими санями! Пока я не утопила их, пролетевши с обрыва до середины реки и врезавшись неожиданно в пройму. Да так, что я покадилась по льду, а двудоска-сани ушли под воду. И долго не знала я, как искупить вину мою перед близнецами и отцом их.

И вот они вышли ко мне, живые, одетые в чистое, старички. Одинаковые, как прежде. У обоих заместо глаз дыры, залатанные дурной кожей.

«Где же потеряли глаза ваши?» — спросила, когда обнялись.

«Оставили в греках».

«В каких же это вы греках были?»

«А в первый поход Игорев».

«Да разве я знала, что вы там были!»

«Мы были».

«Да разве знала, что вас примучили так!»

«Было такое».

Я поцеловала их. По губам поняла, что плачут.

«А помните наши сани?»

«А как не помнить!»

«Мои вам теперь оставляю. Потрогайте их, хороши ли будут».

Подошли, потрогали:

«Хороши. Хороши, матушка княгиня».

Ну вот и ладно.

Новгород меня не принял. Бояре Рюрика меня не ждали и размещали мой поезд с принуждением плохо скрытым. Я собрала совет, говорить о моих погостах. Слушали молча. И прежде того, как начала им говорить, уже знала, что не примут погосты мои, наперед о том сговорились. Ну что же, хотите против меня стоять? рюриковичи, новгородцы, свободные люди. Меряться силою будем?

Я встала. И вече их поднялось: двенадцать. И вдруг я вспомнила: Иисус на тайной вечере ученикам своим вымыл ноги, отер полотенцем и так говорил: раб не более господина своего; и господин, омывая ноги рабу своему, не становится оттого рабом его.

Я сказала:

«Вот я, Ольга, вдова Игоря Старого, именем Олега Вещего прошу вас, бояре. Не силой моей прошу, а слабостью земли нашей. Ибо против силы моей вы поставите свою силу, а что можете поставить против слабости нашей общей?»

Или страшные версты, коими пришла к вам? Сожженные деревни? глухие леса? Города, затворенные точно хутора на разбойной дороге? А что за польза от их затвора, когда их берут осадой в два дня, расправляясь с мужами и насилуя чад и женщин?

Кто? Кто тать городам русским: Дебрянску? Трубичу? Рогачеву? Смоленску?.. Может быть, степь? или ляхи? шведы? Да и ляхи, и шведы, и печенеги, и прочая дрянь — да не от них убегают в леса, забираясь в трущобы рыкающим зверьем! Не от них готовы зарыться в землю! Есть тать на человека русского пострашнее ляха и печенега. Кто? Да человек же русский! Княжье, боярство, тиуны, челядь, большая и малая сволочь от всех городов и сел, начиная от нас с вами. Или не я втоптала народ деревский в землю за то, что ободрал его сначала воевода-варяг, а потом и Великий князь Рюрикович!

И вот что теперь скажу, бояре: может ли наестся человеческая гордыня? И коли сожрет вокруг себя все, что будет дальше есть? Не свое ли сердце?

Вот среди нас князь Рюрик и Олег Вещий и ими нам преданная земля, решайте сами».

Подписали бояре новгородские веления мои на погосты по Мсте и Луге. И провожали меня достойно, снабдив мой обоз сверх того, что нужно.

«Я есть истинная виноградная лоза, — написано было в той книге, которой бросалась в пути, — а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода».

В лето 945, в купальские ночи, я крестилась в Иисуса Христа, Отца Его Небесного и в Святой Дух на реке Днепр под Киевом от руки священника моего Григория.

И кроме меня и него никто из людей про это не ведал. В то же лето с купеческим поездом вышла в греки. И к месяцу Серпню была уже в Судах.

## 5. КОНСТАНТИН

Серпень я стояла в порту под Константинополем, при входе в залив Золотой Рог. Я и мои бояре, числом двенадцать, от всей нашей родни и русских князей. А также сорок четыре купца, мой священник Григорий и отроки. Всех же со мною более ста в свите.

Василевс давал на посольство русов солидную месячину и звал меня в город, да я не шла.

Бояре роптали, сбивая на отъезд, а я все ждала. И пока корабельщики меняли оснастку судов, а купцы торговали, принимала людей царя, говоря о любви моей к августу.

Вот передо мною столица ромеев Царьгород. Красив расположенный по холму, сверкающий голубизной куполов город — войду ли я в него? Столица мира, посредине которой в пышном дворце, в золотом Соломоновом кресле ожидает меня Константин. А я не иду.

В ясные дни гуляла в порту, разглядывая суда. Какие только флаги не были тут! какой только речи нельзя было услышать! Многие князья и королевичи от разных народов живут и растут при дворе августа, питаюсь не только хлебом его, но и всем, что видят и слушают здесь.

Бежавшие от смуты и распри родичи всякого там *княжья* находят у василевса прием самый бережный. Царь царей содержит их всех на тот случай, когда сможет водворить их обратно на стол отцов и братьев с выгодой для Ромей.

А может и выдать, ежели в том будет сия выгода.

Победить Византию нельзя, ее можно только уничтожить. А уничтожить можно, собрав все силы вокруг. Но зачем?

Повернувшись лицом на город, увидела купол храма Софии. Вспомнила с усмешкой о книге, которую читала во весь мой путь:

«Истинно говорю вам: раб не более господина своего и, уничтожив господина, раб не возвысится, а потеряет самую возможность возвыситься» — так ли было сказано, или я добавила от себя?

*Варварская земля* — так называют нас в империи: *скифы*. И нет для них, греков, разницы в том, болгары ли, русские, печенегии... Мы — *тавроскифы*. И простой ромейский народ презирает нас, как и остальных, впрочем. Армяне коварны, готы надменны, а мы жестоки.

И всех нас, подступивших к жирному телу Ромей, они стравливают между собой. Стараясь при этом заручиться военной поддержкой каждого из нас против каждого из нас.

Печенегов держат против нас; нас — против печенегов.

Болгары для них — кость в горле. Царь Симеон насолил им крепко, сотрясая ромейский трон. И чуть было не овладел им вовсе! Что бы с ним делал?

Варяги и русь, по договорам Византии с норманами и нами, составляют лучшую часть имперского войска. Персы, арабы, турки дерут ромей-

скую плоть с востока, а с севера — мы и болгары, и те же норманы, и многие с нами, когда мы свободны от договоров или в нарушение обязательств — отай.

И именно Византия втянула нас в отношения с соседями нашими западными: против нее, и от нее, и вместе с ней говорили мы с соседями василевса.

И величаемся друг перед другом, и оцениваем себя тем, как примет нас царь царей, каким почетом, какие подарки нам даст и как назовет: «архонтесса русов» или «дщерь моя» — это очень важно! От этого будет зависеть и торговля наша со всеми странами, и голос на совете царей.

Василевс ромеев, наместник Бога, господин всей земли... Да разве Иисус научил его?

9 сентября, в лето 946, я вошла во главе моей сотни в город.

Мы вошли в Царьгород под звуки труб. Когда Золотые ворота открылись перед нами, на той стороне ожидали всадники в белом — именитые витязи.

Город вставал перед нами колоннами и домами такой красоты, что люди мои, не бывшие (как и я, впрочем) здесь, восклицали и прыгали в своих седлах.

Мой Киев сжался в сердце моем, как хворый детеныш. Я ехала молча.

Во дворе василевса меня и ближних моих провели торжественно в залу Магневры, сверкающий от различных камней и золота.

Мы встали перед завесой; солнечный свет с другой стороны ее лежал на ней полосами. Раздался хор, завеса ушла, и я увидела залу и трон. Перед тронном стояло дерево из позолоченной бронзы (я знала уже про это), и на ветках его крутились птицы, составленные из мельчайших золотых пластин, — и про это я знала. По сторонам стояли огромные львы, они били хвостами, рыча, разевая глубокие медные пасти.

Я также знала, что трон василевса, когда подойду, с ним вместе уйдет под своды палаты и там с золотого платья василевс в мгновение ока оденется в пурпур.

Я огляделась. Помимо Константина неподалеку, по левую руку царя, сидели его жена и сын и, должно быть, его невестка. Справа стояли бояре. Послов, и высоких князей, и царей подводит к трону ромеев евнух, да я не стала его ожидать — когда завеса раздвинулась вся, я пошла прямо к Соломонову креслу. За мной — женская часть посольства: от Предславы и ближней моей родни до моей прислуги.

Я шла не спеша и все же споткнулась: сверху на меня пролился могучий и многообъемный звук. Так это, значит, и есть *оргán*.

В пяти шагах от трона я встала. Послы и цари опадали здесь ниц; я слегка поклонилась царю царей, продолжая прямо стоять; я ждала. Я ждала, когда он взлетит к потолку, но трон оставался на месте. Механика, что ли, сломалась? Или мне уже такая честь, что меня не стращали?

Я смотрела в глаза императору, был он не стар. Мы глядели друг другу в глаза, как смотрят два волка, уставшие от бесконечных травль и собственных стай, понимая друг друга. Толмач от царя, логофет, спросил меня о моем здоровье. Не отрывая взгляда от Константина, сказала: «Здорова. Здоров ли царь?» Логофет потерялся, как щепка в стружке, и долго переводил, наврав от себя. Мои люди внесли дары, разложив на коврах в середине залы. Вновь заиграл орган, прием был окончен.

В тот же вечер меня и женскую часть моего посольства принимала в своей зале императрица Елена. Я сидела с ней рядом. Елена, царица ромеев, в обращении проста и мила. Некрасива. Множество хоров мужских, и женских, и детских сопровождали обед.

Мужи мои в то же время обедали с Константином и сыном его Романом в золотой палате. Сошлись за сладостями в зале Двенадцати лож. По коврам громоздились блюда; я возлежала рядом с царем и говорила

с ним о пустом. На шестах высоко над нами ходили голые акробаты, и когда мужи мои восклицали, василевс улыбался. Я все хвалила. Константин подарил мне блюдо из белого золота, украшенное камнями и полное серебра. На отдых нас отвели в различные покои дворца, и после короткой дремы царь меня пригласил к себе, в небольшую залу, цветную от стекол.

Я увидела василевса, и августу, и их детей, сидящих кругом в пскатых креслах, одно из которых было пустым. Это кресло было мое, я села. Такой чести не удостоивался никто из посольств и царских особ земли, я это знала. Для того и стояла месяц в Судах, в порту, с упрямством ослицы, отказываясь войти в город. Я, не василевс, устроила себе церемонии сии, оговаривая баснями да прибаутками каждый свой шаг во дворце царя. Целый месяц я сводила с ума его царедворцев-бояр волчьим характером *всадницы-архонтессы* и добилась того, чего хотела!

Я сидела в тесном кругу семьи и говорила с царем, как с другом. Мне нужен выход к Понтийскому морю, Константину — моя военная помощь против хазар и арабов. Императрица лучшего в мире войска обещала царю свою поддержку.

И когда довольный мною август хотел перейти к болтливой лести, не дала ему этого сделать — тебе споткнуться теперь! — сказала тихо, приблизившись, глядя прямо в глаза:

«Хочу креститься от тебя».

Молния не поразила бы его сильнее, и я повторила:

«Хочу, Константин, от тебя креститься. От тебя и от патриарха твоего в Бога Отца и Сына Его и Святой Дух. Хочу креститься в Иисуса Христа от тебя — царя и наместника Бога на этой земле».

Василевс откинулся в кресле:

«Когда ты хочешь креститься, любезная наша дочь?»

Дочь! Любезная наша дочь!

«Немедля».

«Могу ли сказать о том патриарху?»

«Нижайше о том прошу».

Михаил Болгарский и Карл Фракийский получили от царя право называться василевсом Болгарским и василевсом Фракийским; Олег, прибывший к воротам Царьгорода щит, назывался всего лишь светлым князем, а Игорь — великим князем и другом; а я, архонтесса Руси, — *царская дочь!!!* И не уйдет ромейский архонт от того, чтобы и мне со временем выдать титул *императрицы русов*.

Крестил меня патриарх; Константин был крестным отцом. Крестилась в Софии, одна, опустившись трижды головою в купель. Теперь рука не Григория, а патриарха толкнула мою макушку вниз: «Обновися, тварь!»

И уже не нарекутся во мне богом ни солнце, ни огонь, ни источники, ни деревья! И приду я с крестом Господним на Русь, и выйду на капище, встану лицом к народу, освещенная крадой огня, спиной к Перуну: «Вот, принесла вам от греков крест!» И не примут мой крест, и волхвы принесут меня в жертву Хорсту, обменявши княгиню на дождь! Стоит ли княгиня Ольга одного дождя?

И второй раз в купель!

И в наших песнях есть свет и добро, да нет Бога Единого, возглашающего царство Истины и любовь к человеку вперед всего остального; и ежели не возьмем мы слово Иисуса в закон, не уймутся кровавые реки, затопят землю.

Не поймут меня ни мои бояре, ни мой народ, ни мои христиане-варяги, — никто. И слепые мои близнецы не поймут, для чего я принесла от греков крест, именем которого повынули им глаза. И расправится со мною народ, как расправились болгары с Борисом за его крест.

И в третий раз с головою в купель!..

В крещении моем получила я имя Елена от великой Елены, принесшей крест византийской земле. Крестилась я дважды, что было противно христианскому правилу.

## 6. СВЯТОСЛАВ

Мои бояре (во главе с Ивором) по дороге назад молили меня, чтобы я сокрыла от народа мое крещенье. Если бы я знала, с какого угла поднять мне этот пирог! — я дала им слово. Как будто словом можно такое сокрыть.

Мы тащили волоком наши суда по бескрайней нашей земле, потерявшиеся в ней; я, вспоминая дороги греческие, думала о том, что мы только мним себя владельцами этой земли, а на самом деле — она безраздельно властвует нами, отпуская из себя на короткие наши годы и забирая в себя по сроку, оставаясь такой, как была. И того нам довольно, что живые пройдем сквозь нее сейчас, таща свои лодьи от греков и в греки.

Киев встречал наши струги пестро, ожидая диковины из Царьгорода. Душа моя истребилась во мне, превратившись из сытой волчицы в хорька, поедавшего сердце: смотри, Елена! вот этот нищий и сирый город и есть столица твоей Руси, великий и страшный для мира Киев! А бесконечные эти славяне в чистых на праздник рубахах — то, чего ждет от меня василевс: мясо для рубки хазар и арабов. И мое крещение от патриарха и крестного моего отца, Константина, в Святой Софии — залог того, что я это мясо ему пошлю. Брошу один полудикий народ на другой такой же; а мы, цари, крещенные в мученичество Иисуса Христа, будем беседовать, сидя на тронах своих золотых, о пользе души в человеке.

Войско Руси я царю не послала, нарушив тем целованье креста. Василевс напомнил о том, грозя отлучить от церкви, да мне его церковь была не нужна. «Войди в комнату твою и, затворив дверь, молись Отцу твоему, Который втайне», — говорил Иисус. А грозы царя отвести легко — крещение Руси для него важнее любого войска.

Крещение Руси... Легко было думать об этом в Константинополе!

В вечер второго дня, по прибытии в Киев, волхвы, не давая мне время на думы, собрали требы. И вместо обычных десяти дней подготовили капище в вечер второго. Княгиня русов, верховная жрица народа, должна была стоять под столбом Перуна: по знаку ее руки зажигается тук, а затем в хоромах она возглавляет столы с требным Перуну, и Роду, и Волосу-богу.

О, я бы могла и одна опрокинуть Перуна! И, взявши огонь от жреца, поднести не к запалу кострища, а к сухому и голому бдыну Воителя-бога, он вспыхнет мгновенно! Обнимется пламенем тотчас... А люди мои, по знаку моему, порубят волхвов и кощевную чадь на глазах у толпы и восставят мой крест на Перуновом месте...

Весь город ждал от меня, что я сделаю так. Дружина ждала в напряжении страшном, опасаясь, что им *прикажу*; христиане молились по мне, затворившись в церкви святого Николы, готовые ко всему; и Свенельд с варягами ждал, насмехаясь над мною, уготовив втайне свое избиенье славян (я знала про это); и волхвы ожидали смерти своей, убирая капище к жертве невиданно-страшной...

Народ согласится на все, что угодно, когда ему выплеснешь в лицо полную чару крови — еще теплой, дымящейся, родственной каждому! Так уж было! И до меня, и со мной, и будет после меня, княгиня-волчица могла бы такое содеять.

В той самой Софии, в которой крестилась в Иисуса, я видела купол. Он дымился от нижнего света и будто парил, непонятно на что опираясь. Когда я смотрела наверх, голова моя закружилась, рот пересох, я оглохла. Завалилась на спину, пол потеряв под собой, да совсем не упала. А лежала, покоясь в пеленах из тонких лучей, и тогда услышала *Голос* ко мне. И

сила этого *Голоса* была такова, что, казалось, и самую землю *Он* мог, при желаньи, разрушить.

Я видела багряницу *Его* и венец из терновых шипов, от годов превращенных в камень. Разве не мог *Он*, будучи *человеком*, предательски взятым и влекомым на лютую казнь, — разве не мог *Он* силою Отца Своего, той страшной силою, которую выказывал раньше по пустякам, — разве не мог уязвить врага своего? Что стоило Ему затопить Иерусалим кровью и восстановить Царствие Свое?

Мог или не мог?

За час до выхода, когда убирали меня, вошла моя Инга и, приблизившись, долго глядела в глаза. Я сказала: уйди. Не нужна мне сегодня: я в силе.

Я шла к святилищу, как обычно, впереди княжья, через мой народ. Все они, от холопа и смерда до высших бояр и волхвов, *ждали* от меня. Тишина была мертвой.

Выйдя из круга, ступила на капище; рядом с Перуном стояли волхвы; обратившись к ним боком, пошла вдоль переднего строя бояр и встала в дружину.

Княжье смешалось, точно птенцы, потерявшие мамку. Я сделала знак им: идите. И вступили на камень одни, без меня, сотрясаясь от страха.

Когда возопили жрецы, и схватилось кострище, и упал на колени народ, я осталась стоять — одна посредине холма Перуна, напротив идола; Русь за мною с содроганием глядела на спину мою, не веря глазам: христианка-княгиня! И когда окончилась жертва, стояли молча. Я пошла к хоромам, княжье потянулось за мной по верху капища.

Когда вошла в хоромы, миновала кресло Верховной Жрицы и села на скамьи дружины. Когда расселись, сказала, указуя на пустое место: «Вот кресло Олега, и этот праздник — его торжество». Мне подали кубок (принесенный с собой), я сказала: «Вот кубок Олега, его поднимаю во славу Руси, за доблесть русского витязя, нет вам подобных! И не я вам про то говорю — император ромеев. Так мне сказал: лучшее в мире войско — твое, а лучший в мире воин — русский».

Слова мои потонули в крике, потрясшем хоромы; простилось мне все — и крест мой, и капище, и пустое в хоромах кресло; и снова я победила волхвов и мое боярство, да как надолго?

Не было в Киеве говорящих на меня явно; всем в этом городе и в этой стране (кроме меня самой и Григория) хотелось забыть о моем крещении, как забывают дурной сон. Христиане-варяги опасались, что крест, принесенный мною, переполнит чашу терпения народа и пожгут их темной ночью отай, а с мечом против красного петуха не выйдешь. Попы Николаевой церкви боялись того же и прощали мне пропуск их служб великодушно, когда же к ним приходила — дрожали как лист, и если не гнали от порога их церкви, то лишь оттого, что боялись меня не менее боярства, волхвов и народа.

Всем я стала — кость поперек горла: посадский люд с городским помалкивали — боялись волхвов; волхвы боялись меня дразнить, ожидая, когда велю их зарезать; дружина была мне верна, но страшилась, ждала, когда начну принуждать на веру.

Свенельд... Швед опасался поболее других; вольготно было ему ходить по землям *поганных*, попирая их своей «христианской» пятой. Пяту эту вырву, дай время!

Время... Не пришел Ты ко мне, Господи, ни в тридцать, ни в сорок моих лет, — на исходе пятого десятка открыл мои очи, Господь мой; да на все Твоя воля и срок. И если пришел со мной в эту землю, то не оставишь меня и укрепишь мои силы, ибо только сейчас поняла, какой одинокой была я все эти годы



И вот насмешка мне: чем больше и радостнее чувствую, что не одна я на этом свете, тем меньше людей остается со мною рядом.

Я спрашивала Господа моего, и Он отвечал мне. И не было вопроса моего, на который бы Он не имел ответа. А я все спрашивала, жадная, как земля, алкающая воду после засухи.

Погосты мои расхищали и жгли. Города не давали им хлеб, и люди из них уходили. Дани в указанный срок не несли, ожидая, когда за ними придут к кострам. Тысячу лет эти люди жили так и теперь не хотели и не могли жить иначе. Я ввела жестокий надзор и смертный приговор за неисполнение указа, и многими человеческими плодами украсились деревья по землям Руси.

Григорий приходил ко мне со святой иконой Матери-Богородицы, я преклонилась. Она смотрела мне в сердце, Мать моего Заступника, — не могу! Не могу я иначе; одного казню — спасу от голода и вымиранья сотню!

Эту землю мне дал Господь, Он спросит: что сделала с ней? кого спасла? сколько людей накормила? дала ли им кров? защитила от их врага? — Твой Сын меня спросит.

Григорий просил отпустить его в греки, коли не нужен более мне. Спросила его: отчего не нужен?

«Оттого, — отвечал, не глядя на меня, — всеблагая княгиня, что крест, принесенный тобой, переданный тебе Святою Еленой...»

«Довольно! — оборвала его, — закон мне нужен на этой земле допрежде креста! Потому что земля без закона выплюнет крест из себя, как его ни вбивай! Не хочешь мне помогать — уходи! Не держу тебя боле».

В третью Пасху по возвращении моем из Царьгорода Григория убили на выходе из Южных ворот тяжким ударом в затылок.

Кто?!

Притащили какого-то полудурка, якобы он убил, говорил бессвязно. При Григории был дорожный мешок с иконой Святой Богородицы, книгой и хлебом. Икона и книга были бесценны — они ничего от него не взяли. Господи, прости меня!

Император слал мне свое духовенство, чтобы я крестила сына и моих бояр, я отсылала греков обратно. В то время как поднималось княжье от земель на мои налоги, и скандинавы взбесились от моих погостов по Мсте и Луге, и в Вышгород приходили пустые обозы от Чернигова и Смоленска, не могла ярить бояр и дружину, дразнить царскими попами — отправляла назад.

Мой сын Святослав, наследник Русской земли, едва исполнилось ему семь лет, ушел из женского дома: забрал его Асмуд. И видела сына моего только на церемониях да на братчинах, на которых сажали его в мое кресло.

В лето 952 я заложила в Киеве церковь Святой Софии.

В двенадцатый день рождения Святослава я посетила ристалище, где состязался Великий князь. Он выигрывал в беге, в метаньи копья и в скачках. А когда обозначили место для пешего боя, он встал против двух и вытеснил их за черту. Асмуд в замену поставил бойца, про которого говорили, что он лучший в дружине Свенельда, — когда они сшиблись, мой сын отступал и шел по черте, но внезапно озлился и, визжа точно зверь, стал кружиться и прыгать. Он был коренаст и широк в плечах и ходил точно смерч; и давно уже вышли они из черты, а князь все рубил, — стали кричать; дружинник отбросил свой меч, закрываясь щитом, и уже был изранен; Асмуд, к ним подойдя, говорил Святославу, да тот не слышал.

По случаю праздника я пригласила сына к себе на обед. Вдруг, во время трапезы, вынесли меч и щит Игоря Старого — то оружие, что было на муже во второй его византийский поход. Я сказала князю: «Они твои». Впервые я видела радость на широком лице сына; холодные глаза его по-

теплели. Я сняла мой нательный крест. «Вот крест мой, — сказала ему, придвинувшись близко, — коли примешь его ты, Великий князь Святослав Игоревич, то пойдет за тобой и дружина, и Русь, как за мной не пойдет, — *крестись от меня!* И обнимем одною верой все наши земли, скрепим единым законом. Нужна нам сила, которой сейчас не имеем и которая только с крестом на нашей земле возможна».

Он гладил ножны, затем сказал: «Дружина моя смеяться будет».

Для Софии я вызвала из Царьгорода высшее духовенство. В год 959 умер Константин, мой крестный отец.

Власть от меня уходила. И ближние мои ускользали из-под меня. И когда хотела наказать раба — уходил из города или затворялся в тех домах, от которых уже не могла его взять. Боярство мое приходило ко мне все реже, обращаясь к Свенельду, Асмуду и Святославу; и уже не могла опереться на дружину Руси, ибо вступил во владение ею сын.

Святослав готовил большие походы и брал земледельцев от пашен, сыновей и отцов; и сбросила моя дружина купечество, как лошадь, носившая на себе ненавистного седока, — торговля с греками прекратилась.

И вслед за моими данцами по Смоленскому кругу проходила дружина, а вслед за нею — княжье; и двинулись люди в лесную глушь, и не только от селений уходили, но и от городов тоже.

И когда хотела наказать разбой, не могла обратиться за помощью к Святославу, оттого что метался он по границам Руси, и где искать его, я не знала.

И затворились от нас соседи наши, ибо не было в мире другого Великого князя, который даже шатра и котла не возил с собой, ел сырое и спал под небом. И боялись его больше, чем Олега, Игоря и меня вместе взятых. И была в этом для нашей земли кровавая честь.

Церковь мою Святослав не тронул, но запретил молебны, крестные ходы и освящения.

Болезнь схватила меня: дубовые угли сжигают мозг, и одним именем Господа в моих устах еще держусь на этой земле. Для чего?

Меня навестили волхвы. Зачем? Я давно не беседую с ними, чего им нужно? Пришли с кощунами петь для меня. Ну что же, пойте. «О чем ваша песнь?» — спросила волхвов. «О тебе, матушка», — отвечали мне. «Что же вы можете петь обо мне моему народу?»

Вот они стоят предо мной — могучие старики. И латынь они знают, и греческий, и обычаи других стран, и об Иисусе ведают больше, чем я, — они ученые люди. И вся моя жизнь прошла перед ними так, что не нашлось бы в ней ничего, что я могла бы от них утаить. И подумалось мне, когда они стояли передо мной: старые они и я старая, и нечего нам более делить, зачем не понять им меня? Ведь знают они, что крест для Руси неизбежен.

Кощуны запели. Сначала тихо, потом во всю мощь. Они пели мне о древлянах, побитых мною, о жестокой и страшной мести княгини-волчицы, гордясь ее делом. От своего оружия я умру, как нарушивший клятву князь. Мне стало душно. Не дослушав кощевье, покинула зал.

Во что я пытаюсь воткнуть мой крест? Или земля удержит его, когда душа удержать не может?

И не нужен этой земле Иисус. Мы кочевники, лютые волки, степь. Нас следует уничтожать, как уничтожают взбешенных собак, а христианство только продлит нам жизнь. И эта кровожадная тварь, когда окружат ее и загонят, всегда успеет одеться в овечью шкуру. И не я ли пытаюсь ее принести и дать этим людям? И все делаю, чтобы натянуть на оскаленную пасть, — зачем?

Зачем я крестилась? Во что? Не в эту ли силу, которой теперь они крушат все народы вокруг? Эта черная кровь! Не вылить ее из себя — это

моя кровь! Это кровь моего сына, и отца моего, и мужа — боярства, дружины, холопов, смердов!

Мой Боже! Когда отворил Ты мне зрение и увидела свет Твой — возликовала. И радовалась Тобой в себе, как чадам моим не радовалась в моем чреве; и шла к Тебе, и думала так: с каждым годом моим все больше уйду от мира в Твой свет — но дальше идти мне некуда: вся моя жизнь! А вместо света — тьма. Да не та, что таится там, за порогом, а та, которая настигла меня теперь, которую не хотела видеть во все эти годы, — тьма моей жизни. Всякой — и той, что была до креста, и той, что после. Ибо теперь ничто не застилает зрения моего и вижу ясно: каждое Твое слово *извращалось* в моих устах.

И не дала я свет никому из людей; истинной любовью не одарила ни одного из них: ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. И так думала: вот мой народ, которому сделаю хорошо, опираясь на силу. И так думала: одного повешу — сохраню сотню. А вижу теперь ясно: одного повесила и сохранила сотню, а теперь теряю тысячу тысяч. Тьма встала!

И попрошу я у Господа прощения, и Он меня простит. Вот мне и тьма будет, чернее деревской ямы.

Истинно говорю вам: не пугайте ваши народы. Ни одного человека, ни множество — никого. Не насилуйте, не убивайте (какого бы смысла и пользы ради) — тьма встанет. И вся ваша польза исторгнет кровь.

Я это сделала. И творила такое Именем Божьим.

Не нашла я силы моей на то, чтобы оплакать Григория, когда он умер. Так говорила: не время плакать по одному человеку. Истинно говорю вам теперь: плачьте по **Одному Человеку!**

Ибо в этом одном — Господь, и ждет Он ваших слез более ваших дел. Ничего не вижу.

---

Ольга Киевская умерла в лето 969 и была похоронена сыном Святославом в земле, по христианскому обычаю.

---

---

---

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ



## ЦАРСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

*Рассказ*

**К**узьму Демьяновича и раньше хоронили чуть не каждую неделю. Он в богадельне один, наверное, такой старый. Все его сверстники давно на кладбище, никого не осталось. Маркиан Филиппович из угловой, Уткин из тринадцатой — все отошли. А Кузьма Демьянович живет.

Ну а как перевалило ему за восьмой десяток, все уже точно стали ждать его смерти со дня на день. Вот приходит утром Шухнев со второго этажа, спрашивает:

— Не помер еще? Нет? Смотри какой живучий... А что это за пятно у него на лбу? Вроде бы раньше не было...

Селезнев, который возле окна, отвечает:

— Разлагается, наверное, гниет. Что же еще?

Кузьма Демьянович откроет один глаз, долго смотрит на Шухнева, признать не может. А как узнает, рукой слабо шевельнет — на тумбочку показывает.

— Ты бери себе... Все бери... Мне ничего не надо...

— Да что у тебя брат? — говорит Шухнев. — У тебя и брат-то уже нечего. Все растащили. Воры кругом...

Он лезет в тумбочку и достает коробку, обтянутую желтой кожей. На коробке написано: «Для лампы».

— Так я и знал. А где иконка царская? На ней еще надпись была: «Дорогой Анастасии. Царское Село». Кто же иконку взял? Этак у тебя все растащут...

Тут еще люди приходят из других комнат, Кузьмой Демьяновичем интересуются.

— Не помер еще? — спрашивают. — Что-то долго он зажился на свете. Прямо сказать — чужой век заедает.

Кузьма Демьянович шевелит рукой, знак делает Шухневу. Шухнев говорит:

— Вы берите... Кому чего нужно...

Гости роются в желтой коробке, выбирают. Кислевский из девятой взял распоротую бархатную пуговицу, Евлалия Павловна — пряжку от дамской туфли, каких теперь не носят, и розовую подвязку, Исая Лукич — запонку для воротника старомодную и такой же держатель для галстука. Матюхину, рабочему с кухни, достается пузырек с надписью: «Вера твоя спасет тебя».

Кузьма Демьянович еле слышно шепчет:

— От царства земного... Все, что осталось...

А Шухнев хитро оглядывает всех и подмигивает. Потом вытаскивает из тумбочки небольшой портрет в красивой рамке. На портрете мужчина в фуражке с кокардой, бородка, усы, взгляд задумчивый. Кладет он портрет на грудь Кузьме Демьяновичу и вытягивается перед ним в струнку:

— Да здравствует государь император Николай Второй! — и ладонь к виску прикладывает.

Со своей кровати тогда вскакивает Селезнев — и тоже руки по швам:  
— Всем на караул! Стоять смирно!

Народ, конечно, хохочет, прямо до слез.

Когда все уходят, Селезнев говорит Кузьме Демьяновичу:

— Тебя за твой царизм давно надо бы к стенке. А ты все живешь...

Кузьма Демьянович и сам не знал, для чего он так долго живет. Раньше вроде бы знал, так ему казалось. Он как родился, ему голос был. Чей это голос, Кузьма Демьянович так до сих пор и не знает. Может, батюшки, отца Николая, который его крестил, может, еще чей — неизвестно. Может, и вовсе слышал его Кузьма Демьянович еще до своего рождения, до своего явления на свет. Ему вроде бы даже так и помнится: лежит он скрюченный, стесненный, вокруг темнота — и голос:

— По-евангельски надо... По-евангельски...

И потом опять:

— Прежде земного ищи царства небесного...

Еще помнит, лежит он на кровати, а мать перед иконой на коленях:

— Господи, Царь Небесный! Помилуй нас с детьми нашими! Чтобы удостоились они царствия Твоего небесного...

Он представляет себе: не старый еще мужчина с усами и бородой, в фуражке с кокардой — Царь Небесный. Точь-в-точь как в календаре над кроватью. Мать, чуть что, в портрет тычет:

— Не балуй, Кузьма! Государь император на тебя смотрит...

Когда приходил сосед Савелий Стремоухов, тоже с бородой и усами, Кузьма спрашивал у него:

— А что это — царство небесное?

Савелий Стремоухов только рукой машет:

— Не жизненный у тебя сын, Евдокия. Весь в отца.

Савелий с отцом Кузьмы раньше приятели были. Они вместе курмышку на продажу гнали. Так у них на Урале вино называется — курмышка. У них для этого дела все приспособлено было в сарае. Главным-то отец Кузьмы был, а Савелий так, помощником у него. А потом отец Кузьмы пропал куда-то, сбежал из дома. Это еще при старой власти, когда царь правил.

Савелий нарочно в Екатеринбург ездил, думал, может, отец где в большом городе пристроился, лучше место нашел. Вернулся он и долго молчал, ничего не рассказывал. А потом проболтался как-то, вина выпил и не выдержал. Говорит, слышал в городе, будто отец Кузьмы шайку завел и грабит людей проезжих. Хотя, конечно, может, люди и врут, что с них взять?

Но только через какое-то время возвращается из Екатеринбурга заводской служащий Ермил Штукин, который ездил в город за подарками для своей невесты Натальи Корзинниковой. Так вот Штукин точно сказал, что отца Кузьмы изловили и сослали на каторгу.

Так за отцом Кузьмы и осталось: каторжник. Кто ни придет, непременно отца вспомнит. Особенно Корзинникова Домна Кирилловна, мать Натальи, штукинской невесты. Та взглянет на Кузьму — и на глазах слезы:

— Каторжник у тебя отец, Кузьма! Каторжник и разбойник...

А Кузьма отца и не помнит вовсе. Ему уже двенадцатый год, а он отца и в глаза не видел. Тут еще в городе ихнем такое идет — голова кругом. Повсюду солдаты шатаются с винтовками, у лавок очереди. В автомобилях матросы с женщинами разъезжают. На улицах то выстрелы, крики, а то музыка и песни поют. На главной площади особняк купца Семечкина с колоннами весь флагами красными увешан. Не флагами даже, а так, тряпками грязными. Там теперь комиссар Шиндель живет. Каждый день супруга его из дома выходит и в автомобиль открытый садится. На шее у нее, на руках — везде драгоценности.

Кузьма все дни на улице пропадает. Идет он как-то мимо храма, где отец Николай служит, а на паперти Сеня-босоножка. Босой, как всегда, без шапки. Ключки каких-то бумажек раздает и бормочет:

— Зачем царя арестовали? Зачем царя пленили? Россию губите. Не будет России без царя...

Тут откуда ни возьмись комиссар Шиндель с красной повязкой и два солдата. Схватил Шиндель Сеню-босоножку и трясет его.

— Если, — кричит, — болтать будешь, мы тебя убьем! Возьмем и застрелим!

А батюшка, отец Николай, вышел тут и вступился за Сеню:

— Не трогайте его. Он человек Божий, блаженный...

Шиндель как вскипятится:

— Всех разгоню, к чертовой матери!

Вынимает револьвер — и тут же на месте застрелил отца Николая наповал. В толпе, конечно, вопли, крик. Кинулись к батюшке, а он уже мертвый. Сеня-босоножка в стороне бормочет:

— Вижу! Вижу!..

— Что ты видишь? — спрашивают у него.

— Смерть пришла к батюшке с ангелами. Вынули душу его на золотую тарелку и несут в царство небесное... И поют, поют...

И опять Кузьма представил: царь в кресле сидит, вокруг генералы, господа важные. Одеты все хорошо, мундиры со звездами, ленты, ордена. Это и есть царство небесное. А среди них батюшка ихний, отец Николай. Сморщенный, сухой старичок, на груди рана красная. Смотрит царь на батюшку и плачет.

Тут Сеня-босоножка Кузьму в бок толкает:

— Кланяйся отцу своему...

«Как же — кланяйся? — думает Кузьма. — Известно, на каторге он».

Но не успел он домой вернуться, только дверь открыл — гость у них незнакомый. Куртка кожаная, повязка на рукаве, как у комиссара Шинделя. Весь гранатами увешан. Возле лавки винтовка стоит и сабля. На столе, конечно, вино, закуска. Мать говорит:

— Это отец твой, Кузьма.

У Кузьмы сразу в голове: «С каторги сбежал!» А мать мысли его читает:

— Отец теперь большой начальник. Красный командир. В Екатеринбурге командует. Вот навестить заехал.

Отец потянулся за вином, а у него на пальце перстень сверкает с крупным камнем.

— Подарок от царя, — говорит он. — Я теперь такой человек, все могу. Сам царь под моей охраной. Лично за государя императора отвечаю.

И узел какой-то из-под лавки достает:

— А это вам подарки.

Развязали узел — а там чего только нет! Подушка пуховая в розовом чехле, юбка нижняя из тонкой материи, скатерть, салфеток множество. И везде вензель — золотом «Н» и корона императорская. В самом низу ботинки женские из мягкой кожи, на пуговицах.

— Носи, мать! Ботинки знатные! От царских дочерей!

«Значит, правда царь арестован, — думает Кузьма. — Правда, что в плену».

Только мать от всех подарков отказывается, слушать ничего не хочет:

— Забери все обратно! Нам чужого не нужно! Неси, где взял!

И отец ничего, даже глазом не повел. Раньше бы, наверное, в драку полез, а тут ничего. Сидит вино пьет.

— Не хочешь, — говорит, — не надо. Неволить не буду. Я теперь все могу. Что хочу, то и делаю. Захочу — на царской дочери женюсь. Выбери, какую хочешь. А что ты думаешь? Мне теперь все можно!

Кузьма спрашивает у матери:

— Это что же? Разве он выше царя и всего царства?

Отец подышал на перстень и говорит:

— У нас теперь новое царство будет, свое... Выше земного и даже небесного... У нас по справедливости... Чтоб, значит, у кого ничего нет, тоже досталось...

Допил он свое вино и — из дома, и узел с собой забрал.

«И зачем он приезжал? — думает Кузьма. — Неспроста его Сеня-босоножка пророчил».

На другой день сидит Кузьма у окна, а во дворе Сеня-босоножка ходит. Камни с земли подбирает и в разные стороны разбрасывает. «Вот сейчас пойти и спросить у него», — думает Кузьма. Вышел он, а Сеня от него убегает. Бежит и бормочет:

— Милости просим... Милости просим...

Отбежит немного — и снова:

— Добро пожаловать...

Кузьма сначала за ним шел, потом остановился. Солнце ему в глаза бьет. Заслонился он рукой, и перед ним как бы видение. Там у них за домом сразу поле начинается, а на краю поля школа кирпичная в один этаж, с большими окнами. Школа давно пустая, туда и не ходит никто. А тут Кузьма видит — у школы в тенечке стол вынесен. За столом люди сидят, чай распивают в прохладе. Господа какие-то серьезные, человек пять. Перед ними самовар, чашки, сахар на блюде. Одеты все хорошо, костюмы дорогие, на пальцах перстни. Папиросами дорогими дымят. Слуга тут же — сливки подает. Слышит Кузьма, речь у них вроде русская, понять можно, только отдельные слова незнакомые, не разберешь. Кузьма сразу картинку в календаре вспомнил.

— Да что же это такое? — шепчет. — Царство небесное, что ли? Прямо под окнами? Откуда они здесь взялись?

И так Кузьме хорошо здесь: воздух свежий, тишина, птички поют. Казалось, он только подошел, минута, может, всего и прошла — а на самом деле день уже к вечеру, а он все стоит. Вот какое это место. Рядом с ним Сеня-босоножка поклоны до земли бьет:

— Князьям великим... Роду царскому... Милости просим...

— Ты что? — говорит Кузьма. — Вот дурень блаженный! Какие князья? В нашем-то городе? Откуда им здесь взяться?

А Сеня опять:

— Родственникам императорским... Добро пожаловать...

И тут человек какой-то из школы выходит. Пояс на нем белый, на поясе кобура такого громадного размера, какого Кузьма никогда не видел. Через плечо винтовка, тоже на белом ремне, на боку сабля. Сам весь гранатами увешан. Вынул он револьвер из кобуры и грозит:

— Ступайте отсюда! Не положено здесь!

Ночью Кузьма не спал, еле утра дождался. А как рассвело, опять к школе. Подходит и видит такую картину. По двору расхаживает вчерашний караульный с винтовкой и саблей. Перед ним в шеренгу господа, которых Сеня родственниками царскими называл. Первый — невысокий старик, лицо сердитое. Может, на самом деле он и не старик вовсе, но Кузьме он тогда стариком показался. «Генерал, наверное, — думает Кузьма. — Мундир только дома оставил». За ним — еще трое, помоложе, а последний совсем молоденький, наверное, немного старше Кузьмы. «Точно как в календаре», — снова вспомнил Кузьма. Караульный остановился перед одним из молодых, а тот руку ему протягивает:

— Здорово, стрелок!

Только караульный руки не подает, за спину прячет.

— Я не стрелок. Я — товарищ.

Походил он еще немного, потом снова остановился.

— По-человечески вас понять можно. То все у вас было, а теперь — ничего... Вам, как великим князьям, обидно...

Князья постояли еще немного во дворе, потом за уборку взялись. Двор вокруг школы и правда замусорен — дальше некуда. Кирпичи, битые стекла — свалка, одним словом.

Чудно Кузьме на князей смотреть, как они с граблями и лопатами управляют. Сердитый «генерал», тот за метлу взялся. Знай себе машет во все стороны, как дядя Флегонт, дворник, только пыль столбом.

Другие караульные из дома вышли, на князей смотрят, смеются. Один нацепил на старого князя фартук, для веселья, конечно. Все хохочут, прямо падают со смеху. Слуга только княжеский, рябой, с большим носом, не смеется. Караульный ему говорит:

— Вот она, слава мирская! Еще вчера трепетали перед ними! А теперь кто они? Последние люди!

Кузьма тоже сначала смеялся, а потом ему страшно стало. Вот сейчас, думает, сойдет с неба архангел с крыльями, выхватит метлу у князя и всех охранников метлой разгонит. Вроде того, как Савелий Стремоухов однажды огрел метлой Штукина Ермила, когда тот стянул у него бутылку самогона. Но никакого архангела не сходило.

Караульный с повязкой кричит:

— А где же сестрица царицынская? Ее бы тоже сюда...

И тут на крыльцо дама выходит. Смотрит на нее Кузьма — вроде ничего особенного. Платье длинное, серого цвета, накидка шерстяная, хотя на дворе тепло, платок белый до бровей. Вроде как у монашек из местного монастыря, которые по городу ходят. Кузьма еще подумал: «Эта в обиду себя не даст. Эта уж постоит...» А дама оперлась на руку князя и говорит:

— Скорбями нас испытывает, скорбями... Достойны ли царства небесного.

Кузьма даже сначала подумал, уж не поврежденная ли в уме.

На другой день с утра потянулись к школе телеги с лесом, досками — забор возводить. Солдат нагнали целый взвод. Князя и тут без дела не остались. До рубак разделись, помогать стали. Ямы роют, бревна таскают. Мокрые все, потные. И опять Кузьма ждал: вот сегодня уж точно лопнет у Царя Небесного терпение. «Не поганьте царство Мое!» И испепелит караульных молния огненная. А князя ничего, знай себе работают. Молодые особенно — веселые, все что-нибудь придумывают. Один, к примеру, наряжаться любил, чтобы смешить. Каждый час что-нибудь новое. Вот выходит из дома, а у него на голове черкеска пластунская по самые глаза. Или тюрбан какой-нибудь. Всем, конечно, смешно. А он подмигивает солдатам:

— Не унывай, служба!

Другой не столько копает, сколько в шашки с солдатами режется. Вынесут доску, на травку усядутся и давай в поддавки. Князь, с кем играть садится, непременно спросит:

— С какого года на службе?

Ну а с третьим и вовсе умора вышла. Этот, чуть что, в сарай бегал. Там у них за школой сарай, в котором вещи княжеские сложены и корзина какая-то большая стоит. Сначала-то не знали, что в корзине, а потом хватились — а там вино в длинных бутылках. Этикетки иностранные. Караульные, конечно, забегали. К обеду на автомобиле комиссары приехали, два человека. Один — коротышка в шляпе, другой — усатый, в военном френче. Долго по двору ходили, решали, что делать. А потом придумали. Подогнали к сараю телегу, погрузили корзину и покатали через весь город к реке. В шляпе который, за кучера сел, другой, с топором, сзади.

— В речке топить будем, — сказали.

Охранники как услышали, кричать стали:

— Вот дураки, вот дураки... У него денатурат один... А здесь вино...

Они долго еще потом кучками собирались, комиссаров бранили. Кузьма уже скоро знал всех охранников. Морошкин Иван Кириакович, который с повязкой на рукаве. Свистунов, самый веселый (который фартук на князя нацепил), Дедюхин, кочегар с броненосца «Александр Первый». Еще Портомоев с завода. Тот все говорил Кузьме:

— Ты бы хоть грамоту мне показал. А то я крестик взамен подписи ставлю.



Портомоев, когда выпьет, любил одежду княжескую надевать. Вырядится в жилетку, галстук и ходит, перед приятелями щеголяет. Один раз и вовсе в женском белье вышел. Так весь день и ходил.

Дедюхин, кочегар, тот другое занятие нашел — в вещах княжеских рыться. То кольцо у него серебряное на пальце, то портсигар с монограммой. Карманы всегда оттопырены какими-то флаконами, пузырьками. Однажды жидкость неизвестную выпил, рыжего цвета, чуть не помер. Сутки пластом лежал, думали, к утру кончится. А он ничего — выжил. На другой день снова на ногах. Только икал после этого долго и запах из желудка нехороший шел.

— Черт знает что у них там было, — говорит. — Горлодер какой-то... Разве можно таким пользоваться?

Морошкин Иван Кириакович, тот у них старший, вроде коменданта. При нем австриец был пленный, Адольф. Сапоги ему чистил, самовар ставил. По утрам Морошкин выносил на крыльцо табуретку, садился нога на ногу и подзывал самого молодого князеньку:

— Ступай в комнаты, табаку принеси...

А когда тот принесет, Морошкин говорит:

— А теперь стихи читай! Своего сочинения! Да погромче, не бормочи!

И пока Морошкин самокрутку свою выкурит, князенька стихи ему читает. Голос у него тонкий, ломается от волнения. Еще Иван Кириакович любил с великой княгиней разговаривать, вопросы всякие задавать. Вот спускается она во двор, монашки при ней, Варвара и Екатерина. Расстелют одеяло, сидят ангелов вышивают. Морошкин — тут как тут, рядом опускается.

— Это правда, — спрашивает, — что вы убийцу простили, который супруга вашего убил?

— Правда, правда, — отвечает за княгиню монашка, не то Варвара, не то Екатерина, полная такая, с круглым лицом. — Матушка к нему в камеру явилась. Как сестра во Христе к брату безумствующему...

— Не судьи мы вам и не порицатели, — добавляет другая монашка.

А княгиня говорит:

— Видение мне тогда было.

— Какое еще видение? — спрашивает Морошкин.

— Когда бомбу кинули... Я взрыв услышала, прибежала, как была, без шляпы. Вижу — обломки кареты. А среди обломков — голова Сергея Александровича, супруга моего. Потом рука еще, палец один. И вижу — фигура какая-то ходит, останки собирает. И говорит она мне: скорби посылаю для спасения... Я тогда поняла, кто это был. И ушла в тот же день от мира...

Морошкин помолчал, потом спрашивает:

— А кто же это был?

— Известно кто, — опять вмешивается монашка круглолицая. — Царь Небесный...

Морошкин лениво так:

— Ну, если всех прощать, на голову сядут. Нам вот терпеть и прощать некогда. Нам царство новое строить надо...

Так до обеда и проводили они время в разговорах. Обед им иногда на улице накрывали, если погода хорошая, прямо перед крыльцом. Кормили их, надо сказать, бедно. Корзинникова Домна Кирилловна говорила:

— А что вы думаете? У народа нет средств содержать царских родственников.

Домну Кирилловну как раз поварихой приходящей взяли, она про княжеский стол все знала: котлеты вчерашние, хлеб черствый, картошка, если от ужина останется. Да Кузьма и сам видел, как им накрывали. Ска-терть никогда не стелили, на шесть человек клали четыре ложки. Караульные здесь же, вместе с ними за стол садятся. Свистунов, тот особенно: развалится рядом с княгиней, фуражка на голове, сам распоясанный, во рту

папираса. Если на обед макароны, он руками их прямо с княжеской тарелки брал.

— Вас еще ничего кормят, — говорит.

Сердитый князь вспыхнет, Кузьма думает — вот сейчас даст он затрещину Свистунову и прикажет в солдаты его. А матушка — князя за руку:

— Возри на Царя Небесного. Какие гонения терпел. Не от чужого народа, от своего. Нельзя спастись по-другому. Только через терпение.

Этот Свистунов особенно князьям досаждал. Как пьяный напьется, все возле них с гармошкой ходит и песни всякие орет.

Портомоев тоже куражился перед князьями, но по-своему. Как выйдут они гулять, он нарочно здесь же вертится и звуки неприличные издает. Княгиня с низеньким «генералом» под руку ходят. Тот было опять побелеет весь, а она его осаживает:

— Не бегай скорбей, не бегай скорбей... Сердце испытывай бесчестием... Без скорбей не войти в обитель небесную... Узки врата...

А князь громко ей:

— Не пойму я, отчего ты такая бесчувственная... Блаженная прямо...

Старый князь вообще самый сердитый из всех. Бывало, подойдет к коменданту Морошкину, встанет перед ним:

— Что ж это, братец? Во дворе воняет черт знает как. Окна в комнату открыть нельзя. Вонь по всему дому.

А Морошкин охотно отвечает:

— А это повариха, Корзинникова Домна. Сколько говорил ей: отходы вываливай в ящик! Так нет же, глупая баба! Все под окна норовит. Вот оно запах и дает.

— А клозет? — спрашивает тогда князь. — Его же каждый день заливают. Яма, стало быть, мала. Ее же чистить надо...

Княгиня опять тут как тут:

— Царь Небесный не гневался на своих утеснителей, а молился за них.

С ней еще другой случай был. Сидит как-то Кузьма дома, слышит, голоса возле школы громкие, крики. Это уже когда забор почти достроили, один угол остался. Выскочил он и через этот угол — к школе. А там охранники собрались, перед ними на крыльце Морошкин.

— Как же теперь с жалованьем? — спрашивает у Морошкина Портомоев. — Почему не дают? Обещали, а сами задерживают.

— Шинделя сюда! — кричит Дедюхин. — Пусть отвечает!

Громче всех возмутился Дедюхин:

— Пусть комиссары ответят! Вещи все княжеские себе забирают! Говорят — сдать драгоценности! А теперь опечатали их и у себя держат! А нам? Нам тоже полагается!

Свистунов не отставал от кочегара:

— А вино? Вино в речку вылили! Это же придумать надо! У нас денатурат один... А они — в речку...

Морошкин все хотел что-то сказать, но его никто не слушал — каждый свое кричит.

И тут видит Кузьма — в дверях княгиня стоит. В руках у нее мешочек шелковый в блестках. Сняла она с головы Морошкина фуражку и прямо в фуражку мешочек этот высыпает. Все так и ахнули — серьги, кольца, цепочка какая-то, все блестит, переливается.

— Что пользы, — говорит она, — если это приобретете, а душу свою потеряете? Одна душа дороже всех сокровищ...

Подходит она затем к Свистунову и говорит ему:

— Дом души — терпение... Кто приходит к смирению, тот сын Царя Небесного...

Кузьма только глаза на нее таращит. «Это Свистунов-то сын Царя Небесного? Совсем свихнулась матушка!»

В этот день до ночи из комендантской — песни, гармошка. Помирились караульные с Морошкиным и комиссарами, вот и праздновали. А как к ночи поутихли, слышит Кузьма — в школе опять пение, но другое уже.

Пробрался он под самое окно и слушает: «Аллилуйя... Аллилуйя... Вознесите Царя Небесного...» Сначала женские голоса, потом мужские подхватывают.

И в этот самый момент увидел Кузьма, как из открытого окна тени какие-то неясные вылетают. Он так решил, что это непременно ангелы, которые рождаются от этого пения. Все внутри у него умилялось и радовалось. «Это, наверное, и есть царство небесное, — думает он. — Песнопение совокупно с ангелами... Как же такими людьми понукать можно?»

Только вскоре все переменилось и царство это небесное закрылось. Как забор вокруг школы кончили, новые порядки пошли. К дому теперь не подойти. У калитки часовой с винтовкой, не пускает никого. Охранников всех заменили — никого старых не осталось. Новых привезли. Одеты смешно: куртки разноцветные, шапки с козырьками, и говорят не по-русски, ничего не поймешь. Вместо Морошкина теперь другой комендант, по фамилии Сичкин. Комиссары в автомобиле приезжали — коротышка в шляпе и другой, во френче. Долго вокруг школы ходили смотрели. Потом говорят:

— Забелить окна!

Князей за ограду уже не пускали. Теперь их видеть только в щелочку можно. Кузьма нашел место, где доски расходятся, стоит смотрит. За забором старый князь с комендантом Сичкиным говорит:

— Я не знаю за собой никакой вины. Прошу снять с нас тюремный режим. Вещи у нас отобрали, деньги. Питание скверное.

А комендант серьезно так отвечает:

— А это, — говорит, — предупредительные меры. Враги кругом, заговоры. Есть сведения, подкоп под школу готовят.

— Черт знает что! — князь возмущается.

— Благодарите также своего родственника, — продолжает комендант. — Братца царского... Бежал из Перми, где находился под задержанием... Михаил Александрович...

Хуже всех новый режим пришелся Ермилу Штукину. Он с тех пор, как Корзинникову Домну Кирилловну в поварихи взяли, совсем покой потерял. Наталья весь день на кухне матери помогает, а Ермил с утра возле школы вертится. А теперь, когда забор, его дальше калитки не пускают.

Прождал он тут как-то ее у забора весь день. Вечер уже, поздно. Кузьма тоже с ним, за компанию. Наконец калитка распахивается, Домна Кирилловна выходит. За ней охранник в синей куртке, Наталью под руку ведет. Увидела Наталья Ермила и говорит охраннику:

— Это жених мой...

Тот оглядел Ермила с ног до головы и к Наталье обращается, слова коверкает:

— Пусть ступает отсюда... Пока его не арестуют... Может, он подкоп хочет...

Ермил тут на Наталью накинулся:

— Что ты все пропадаешь? Шляешься неизвестно где! У нас свадьба через неделю!

— Очень хорошо, — говорит Домна Кирилловна. — Надо Савелию Стремоухову курмышку заказать. Пусть наварит на всех.

Пошли они к Савелию, а охранник им вслед:

— Идите, идите... Все равно его арестуют...

Только от школы отошли, навстречу Сеня-босоножка.

— Куда идете? — спрашивает.

— К Савелию Стремоухову, — отвечает Домна Кирилловна. — Свадьба у нас скоро.

А Сеня поглядел на Ермила Штукина, потом вытащил из сумки горсть пятаков медных и осыпал ими Ермила.

— На свечи тебе, на свечи!

Тут ребята откуда-то набежали, стали дразнить Сеню, камнями кидать. Сеня запрыгал на одной ножке и ускакал.

А Ермил Штукин стоит, лицо у него серое, на шее полоса красная, обрезался, что ли.

А через день прибегает Корзинникова Наталья:

— Ермил пропал!

Рассказывает: как ушел он в тот день домой, так и пропал. Будто сквозь землю провалился. Искали его, искали — нет нигде. Соседей всех обегали — никто не знает. Потом дворник, дядя Флегонт, сказал, будто видел, как его красноармейцы куда-то вели. Домна Кирилловна тогда к коменданту Сичкину — просить за Ермила. Но тот как каменный: ничего не знает.

Потом новые события, две ночи подряд. Первая ночь совсем странная. Кузьма просыпается, на улице — выстрелы, крики. Ну, к выстрелам и крикам они привыкли. А тут в дверь ломятся. Мать открыла — красноармейцы.

— Солдата здесь не видели? — спрашивают. — Не заходил?

— Какого еще солдата? — удивляется мать.

— Да ходит здесь один. Из Екатеринбурга.

— Нет, — отвечает мать. — Никакого солдата здесь не было.

Не успели красноармейцы уйти, Кузьма с матерью смотрят, а в углу за шкафом стоит кто-то. Шинель истертая, фуражка, сам грязный, обросший.

— Ты кто? — спрашивает мать.

— Из Екатеринбурга я. Пришел сказать. Царя этой ночью убили. Я прямо оттуда.

— Будет врать-то, — говорит мать. — Как же ты успел? Сто пятьдесят верст!

Солдат на это ничего не ответил, из-за шкафа выходит и к двери направляется. На пороге задержался и кидает Кузьме тряпку какую-то:

— На базар снесите! Вот вам и деньги...

Развернул Кузьма тряпку — а это не тряпка, а шаровары, совсем хорошие, крепкие еще. Кинулся он за солдатом, а тот уже на улице, идет себе как ни в чем не бывало. Навстречу ему красноармейцы.

— Стой! — говорят.

А солдат мимо них, будто не слышит. Они опять:

— Стой! Стрелять будем!

Бегут за ним, а догнать его, идущего шагом, не могут. Стали в него тогда стрелять, а он все равно идет, как и шел. Пули через него так и проходят без всякого вреда. Так он и ушел. Что это был за солдат — неизвестно.

Дома Кузьма шаровары ближе рассмотрел — заплатки внутри мелкие, потертости. А на левом кармане надпись чернилами: «Изготовлены 4 августа 1910 года. Возобновлены в 1916. Николай II». Кузьма тогда говорит матери:

— Правда царя убили...

Мать в платок сморкается, глаза мокрые. Вот после завтрака собрала она корзиночку: картошки вареной, хлеба, огурчиков, — накрыла полотенцем и посылает Кузьму в школу.

— Ты, — говорит, — узникам нашим ноготочков еще по дороге нарви.

Кузьма долго в калитку стучался, пока ему открыли. Сам комендант Сичкин к нему вышел. Сначала не хотел пускать. Потом обыскал Кузьму, обшарил всего и сказал:

— Иди, только смотри у меня...

Поднялся Кузьма на знакомое крыльцо, княгиня к нему вышла. Корзиночку взяла и подождать велела. Через минуту возвращает корзиночку, а в ней лежит что-то, сверток какой-то.

— Нам недолго осталось, — говорит. — Поминайте нас...

Дома мать развернула сверток, а там отрез на платье, ткань розовая. Мать давай браниться:

— Неси сейчас же обратно!

Побежал Кузьма обратно, только напрасно. Сколько ни стучал, никто не отозвался. Потом, правда, выглянул охранник в картузе, крикнул что-то на своем языке и прикладом Кузьму огрел. Вернулся Кузьма домой, плечо горит.

Вторая ночь еще хлеще. За окном уже чистая война — выстрелы, взрывы. Кто-то кричит: «Сюда! Сюда! Скорей!» Поднялся Кузьма, а у окна мать, к стеклу приникла. Мимо дома люди на конях гоняют. А как стало светать, вышли они на крыльцо. Сначала-то им ничего не было видно, а потом смотрят — люди какие-то в поле лежат с винтовками. Полежали немного, потом поднялись во весь рост и пошли к школе. Винтовки наперевес держат. Долго возле забора стояли, ждали чего-то. Наконец калитка открылась, комендант выходит. С ним другой еще комиссар, незнакомый. В руках у незнакомого книга толстая.

— Беда! — кричит Сичкин. — Князя сбежали! Попадет нам теперь! Не уберегли!

Люди с винтовками, конечно, удивляются:

— Как так сбежали? Не может быть!

Сичкин тогда объясняет, что великих князей белогвардейцы похитили на аэроплане, чехи и белоказаки. Незнакомый комиссар в книгу тычет:

— Будем следствие наводить! Если не верите, можете сами убедиться: одного врага уже убили! — И рукой в сторону показывает. А там возле забора тело лежит, труп чей-то убитый.

Сичкин командует караульным:

— Уберите тело врага!

Двое взяли за ноги и волокут тело. Смотрит Кузьма — рубаха вся в крови, на шее полоса красная, будто от пореза. «Да это же Штукин Еремил! — хочет он крикнуть. — Какой же это враг-белогвардеец?»

Тут и Корзинниковы к школе подошли, на кухню спешат. Тоже на убитого смотрят, понять ничего не могут. Наталья-то лицо руками закрыла, плачет. А Домна Кирилловна говорит:

— Как же теперь свадьба? Савелий ведь вина наварил. Говорит, ведер десять уже. Это же сколько денег?

На другой день по всему городу листки расклеены: похищение великих князей. Кузьма с матерью на рынок пошли шаровары продать, а там эти листки прямо на земле валяются. У ворот Сеня-босоножка сидит, в руках ножницы. Кусок хлеба ножницами режет и бормочет:

— Царской родне в дорогу... Царской родне в дорогу...

На базаре народу много. Солдаты вещами торгуют. У кого товар серьезный: аппарат фотографический, пальто офицерское или сапоги шевровые. У других попроще: порошок персидский, тарелка с императорским гербом, подушка для булавок или щеточка заграничная для ногтей. У третьих и вовсе отбросы: рукоять от столового ножа, обломок зеркала, обрывки кружев. Эти больше всех надрываются:

— Вещи исторические! — кричат. — Царские! Тепленькие еще!

Какой-то молодой парень с заячьей губой, пьяненький, пристаёт ко всем:

— Пожгли мы вашего Николашку!

Приятель его, тоже пьяненький, к матери Кузьмы пристал, обнимает ее:

— Они еще теплые были... Как мы пришли... Я сам царицу шупал. Представляешь! Теплая!

Он ущипнул мать и подмигивает Кузьме:

— Мне теперь и помирать не стыдно... Царицу шупал...

Кузьма смотрит — и супруга Шинделя, комиссара, здесь. Рядом с ней сам Шиндель с двумя красноармейцами. Шиндельша у солдатика какого-то грязного, замызганного узелок тянет.

— Откуда это у тебя? Неужели и правда царские?

— Не извольте сомневаться, — гнусавит солдатик. — Самые что ни на есть царские... Подлинные...

Развязал он зубами узелок, а там все блестит и переливается. Пуговицы с бриллиантами, колечки серебряные, вилки мельхиоровые, золотой крест-ковчежец с мощами какого-то святого.

— Мы их обыскали... Как положено... Прежде чем в яму кидать. Раздели и обыскали. Вроде бы нет ничего. А я пояс с земли подобрал, там и глядеть-то не на что. Думал — выбросить. Потом гляжу — мать честная, да в нем камни. Зашили, значит... Вот ведь хитрые... Сбереечь думали... А зачем им камни в царстве небесном?

Жена Шинделя тогда оборачивается к мужу и говорит:

— Его в ЧК забрать надо. Болтает много...

А Шиндель ей отвечает:

— Мне сейчас некогда. Мне гнездо винокуренное накрыть надо.

— Какое еще гнездо? — хмурится супруга.

Шиндель вроде бы даже оправдывается. Говорит, к ним в ЧК баба явилась с заявлением. Она поварихой у великих князей была. Говорит, мол, тайное винокурение в лесу происходит. Некий Савелий Стремоухов курмышку для продажи гонит. Непременно его накрыть надо.

Жена тогда от Шинделя отворачивается:

— Ну как знаешь...

А Шиндель с минуту подумал, потом знак делает красноармейцам. А те будто только этого и ждали. Подхватили солдатика с узелком под руки — и с базара.

Мать Кузьмы, как услышала это, шаровары царские убрала и Кузьму в бок толкает:

— Беги в лес, предупреди дядю Савелия...

Кузьма прямо с рынка и побежал. Долго плутал по лесу. Места он точно не знал, Савелий говорил, землянка какая-то в овраге. Наконец вышел к оврагу, на другой стороне — дымок слабый, яма какая-то чернеет. Тут и Савелий из кустов показался. Привел он Кузьму к себе, напоил чаем. Кузьме у Савелия понравилось: иконка в углу с лампадкой, книга толстая. Сбоку у стены постель, мхом выложенная, на пеньке самовар, сухари.

— Здесь раньше пустынный спасался, — говорит Савелий. — Отец Макарий. Божий человек. Его красные арестовали. Потом убили...

Савелий не спешил никуда, вина на дорогу выпил. Сложили они имущество Савелия в яму, сверху ветками завалили. Сели на телегу, поехали. А ехать им по старой дороге на Синячиху, мимо заброшенных шахт.

— Проклятое место, — говорит Савелий. — Всегда здесь что-нибудь случается. Шалют рогатые... Позапрошлой ночью тоже... Выстрелы, крики, кони ржут... Всю ночь колобродили нечистые...

И вот как стали они ближе к шахтам подъезжать, слышит Кузьма — пение вроде. Остановили они лошадь — так и есть, поют. Тоненький женский голосок еле слышно выводит, как в школе когда-то: «Аллилуйя... Аллилуйя...» А вокруг никого. Шахта там старая, заваленная бревнами, камнями. Вокруг следы кострищ, мусор, тряпки какие-то. Кузьма даже голову поднял: нет ли ангелов? Только голос не с неба шел, а снизу, из-под земли.

— Что же это такое? — спрашивает Савелий не своим голосом и шапку снимает.

Кузьма подумал: «Как же это ангелы под землей поют? Им на небе положено...»

И тут откуда ни возьмись солдат на лошади. И сразу на Савелия кидается, винтовку с плеча срывает:

— А ну давай отсюда! Не положено здесь!

Хлестнул Савелий лошадь и давай погонять. Солдат долго за ними скакал, ругался на чем свет стоит. Несколько раз в воздух стрелял.

Ночью Кузьма, конечно, заснуть не может. Лежит, в ушах пение ангельское. Потом чувствует — землей сырой пахнуло. Тут мать его на постели поднимается и садится. Свет на нее из окна падает, и видит Кузьма, что это не мать его вовсе, а княгиня великая. Лицо у нее как стена белая,

а глаза черные. И смотрит она на него так ласково, как мать родная никогда не глядела. И так хорошо Кузьме сделалось, что плакать захотелось.

— Я знаю, — говорит он. — Это вы под землей пели...

А княгиня ему отвечает:

— Радуюсь я, дитя мое... Радуюсь, ибо близко царствие небесное.

Кузьма сразу вспомнил голос, который ему при рождении был, и хотел спросить, где же оно, царство небесное, где его искать? Но княгиня исчезла. Вместо нее лежит мать Кузьмы и дышит во сне тяжело.

Месяц, наверное, с той ночи прошел, Кузьма все ждал — вот-вот царство небесное откроется, близко уже. А тут прибегает утром Савелий Стремоухов.

— Собирайся, — говорит. — На старую шахту поедем.

— Да как же? — спрашивает Кузьма. — А охранник? Ведь убьет же...

Тогда Савелий и сказал:

— А красных в городе нет. Удрали. Теперь у нас белые.

Кузьму, конечно, уговаривать не надо. Собрался он на скорую руку, шаровары царские надел, и они поехали. Подъезжают к шахтам, а там уже народ — солдаты, офицеры. Камни и бревна оттаскивают. Одного солдата опустили в шахту на веревках. Спустился он и кричит:

— Здесь они!

Первой подняли великую княгиню, согнутую какую-то, скрюченную. На груди у нее иконка. Новый батюшка, отец Павел, который вместо застреленного отца Николая, крестит ее:

— Слава нетленных тел... Благолепие нетленное в царствии небесном.

Смотрит Кузьма — и правда лицо у княгини чистое, никаких следов разложения или запаха какого.

После нее молодого князя вытащили. Кузьма сразу признал его — который наряжаться любил. У него и теперь голова белым платком замотана, будто он нарочно в последний раз нарядился, чтобы людей рассмешить. На платке кровь черная. Офицер, в чистеньком мундире, с длинными усами, говорит:

— Гляди-ка... Перевязали его... Не иначе великая княгиня...

— Это что же? — спрашивает второй офицер, молодой. — Они жили еще там внизу?

Хотели дальше остальных вытаскивать — тут солдат снизу кричит что-то. Подняли его воздухом подышать, а он на землю упал, бьется, пена у рта. Потом траву начал в рот засовывать.

— Живая она! — кричит. — Живая! Я опускаюсь, а она — сидит. Голову князя на колени положила и сидит!

Усатый офицер говорит молодому:

— Не могу я на это смотреть...

Подходят они к Савелию:

— Гони к школе! Поехали!

Возле школы, конечно, полный разор: грязь, мусор. На земле крестики, свечки, книги. В мусорной яме Кузьма иконку увидел, камни драгоценные с нее срезаны. Там же — портрет государя императора в красивой рамке и с его росписью.

В доме пусто, двери нараспашку. В коридоре махоркой пахнет, сапогами. В углу плевательница с опилками, в опилках — окурки. На обоях карандашом написано: «Комиссар Шура». В угловой комнате, там была комендантская, пол черный от грязи. На столе одеяло прожженное, в дырках. стаканы стоят, куски хлеба засохшие, гильзы от патронов.

Дальше — княжеские комнаты. Кузьма все не решался туда заглядывать. А как заглянул — даже не поверил сразу. Кровати простые, железные, матрасы продавленные. У двери — рукомоиник ржавый. «Неужели они здесь жили?» — думает.

Комната за ней — не лучше. Деревянная вешалка с крючками. На одном из крючков наволочка висит грязная. На подоконнике — банки пустые, жестяная коробка с надписью: «Жорж Борман». «Здесь, верно, — мо-

лодые князья, — думает Кузьма. — Нет, это точно не рай и не царство небесное».

В третьей комнате на полу — обрывки бумаг, писем, фотографий. В углу — юбка черная, чулки, зонтик шелковый. Офицеры по вещам ходят, сапогами давят. Усатый говорит:

— Все, что осталось от царства земного... Царская роскошь... Прах и тлен...

А молодой ему:

— Они теперь на небе...

Взял он тут книгу какую-то со стола, смотрит, а под ней — билет рублевый. Показывает билет усатому, на нем — росписи великих князей. Потом раскрыл книгу наугад и прочитал громко:

— «Тот, кто достиг неба, смеется над суетой жизни, пренебрегает золотом, как пылью, а всякими удовольствиями, как грязью...»

Тут Савелий Стремоухов Кузьму за руку тянет:

— Идем, что покажу...

Повел он Кузьму в конец коридора, дверь какую-то открыл. Огляделся Кузьма — а это отхожее место. На стенах — рисунки неприличные, голые мужчины и женщины, надписи всякие. Под одной парой подпись: «Царица и Гришка». В углу иконы свалены, книги. На двери — клочок бумаги, на котором ровно, красивыми буквами написано: «Убедительная просьба оставлять стул таким же чистым, каким его занимают». Сверху ковром приписано: «Кто писал — сам говно».

Когда уходили, Савелий сунул Кузьме коробку, обтянутую желтой кожей. На коробке надпись: «Для лампы».

— Пригодится, бери... Хоть что взять...

Раскрыл Кузьма коробку, а Савелий напихал туда всякого: бархатную пуговицу распоротую, розовую подвязку, держатель для галстука, пузырек какой-то, еще что-то.

— Все, что осталось от царства земного... — слышит Кузьма.

А после обеда стали к школе телеги съезжаться с гробами. Гробы с телег сняли и возле школы на козлах выставили. И потянулись люди из города смотреть на князей убиенных. Толпа большая собралась, в толпе разговоры:

— А говорили — похитили...

— Их-то за что? Они-то не управляли... Царь правил, не они...

Потом кто-то сказал:

— Смотрите, Сеня-босоножка идет...

И правда в калитке Сеня-босоножка стоит, с ним человек незнакомый, оборванный весь, грязный. Подвел Сеня оборванца к гробам, тот долго крестился, кланялся, мычит что-то, сказать не может.

Тут Сеня-босоножка объявляет, что оборванец этот не кто иной, как Терентий Иванович, личный слуга государя императора. Мол, при красных он в тюрьме сидел в Екатеринбурге, а вот теперь его выпустили. Радоваться бы ему надо, да вот только речь он в тюрьме потерял, пока сидел. Терентий Иванович головой кивает, мычит. Жалеют его, конечно. Никто и внимания не обратил, как он к гробу великой княгини припал, иконку у нее на груди целует. Слышат только, не мычит он уже, а слово произносит:

— Живой... Живой...

Все сразу к нему:

— Кто живой? Кто живой?

И пошло по толпе:

— Живой... живой...

— Да кто живой-то?

— Царь, говорят, живой...

И тут исцеление чудесное исполнилось: Терентий Иванович заговорил. Сначала невнятно, бормотанье какое-то, а потом все яснее и яснее, так что каждое слово разобрать можно.



— Господь язык вернул... О царе поведать... Жив царь, спасся... Не убили его...

Дело, по рассказу Терентия Ивановича, обстояло так. Приходит красный офицер к царю в подвал и говорит: «Жизнь ваша покончена». А тут граф какой-то рядом случился. Граф и предложил себя наместо государя. Царь, конечно, ни в какую, отказывается. Офицер тогда возьми и застрели графа, а царь скрылся...

В толпе крестятся:

— Помиловал Бог... Слава Тебе, Господи... Спасся...

А Терентий Иванович продолжает:

— Государь жив и скрывается. Ждет, когда смута уляжется. Вот Россия очистится, он и явится. И тогда уже только царь и народ и никого между ними не будет...

Долго еще толпа возле гробов стояла, чуду великой княгини удивлялась. А как стемнело, разошлись, один Сеня-босоножка остался. Стал Кузьма на ночь ложиться, смотрит в окно — Сеня все возле гробов ходит, будто караулит кого. Вышел к нему Кузьма и говорит:

— Не убегут твои покойники, иди спать...

Только он это сказал, смотрит — тень какая-то к ним приближается. Испугался Кузьма — и скорей за угол. А фигура все ближе. Подошла к Сене и стала против него. Шинелишка потрепанная, неказистая, борода, усы.

— Ты знаешь, кто я? — спрашивает.

— Бог тебя знает, — отвечает Сеня.

Фигура в шинели вздохнула и присела на колоду.

— Счастливые вы, праведники. Ничего вам не нужно, и ничего вас не тревожит. А я вот государь император. Мне переждать надо. Не хочу раньше времени объявляться...

Кузьма как услышал, думает: «А говорили — пожгли. И то, разве можно государя императора пожечь? Царя-то земного...»

Государь между тем огляделся и спрашивает:

— Нет ли у тебя дров каких попилить? Очень я люблю это занятие. Соскучился. Да и размяться мне надо...

Вынес Сеня ему пилу из сарая, дерево какое-то сухое приволок. Пилит царь, потом остановится дух перевести и разговаривает:

— Русский народ меня любит. Его обманывают только. Я еще вернусь, и он примет меня...

— Зачем это тебе, царинька? — спрашивает Сеня. — Опять служить царству земному? Что оно тебе? Побрякушки, гроб, тление...

— Да как же земле без царя? — удивляется государь. — Кругом-то что творится! Гибнет Россия! Иноплеменники господствуют, казну расхищают! В бедах отчизны каждый о себе думает! В народе разврат! Надо, чтобы тишина и благоденствие водворились. Падение престола надолго сокрушит славу русских... Может быть, навсегда...

Посмотрел после этого на гробы и говорит:

— Вот оно, искупление прежней России и основание грядущей... На костях мучеников...

А Сеня царю так, без всякого почтения:

— Какой же ты царь? Ты и не царь вовсе. Царь тот, кто себя побеждает и сохраняет ум свой...

А сам вокруг государя на одной ножке прыгает. Кузьма за углом даже икнул от возмущения, да громко так, на весь двор. Государь император услышал — сразу нахмурился, лицо строгое. А Сеня-босоножка Кузьму за ухо и вывел перед царем. «Убьет! Как есть убьет!» — думает Кузьма. Вспомнил он, чьи на нем шаровары. А царь взглянул на его штаны, потом взял голову двумя руками и поцеловал в лоб.

— Надо миловать согрешающих против нас, — сказал. — Я вот всех простил и за всех молюсь. И вы не мстите за меня никому.

Потом вспомнил что-то и добавил:

— Вот только погоны заставили меня снять. В кармане все время ношу. Этого я им никогда не забуду.

А Сеня-босоножка хлопнул Кузьму по спине:

— Вот оно как, деточка! Печать на тебе царская теперь... Жить тебе, значит, не просто так... Ищи царство небесное, не земное...

И опять Кузьма голос при рождении вспомнил. «Тебе хорошо говорить — ищи, — думает он. — А где его искать?»

Вернулся он домой, а утром мать спрашивает:

— Что это за пятно у тебя на лбу?

Так это пятно у Кузьмы на всю жизнь осталось, где царь поцеловал.

Кузьма, может, никогда бы и не узнал, где оно — царство небесное, если бы не случай. Это уже снова при красных было, полгода, наверное, прошло. Вот однажды собирает он хворост в лесу. Весна в том году ранняя, тепло. Собрал большую вязанку, пора домой идти. И тут видит, со стороны поля два красноармейца волокут по земле кого-то. Дотащили до опушки и бросили, а сами прочь идут. Один еще было ногой пнул.

— Брось ее! — кричит другой. — Воровка!

Как красноармейцы скрылись, Кузьма туда, на полянку. Видит — барышня стриженная, может, немного старше его, только грязная очень. Волосы темные, а лицо круглое, как тарелка. Платье на ней рваное, нога белая видна. На шее крестик. Кузьма думал, умерла, наверное, а она — нет, дышит. Бросил Кузьма вязанку, помог ей до сарая добраться, который возле школы. Воды, хлеба из дома принес.

— Это ничего, — говорит. — Меня тоже как-то избили, кровь так и хлещет из носа.

На другое утро, не успели Кузьма с матерью подняться, красноармейцы в дом врываются:

— Не видели здесь девку? Стриженная такая...

Мать-то, конечно, ничего не знает.

— Не было, — говорит, — здесь никакой девки...

Как красноармейцы ушли, Кузьма в сарай. Гостья сидит на земле, ноги поджала. Кузьма говорит, что солдаты ее ищут.

— Мучают они меня... Мучают...

Кузьма тоже на землю опустился.

— Кто тебя мучает?

— Солдаты. Схватили, в казарму привели... Неделю держали... Что там было, я сказать не могу...

— Ты что — воровка? — спрашивает Кузьма.

Гостья посмотрела на него, потом сняла с себя крестик и на шею Кузьме вешает.

— Хочешь, я тебе тайну открою, Христов братец? Я — Анастасия...

— Какая еще Анастасия?

— Дочь государя, Анастасия. Спаслась я, понимаешь? Убежала...

Кузьма так и уставился на нее. А там, известно, и смотреть не на что: лицо в синяках, один глаз опух, на губе ссадина, кровь запекшаяся. Принес он тогда воды в ведре, умыл ее, раны маслицем из лампадки смазал. Вот моет он ее, а она говорит:

— Мне бы только до царства небесного дойти... Там все по-другому... Ни плача, ни горя... Ни единой слезы не увидишь... Войны тоже нет, одно согласие. Бояться ничего не надо.

Кузьме весело так от ее слов и легко.

— А ты почему знаешь?

— Была я там, братец миленький... Была и все видела...

— Да ну! — Кузьма даже тряпку выронил. — Не может быть!

Царская дочь тогда рассказывает:

— Это когда я еще под арестом сидела. Силы у меня уже все кончились. И тут женщина какая-то ко мне сходит. «Ты кто?» — спрашиваю. А она мне: «Я — Взыскание Погибших». Взяла меня за руку и повела. Там луг большой. А посреди луга ворота и солдат стоит. Амуницию свою на

воротах развесил, саблю поставил, сам трубку курит. «Стой! — говорит. — Куда идете?» А женщина ему: «Передай Владыке, что нет больше сил сносить беззакония. Спроси, долго ли еще терпеть». Ушел солдат, а когда вернулся, говорит: «Владыка велел терпеть дальше... До конца, говорит, надо... Претерпевший до конца спасется...» Вот я и хожу терплю. Теперь снова хочу туда... Спросить надо... Может, уже хватит.... Всеми муками ведь отмучилась...

Повернул тут к ней голову Кузьма и ахнул. Глазам своим не верит. Только что была перед ним замарашка, избитая вся, в синяках и ссадинах, а теперь — чистая барышня. Никаких следов на лице, ни пятнашка, ни царапины. Кожа чистая, прозрачная, будто светится. Он тогда и говорит:

— Возьми меня с собой. Мне тоже царство небесное найти надо...

Сговорились они идти через два дня. Матери Кузьма ничего не сказал, собрался тайком. Коробку свою забрал желтой кожи, иконку, портрет государя императора в красивой рамке. Шаровары царские надел. На рассвете, когда все спали, и вышли. Пока добрались до Екатеринбурга, обессилели вконец. Кузьма оставил царскую дочь в будке какой-то заброшенной у станции, а сам в город пошел, продукты обменять. Возвращается к вечеру, а в будке никого. Он туда-сюда — пропала княжна. Два дня бегал Кузьма по путям, царскую дочь искал, с ног совсем сбился. Он уже и сам не знал, была ли она на самом деле или только привиделась ему. Потом парикмахер со станции, Казимир Сысоевич, сказал, будто видел, как солдаты вели какую-то барышню стриженую. Посадили в вагон с замазанными окнами и увезли.

Подумал Кузьма, подумал и отправился прямо по путям в ту сторону, куда поезд ушел. Ходил он долго, где только не побывал, пока не добрался наконец до Москвы. Только никаких следов княжны Анастасии нигде не было. Лишь в Москве одно всего известие о ней и вышло. Он тогда сторожем на дровяном складе работал. Вот один из возчиков, Серапионов Гордиан Карпович, ночью с ним разговорился и сказал, что царская дочь Анастасия объявилась.

— Ты что, газет не читаешь? — спросил он Кузьму Демьяновича. — Там так и написано. Бежала с молодым конвойным в Румынию. А оттуда в Германию...

Но Кузьма Демьянович этому не верил. «Зачем ей Германия? — думал он. — Нечего ей там делать. Она же царство небесное ищет».

Он так полагал, что если она и бежала, то непременно обратно на Урал, туда — в Екатеринбург. Скрывается сейчас где-нибудь и его ждет, — переживал он. Наконец Кузьма Демьянович собрался и поехал в свой родной город. Это уже после войны. Матери его к тому времени не было. Ее еще до войны сначала арестовали, а потом она умерла в лагере. Отца бы, конечно, тоже арестовали, если бы он жил. Но его еще раньше убили заводские рабочие. Он драгоценности какие-то царские у них искал, а они его убили.

В городе, конечно, все изменилось. В соборе, где когда-то Сеня-босоножка стоял, теперь пекарня. Школа кирпичная тоже сохранилась. Там клуб сделали молодежный. Вот дома своего Кузьма Демьянович не нашел, не было его. Улица ихняя теперь называлась улицей Комиссара Морошкина.

Как-то позже шел Кузьма Демьянович по улице и увидел табличку: «Домоуправление». Рядом лист бумаги, на котором написано: «Встреча с ветераном. Рассказ о судьбе царской семьи». Прочитал Кузьма Демьянович бумагу и пошел в домоуправление.

А там надо сначала в подвал спуститься, потом коридором идти. Лампочки в коридоре тусклые, по сторонам ничего не видно. Идет Кузьма Демьянович и чувствует запах какой-то неприятный, приторный и под ногами липкое что-то. И все время кажется — голоса глухие где-то рядом за стеной. Кузьма Демьянович остановился, прислушался. Вдруг дверь возле него заскрипела и тихонько сама собой стала открываться. Кузьма Демь-

янович заглянул в щелку — и понять ничего не может. В комнате дым белесый, порохом пахнет. На полу стул валяется. В углу — ведро с водой, ящик с опилками, метлы, тряпки. Здесь же люди какие-то, несколько человек. Пригляделся Кузьма Демьянович, а это красноармейцы в старой форме, какой давно не носят: шлемы со звездами, шинели до пят. «Маскарад какой-то», — подумал Кузьма Демьянович. И тут он заметил, что пол в комнате весь залит кровью. Широкие подтеки идут до самой двери и дальше в коридор. Тогда он понял, что в коридоре под ногами и была кровь.

Двое солдат, молодые парни в рубашках, опилками пол дряют, кровь смывают. Один увидел Кузьму Демьяновича и тряпку бросил.

— Виновен! — кинулся он в ноги Кузьме Демьяновичу. — Виновен я! Не послушался отца с матерью... В охрану пошел... Царя вот убили... Я ведь не большевик даже... По глупости, по молодости... Кровь теперь на мне!

Тут другой, в шинели, с винтовкой, за воротник его:

— Ты что сопли распустил? Тебе ж доверие было... Счастье выпало — царя ликвидировать... Это же почет, честь какая!

А парень с колен не поднимается.

— Да не убивал я царя, не убивал...

— Как не убивал? — спрашивает в шинели. — А что ж ты тут слюни разводишь?

— Кровь мы замывали, — хнычет парень. — Больше ничего. Мы со Столбовым с ночи в бане спали под арестом. Денатурату напились, вот нас в баню и посадили. А среди ночи будят: идите, говорят. Куда? — спрашиваем. Зовут, говорят, идите. Пришли мы, а там подвал...

Кузьма Демьянович тут попятился — и в коридор. Два шага сделал — другая дверь. Он сначала боялся туда заглядывать, а потом заглянул. Там тоже люди и тоже пол залит кровью, но меньше, чем в первой. Пригляделся Кузьма Демьянович, а в углу — знакомые лица. Он сразу признал: княгиня в белом платке, старый князь сердитый, трое молодых и князенька, который стихи сочинял. У них в ногах солдаты опилки разбрасывают, кровь смывают. Со щеткой ворчит на князей:

— Мешают только.. Убраться не дают...

Княгиня держит в руках книгу, читает вслух, князя слушают.

— «...Многие хотят получить царствие небесное без труда... А страдания для того и нужны, чтобы явным сделалось, кому в палаты небесные войти...»

Кузьма Демьянович и коменданта Сичкина узнал. Тут же он стоит, с винтовкой и револьвером. Увидел Кузьму Демьяновича и подмигивает как старому знакомому.

— Намучились мы с ними — не приведи Господи, — кивает на князей. — Мороки столько...

— «...Благодарить делающего тебе зло...» — читает княгиня.

А Сичкин свое:

— Мы их как к шахте привезли, сказали, чтоб сами прыгали. Ну, молодые-то молодцы, прыгали. А старый ни в какую! Стрекозин тогда выстрелил, а у него патрон застрял в браунинге. Красильников тоже выстрелил, но только ранил. Князь руки растопырил — и ко мне, за пиджак хватает. Я кричу Красильникову: стреляй! Красильников снова стреляет, и надо же — барабан в его нагане ни с места. Пули-то самодельные. Стрекозин ругается, Красильников тоже... Умора! И смех и грех... Тут я в голову князю пальнул, он и упал. А сам пиджак не выпускает, чуть с собой не уволок. Полу оторвал. Тут еще лошадь испугалась, в лес понесла. Стрекозин за ней. А как вернулся, все уже кончено было...

— «...В скорбях и страданиях обетование и слава Господа...» — доносится голос княгини.

— Мы потом гранатами их забросали, сверху еще бревна, камни. Думали — все, конец... А они — поют себе... На третий день серу зажженную кидали...

Кузьма Демьянович скорее дверь прикрыл — и дальше. Кто-то за руку его хватает. Обернулся — батюшка из храма, отец Николай.

— Да вас же застрелили, отец Николай, — говорит Кузьма Демьянович.

А отец Николай ему на ухо:

— Я теперь знаю, что есть царство небесное... Царство небесное есть созерцание. Сейчас ты лишь тени вещей видишь... как в зеркале... А там их первообразы увидишь... Потому как освободишься от тела земного...

Кузьма Демьянович еле вырвался от него. Впереди на лестнице, показалось ему, отец мелькнул, в кожаной куртке, с повязкой.

— Отец! — крикнул Кузьма Демьянович.

Отец обернулся, поглядел на него и поднимается дальше.

— Отец! — снова позвал Кузьма Демьянович. — Что у вас здесь? Неужели это и есть новое царство, которое выше небесного?

Поднимается Кузьма Демьянович за отцом, хочет его догнать, а отец мелькнул еще раз впереди и пропал, а Кузьма Демьянович оказался в какой-то большой светлой комнате. На окнах белые занавески, по стенам портреты, стулья рядами стоят. На стульях старики сидят и старушки, перед собой смотрят. Там впереди сцена, а на сцене за столом человек сидит. Сам лысый, губа у него заячья, на груди орден Красного Знамени. На Кузьму Демьяновича, как он вошел, сразу зашикали:

— Тише ты... Не мешай слушать...

Лысый на сцене выступает:

— Царь-то с царицей кончились сразу. А с другими повозились... Особенно со служанкой ихней... Возни с ней было — не оберешься. Она с подушкой пришла... Бегаёт из угла в угол... Я стреляю, а она бегаёт... В подвале дым, ничего не видно... Собачка еще царская была... Собачку тоже кончили... А что? Не тывкай на законную власть...

В зале какой-то старичок с бородавкой на щеке захихикал, а лысый продолжал:

— С наследником вот тоже... Долго не умирал... Все со стула не падал. Я уж впритруть, в голову палю, а он сидит. Наконец упал. Нам тогда папиросы выдали, много папирос...

В зале старичок с бородавкой несколько раз хлопнул в ладоши. Кузьма Демьянович вдруг поднимается и громко так говорит:

— Неправда это! Врете вы все! Ничего этого не было!

Рядом кто-то сказал:

— Пьяный, наверное... Глаза залил...

Старичок с бородавкой кричит что-то. Тут дежурные с повязками, два человека. Взяли Кузьму Демьяновича под руки и повели. Кузьма Демьянович сначала шел ничего, а как стали вниз спускаться, снова в тот самый подвал, он ни в какую. Упирается, трясется весь.

— Не пойду! — кричит. — Не надо мне вашего нового царства!

Вырывается он, а дежурные крепко держат. Тащат его снова по темным коридорам, только теперь там тишина и пол под ногами сухой. Привели в какую-то комнату с табличкой: «Домоуправ», сказали:

— Сиди здесь и порядок больше не нарушай.

Кузьма Демьянович под ноги смотрит — никаких следов крови. Через полчаса, наверное, или даже раньше приходит тот самый лысый с заячьей губой, который со сцены говорил.

— Ты что, мне не веришь? — спрашивает. — Вот смотри.

И достает из брючного кармана часы. Кузьма Демьянович таких часов никогда и не видел. Сделаны как яйцо, с крышкой, блестят всюду.

— Серебряные, — говорит лысый. — Английской работы. Ни разу в мастерскую не носил. До сих пор ходят. А потому — царские.

Кузьма Демьянович смотрит на часы и опять вспоминает:

— Все, что осталось от царства земного...

— Теперь другие примазаться хотят, — гудит лысый над ухом. — Жужгов, например, Колпашиков еще... Говорят, они ездили царя сжигать...

Врут все... А если ездили, пусть место покажут. Я зарубки на деревьях делал. Только я и могу место это найти...

Кузьма Демьянович все хотел вопрос свой задать, но не решался. А потом спросил:

— А что, правда всех убили? И дочь царскую?

— С княжнами и вовсе морока, — отвечал лысый. — Вроде бы уже конченные лежат. А тут стали на носилки класть, чтобы нести, а они живые. Штыками доканчивали... Долго возились...

— А Анастасия? Анастасию тоже убили? — спрашивает Кузьма Демьянович.

— Какая еще Анастасия? Может, и убили... Кто ее знает? Всех тогда кончили... И сожгли... Серной кислотой облили... Я пиджак свой прожег. Большая дыра... Потом сколько судился, чтобы новый получить...

Лысый куда-то вышел, потом вернулся. Сразу от него вином запахло, на глазах слезы.

— Обидел ты меня... Не веришь... Я-то раньше мастерскими заведовал. Теперь вот домоуправ... Пенсионер союзного значения... Только все равно фактически выкинут на произвол судьбы... Вся слава теперь Жужгову. А он, я точно знаю, осведомителем в полиции был. Еще при царе. А если Жужгов царя сжигал, пусть дерево покажет. Я на дереве ножом вырезал: «Н. В.» Николай Второй, значит. Я и сына своего Николаем назвал. В честь государя императора.

Лысый лезет в карман, достает бумажник и показывает фотографию. На снимке он сам, в шляпе, рядом с ним мальчик. Мальчик смотрит серьезно, не улыбается.

— Писал я всюду, что нет мне никакого почета. Всю честь себе другие взяли. А все сделал я...

«Все равно этого не может быть, — думал Кузьма Демьянович. — Не могли ее пожечь. Ей царство небесное уготовано, а тут — серная кислота... Как же мне без нее?»

Ночевал Кузьма Демьянович в этот день в домоуправлении, а наутро его отпустили. Он еще долго ходил по городу, искал знакомых. Но никого прежних не было — ни Корзинниковых, ни Савелия Стремоухова. И никаких следов Анастасии. И когда он в Москву вернулся, тоже никаких следов. Царская дочь нигде не объявлялась.

А как стал Кузьма Демьянович жить в доме престарелых, он уже не искал ее, а ждал смерти. Только смерть к нему все не шла. И Кузьма Демьянович уже сам не знал, для чего он живет.

И вот что самое интересное. Именно теперь, когда ему перевалило за восьмой десяток, Анастасия и объявилась. Кузьма Демьянович и не ждал ее вовсе, а она возьми и явись собственной персоной. Пришла ночью и стала рядом.

Лица ее Кузьма Демьянович не видел, только голос слышал. «Ей уж, наверное, лет сто», — думал он и удивлялся, какой у нее молодой голос, совсем как у девочки.

— А говорили, ты в Германии, — сказал он. — Ну что, нашла царство небесное?

А княжна отвечала:

— Царство небесное в душе написано... В душе наследие его... Я его снаружи искала, а оно — внутри...

— Как это — внутри? — не понимает Кузьма Демьянович.

— Снаружи — смерть и грех... А в сердце твоём — обитель небесная... Войди в самого себя...

Она еще долго что-то говорила, Кузьма Демьянович всего и не упомянул, да и слышал он плохо.

— Небесная жизнь начинается здесь, на земле... Душа здесь должна сделаться причастницей Неба. Очисти себя — царство и откроется... Помни всегда о своем небесном отечестве...

Когда она ушла, он и не заметил. Чувствует только — нет никого рядом. Светало уже. Кузьма Демьянович тогда поднялся с кровати и полез в тумбочку. Хотел коробку свою желтую забрать, а ее уже не было. Один портрет государя императора остался. Кузьма Демьянович оделся сам, без посторонней помощи, забрал портрет — и в коридор. Уборщица Нина Петровна, которая в этот день пришла рано (сын пьяный из дома выгнал), глазам своим не поверила. По коридору шагает лежащий Кузьма Демьянович, можно сказать — смертник, и бормочет:

— Живой он, живой...

— Кто живой-то? — спрашивает она.

— Царь, — отвечает Кузьма Демьянович. — Кто же еще? Скрывается только. Но скоро объявится. Тогда и будет царь и народ. И никого между ними не будет.

Так Кузьма Демьянович ушел из богадельни, пропал. Долго о нем никаких известий не было. Потом как-то та же Нина Петровна сказала, будто видела его на улице, в подземном переходе. Стоит у стенки, милостыню просит. В руках портрет государя императора, на лбу пятно красное. Вокруг музыка, оркестр играет, тряпки какие-то продают. А Кузьма Демьянович стоит, и губы у него шевелятся. Но музыка не смолкает, и слов не разобрать.



---

---

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

\*

## ЭН-ДЕН-ДУ

\* \*  
\*

Смерть представляется в одушевленном виде,  
то есть — живою,  
паче же — особой женского пола.  
Старой девой или вдовой военного; так — вполне пожилою,  
разгадывательницей кроссвордов в журнале «Семья и школа».

Непрерывной общественницей, активисткой в ЖЭКе.  
Может быть, даже работницей городского собеса  
иль профсоюза, шарящей по картотеке  
подслеповато, с кариесом во рту, без сугубого интереса.

И, пока она, зябко придвинувшись к батарее,  
не ожидая ни премии, ни презента,  
в небесные сияющие галереи  
оформляет очередного клиента,

он тоскует примерно о том, что на целой тверди  
только тьма неопрятная, скуки косая сажень,  
и о том, что смерти нарядной себе не выгадал,  
даже смерти,  
золотой шестокрылой смерти себе не нажил!

\* \*  
\*

Вот как с Ольгою Седаковой, поэтессой,  
нас в Италию отпустили двоих.  
Поначалу она высокомерно поводила плечом,  
потом перешла на «ты»,  
и мы сдружились.  
Даже шляпки купили с ней одинаковые — черные, из мягкой соломки —  
и ходили в них  
по Неаполю и Амальфи, словно кому-то снились...

«Знаешь, ты похожа на богатую шумную американку,  
поэтому тебе все легко», —  
говорила она.

А я говорила: «А ты напоминаешь бедную  
средневековую венецианку,  
поэтому тебе все так трудно».

О, это Амальфи, карабкающееся  
высоко  
и свысока обнажающее кропотливую вычурную изнанку!





порывая, заступала на порог кровавой бани  
братства,  
в равенство крестясь с мытарями да изгоями.

Отправлялась на прогулку на полях Псалтири рисовых,  
ограждаясь броней медной, звуком трубным.  
Искуситель рыскал около — в кепке, в шароварах плисовых,  
с зубом золотым и с бубном...

Вот какая ты, душа, — в красном плюше, в черном штапеле.  
На локтях заштопанный подрясник покаянный,  
воском весь подол закапан:

воин, позабытый во поле,  
в Божьей глубине карманной.

Все б теперь тебе — аористом древнегреческим, как водится,  
совершенным, совершившимся временем смотреть сквозь стекла,  
как была за Аввакумом — Марковною, протопопицею,  
сотаинницею Павла — сокровенной Теклой...

Утекла твоя свобода — с голытьбой, с каликами,  
чтоб со властью оборвать на полуслове  
спор с лукавым совопросником,

с языками  
объяснения на тарабарской мове.

\* \*  
\*

Перестаньте целиться в Юру Лохвицкого — он в зеркальце боковое  
видит фары ваши горящие, бамперы — будто в ухмылке,  
слышит хлюпанье ваше по слякоти,  
чует черное, роковое  
нарастающее дыханье на своем затылке.

Он всегда поигрывал в супермена, ловца дракона,  
охотника на дикого вепря: во рту — с базиликом,  
избавителя дев из плена с сабелькой из картона  
и, как обезьянку, Иронию носил на плече с шиком.

Послушайте, он же заехал не в ту лесостепь, и шины  
под ним дрожат и трясутся по вашей чужой дороге.  
И он — не вашего поля, и он — не из вашей глины,  
поскольку облако чертит ему в небесах чертоги!

И покуда он черноту намокшей равнины  
на себе разрывает, как вретисце, — с треском, с визгом,  
костеня от ужаса в своем цирковом муслине,  
обезьянка прикидывается ключицей, ребром, позвоночным диском.

### Забвеньё

В локтевом суставе тикнув, в чашечке коленной  
молодой пчелой жужжит, стрекозой стрекочет,  
Иерусалим небесный облетает сокровенной  
мыслью, губы в Мертвом море мочит...



Слава Создателю — в их ночном окаянстве!  
 Божье благодарение — в их дневном хлебе!  
 Все, что мы потеряли во времени, — обретем в пространстве.  
 Все, что мы обрели в городе, — подберем на небе.

Потому что на холмах Грузии ночная мгла.  
 Потому что все остальное — только кимвал звенящий.  
 Потому что Геба столь ветрена, что, кормя орла,  
 проливает на землю кубок громокипящий!

\* \*  
 \*

Гадать не хочется. Не только потому,  
 что — грех, что — демоны слетятся — не отстанут,  
 начнут навязывать видения уму,  
 толкать-подсказывать: глаза и уши вянут.

А просто — не к чему. Пускай себе бредет  
 душа в неведенье, страшится, обмирает,  
 трепещет, плещется, и плачет, и поет,  
 о чем — сама не знает...

Одна морока ей — томиться, жаждать, ждать,  
 когда все сбудется, искать примет на тверди:  
 любви не выгадать, но и не прогадать  
 соседке-смерти.

Всю гущу черную грядущего сполна  
 сжую — кофейные горчайшие остатки...  
 Осадок муторен, гадальщица!

Темна

вода во облацах,  
 а все играет в прятки.

\* \*  
 \*

Что, заморенный мой ослик, ношей удрученный,  
 обезвоженный, бессонный, сиротливый!  
 Красный гнев, унынье желтое и обида — всадник черный...  
 Твой хозяин, знать, тяжелый человек и несчастливый.

Знать, безжалостный. Все бродит, хмурит брови.  
 Пишет скорбь свою — морщина за морщиной.  
 Не жалеет тонкой кожи, не щадит звенящей крови,  
 нервов — даже их крестообразной паутины.

Ну и пусть себе страдал бы — немощной душою этой,  
 духом горьким удручен и неприкаян,  
 ан — не кормит, ан — не поит, ан — все курит сигареты  
 да пришпоривает ослика хозяин.

И как только дунет ветер, занавеска шевельнется  
 и почудится там что-то и помстится,  
 он на ослике в пространство выше города несется  
 и надеется, безумный, и храбрится...

\* \*  
\*

Ах, как Леня — нынешний замминистра культуры — у нас танцевал!  
Он выбирался на середину комнаты и всегда оставался соло.  
Он руки заламывал на затылок, он локтями неведомое писал.  
Он легонечко так поводил ногами, как бы и не касаясь пола.

Словно он Господу говорил: Господи, Господи, вот он — я!  
Я — Леня такой-то, Давид пред ковчегом Завета,  
первенец Твой и любимец. Баловень, не сводящий края —  
с краями, концы — с концами — от излишка восторга,  
избытка света!

От чрезмерности, Господи, Господи, бытия,  
от надмирности Твоего владычества, величия Твоих владений,  
великолепия Твоего лица, Господи, вот он — я,  
сын земнородной, танцовщик, певец и гений!

И никто не мог ему соответствовать, быть парой,  
и все молчком  
наблюдали, не смея соперничать:

он, как скрипка,  
всеми струнами пел вдохновенно под Божьим смычком,  
в водоеме воздушном плескался самозабвенно, как Божья рыбка...

И когда уже стал замминистра, к нему на прием  
я пришла и села на стул казенный.

Уныло, совсем устало  
на меня смотрел человек сгоревший.

О деле моем  
не хотел и знать.

Но, что-то припоминая, помог немало.

### Секрет

Да, и в прятки, и в салки, и даже в «колдунчики», и в лапту,  
и в соловьи-разбойники, и в штандр, и в колечко,

классики, ляги  
все играет душа моя, бьет мячиком в стену, обрушивает высоту  
на весенний асфальт, приказывает фигуре: замри,  
«чурики» говорит, жухает, обходя передряги.

Говорит: я на новеньких в ваших жмурках, в ваших  
эниках-бениках, в эн-ден-ду.

И бесконечно «водит», ловит кого-то,  
подсматривает с завязанными глазами,

осаливает, бьет палочкой-выручалочкой по скамье в весеннем  
саду,  
вынимает из шляпы фанты, приказывающие разными голосами...

Но «секрет», «секрет» — это любимейшая ее игра!  
Это значит — разрыть ямку, нанести сюда лепестков,  
мертвых бабочек, разложить красиво,  
придавить стеклышком, запорошить землей.

А когда настанет пора,  
привести кого-то, кто раскопает и ахнет,  
ахнет: какое диво!

---

---

АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ

\*

## ИЗМОРОЗЬ, ОТОРОПЬ...

\* \*  
\*

Мне надоело. Я не хочу, чтобы жизнь продолжалась.  
Кончено. Все. Нету смысла описывать и далее эти дни.  
Пространство вокруг все время понемногу сужалось  
и вот наконец-то сузилось, да так, что остались одни

изморозь, оторопь, непривычное опустошение,  
замерзший за зиму на подмосковной даче сад.  
Легкая резь иногда еще чувствуется в глазах или жжение.  
Настала пора научиться равнодушно смотреть назад,

на любви свои подростковые не обращая внимания,  
улицу свою Онежскую на такси проезжая,  
не вспоминать ни детские свои переживания,  
ни слезы материнские: «Я тебе не чужая...»,

ни слабость, ни драки, ни хулиганов приставания...  
В кормушку на соседском балконе синица прилетела...  
Так страшны эти внезапные навсегда расставания,  
так странно это распускание, а после — увядание тела.

«Я тебе не чужая, когда в землю ложусь рассыпчатую,  
когда ручьи весенние сквозь тело мое протекают...»  
«Я тебе не чужой, когда в рощу эту превращаюсь дымчатую,  
в кладбищенскую, зеленую, где воробьи летают...»

Шаболовка, как заноза, уже много раз сердце мне процарапала,  
но вот уже и царапать нечего. Рот свой ощерил...  
Жизнь — это только свет цедающийся. Ну от чего ты плакала?  
Дурак этот мне ничего не сделал, понимаешь, не сделал...

### Сантименты

«Вечером тебе лучше одному не ходить —  
ограбят или изнасилуют, у нас ни в чем не знают меры.  
Будешь сопротивляться, могут так засадить,  
что кровью облюешь потом все Кордильеры...»  
«Ну что в окно уставился, Алексан-дер.  
В Нью-Йорке тоска такая, что хоть подыхай.

Мокрое полотенце растягивается, словно эспандер,  
 и с силою бьет по спине. Ну давай  
 глотай же, работай, на что ты еще пригоден?..  
 Комом в горле застряла сладкая мамалыга.  
 В кожаной куртке, ты что, наверное, очень моден?  
 Когда ночью звонишь, не вяжешь, придурок, лыка».  
 Вдруг ветер холодный откуда-то с Мексиканского залива.  
 Индюк надул розовый зоб и по двору ходит.  
 Глаза твои поблескивают, как греческие маслины.  
 И где такие типы водятся и где таких находят?  
 Волосы гладко зачесаны и подмышки побриты,  
 в рот улыбающийся твой не то что банан — тыква поместится.  
 Где-нибудь возле Централ-парка мы будем с тобой избиты.  
 В Нью-Йорке летом от тоски можно просто повеситься...  
 Черты ваши со временем, естественно, забываются,  
 сливаются в поток спящего света...  
 Как рубашка, которая, когда несколько раз простирается,  
 навсегда потеряет запах пота, впитавшийся в нее за лето.  
 «Знаешь, Алексан-дер, стихи надоели, не пишутся,  
 от линз и пыли глаза воспалились — аллергия...»  
 Языки Кордильер небо розовое лижут, колышутся...  
 Сантименты это все, сантименты и ностальгия.  
 На Савеловском пьяная бздыха у теплого люка греется.  
 На Гоголевском солдаты во время перекура на качелях качаются.  
 Голуби в зимнем небе так весело кувыркаются, даже не верится,  
 что жизнь уже кончилась или уже кончается.

\* \*  
\*

Анечка-дочка, раннее утро,  
 черное платье и тюль на окошке —  
 мартовским ветром прошита, продута.  
 Зябко еще и тоскливо немножко.

Дай приласкаю и дай — приголублию.  
 Дай твои волосы поприбираю.  
 Ветку сирени осыплю, насуплю  
 брови, как будто опять умираю.

Анечка, синяя лента на шее,  
 след от пореза, лиловая жилка.  
 Смутное что-то случилось в душе, и  
 вот уже боль подступает с затылка.

Кажется, жизнь, словно нитка с иголкой,  
 близко все время проходит, но мимо.  
 По небу, по ветру легкой походкой  
 все-то торопишься неутомимо.

Ветром, и веткой, и вербой, и верой  
 воздух дрожит и колотит, как рана,  
 и дребезжит, словно плотник фанерой.  
 Март наступает, не правда ли, Анна?

\* \*  
\*

Разъехались, разбрелись, бестолковые, пучеглазые,  
как раки, норовящие выползти из таза.  
То хорошие о вас воспоминания, то разные  
еще преследуют меня, как хворь или зараза.

Разбрелись, разъехались, улетели заживо,  
упорхали ласточки, кузнечики, трясогузки.  
То, что болело так сильно, кажется, уже почти зажило,  
лишь сердце ночью трясет, как после физической нагрузки.

Люпином подмосковным, ноготками, маргаритками,  
ах, жизнь повторяется, как на могиле бордюром —  
цветочной рассадой, обложенной кафельными плитками,  
астрами в майонезной банке под небом хмурым.

Или нет, не так — алыми бархотками,  
небом синим и дождиком летним,  
мамой, склонившейся над дачными сотками,  
мною, стоящим в четвертой позиции в классе балетном.

Ну-ну, пучеглазые-краснорукие-синебровые,  
ну-ну, дорогие мои, бессмысленные, постаревшие,  
представляю, как надоели вам упреки мои занудные, бредовые,  
глаза мои близорукие и волосы поседевшие.

Представляю, как вы веером обмахиваетесь на берегу океана  
или залива,  
или мороженое едите на берегу моря или озера,  
или загораете отчаянно так, безумно и счастливо,  
как голый солдат, поющий песню за рулем своего бульдозера.

Вечером кусты магнолий шевелятся мотыльками и улитками.  
Глупые мои, глупые, нежные мои и мечтательные,  
я еще напомню вам о себе всеми этими бархотками-маргаритками,  
членистоногие мои, чешуйчатые, не умершие еще, замечательные.

\* \*  
\*

Повествовательный сюжет затягивает, словно омут.  
Чтобы не улыбнуться невпопад, прикусываю губу.  
Вот, кажется, уже сейчас меня за руку тронут —  
ну сколько можно еще раз испытывать эту судьбу?

Просто хорошо сидеть вблизи и музыку не слушать,  
смотреть придирчиво вокруг, как бы в последний раз.  
Как будто голуби в окне, воркуют утром души.  
Меня чуть-чуть волнует сонный и чужой разрез твоих глаз.

Волосы за лето выцвели, и кожа на лице огрубела,  
коротко подстриженные ногти сделали более чувствительными пальцы.  
Твое узкое и живое, как у головастиков, тело  
как будто все время находится в возбуждении или танце.

Вечером ветер волосы слегка развеивает,  
ах-ах, можно подумать, что кто-то покусывает за ухо.



Если чужой человек утром рубашку твою по ошибке надевает,  
то это только aberrация зрения или слуха.

Такси, увези меня скорее, лишь бы ничего этого не видеть больше  
и не слышать.

Самолет в облаках затеряется. Безумные листья облепят тротуар.  
Перепонки заложило, но мне так нужно подняться еще выше,  
туда, где снег и розовые горы, как языки леденцов, Эскабар.

\* \*  
\*

Город как город, для кого-то — окраина мира,  
а для кого-то — весь мир и ничего кроме.  
Желтые, как дыни, круги домашнего сыра,  
куры оружие в каждом доме.  
Пахнет цветами какими-то, дымом и влагой,  
босоногие смуглые дети копошатся на пыльной улице,  
мусор цветет банановой кожурой и газетной бумагой,  
в которых и шевелятся все эти дети и курицы.  
Поросенок, любимец семьи, детей и собак,  
перед тем как быть на рынке проданным,  
стоит его пощекотать, сразу же валится на бок,  
закатывает глаза и хрюкает голосом преданным.  
Низкорослые крестьяне везут сюда кукурузу и просо.  
Подростки узкие белые штаны у портных заказывают.  
Женщины лениво веерами обмахиваются и смотрят косо  
на приезжих и пальцами на них показывают.  
И только лишь небо, фиолетовое ранним утром  
или нежно-голубое, как белки глаз у мальчика,  
манит еще, заманивает своим пространством продутым,  
пыльцой апельсиновых роц и семенем одуванчиков.  
Летите, летите, узкогрудые, от хлева и сенокоса,  
кровь такая красная под кожей загорелой, и с голоса,  
о чем идет речь, не понятно, из карманов сыплется просо  
на землю, и ножик сквозь штаны проступает у самого пояса.

\* \*  
\*

Все изменяется, только когда вижу тебя — происходит иначе:  
воздух сгущается и впереди — прозелень и облака.

Жизнь, безусловно, всего лишь намек на обстоятельства, значит,  
кажется мне, что в руке у меня вдруг задержалась рука.

Но впереди, безусловно, еще что-то со мной происходит,  
даже подумать об этом боюсь, даже сказать не хочу.

Перышком кто-то, травинкой, цветком мне по лицу утром водит.  
Глаз не открою и, чтоб не спугнуть, пару минут промолчу.

**Даже птица все время за птицей...**

Это ветка неслышно качается в такт.  
Снисходительно смотришь, настолько смешны  
все касанья, усмешки. Наверное, так  
неудобно бывает, когда не нужны —

непонятная эта чужая любовь,  
то ли ревность, а может быть, тик или хворь.  
«Слушай, хочешь, я лучше почищу морковь, —  
и смеешься: — ну только от чая уволь».

Даже птица все время за птицей летит.  
Небо желтой каймою плывет за окном.  
В темной комнате взгляд твой безумный блестит...  
Это я, как придурок, всю жизнь об одном...

Постарайся не стыть на московском ветру —  
на обветренной коже останется след.  
Даже имя не вспомнишь, когда я умру,  
ну а кроме — давно ничего уже нет.

\* \*  
\*

Стали б мы богаче всех на свете,  
Как говаривал Кузмин покойный.

*Анна Ахматова.*

И все-таки небо. Стою, замерев у окна,  
прислушиваясь к тому, как кровь в сердце ходит.  
В голове шумы какие-то, как будто остатки сна,  
никто не звонит с утра и тушью синие глаза не подводит.  
«Руку на талию, ах, положить не приятно ли,  
в глаза заглядывая и то, что они потемнели, косвенно отмечая?  
Свежий ветер в поддых ударяет, кожа идет пятнами.  
Не сесть ли нам, юноша, друг против друга и не откусать ли чая?»  
А небо то серое предгрозовое, то розовое.  
С тринадцатого этажа весь город — как на ладони складки.  
А платье на мне сегодня газовое, мимозовое,  
как цукаты домашние в коробке из-под сливочной помадки.  
Над стадионом к вечеру то облако зависнет, то планер.  
Над головой моей пчелы кружатся — им варенья вишневого не хватает.  
«Ту фотографию, на которой сзади меня еще морской лайнер,  
возьмите, юноша, себе на память. Смотрите, мороженое сейчас растает».  
Вижу из окна, как люди внизу передвигаются.  
Свежий воздух задирает на мне юбку. Не понимаю,  
и как все другие в этой жизни красоты добиваются?..  
Под нос бормочу себе что-то, ворчу, про себя повторяю.  
Люпином пахнет, подмосковными дачами, «симиренко» рассыпчатыми,  
а внизу деревья шевелятся, распустив по ветру зеленому волосы.  
Ах, полечу я сейчас по небу, как юноша в платье дымчатом,  
оставляя за собою на небе реактивные полосы.  
И Москва подо мною всеми куполами как заблестит да как засверкает,  
Бульварное кольцо как защебечет да как закружится.  
«Смотрите, смотрите, как Алексан-дер наш по небу летает,  
как приземлиться он мягко на землю умеет, чтобы на головы прохожих  
не обрушиться».



---

---

ВИКТОРИЯ ФРОЛОВА



## ЦЫПЛЕНОК ЛЕТЯЩИЙ

Рассказ

**О**рион — это созвездие.

Нет, это хромой мужик.

Он приходит зимой, поднимается над краем неба и хмуро смотрит на примерзшие дома, куцые деревья и на нас, окаменело ждущих трамвая на остановке.

Хромым назвала его не я. Это звезда поддернулась вверх, и кто-то умный сказал: «Смотрите, одна нога короче!» — «Великан захромал!» — радостно подхватил другой, и оба рассмеялись. Огромный небесный мужик сразу ослабел и побрел с протянутой рукой, цепляясь за крыши, антенны и заводские трубы. К утру он упал на землю где-то за металлургическим комбинатом. А может, прямо на комбинат, в горячий цех. Как Гефест. Гефест тоже был хромым.

Гефест — это знакомо. На нашем заводе среди железных стен, бетонных локтей и коленей, в утробных стонах печей живут, рождаясь и умирая, чудовища подземного мира. В грязных касках, с проржавевшими зубами, пальцами и голосами. Поэтому, когда слышу — Гефест! — сразу вижу тлеющий черный бычок в трещине рта.

Я молча мерзну на остановке. Орион — за краем земли.

С тех пор как мы встретились, мне стали нравиться ломаные мужики. Хотя, может быть, все гораздо проще. У моего отца не хватает двух пальцев на левой руке, той самой, которой он раз в год гладил меня по голове. В правой он держал газету. И так же, как Орион, он не болтался все время перед глазами, подобно прочим созвездиям. Он восходил на домашний небосклон поздно, оторванный от производства необходимостью навестить ужин, жену и хоккейный матч. Он был всегда одинок, потому что многочисленное женское семейство не могло разделить с ним проблем Гефеста.

Отец теперь далеко. Завод всегда рядом. Оглянусь — и увижу родные трубы, узоры колючей проволоки на снегу. Мой завод всегда со мной. Я везу его за собой по городам и, выходя из поезда на перрон, оставляю на окраине неподалеку. Подымить до моего возвращения. Если же я уйду надолго, он ищет меня повсюду, вздыхая тяжелым красным туманом. И находит. Так было везде, кроме Москвы. Москва оказалась огромней и, значит, сильнее и не пустила завод вслед за мной. И вот уже очень давно мы с ним не видимся, и только легкие приветы иногда залетают в мое окно. Запахи огня, окалины и мусорных пустырей.

Москва оборонялась домами. Она тянула их в многоэтажную высь и закрывала собой деревья, трубы, помойки и зимнее небо. Она состояла из окон, крыш и прохожих, и в ней спокойно жилось кверху ногами. Это когда идешь по улице и небо встречаешь лишь в отражениях луж. От этого взгляд все время внизу, ну а ноги, наверное, вверху, чтобы не наступить на взгляд. И все время кружится голова. В мартовских лужах отражен прогноз: облака — к новому снегу, но синие проблески намекают на дождь и даже на солнце. Легкие туфли — к оттепели, галоши на

валенках — к нищему старику, замшевые ботинки — к кожаной китайской куртке. Поднимаешь голову — и точно, ботинки прорастают брюками, брюки — кожаными лопатками, локтями, плечами. А вот и крепкая голова, лоб такой, что, если ударить в бровь, глаза и не моргнут. В эти глаза опасно смотреть, и я снова вдумываюсь в лужи, а навстречу уже скользят резиновые сапоги. Они замерли передо мной, и меня охватило сомнение: к кирзовым сапогам — фуфайка и стильный шарфик, к белым кроссовкам — китайский пуховик. Сиреневые же резиновые сапоги, скорее всего, были признаком окраины, как драный халат и стертые тапочки — всегда признак коммуналки или общежития. Они топтались передо мной, демонстрируя себя со всех сторон, и я уже было взялась анализировать цвет и качество грязи, налипшей на голенище, чтобы попробовать вычислить, с какой именно окраины приехал гость, как вдруг мне мрачно посоветовали отойти в сторону.

Я перевернулась с головы на ноги и рассмотрела хозяина мрачного голоса. Он тоже стоял на ногах, но как-то криво. Я снова опустила взгляд к сапогам — и поняла. Одна нога у него была короче другой. Это был Орион. И сразу запахло окалиной.

— Дай пройти, — настаивал он.

Уличные часы со всех сторон показывали мне свободное время. Была весна, и я подумала: «Вот заведу роман. Как положено». В общежитии, в моем шкафу, забыто жили такие же резиновые сапоги, заботливо присланные мамой. У нас на окраине мира тоже была грязь.

Я сказала:

— Пойдем гулять. Какая разница, пойдешь ли ты один или рядом с кем-то. Я буду молчать, и тебе будет вполне одиноко и независимо.

Он не ответил. Очевидно, он уже начал нашу прогулку.

— Куда пойдём? — спросил он через полчаса.

Слова вышли спокойными, как облака. Как будто полчаса совместной тишины сделали нас родными людьми. Тишина потребовала уединения, и мы, развернувшись спиной к столице, шагнули за глухой серый забор. И тут меня настиг мой завод.

Лежал не тронутый солнцем снег. Бесконечным сугробом тянулась железнодорожная насыпь. Посеченные травяные стебли, торчавшие вдоль по склону, напоминали, что этот сугроб не исчезает с весной, а становится зеленым, шуршащим, цветущим, с быстрым мусором, бегущим вслед за пригородной электричкой.

Мы стояли в преддверии заводского района, и я подумала, что Москвы вообще нет, есть груда маленьких городков, и у каждого из них есть свой центральный бульвар и свои гиблые пустыри и заводские трубы, и все это теснится вокруг одинокого, задавленного Кремля, который и есть крохотная столица одиннадцатимиллионного городского государства, на большее его не хватает, и вся остальная страна живет сама по себе.

Орион ничего не сказал. Он упорно хромал рядом со мной, но я перестала его замечать, как будто он шел за горизонтом. Я следила, как шарик солнца катится через низкую тучу. Туча внезапно прыгает на забор, дышит в меня, переваливается через край, падает, встает на дыбы. Мы молча входим в нее, как в беззвучный лес, и видим кости старых деревьев, скрытые в толстом и пухлом теле инея. На деревьях лежит труба, и это из нее хлещет горячий туман. Водяная пыль смерзается и звенит и оседает на плечи. Я ощущаю свои неуклюжие суставы, похожие на древесные, и мне хочется, чтобы и им когда-нибудь досталось хрустальное, праздничное одеяние. Белый, вечный покой, когда я буду уже так далеко, что даже завод меня не отыщет. Я закрываю глаза, беру Ориона под руку и бормочу:

— Не поскользнись.

А он тихо шепчет:

— Лондон.

Я открываю глаза, чтобы увидеть его сон, и встречаю прозрачные башни, солнце, насаженное на шпиль, еле уловимый звон невидимых часов.

Внезапно из-за угла со стоном валится ветер, замки рушатся, и я вижу, что остовом древним строениям служит пара красных кирпичных труб. Когда умирает город, вечно живым остается завод.

— Что это? — Мой спутник с испугом смотрит через меня.

— Колючая проволока, — объясняю я снисходительно.

— Мы к тюрьме забрели? — мрачнеет он.

— Нет. Мы вышли на изнанку Москвы.

От забора к забору эта изнанка шла до самой моей родины, которая вся навыворот. И я вдруг разозлилась бессмысленной провинциальной злостью.

Он боялся колючей проволоки и серой сплошной стены, вдоль которой мы тихо брели. Бетон шуршал, как небритая чужая щека. Тлел черный бычок на синем снегу. Совсем рядом с диким звоном билось само о себя железо. Монотонно, без признаков разумной жизни, как сумасшедший — головой о стену. Выла сирена, и, рассыпаясь в грохоте, неслась мимо свирепая электричка — сеяла запах гари. А из-за забора все время тянуло душным оранжевым ветром, с настойчивым привкусом огня и окалины. И я помнила, что я одной крови с этой бетонной стеной, небритой щекой, если, конечно, у стен есть кровь. Если, конечно, у меня есть кровь. И я не боялась.

Он поскользнулся.

Мне стало стыдно, сразу бросилась поднимать.

Встав, Орион резким движением сбил с коленей и плеча снег, засохшие стебли травы, бетонную крошку и меня.

— Зачем мы притащились сюда?!

— Случайно! — И я поняла, что вру. Но ведь и волк не знает, куда его тянет, пока не придет в лес.

— Заблудилась, — призналась я. — Не москвичка. Прости.

Орион медленно меня разглядел и простил. Хозяин дома должен быть великодушен к пришельцам.

— Понятно, — вздохнул с облегчением и взял власть в свои руки. — Тогда пойдем. В Дом кино. На Фассбиндера. Это лучше.

От радости, что Орион заговорил, да еще такими длинными именами, я засмеялась. И мы двинулись навстречу гладким лицам, кожаным курткам, высоким домам, между которыми небо течет узкой и бледной рекой.

Тротуар был узок, как ладонь нищего. Он взял нас в горстку и швырнул в темноту кинозала.

Фассбиндер мне понравился наполовину. Это была все та же родная помойка. Но там никто никого не любил.

Ближе к лету я позвонила ему. Орион дал мне телефон после Фассбиндера. После Фассбиндера еще и не то сделаешь, только бы не поверить в свое одиночество. Я позвонила, когда проросла трава. Вспомнились резиновые сапоги, и захотелось посмотреть, в какой обуви хромает Орион теплыми вечерами. Почему-то казалось, что босиком.

— Это ты? — Он даже обрадовался и пригласил к себе на дачу: — Посмотришь на друзей и как мы вообще тут живем. — Он все еще хотел оправдать город, а я уже почти простила несчастную столицу за то, что она не похожа на меня. Я просто решила встретиться с Орионом летним, недостижимым и непонятным в чужих, прогретых краях.

Не прошло и трех недель, как наступил конец мая. Было так солнечно, что меня не интересовало — мимо чего проезжаем. Я смотрела на солнце, пока оно не проступило на оконном стекле электрички, потом прямо на моем зрачке, потом оно упало внутрь меня, вдохнулось и накалило легкие. Я сразу же полюбила сидевшего напротив старика за то, что его лицо — все в мягких тенях, и его глаза — как капли воды на полированном темном столе, и его серая кепка — с заношенным козырьком, — все это ког-

да-нибудь непременно запечатлится, как натюрморт старого голландского мастера, а может быть — моя картина.

Я вышла на станции, с перрона прямо в траву, в воздушные куриные перья, в хрустящие камешки тропинок, и, помня наставления, двинулась вперед, строго перпендикулярно железной дороге. Мои руки от пальцев до плеч сразу же стали загорать, то есть краснеть, но ногам было прохладно, потому что лето, наступившее в воздухе, листьях и лицах, еще не затронуло глубину земли и дождевые черви еще еле ворочались в своих непрогретых норах.

Зелень вскипала на горизонте, как прибой. Хотелось верить, что за прибоем есть океан, полный живности в сосново-березовых недрах. Эти волны совсем не походили на мои далекие леса. Те были прямые и строгие, и облака над ними — синие. Облака жили густо и высоко и, пролетая над щетиной моих лесов, несли в себе дождь, дождь, холод, коротенькие всходы на полях и маленькие теплые зародыши грибов. Мои леса походили на жесткую стрижку рабочего мужика. Местные заросли кучерявились, как волосы у негра на макушке. У огромного черного негра под названием земля. Впрочем, я уже сравнила эти зеленые завитушки, барашки с океаном, и негр уже не нужен. Океан — и всё.

— Они ушли туда полчаса как, — сказала мне Орионова мама, пожилая женщина, не помню, как она выглядит. Сохранилось лишь чувство уюта и тепла, всегда обозначающее всех мам. Помню, правда, большую собаку цвета сгущенного молока, которая подошла и прислонилась к ногам женщины. Просто навалилась линялым боком, как на единственную опору, и блаженно улыбнулась.

— Пальма, — ласково ответила ей женщина и добавила: — Катька вас доведет.

Катьку изъяли из кучки самостоятельных подростков, изучавших весеннюю канаву. Подростки оглянулись на крик бледными зимними лицами, взгляды недовольно резанули воздух. Я рассыпалась на мелкие джинсовые кусочки, и оставшиеся от меня заношенные кроссовки стыдливо засияли советскими этикетками. Дети опознали чужака, а мне осталось искривиться улыбкой взрослого, равнодушного человека.

— Они на поляне, недалеко, — сказала Катька и, подумав, припугнула: — Но идти туда надо через болото.

И, добравшись до конца улицы, подвела меня к Вечной луже.

Сквозь темную воду восторженно прорастала густая трава. В траве что-то радостно хлюпало, булькало и шевелило мелкими хвостами, греясь на солнце, и я снова подумала: «Океан». Через полмиллиона лет на сушу выйдет группа дачников с рюкзаками и в белых кроссовках, в которых съезжатся от мозолей кистеперые конечности. Они расположатся возле лужи на пикничок и, позавтракав, снова уйдут в воду, уже в купальниках.

— Ну что? — ехидно спросила Катька. А может быть, и не ехидно, я всю дорогу беседовала с ней о серьезных планах на будущее, о Пальме, о лучших сортах жвачки, надувающейся пузырями, и, надеюсь, заслужила немного сочувствия. Поэтому:

— Ну что? — с сочувствием спросила Катька.

— Нормально, — ответила я и шагнула в лужу. Будущие дачники, дрогнув хвостами, исчезли. Я точно знала, что страшное болото не захлестнет мои старые кроссовки и я не пойду по колена в воде по лугам, залитым прошлогодним снегом, как это было когда-то в моем подростковом возрасте, в моих горах, на Первое мая. И как не будет этого возраста и Первого мая, так не будет этих гор и лугов. И выходит, что родина — это не далеко на восток, это далеко в прошлое и я никогда туда не вернусь, но и здесь никогда не останусь. Я двинулась через лужу, чтобы она не стала моим домом.

— Они там! — помахала с берега Катька и, повернувшись, ушла в прошлое, тоже став навсегда покинутой и родной.

На поляне пестрели две кучки людей, одна поярче, другая телесных полуголых оттенков. Как два глаза, один из которых смотрит цветной телевизор, а другой закрыт. В «телевизоре» все было как в аккуратно прибранной детской: маленький стол, два полосатых складных стула, пластиковые бутылки, раздутые фруктовыми водами, похожие на шеренгу воздушных шаров, зелень, зелень, зелень, пучки среди тарелок и одновременно ковер под ногами веселых людей. У стола шевелились два маленьких человека в замечательных спортивных костюмчиках. Костюмы были импортные и дорогие, дети же — неизвестного происхождения. Дети сосредоточенно пачкали один из костюмов остатком бутерброда с кетчупом, который они, очевидно, только что уронили. Они соскребали соус пальцами и старательно перекрашивали в красный цвет робкие цветы мать-и-мачехи. Позади на траве виднелись два очень хороших спортивных костюма, и можно было предположить, что и там двое других детей рекламируют красивую жизнь, но законы перспективы подсказывали, что дальние яркие человечки по размеру больше походят на родителей, и дым сигареты подтверждал это предположение. Ослепительно сверкал сиреневый автомобиль. Через капот в рабочем грузовичке переезжал коричневый толстый жук. Смеялась женщина, и негромкая музыка, сливаясь с голосом, колоколом зависала над живописной картиной.

И так нежно она звенела и переливалась, так призрачно качался костер в закопченном мангале, так невесомо парили две рюмки на тоненьких ножках, что хотелось взять этот пейзаж за ближний край и, свернув в трубочку, унести домой, приколоть к обоям и сутками любоваться, как бегают по шерстке ранней травы двое деток маленьких и двое больших, собирая цветы и воздушные поцелуи под звон хрустала.

Ах, как меня потянуло туда! Да не к рюмкам, ребенкам, машинкам и даже не к поющему шашлык. А к тому зеленому, ароматному, что ненужно, забыто торчало во всех тарелках. Так потянуло, что я, нагнувшись, зло выдрала из поляны клочок новорожденной травы, чтобы пальцами, ладонями, зубами ощутить, какая она, зелень, напичканная хрустящим солнцем, приветливо безмозглая в своих кружевных оборочках, свежая и спокойная, она думает, будто все еще растет и что удастся еще зацвести и наплодить семена и, значит, все еще будет, все еще впереди — да здравствует лето.

Мое зимнее, выстуженное, само себя поевшее тело судорожно сжало зубы, чтобы удержать в себе хотя бы призрак свежести. А пальцы растерли в краску безвкусную лесную поросль. Пальцы были бледные, как корешки травы, и я увидела, как выживший в руке стебелек бездумно и непорочно врастает в кожу, заталкивая меня под землю, — раз бледная, безжизненная, худая, иди под землю, а он останется наверху, плодясь и размножаясь, питаясь от солнца и от меня и тем самым обеспечивая смысл жизни всем нам троим.

— Нет уж, — сказала я и выдрала из себя зеленое существо.

Я сунула травинку в рот и разжевала, чувствуя дикую горечь и одиночество.

— Есть хочешь? — спросили издалека. Меня манила ладонь, черная, отягощенная пепельной картофелиной, как бульжником. И мой Орион сидел на поваленной березе и говорил:

— Быстро добралась? Картошку будешь? А шампанского? Иди сюда!

И светлые глаза его сияли. Кто-то ритуально привставал и кланялся, кто-то ритуально потягивался и зевал, показывая крутые плечи и хорошие зубы. Шампанское в солнечный день на траве у костра довело меня до смутной улыбки, и я включилась в кольцо чужих людей, и они наложили на меня оковы своих правил, и я с почтением подчинилась. Закладывали вторую партию картошки, двигали костер по поляне, я прутом отгребала золу, крохотные смерчи летали над испепеленной травой. Потом в ожидании жара сидела, прижав к животу нагретые клубни, как новорожденных котят, и живот мурлыкал им что-то. Орион крошил сучья о ближний пенек. Пенек разлетался тоже. Мне казалось, что в этой силе заложена

власть над миром, что в горячих котях, в душных смерчах пустыни, в огненных шарах, взлетающих над заревевшим костром, уже дышит новая жизнь, и новое мироздание скручивается в тугий узел, и первородный кузнец уже звенит неподалеку своим молотком, собираясь из грубой материи выковать совершенство Земли. Сталь блеснула в руке Ориона, и, шагнув к нему по облакам, я сказала:

— Я хочу говорить с тобой...

Он обернулся и улыбнулся всепонимающими глазами:

— Конечно, поговорим.

И я увидела, как по плавному телу, из мускула в мускул скользнул блаженный рывок, взметнулась рука и стальной инструмент мироздания, блеснув, просвистел над моей головой. Что-то звонко лопнуло у меня за спиной. Орион засмеялся. Я обернулась. С березы сползало кольцо бересты, а в престарелом стволе, горбато торча рукояткой, сидел отлично заточенный топор.

— Шампанского хочешь? — Орион положил мне руку на плечо.

Глаза у него были ясные. А стоял он вперекосяк. И когда мы шагнули к костру, он нечаянно навалился на меня, потому что ему было больно идти своей неправильной ногой. Я придвинулась ближе, чтобы удобнее поддержать, мы рядом дошли до бревна, рядом сели и рядом ели картошку. Я заметила, что на меня все время смотрит девушка с красивыми длинными волосами. Смотрит через костер и как будто вдыхает в себя огонь, потому что глаза ее плавают, а пальцы гладят травину, и травина скручивается в кольца. Я начинаю смеяться, она улыбается мне в ответ. В улыбке ее нет злости. Девушка ложится спиной на траву и вздыхает, пуговица лопаётся на ее рубашке, костер вытягивается в узкое лезвие, и кто-то, подняв к небу глаза, жалуется:

— Хорошо-о-о.

На это девушка, отвернув лицо от костра, сонно пробормотала:

— Шашлычок-то скоро будет готов.

Все обернулись к сиреневому автомобилю и праздничным соседям. Орион съехал с бревна на траву и, устроившись затылком на моем колене, ласково протянул:

— Пусть подавятся.

Мне почему-то сразу вспомнились зябкие резиновые сапоги на полумимнем скользком асфальте и бегущие мимо чужие замшевые ботинки.

— Что ты так? — посочувствовала я ему.

— Да это сестра моя. С мужем, — охотно ответил он.

— Да?! — изумилась я. Снова вспомнила резиновые сапоги и скользящие мимо туфли-лодочки. Лодочки, везущие из неведомых стран жемчуга, драгоценные камни, пряности, сладости и заморскую женщину. — Да? Как вы непохожи. Как от разных матерей.

— От разных отцов.

— А дети? Их?

— Да. Как и автомобиль.

— Проклятые буржуины. — Красивая девушка под села к Ориону, сгребла в пучок свои роскошные волосы и золотым веничком пощекотала ему ухо.

Орион поежился и хихикнул:

— Лучше сходи за шампанским, они два ящика привезли.

— Пусть Коля пойдет. — Девушка заботливо наматывала ему волосы на шею.

— Не пойду, — раздраженно откликнулся Коля. — Они ненормальные. Все опять оглянулись.

На освещенной солнцем траве, резко подчеркнутые тенями, вокруг маленького стола замерли четыре фигуры. Дети большие и дети маленькие. С ясными лицами, прозрачной кожей и растерянными глазами. Как будто неведомые могущественные родители покинули их в ранний утренний час и оставили играть в одиночестве и ждать.



Рядом кто-то смеялся.

Я очнулась. Все весело трепались, слова сеялись легко, как грибной дождь, но ничего не выросло. Я слушала про погоду, про родственников, про девушек с золотистыми волосами и мягкой грудью, про деньги и канаву, которую надо копать через участок, и про то, что шампанское очень похоже на пиво и пора бы сходить облегчиться, не хочет ли кто-нибудь составить Паше компанию.

— Хочу, — ответила девушка с золотистыми волосами и безмятежным лицом. Она улыбнулась и вслед за Пашей нырнула в березовый океан.

Я с недоумением проводила их спины, в полуденной сонной тупости пытаюсь мысленно разместить эти две исчезнувшие фигуры так, чтобы сохранить в эстетической неприкосновенности оба пола. Мне казалось, что процесс облегчения требует сосредоточенности и одиночества. Однако, слегка проснувшись, я решила, что мне нечего заботиться о чужой неприкосновенности. Пусть они за кустами свалятся в одну кучу, потеряют признаки пола, станут совершенным андрогинном. Пусть облегчаются совместно, мне неизвестно, что означает это слово, может, они облегчают не тело, а жизнь, падая в обморок в незатейливых судорогах под пошлым кустом.

— Я тоже схожу, того... — С травки поднялся Коля и двинулся к тем же кустам.

У совершенного андрогина — четыре руки и четыре ноги. Куда Коля пристроит еще две и две — неизвестно. Но что мы знаем о совершенстве?..

— Ты не сиди на траве-то, — вдруг обернулся ко мне Орион.

Я вздрогнула и улыбнулась.

— Простудишь себе кое-что, что мы потом с этим делать будем?

Он улыбнулся тоже. Он сиял, как и положено большому созвездию. Но настоящий Орион приходит только зимой, так считает учебник истории. А сейчас было лето, и творилось что-то не то и не так. Я взглянула ему в глаза, я открыла рот, чтобы спросить, я спросила:

— Я, может, мешаю?

А он удивился:

— Тебе что-то не так? Тебе плохо с нами?

Я сказала:

— Нет, у вас хорошо.

Мне было плохо с самой собой.

— А по-моему, мы — ничего, — засмеялся он.

А я подумала: почему он все время говорит «мы»? В этом «мы» мое «я» было отдельным и одиноким, и Орион отодвинулся за горизонт. Мне захотелось бежать и кричать, и купол неба накрывал меня голубым блюдцем. Под перевернутым блюдцем бежала божья коровка, искала дверцу в другое пространство и не находила. Но это была не я. Я смотрела со стороны. У меня имелись руки, и я толкнула в плечо Ориона:

— Не надо, выпусти.

Он засмеялся и поднял блюдце с земли. Божья коровка расправила крылья, но почему-то не полетела, подумала, снова сложилась в броневичок и пошла пешком по траве.

Из-за леса вышла приятная девушка и сиянием своих волос затмила костер. Она вознеслась над Орионом как Солнце. Обняла его за шею, Орион померк, застыл и бережно прошептал:

— Не надо — отпусти.

Она поцеловала его в макушку.

Вслед за ней из лесу вышли остальные части андрогина и, зевнув, присели у костра.

— Не сиди на земле, — обернулся ко мне один.

«Коля», — шепнуло в моей голове, и я его узнала. Девушка с красивыми волосами обернулась ко мне, усмехнулась и покинула созвездие Ориона. Ее грива дыбилась протуберанцами и наводила на мысль, что Солнце — женского рода. Как и Земля. Покинув созвездие Ориона, она, оно

двинулось к югу, чтобы к трем часам пополудни все обсерватории мира зафиксировали ее приход в созвездие по имени Коля.

— Простынешь, — шептала она свысока. — И останется тебе любовь гинеколога.

Все смеялись.

— Любовь гинеколога — вещь серьезная, — вдруг сказала я и удивилась вместе со всеми. Но странная история уже дышала у меня в горле и просилась наружу, и я открыла рот. Мне и самой было интересно послушать, о чем она — любовь гинеколога.

Жил-был гинеколог. Одинокий человек. Были у него жена и много детей, и все дома. А на работе он бродил в одиночестве по кабинету, и никого у него там не было, кроме горшка с толстеньким кактусом. Он бы завел кота, но не позволяли правила и суровая старшая, вся белая, медсестра, писавшая бумажки в соседнем кабинете.

Женщины считали доктора старичком и не боялись, а он был просто пожилым мужчиной.

Но однажды он влюбился. Прямо на работе. И это не смешно.

Жила-была в том городе женщина. Она бывала очень красивой, когда выпивала маленькую рюмочку красного сухого вина. Всякая женщина хочет быть красивой, и потому она пила рюмочку несколько раз в день. И выходила на улицу, и видела свое летящее отражение в витринах магазинов, и радовалась. И отражавшийся рядом бумажный уличный мусор летел вместе с ней, как белые весенние цветы. Когда ей был приятен какой-нибудь мужчина, она бледнела, терялась и пила очень много, потому что очень хотела понравиться. Но получалось наоборот, и утром она ничего не помнила, только плакала, плакала, и ей казалось, что из глаз бегут сухие, красные слезы, до того горячо было в голове и на лице. Она бежала в ванную и гасила голову холодной водой и клялась, что все, что до конца жизни будет уродиной. Уродиной, но трезвой. Трезвой, но уродиной? Она крашивала лицо косметикой, чтоб не узнавать себя в зеркале и не думать о том, что она все еще жива и несчастна. Когда совсем было плохо, она снимала с вешалки шляпу с широкими полями и надевала ее на стриженую голову. Волосы стриглись уже три года подряд, женщина никак не могла решиться на какую-нибудь одну прическу.

От шляпы падала тень, и лицо мерцало в глубине зеркала, истаивая в смутной неопределенности. Тогда женщине казалось, что она свободна от себя и это лицо еще далеко впереди, еще можно жить и жить, летать и летать до шести утра. В шесть прозвонит будильник, и придется мучительно умереть и снова, с трудом, воплотиться в ненавистные скулы, пожелтевшие от курения виски, в бессонные синяки под глазами. Хотя если глотнуть маленькую рюмочку красного сухого вина...

Когда она надевала шляпу и выходила прочь из лица, она рисовал картины. Туманные, туманные болота, из которых торчали изломанные деревья, моря, недостижимые плотные крылья, проносящие над землей тяжелое небо. Небо мелькало светлыми звездами, но было предназначено для других вселенных, вместо него оставалась тьма с чуть видимым, зыбким сияньем отлетающих созвездий. И такая тяжесть обрушивалась на бесплотную женщину, словно летел ее дух не в пустоте, а в плотной, слежавшейся земле, и кисть запечатлевала ангела подземелий, хрипящего от удушья, рычащего от тоски: «Ко мне, ко мне!»

Тогда женщина бросала кисть, хваталась за сигарету и слышала, как безумно колотится сердце, словно человек в безжизненном доме, словно планета, бегущая по кругу вселенной, и вселенная в ужасе сворачивалась в темный созревший плод и падала прямо в человеческую грудь и висела там, как забытое яблоко под дождем и ветром сумеречным осенним днем.

И вот однажды эта женщина постучала в дверь кабинета № 8 районной поликлиники и вошла, вздрогнув полями шляпы. Над полями висел туман, и какие-то дали чудились за горизонтом. Она казалась себе блоков-

ской незнакомкой, только в кабинете № 8 не было ресторана, но рюмочку красного вина она предусмотрительно выпила дома.

«Старичок», — увидела она врача и перестала бояться. Врач поливал кактус из красной жестяной лейки и нежно рассматривал крохотную колючую деточку, народившуюся на толстом листе. Услышав стук, врач обернулся и увидел лицо. Оно белело под шляпой, слегка подкрашенное и спокойное. Еще он увидел, что сама женщина далеко, очень далеко, и от этого ее лицо кажется полупрозрачным, как окно холодным осенним утром. Он шагнул к женщине и заглянул в окно. И ему почудился шелест густых соленых вод, прижатых горячим небом, и вздох с трудом пролетающей птицы. Он увидел себя — стоящего по колени в океане.

Но что-то глухо стукнуло в потолок, кругом был рабочий день, и все трудились. Мужчина и женщина испуганно отскочили от берега моря прямо на кабинетный линолеум и замерли, будто кто-то сказал им непристойное, но верное слово. И женщина впрыгнула в лицо, как в одежду, а мужчина стыдливо отвернулся и снова превратился в старого доктора. И, стоя спиной, указал на вторую дверь, в комнату, где стояло известное кресло, все в блестящих подробностях, похожее на космический корабль и на орудие пыток.

Женщина покорно вошла и разделась и так далее и тому подобное. И доктор ничего не спросил, беря в руки инструменты. Он знал, почему женщины пьют сухое вино. Он был очень опытный врач. И, помучив женщину процедурой для того, чтобы она поверила его словам, он положил инструмент, снял перчатки и сказал отвернувшись:

— У вас никогда... никогда не будет детей.

И заплакал и вышел.

И женщина тоже решила плакать и умирать. Но умирать в районной поликлинике было неловко. Она встала, оделась и вышла, и увидела, как, поводя сутулым плечом, доктор поливает кактус из детской жестяной лейки, а отраженное в оконном стекле пожилое лицо плачет само по себе.

Она шагнула к нему, растерянно постояла рядом, потом ткнула пальцем в зеленую шишечку на толстом кактусовом листе:

— Это что, болячка?

Сутулое плечо остановилось. Из-за него глухо и медленно ответили:

— Нет. Это ребенок.

Женщина вздрогнула и, помолчав, сказала:

— Доктор, зато я замечательно рисую. Приходите сегодня вечером, после работы, я покажу вам небо с крыльями. И говорящие деревья. И море.

Доктор вздохнул. Постоял, посопел и смирился:

— Да.

Я не знаю, была ли она в шляпе, когда он пришел, но бутылку сухого вина она взяла.

Доктор тихо бродил вдоль картин, и лицо его было хмурым. Да, он все это помнил. Это были места его родины, далекой домаминой эры. Он был тут, он жил в этих колючках и побегах, он дышал этой водой и скользил в толще этих камней. Он не спрашивал, что это за нелепый узор. Он знал, что именно так выглядит внутри древесного ствола в пору весеннего вознесения соков, а так — внутри тучи накануне последнего предзимнего дождя.

Рядом зашелестел воздух. Обернувшись, доктор увидел совсем близко накрашенное лицо и два теплых, живых глаза маленькой девочки, глупой, но знающей, помнящей и даже вынувшей изо рта материну грудь, соску-пустышку, ручку, сигарету.

Тогда он схватил и прижал ее к себе. Он спасал ребенка от его страшного взрослого лица. Выносил бегом из разрушенного тела. Он окружал его заботой и лаской, как старательный отец-одиночка, и уводил, уберегал от картин безнадежной смерти. Он снимал их со стен и переклеивал обои, он выкидывал краски с названиями подземных металлов и вешал на окна шторы цвета солнечного дня. Он выкинул зеркала и отправил в полет

шляпу, а когда женщине захотелось увидеть свое отражение, он велел ей смотреться в его глаза. Он шил ей платица, проверял ее школьные дневники, показывал издали молодого человека, который, по его понятиям, подходил ей в друзья.

А потом они расстались. Дети все же вырастают. Да и у него оказалась семья. Жена, много детей, все дома.

А у нее родился ребенок, и совершенно нормальный, потому что не от тела, а от сердца, в котором было все. И не от старичка, а от пожилого мужчины, врача, доброго одинокого человека.

Концовка вышла сентиментальной, но кому стало скучно, тот уже уснул и поэтому не слишком утомился.

Я зевнула, чтобы скрыть гордость за произведенную историю. Но остальные зевнули тоже, и я оскорбилась.

— Конечно, можно завершить и по-другому. — Я начала исправляться. — Например, они оба умерли, она — от запоя, он — от старости и тоски.

Я отвернулась от скучающих слушателей, от доктора, от женщины, тающей в темноте моих жестоких мыслей. Я увидела розовую ленту, летящую через луг мягкой полосой, словно ветер, продравшийся сквозь лес, поранил себя о кусты и окрасился отблеском крови. Вслед за ней бежали соседские дети и смеялись.

Дети догнали ленту и смяли ее в ладонях, избавив ветер от боли.

Все молчали. Приятная девушка, прокравшись сзади, прилегла грудью на обнаженную спину Коли и ткнулась носом в его макушку. Волосы блеснули на солнце и ослепительной занавесью задернули Колино лицо. Он легким женским жестом убрал их себе за ухо. Следующим движением произошла смена голов. Колина небрежно запрокинулась назад, на плечо сияющей девушки и скрылась за волосами, ее голова скользнула по Колиной шее и замерла, приоткрыв лицо. Они запутались шеями, как жирафы, и напротив меня возник стройный мальчик с плечами почти мужчины и прекрасным женским лицом. Длинные волосы ниспадали до крепкого живота, двумя руками он обнимал колени, а третьей бережно обирал с груди налипшие сухие травинки. Милый призрак древних языческих роц возвел на меня ласковые, чистые глаза и, шевельнув губами, мягкими, словно порыв ветра, попросил:

— Расскажи лучше о простой любви.

О какой любви можно рассказать мальчику с милым девичьим лицом? О любви мужчины или женщины? Или вспомнить сказку о Нарциссе?

Но из дебрей густых волос вернулось второе лицо, разломило видение на два чуждых тела. Оттолкнувшись от девушки-Солнца, родился сумрачный Коля.

Костер догорал. Все ели картошку. Девушка-Солнце медленно кружила по орбите вокруг нашей компании. Свою картофелину она дожаривала в горячих ладонях.

— А ты ничего сочиняешь, — пророкотал кто-то у меня за спиной.

Я оглянулась. Сквозь горячий обед со мной пытался беседовать Паша-вывихнутой-рукой. Он сидел на бревне надо мной, и плечи его закрывали полгоризонта. От них ровной массой мышц громоздилось к земле Пашино тело. Голова была невелика и потому казалась невероятно далекой, вознесенной к самому небу. И весь Паша как-то сразу превращался в могучую гору, венчающую собой окраину мира, где под тяжестью звезд провисает пространство и где Пашины плечи — единственная опора и последняя надежда и повод для поклонения местных народов.

— Ты, Паша, наверное, много зарабатываешь?

— Семья довольна, — смущенно улыбнулась гора.

— С рукой-то что?

— Да-а, — нехотя шевельнулся Паша. И в небе шевельнулись и поплыли облака. — Пришел тут тип один, в мою смену. А я — за прилавком. Я не торгаш. Я — охрана. А торгаш утопал. Звонить. Постой, говорит присмотри. А этот тип приперся. Яблоки, говорит, давай. А я знаю, где

они? Ну и сцепились. Прилавок помяли. Ему удобнее было. У меня кафель под ногами, скользко. А там — коврик. Ну, он и ушел. Яблоки забрал. Мои. Я их дочке в больницу приготовил. Козел. Он.

— Не плачь, Паша, — проплыла мимо девушка с волосами, покрытыми вечерней росой, и одарила его допеченной картофелиной.

На лугу, у сиреневого автомобиля, что-то радостно прокричали. Что-то вроде: «Домой!» И мне стало немножко больно, потому что далеко в прошлом остался гулкой подъезд, в который мы забегали, пыхтя и толкаясь, роняя на ходу пластмассовые машинки и грубые кукольные одежки. А сквозь густеющий воздух двора летели разноцветные крики: «Домой!» — как будто родители из окон бросали в сумерки полоски серпантина и соревновались, кто бросит дальше.

— Тебе у нас нравится? — внезапно спросили сбоку.

— Да, — оглянулась я и увидела Колю.

— Будешь с нами тусоваться? — В голосе была осторожность и глубина. Я задумалась.

— Хочу пописать, — вдруг объявила девушка-Солнце. — Кто со мной?

Все оживились. Орион взлетел, оттолкнувшись руками от травы. Паша качнул горизонт. Как падучие звезды, чиркнули два незнакомых лица. Вокруг них астероидами запели комары, пчелы, мухи, понеслись цветы мать-и-мачехи, сорванные всеобщим вихрем. Фантики от конфет, окурки, кроссовки, заплатки на джинсах. Потянулся и с треском вырвался ближний куст шиповника и молодой побег тополя. Внезапно выстрелили нежные листочки на недалекой опушке леса, дачники высунулись из окон и заморгали. Мужчины, оторвавшись от транзисторов, бросились рыхлить землю, а женщины ласково пригладили вихры на макушках прыгающих детей. Вся внезапно народившаяся вселенная сорвалась с места и понеслась в неосвоенные дебри космоса — плясать, вопить, гоняться за Орфеями, плодиться и размножаться.

Провожая их изумленным взором, я видела, как Паша хватается на руки хромающего Ориона, бескорыстно жертвуя ему свои толстые устойчивые конечности. Орион, лихо свистнув, кидает свою правую руку тому, кто поближе стоит. Тот, бесстрашно простившись со спиной, дарит ее комарам и мошкам. Комаров стригут подвижные птицы, но я уже не вижу, чем делятся в ответ птицы, скорее всего, они будут съедены сегодня ночью. Весь мир катится дальше и дальше, и уже не разобрать ничего, кроме сияния рыжего Солнца, которое всегда видно и всегда отдает свою жизнь всем тусклым, трусливым и слабым, всем существам, стонущим от тоски и одиночества.

Эхо прогудело по лесу, прорвалось сквозь кусты и обратилось в монотонный призыв:

— Эй! Эй! Эй!

Я вдруг поняла, что зовут меня. Я судорожно протянула руку в пространство, но не нащупала орбиты, лететь не получилось и можно было идти только пешком. Красться, как напуганный зверь. Напуганный, но одержимый любопытством: что это спрятано там, впотьмах?

В океане уже наступила ночь. Нервные искры бегали вдоль моего позвоночника, и предчувствие зверя рождало ответную силу внутри. В сыреющих травах что-то глухо ворочалось, тихие хрупкие голоса иногда звенели во тьме:

— Говори. Го. Во. Ри.

— Го.

Я молчала и слушала шелест воздуха в моем горле.

— Говори, — просили голоса, — говори.

Воздух рвался из горла и стыл на языке, как холодный, обточенный морем камень. Я ощущала вкус соли и неподвижность слов.

— Говори!

Голоса стали крепнуть, сливаться, наполняться злобой. Они стекались в один аккорд, в котором тонуло все. Все заглушалось, умолкало, умирало,

и птичьи тела слепо жались к древесным стволам. Звуки сомкнулись в рев, деревья напряглись, и внезапно из бездны черной травы, почти из земли, всколыхнувшись, воздвиглось чудовище на толстых устойчивых конечностях, о шести, семи, восьми руках, обвивающих гибкое тело. И мужчиной было оно, и женщиной, и блестело в сумерках чистой кожей, шумно дышало, и волосы цвета огня дыбились на голове; печальный глаз прекраснейшей в мире женщины взглянул на меня, и тысяча глоток, открывшись разом, взревели утробными звуками:

— Имя!!!

Чудовище шагнуло вперед и потребовало снова:

— Имя!!!

Оно хотело, чтобы его назвали.

Оно молило меня. Руки бесчисленными пальцами тянулись и шуршали по листве. Оно хотело забрать и присвоить. Оно обещало мне совместное счастье. Ему не хватало голоса, а голос был у меня.

И, уже почувствовав пальцы, сжимающие мои локти, и горячие языки, лижущие мои ключицы, я превратилась в березу и вышла с другой стороны ствола, оттолкнув от себя объятья и ничего не сказав.

Позади шевельнулся стон, ветер несильно толкнулся в спину, циклоп уже умирал, от судорог вздрагивала земля. Темнота распадалась на чьи-то взгляды, они со всех сторон упирались в меня, и медленно начиналась погоня. Неловкой трусцой я двинулась через кусты обратно к поляне, где все еще было светло. Я вязла в траве, как во сне, колени дрожали, а уши, которых коснулся циклоп, горели, как два первобытных костра. Я не знала, выйду ли из лесу человеком, или прикосновенья хватило, чтобы навечно оставить меня на дне душного океана березовой, сосновой, кленовой русалкой, холодной, безногой, немой, с легкими, залитыми водой, и неморгающими глазами. Я жмурилась, топала ногами, чтобы не ощущать их рыбьим хвостом, надеялась, что на руках у меня по пяти пальцев и что где-то живы мои родители, что у меня есть мое имя, что я помню его. Я вспомнила святую, в честь которой была крещена, и начала твердить наше общее с нею имя, начала звать ее, чтобы она позвала меня и голосом и небесной рукой вывела из темноты. Я вылетела прямо к поселку.

В доме, стоящем передо мной, светилося окно. Чья-то бабушка сутилась за ним с маленькой свечкой в руках. Она показалась знакомой. Теплый собачий бок, навалившийся на хозяйские ноги. Да, собака Пальма. А это ее человеческая мама! Это мама моего Ориона! Ориона, который гонится сейчас за мной, который спрятан в чужое тело, спутан со многими и неузнаваем. Но сюда он не подойдет, здесь живет его мама, она любит сына и не позволит ему потеряться. Мама всегда убьет циклопа, чтобы спасти ребенка. Она замерла в тихом углу в глубине своей комнатки. И я вижу в прыгающих тенях картонные квадратики икон. Она задумчиво смотрит на них, как на гостей, которых надо пристроить спать и не обидеть. В комнату открывается дверь, входят дети. Спортивные костюмчики сняты, отстираны и полощутся на ветру во дворе. Дети в пижамах, как маленькие акробаты, их тянет кривляться и прыгать, но бабушка усмиряет их энергичным шлепком. Они почему-то смеются. В руках у мальчика я вижу игрушечную кровать, застланную отутюженным покрывалом, девочка прижимает двух кукол к груди. Бабушка сердится и пытается все отнять и выкинуть на диван. Я вдруг понимаю, что бабушка каждый вечер учит детей молиться перед картонными квадратиками икон, дети должны встать на колени, ручки — не складывать, лица — не опускать. Дети становятся на колени, но кроватку с куклами не отдают, ставят рядом с собой, заботливо поправляют вышитое одеяльце. И что-то смущает меня в этих игрушках. Я замечаю кукольную одежду, яркую, как импортное тряпье, видно сшитую бабушкой из лоскутков от костюмов мамы и папы. И у куклы-папы на лице — крохотные усы.

Дети рассматривают иконы, слушают бабушкины молитвы, и девочка незаметным движением придвигает кроватку поближе к свече. Я перевожу

взгляд на соседние окна — в каждом из них ночь, ночь, ночь, сон, сон, сон, тьма, тьма, тьма.

— Ну что? — Кто-то тронул меня за плечо и утвердительно заявил: — Ты не хочешь быть с нами.

Я оглянулась и увидела Колю и за плечом у него настоящее солнце, которое безмолвно катилось по щетине черного леса. «Тишина», — поразила я, и большой прошедший день вдруг свернулся в жужжание комара над ухом. Надрывная мелодия заньла внутри, как усталый плач больного ребенка.

— Ты хорошо сочиняешь, — проговорил Коля, а мне было наплевать. Я была больше мира и в левой руке держала ночь, а в правой — день. Под сердцем лежала земля, по-над проплывало солнце, и мне было все равно, кто сладострастно вопит в лесах.

— Пора, ухожу, — ответила я и отошла от Коли.

Я знала, что пока еще не умру и — значит — надо шевелить ногами. Подъехал красный низкий автомобиль, и я села в него, потому что Коля сказал: «Мы тебя подвезем».

Темнело, и я видела трех неразличимых мужчин, качающихся вместе со мной в одной лакированной металлической банке, несущейся по дороге. Они молчали и этим были приятны, и в черном небе над дорогой выступили первые звезды. Я плакала об Орионе. Не о человеке, имени которого не узнала, а о великом созвездии, что восходит в зимнюю ночь посмотреть на замерзший город, на мою рабочую окраину с трубами и заборами из колючей проволоки. Он никогда не спустится вниз, чтобы погладить меня по голове беспалой ладонью. Он лишь прохромает мимо нашей стынувшей трамвайной остановки. Но я все равно хочу вернуться домой, выйти на плоскость неухоженных уральских степей, пусть низкое небо накроет меня, как одеялом, и мама, уходя и прикрывая дверь, скажет: «Чтобы что-то успеть, нужно встать раньше солнца». Но я просплю.

Меня выкинули на свалке. Открыли дверцу машины, толкнули, сказали: «Иди».

Правильно. Кому нужна баба, которая не любит ночь накануне Ивана Купалы? Они думали меня напугать и унижить. Они ждали крика, ужаса и безумия. Но я засмеялась и вспомнила: «Братец Волк, не бросай меня в этот терновый кустарник». И пошла по дороге. Потому что моя родина — помойка. Значит, помойка — моя родина. Я увидела смутный свет пронырнувшего под брюхом планеты солнца. И трубы рабочих окраин, немелкими стежками сметавших небо и землю. Надо мной в космосе глупые созвездия все еще разыгрывали свой фрейдистский спектакль. А я, пройдя еще километров пять сквозь сонное покрякивание заночевавших в деревьях птиц, остановилась, сошла на обочину и села на пустую нефтяную бочку — встречать рассвет.

Кто-то обернулся шагах в десяти от меня. Я замерла и вгляделась и рассмотрела мальчика, сидящего на траве. Беглого подростка с обритой налысо головой. Он не сумел увидеть меня, долго слушал, выставив ухо, и наконец отвернулся к солнцу. Он сидел свободно и очень спокойно, подтянув ноги и опершись локтями на колени. На нем была белая незаправленная рубашка с широким воротником. И почему-то чувствовалось, что эта тощая шея непременно когда-нибудь дорастет до большого воротника, если, разумеется, доживет рубашка.

Стриженный затылок выглядел очень независимо, но хозяин его был настолько свободен, что не демонстрировал этого. Я пыталась постичь эту свободу, я рассматривала его снова и снова. Потом опять увидела шею. Его торчащую длинную шею. И поняла, что эта шея, спина, голова не ждут удара, не ужимаются, не пытаются быть маленькими и незаметными. Они торчат ушами, плечами, локтями нелепо и бесстрашно во все стороны. И пока они так торчат, никакая сила не заставит это тело свернуться в уродливое ничто. В положенный час оно само ломает себя, выпуская в

небо народившегося цыпленка, но и в старости и в смерти оно будет красивым.

Сзади нервно вскрикнули птицы, обнаружив, что уже — пора.

Мальчик чутко обернулся на крик. В этот момент из-за дальних мусорных склонов выплыло солнце. Красный край отразился в маслянистых лужах, битом стекле и глазах поломанной куклы, лежащей неподалеку. Кукла не шевельнулась. И тут я увидела, как не шевельнулся мальчик, как не дрогнули ресницы и не поплыли зрачки. Он по-прежнему слушал птиц.

Он был слеп. Он встречал восход солнца и не видел его. Он не видел и меня, сидящую от него в десяти шагах, не видел битого стекла, дохлых кошек, жженных шин. Не видел милиционеров, бредущих к нам издалека, и их мотоцикла, желтеющего на горизонте у заводской стены. Солнце тронуло его щеку теплыми пальцами, и он повернулся ему навстречу. Он закрыл глаза и доверил ему лицо — как матери. Он осторожно водил носом из стороны в сторону, чтобы луч осторожно гладил его по стриженной голове. Он был счастлив. И, глядя на подступающих хмурых, невыспавшихся ментов, я вдруг подумала: «Ты прав в том, что слеп. Ты слеп для того, чтобы мир не проник в тебя ничем, кроме солнца. Ты здоров настолько, что сможешь увидеть все тайны жизни, недоступные нам, неполноценным полноценным».

И когда подошедшие сержанты, вяло взглянув на мальчишку, спросили: — Чей?

Я ответила:

— Мой.

А что бы ответили вы, если бы однажды к вам подошли два совсем чужих человека и, грубо ткнув пальцем в лицо, спросили: «Твой глаза?»





---

---

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

\*

## ПЕРО И РУКА

\* \*  
\*

Примостился на зябкий ночлег,  
Угнезвился, в калачик свернулся  
Совершенно другой человек,  
А не тот, что с рассветом проснулся.  
Может быть, оттого, что седой  
И скрежещет мослами-мощами,  
Он забыт и не признан средой —  
Сыновьями, друзьями, вещами.  
Не когтят его зависть и злость,  
Разве чуточку, самую малость.  
Просто что-то в нем оборвалось,  
Исказилось, сместилось, сломалось.  
А ведь вроде задуман навек,  
Как из мрамора, дуба, железа,  
Совершенно другой человек —  
Жертва хлипкая филогенеза.  
Поослабили перо и рука,  
Пообвисли крыла за плечами,  
Доконала паскуда тоска,  
Затопила его мелочами...  
Но из темени, издалека  
Не сдаётся и дышит пока  
Не хрипящая мукой строка —  
Музыкальная фраза молчанья.

\* \*  
\*

Лягу в два, а встану в три,  
Гляну в окна, закурю.  
Бог позволит: говори —  
Ничего не говорю.

Бог позволит: попроси,  
Расскажи свою тугу.  
Отче наш, иже еси...  
Даже это не могу...

Будто разом онемел,  
Будто кто-то отлучил.  
А ведь сызмальства умел,  
Хоть никто и не учил.

Нет, молитвы не творил,  
Не решался на обряд —  
Напрямую говорил,  
Как младенцы говорят.

Если б мог и посеючас,  
Как в начале, как сперва!  
Но, лукавству обучась,  
Позабыл я те слова...

Но нисколько не ропщу,  
И отчаянье неймет.  
Если даже промолчу,  
Бог и так меня поймет.

\* \*  
\*

Сгусток и сплав упований благих,  
Ты оказался не лучше других.  
Хоть и прискорбно, но все же  
Рад, что хотя бы не плоше.

Бродишь с улыбкой на грустном лице,  
Тянешь винцо, а не млеко.  
Было в начале, осталось в конце  
Благо тепла и ночлега.

Поутомясь от былых мешанин  
В мутных струях Ипокрены,  
Стал ты тихоня, байбак, мещанин  
И обыватель смиренный.

В уединении, сам по себе  
Ты молчаливо зимуешь  
И иступленно «судьбе — КГБ»  
Больше уже не рифмуешь.

Крошки уныло сметешь со стола,  
Стекла протрешь неумело  
И пролепечешь: «Такие дела...» —  
За неимением дела.

Не ожидаешь парада планет  
Через морозную ретушь.  
Хочешь возврата былого? — О нет!  
Жаждешь грядущего? — Нет уж!

\* \*  
\*

*И. Р*

Ты из династии пернатых,  
Из стаи перелетных птах.  
Откуда ты в моих пенатах,  
В моих исчерпанных летах?

Ты будто в форточку влетела,  
Косящим взглядом обожгла.  
Одним крылом плечо задела,  
Другим за шею обняла.

Люблю в тебе черты азарта,  
Как ты воркуешь, как чудишь.  
Ты ворвалась ко мне из завтра,  
Но послезавтра улетишь.

Невесть куда свой лет направишь,  
Простясь с прискучившим жильем.  
И только перышко оставишь  
Ча подоконнике моем...



# Н О В Ы Е П Е Р Ё В О Д Ы

ТОРНТОН УАЙЛДЕР

\*

## К НЕБУ МОЙ ПУТЬ

*Роман*

Меня зовут Джордж Браш;  
Я — американец;  
Я родился в Ладдингтоне;  
И путь мой — к небесам.

*Глупые стишки, которыми дети на Среднем Западе имеют обыкновение пачкать свои учебники.*

Среди прочих талантов доброта не взрослеет дольше всех.

*Т. Уайлдер, «Женщина с Андроса».*

### ГЛАВА 1

**Джордж Марвин Браш пытается спасти несколько душ в Техасе и Оклахоме. Доремус Блоджет и Марджи Мак-Кой. Мысли по пришествии двадцатитрехлетия. Браш забирает свои деньги из банка. Его уголовное досье: заключение номер 2**

**О**днажды утром в конце лета 1930 года владелец отеля «Юнион» в Крестрего<sup>1</sup>, штат Техас, и несколько его постояльцев были раздосадованы, увидев в книге для записей на регистрационном столике свежую надпись, состоявшую из библейских цитат. Два дня спустя подобное же происшествие привело в раздражение постояльцев гостиницы Мак-Карти в Усквепо, в том же штате, а управляющий театра «Гэм», располагавшегося неподалеку, весьма удивился, обнаружив, что схожим образом испорчен почтовый ящик на его двери. В тот же вечер некий молодой человек, зайдя мимоходом в Первую Баптистскую церковь и застав ежегодный благотворительный церковный конкурс в самом разгаре, уплатил семнадцать центов, занял место у барьера и завоевал первый приз. Его трофеем стала генеалогическая таблица царя Давида. Следующей ночью несколько пассажиров пульмановского вагона «Кверитч», отправлявшегося из Форт-Ворс, испугались не на шутку при виде молодого человека в пижаме, угрюмо бормотавшего вечернюю молитву. Его сосредоточенность осталась непоколебимой, даже когда ему на плечо, больно ударив, свалились увесистые экземпляры «Вестерн Мэгэзин» и «Скрин Фичерс». На следующее утро молодая леди, которая вышла из вагона на перрон, чтобы после завтрака насла-

---

«Новый мир» не в первый раз обращается к произведениям знаменитого американского писателя Торнтон Уайлдера (1897 — 1975). В № 12 за 1971 год была напечатана его повесть «Мост короля Людовика Святого» в переводе В. Гольшева, которая в свое время принесла автору известность и Пулитцеровскую премию. В № 7, 8 за 1976 год печатался роман «Мартовские иды» в переводе Е. Гольшевой. Наконец, в № 11, 12 за прошлый год читатели могли познакомиться с первым романом Торнтон Уайлдера «Каббала» в переводе А. Гобузова. В настоящем номере мы начинаем публикацию романа «Heaven's My Destination», созданного в 1934 году как бы в ответ на упреки в отрыве от американской действительности.

<sup>1</sup> Многие города в этом романе имеют вымышленные названия. (Здесь и далее примечания переводчика.)

даться сигаретой, вернувшись на свое место, нашла вставленную в уголок оконной рамы визитную карточку. Визитка гласила: «Джордж Марвин Браш, представитель Педагогического издательства Каулькинса, Нью-Йорк, Бостон и Чикаго. Издание каулькинсовских учебников по арифметике, алгебре и другим наукам для школ и колледжей». По верхнему краю визитки карандашом было аккуратно добавлено: «Если женщина курит, она недостойна быть матерью». Молодая леди слегка порозовела, разорвала визитку в клочки и сделала вид, что собирается спать. Через несколько минут она приподнялась и, напустив на себя выражение презрения и скуки, окинула взглядом весь вагон. Никто из пассажиров не выглядел способным на такое послание, и менее всех — высокий, крепкого сложения молодой человек, который, однако, остановил на ней свой серьезный взгляд.

Чувствуя, что достиг своей цели, молодой человек взял свой портфель и ушел в сторону вагона для курящих.

Там почти все места были заняты. День был жаркий, и курильщики, сбросив пиджаки, сидели, развалясь, среди синей мглы. В нескольких купе играли в карты, а в одном углу взволнованный юноша пел бесконечную песню, поочередно прищелкивая пальцами и притопывая для ритма каблучком. Группа увлеченных слушателей окружала его, подтягивая припев. В вагоне царило единодушие, и реплики летали из угла в угол. Браш оглядел всех оценивающим взглядом и выбрал место рядом с высоким груболицым человеком в рубашке с короткими рукавами.

— Садись, дружище, — сказал мужчина. — Ты шатаешь вагон. Садись и дай мне спичку.

— Меня зовут Джордж Марвин Браш, — сказал молодой человек, взяв его за руку, глядя прямо и строго ему в глаза. — Я рад, что встретил вас. Я продаю учебники. Я родился в Мичигане и сейчас направляюсь в Веллингтон, Оклахома.

— Это хорошо, — ответил тот. — Это хорошо, но только успокойся, сынок, успокойся. Никто не собирается тебя арестовывать.

Браш чуть покраснел и сказал с тяжестью в голосе:

— Начиная разговор, я всегда выкладываю все факты.

— А что я такого тебе сказал, дружище? — спросил мужчина, обращая на него спокойный и любопытный взгляд. — «Успокойся» и «Дай прикурить».

— Я не курю, — сказал Браш.

Далее разговор пошел о погоде, об урожае, политике и экономическом положении. Наконец Браш произнес:

— Брат, могу я тебе сказать о самом главном в жизни?

Мужчина лениво потянулся во весь рост и склонился к сиденью напротив, подперев рукой свое длинное желтое, с хитрым прищуром лицо.

— Если ты о страховке, то я уже застрахован, — сказал он. — Если ты о нефтяных скважинах, то я не имею к ним никакого отношения. А если о религии, то я уже спасен.

Но у Браша в запасе был ответ даже на такое. В колледже он прослушал курс «Как обращаться к незнакомым людям по поводу их спасения» — два с половиной часа с зачетом, — обычно сопровождаемый в следующем семестре курсом «Аргументы в дискуссиях о Священном Писании» — полтора часа с зачетом. В этом курсе приводились все дебюты в турнирах подобного рода и вероятные ответы. Один из ответов был таков: «Незнакомец объявляет себя уже спасенным. Это утверждение может быть либо (1) истинным, либо (2) ложным». В любом случае следующим ходом евангелисту рекомендовалось сказать то, что сказал Браш:

— Прекрасно. Нет большего удовольствия, чем беседа о самом важном с верующим человеком.

— Я спасен, — продолжал мужчина, — с того момента, когда меня один проклятый дурак сотворил в публичном доме. Я спасен, этаким ты павлин, с той самой поры, как мою жизнь стали тратить ради чужих денег. Поэтому закрой рот и убирайся отсюда — или я вырву тебе язык!

Такое отношение тоже предусматривалось стратегией.

— Ты сердишься, брат мой, — сказал Браш, — потому что ты осознаешь бессмысленность своей жизни.

— Слушай, — сказал мрачно мужчина. — Слушай, что я тебе скажу. Я предупреждаю тебя. Еще одно слово — и я сделаю такое, что ты пожалеешь. Постой! Не говори потом, что я тебя не предупреждал: еще одно слово — и...

— Мне бы не хотелось причинять тебе страдание, брат, — сказал Браш. — Но если я перестал, не думай, что я испугался тебя.

— Я что тебе сказал? — совершенно спокойно произнес мужчина. Он нагнулся, подхватил портфель, стоявший у Браша в ногах, и швырнул его в открытое окно. — Иди поищи, дружок! А после этого поучись собирать себе паству.

Браш побагровел. Он холодно улыбнулся.

— Брат, — сказал он, — твое счастье, что я пацифист. Я мог бы одним ударом подбросить тебя к потолку этого вагона. Я мог бы согнуть тебя в три погибели одним ударом ноги. Брат, я самый сильный человек из всех, кто когда-либо получал диплом нашего колледжа. Но я не трону тебя. Ты насквозь пропитан спиртом и табаком.

— Ха-ха-ха! — захохотал мужчина.

— Твое счастье, что я пацифист, — механически повторял Браш, пристально глядя ему в глаза, в желтые складки его лица, в синие пуговицы расстегнутого ворота рубашки.

На них смотрел уже весь вагон. Желтолицый мужчина махнул рукой, приглашая соседей из купе рядом принять участие.

— Он чокнутый, — объявил он.

Голоса в вагоне нарастали угрожающей волной:

— Убирайся отсюда к черту! Выбросить его отсюда!

Браш закричал мужчине в лицо:

— Ты переполнен ядом... Все видят, что ты... Ты погибаешь! Почему ты не думаешь о спасении?

— О-хо-хо-хо! — гоготал мужчина.

Шум в вагоне перерос в рев. Браш вышел в проход и направился к туалету. Он весь дрожал. Подложив руку, он уперся лбом в стену. Ему казалось, что его сейчас стошнит. Браш бормотал снова и снова: «Он весь пропитан спиртом и табаком». Набрал в рот воды, он побулькал в горле. Наконец, окончательно успокоившись, он вернулся в вагон «Кверитч», где ехал вначале. Он шел опустив глаза. Сев на свое место, он обхватил руками голову и устался в пол.

— Я не должен их ненавидеть, — прошептал он.

Поезд прибыл в Веллингтон с опозданием на час. Браш занял номер в отеле, взял напрокат автомобиль и съездил за портфелем. Почти весь день он провел, дозваниваясь в директорат школы. После обеда, выйдя из столовой, он подошел к регистрационному столику и в книге записей аккуратно написал печатными буквами фразу из Библии, после чего спокойно отправился спать.

На следующее утро ему исполнилось двадцать три года. Он встал пораньше и отправился погулять перед завтраком. В руке он держал черновик своих планов на год, а также список своих достижений и промахов. Пересекая холл, он заметил, что на регистрационном столике лежит новая книга записей. Он подошел, вынул авторучку и замер в мгновенном раздумье. Затем не присаживаясь печатными буквами написал на обложке следующие слова: «Ты зришь меня, Господи».

Скорченный на полу негр, вытиравший плевательницу, медленно поднял глаза и сказал со сдержанной злобой:

— Вам бы лучше не писать на этой книге. Мистер Гиббс ужасно сердился. Ему пришлось сразу же заменить книгу, и он ужасно сердился.

— Это кому-нибудь повредило? — невозмутимо спросил Браш, пряча в карман авторучку.

— Люди этого не любят. Мистер Блоджет, который у нас остановился, прямо-таки вышел из себя.

— Ладно. Передай мистеру Блоджету, чтобы он поговорил со мной. Я бы хотел с ним встретиться, — ответил Браш, подходя к автомату с газировкой и намереваясь утолить жажду.

В эту минуту на ступенях главной лестницы показался управляющий в сопровождении мужчины и женщины. Мужчина был невысок ростом и тучен; у него было круглое красное лицо и подвижные черные кустистые брови. Он пересек холл и остановился у регистрационного столика, выбирая ручку.

— Посмотрите! — вдруг закричал он, тыча в книгу пальцем. — Посмотрите! Это уже второй раз. О Боже, мне плохо.

— Я не могу запретить ему, мистер Блоджет, — развел руками управляющий. — Впрочем, в прошлом году тут появлялся один парень...

— Нет, я очень бы хотел встретиться с этим!.. Я бы сказал ему, что я о нем думаю!

Управляющий что-то прошептал Блоджету и указал пальцем на Браша. Блоджет присвистнул.

— Не может быть! — воскликнул он.

Тут громко вмешалась женщина:

— Послушай, Реме, ты всегда натыкаешься на какого-нибудь сумасшедшего растяпу. Когда-нибудь ты непременно попадешь в беду. Иди завтракать и оставь его в покое.

— Да-да, сестра, в дороге тебе не пришлось скучать, не так ли? — сказал Блоджет. — Это счастливый случай. Подожди меня.

Как только Браш двинулся к выходу на улицу, Блоджет протянул ему руку.

— Скажи, приятель, — произнес он спокойно, и бровь его многозначительно приподнялась, — где ты проводишь собрания?

— Я не провожу никаких собраний, — ответил Браш, пожимая протянутую руку, мельком заглянув ему в глаза. — Я полагаю, ваше имя Блоджет. А меня зовут Джордж Браш. Джордж Марвин Браш. Я продаю учебники. Рад с вами познакомиться, мистер Блоджет.

— Я тоже, — сказал Блоджет. — Доремус Блоджет. Фабрика «Вечный трикотаж». Итак, ты путешествуешь, верно?

— Да.

— Хорошо. Но что за мысль — писать на этих книгах? Ты молодой, здоровый — ты меня понимаешь?

— Я рад возможности поговорить об этом, — сказал Браш.

— Вот тебе и подходящий случай. Послушай, Браш, а я рад убедиться, что ты рассудительный парень. Мы боялись, что ты окажешься каким-нибудь маньяком — ты понимаешь меня? Браш, я хочу познакомиться тебя с моей кузиной, миссис Мак-Кой, самой чудесной девчонкой в целом свете!

— Рад с вами познакомиться, миссис, — сказал Браш.

У миссис Мак-Кой было большое одутловатое, густо напудренное лицо, переходившее в крупную голову с оранжевыми, коричневыми и черными волосами. Ее внешность не подтверждала рекомендации.

— Все-таки, как мужчина мужчине, — продолжал Блоджет, — что за мысль — писать на этих книгах, а? Не могу сказать, чтобы это подходило проповеднику. Они ведь заплатили за эти книги.

— Мистер Блоджет, я открыл в себе добрые мысли и хочу сказать о них каждому.

— Оставь его в покое, Реме, оставь его! — громко сказала миссис Мак-Кой, призывая жестом своего кузена в обеденный зал, дергая головой и поводя злыми глазами.

— А мне это не нравится! — воскликнул ее кузен с неожиданной воинственностью.

— Если вам это не нравится, — продолжал Браш, — то это потому, что вы осознаете бессмысленность своей жизни.

Тут Блоджет закричал:

— Мучение с тобой, дрянной ты реформатор! Ты что же, думаешь, что каждый...

В эту минуту Марджи Мак-Кой бросилась между ними:

— Позавтракай сначала, ради Бога, я прошу тебя! Сейчас же прекрати. Прекрати, я сказала! Ты всегда лезешь в драку. Сказал же тебе доктор, что тебе нельзя волноваться!

— Вовсе не в драку, миссис Мак-Кой, — невозмутимо возразил Браш. — Дайте ему договорить, что он хотел.

Блоджет снова заговорил, уже спокойно:

— Я не говорю, что это не подобает священнику. Но что меня задевает, так это когда какой-нибудь... Черт возьми, всему есть границы, в конце концов!

— Ужас! Да идем же наконец, я хочу кофе, — сказала миссис Мак-Кой, добавив вполголоса: — Он сумасшедший, понял? Оставьте его в покое.

— Ну хотя бы скажи, почему ты не священник? Почему ты не в церкви, которая для тебя больше подходит?

— На это есть причина, — ответил Браш, сурово глядя в стену за спиной Блоджета.

— Тебе не хватает денег?

— Нет, это меня не заботит... У меня сугубо личная причина.

— Стоп! — воскликнул Блоджет. — Это меня не касается. Просто я хочу сказать, что ты выглядишь, как будто имеешь немалую личную причину заниматься этими фокусами.

Браш мрачно взглянул на него.

— Не стану скрывать, — сказал он, — я совершил нечто... Я совершил нечто такое, что священник себе никогда не позволит.

— Да, похоже на то, — вздохнул Блоджет с некоторой растерянностью. — Да... Конечно, это совсем другое дело.

— Что он сказал? — не поняла миссис Мак-Кой.

— Он сказал... Он что-то натворил такого, чего священник никогда бы себе не позволил.

Повернувшись к Брашу, Блоджет продолжал конфиденциальным тоном, понизив голос:

— Ну и что же ты такое себе позволил?

— Я не хотел бы говорить об этом при даме, — ответил Браш, насупившись.

Блоджет поднял бровь и ошеломленно присвистнул.

— Какой ужас! Замешана женщина, да?

— Да.

— Тс! Тс-с! Знаешь, что ты должен сделать? Ты просто обязан жениться на этой несчастной.

Браш пристально посмотрел на него.

— Конечно, я бы не прочь жениться на ней. Но только я не могу ее найти.

— Все, я пошла, — рассердилась миссис Мак-Кой. — Мне надоело куковать тут с вами. Брось его, Реме. Он сумасшедший. Он чокнутый!

Она решительно направилась в обеденный зал.

Мистер Блоджет напустил на себя столь таинственный вид, словно Браш сообщил ему о своей беседе с самим Наполеоном.

— Скажите пожалуйста, это ли не ужас! Как же это случилось?

— Я бы не хотел вдаваться в подробности, — сказал Браш.

Блоджет спросил еще что-то о дороге и деловой жизни в Техасе. Затем сказал:

— Как насчет того, чтобы встретиться сегодня вечером, а? Так, немножко поболтать?

— Я бы рад, но утром я уезжаю в Оклахома-Сити.

— Вот как! Мы там будем завтра. Где ты собираешься остановиться, дружок?

Оказалось, что оба они намерены остановиться в «Мак-Гро Хауз». Они договорились встретиться вечером, как приедут.

— Отлично! Около восьми, идет? Встретимся в баре и немножко выпьем.

— Я не пью,— сказал Браш, — но с удовольствием посижу с вами.

— О! Так ты еще и не пьешь!

— Да, я не пью.

— Мне сдается, это непорядок, — покровительственно сказал Блоджет.

— Алкоголь разрушает нервную систему и понижает работоспособность, — возразил Браш.

— Ты, конечно, прав, черт тебя возьми. Да, ты прав. Я тоже завяжу с этим делом, но попозже. Ты не будешь возражать, если мы с сестрицей немного, так сказать, «себе позволим», а? — Он щелкнул себя по кадыку.

— Не буду, — пожал плечами Браш.

Миссис Мак-Кой выглянула из-за двери.

— Реме! Ты идешь или нет? — крикнула она. — Иди сюда сейчас же! А то он, чего доброго, еще застрелит тебя или еще что-нибудь...

— Марджи, что ты несешь: застрелит! Да он абсолютно нормален. Он хороший парень. — Блоджет хлопнул Браша по спине и добавил, понизив голос: — И никаких болезней, да? Мою сестру эти вещи беспокоят в первую очередь.

Блоджет свойски подмигнул и поспешил следом за сестрой в обеденный зал, где остывал в его ожидании черный кофе.

Браш вышел из отеля и направился вниз по улице, держась в тени тополей. Он с завистью ловил ухом звуки, долетавшие к нему из окон домов справа и слева. Хозяйки трясли с балконов половики, гремели кастрюлями на плитах. Душераздирающие голоса призывали непослушных детей, чуть ли не каждое слово которых начиналось и кончалось недовольным «ма-а!». Несколько мужчин, пользуясь утренней прохладой, стригли газоны; пожилой толстяк отпер двери своего гаража и потом долго самодовольно оглядывал машину. На краю городка Браш сошел с дороги в высокую траву за обочиной. Миновав несколько мусорных куч и обойдя стороной лесопилку, он вышел к чистому ручью, быстрое течение которого несло к пруду перепутанные водоросли. Браш лег ничком в траву на берегу пруда и стал наблюдать. Две водяные змеи, извиваясь, скользили в воде друг за другом. На середине пруда черепаха с двумя маленькими черепашками на спине взбиралась на полусгнившую доску. Другие черепахи следовали за ней и, устроившись, прятали шейку в панцирь и закрывали глаза. Пенье и свист птиц возвещали о начале жаркого дня.

Браш задумался. Сегодня ему исполнилось двадцать три года, а дни рождения всегда были для него торжественными днями. Два года назад он вылез из раскачивавшегося гамака на веранде отцовского дома, пересек городок, именуемый Ладингтоном, штат Мичиган, и сделал предложение одной вдове, которая была лет на десять старше его. Он получил отказ, но запомнил навсегда ту веселую легкость, с которой она ему отказала, а также ее лучившиеся смехом глаза, когда она стояла перед ним, вытирая руки о передник, в то время как ее малыш ползал около на полу и тянул за шнурки его ботинок. Год назад он сидел вечером в Публичной библиотеке в Абилине, штат Техас, читая описание жизни Наполеона в «Британской энциклопедии». Закончив читать, он вынул из кармана карандаш и написал на полях страницы: «Я тоже великий человек, но во имя Добра», — и приписал свои инициалы.

И теперь, у этой лужи под Веллингтоном, штат Оклахома, он готовился экзаменовывать сам себя по поводу своего двадцатитрехлетия. В это утро им были приняты потрясающие добрые решения. Впоследствии Браш никогда не забывал этого торжественного часа, к исходу которого, по причине пустоты в желудке, он самым прозаическим образом уснул.

В результате одного из принятых на берегах этой лужи близ Веллингтона решений Браш оказался в полдень того же дня на пути в Армину, в



сорока милях от Веллингтона, куда он направился, чтобы забрать свои сбережения из банка, располагавшегося в этом городе. Управление банка занимало большой зал, высокий и хорошо освещенный, с конторкой посредине, огражденной мраморным барьерчиком и блестящими стальными решетками. Сбоку от двери, в небольшом застекленном кабинетике, с видом полной безнадежности сидел сам президент банка. Только чудо могло спасти его банк, которому осталось существовать немногим больше недели. В последние месяцы все банки штата терпели значительные убытки, и даже этот, казавшийся вечным, вскоре будет вынужден закрыть двери.

Браш сочувственно взглянул на президента, но, подавив желание подойти и ободрить его добрым словом, отошел к столику, вытащил свою чековую книжку и сунул голову в окошечко кассы.

— Я ликвидирую мой счет, — сказал он кассиру. — Снимаю все, за исключением процентов.

— Прошу прощения? — не понял кассир.

— Я забираю свои деньги, — повторил Браш, повышая голос, словно кассир был глух, — но проценты оставляю!

Кассир моргал с минуту, затем принялся рыться в своих ящиках. Наконец он произнес, понизив голос до шепота:

— Я не думаю, что мы сможем держать ваш счет открытым при столь незначительном оставленном вкладе.

— Вы меня не поняли. Я не оставляю у вас свои проценты в качестве вклада. Я отказываюсь от них. Пусть банк возьмет их себе. Я не признаю процентов.

Кассир завертел головой, бросая направо и налево испуганные взгляды. Он отсчитал как вклад, так и проценты и подвинул в окошечко Брашу, промямлив:

— ...Наш банк... Вам следует поискать какой-нибудь другой способ избавиться от ваших денег.

Браш забрал свои пятьсот долларов, остальное подвинул назад. Возвысив голос почти до крика, чтобы его услышали все в зале, он произнес:

— Я не признаю процентов!

Кассир вышел в зал, поспешил к президенту и стал что-то шептать ему в ухо. Президент вскочил в тревоге, словно ему сообщили, что в банк ворвался грабитель. Он двинулся к двери наперерез Брашу, уже выходящему на улицу, и взял его за локоть:

— Мистер Браш.

— Да, слушаю вас.

— Можно вас на минутку, мистер Браш?

— Разумеется, — ответил Браш и последовал за ним в низенькую дверь президентского кабинета.

У мистера Саутвика была большая некрасивая, похожая на баранью башку голова, которую пенсне с синими стеклами делало совершенно нелепой. Его профессиональное достоинство зиждилось на объемистом брюшке, завернутом в голубой жилет и окованном золотой цепочкой. Они уселись по разные стороны монументального стола и некоторое время с большим волнением взирали друг на друга.

— М-м... м-м... Вы хотели бы забрать из нашего банка ваши сбережения, мистер Браш? — произнес наконец президент с той доверительной интимностью, с которой обычно говорят о вопросах, касающихся личной гигиены.

— Да, мистер Саутвик, — ответил Браш, прочтя имя президента на табличке, привинченной сбоку к столу.

— ...и вы жертвуете ваши проценты банку?

— Да.

— И что же прикажете делать с вашими деньгами?

— Я не имею права советовать вам. Деньги не мои. Я не заработал их.

— Но зато ваши деньги, мистер Браш, — я прошу прощения, — ваши деньги заработали их.

— Я не верю, что деньги имеют право зарабатывать деньги.

Мистер Саутвик судорожно дернулся, словно что-то проглотил. Затем произнес поучительным тоном, которым обычно объяснял своей маленькой дочери порядок вещей:

— Но деньги, которые вы вложили в наш банк... Эти деньги работают на нас. Ваши проценты — это часть дохода, который мы с вами получили.

— Я не признаю доходов подобного рода.

Мистер Саутвик подвинул стул ближе и спросил:

— М-м... м-м... Могу ли я узнать, почему вы решили забрать ваши деньги именно сегодня?

— Отчего же, охотно вам объясню, мистер Саутвик. Видите ли, я уже давно размышляю о деньгах и о банках. Конечно, полной и точной теории у меня пока еще нет. Я хочу заняться этим всерьез в ноябре, во время отпуска. Но, во всяком случае, для меня уже сейчас совершенно очевидно, что нельзя заниматься накоплением денег. До недавнего времени я полагал, что мы должны скопить немного денег — ну, скажем, сотен пять долларов — на старость, знаете ли, на случай операции аппендицита или неожиданной женитьбы — словом, как говорят люди, «на черный день». Но теперь я понимаю, что это неправильно. Я дал обет, мистер Саутвик. Я дал обет Добровольной Бедности.

— Добровольной — чего? — спросил мистер Саутвик, выпучив глаза.

— Добровольной Бедности, сэр, вслед за Ганди. Я во всем стараюсь следовать своему обету. Принцип состоит в том, чтобы не иметь никаких денежных накоплений. Понимаете?

Мистер Саутвик вытер пот со лба.

— Когда приходит мой ежемесячный чек, — совершенно серьезно продолжал Браш, — я немедленно избавляюсь от всех денег, что остались от чека за прошлый месяц, но в глубине души осознаю, что это нечестно. Если быть честным перед собой, я всегда помню, что у меня постоянно припрятаны пять сотен долларов в вашем банке. Но отныне, мистер Саутвик, я не нуждаюсь в банках. Прошу вас понять тот факт, что, держа у вас деньги, я тем самым признаю, что живу в страхе.

— В страхе? — вскричал мистер Саутвик.

Он стукнул в кнопку звонка так сильно, что, казалось, чуть не развалил стол.

— Да! — сказал Браш, повысив голос до тона, которым возвещают окончательную истину. — Еще ни одного человека накопления не сделали счастливым. Все деньги, запертые здесь, копят только потому, что люди боятся «черного дня»! Они боятся, как они говорят, что за плохими временами придут худшие. Мистер Саутвик, скажите, вы верите в Бога?

Мистер Саутвик являлся дьяконом Первой Пресвитерианской церкви и уже целых двадцать лет носил во время церемоний красные бархатные штаны, но при этом вопросе он подпрыгнул, словно его ткнули иголкой в известное место.

На звонок явился клерк.

— Немедленно ко мне мистера Гогарта, — приказал президент хриплым голосом. — Немедленно!

— ...Тогда вы должны понимать, о чем я говорю, — продолжал Браш. Теперь его голос был, наверное, слышен даже на улице. Клерки и посетители оторвались от своих занятий, испуганно прислушиваясь. — Для честного человека не бывает худших времен! — гремел Браш. — Ему нечего бояться. Вы копите деньги, потому что боитесь! Но один страх порождает другой страх, а этот — следующий. Никого еще капиталы не сделали счастливым. Это просто чудо, что ваши вкладчики могут спать по ночам, мистер Саутвик. Сон тут же пропадет у них, как только они задумаются, что с ними будет, когда они станут старыми, когда они станут бедными, когда, наконец, банк разорится...

— Стоп! Ни слова больше! — заорал мистер Саутвик, красный как рак. В банк вбежал полицейский.

— Мистер Гогарт, арестуйте этого человека. Он явился сюда, чтобы устроить скандал. Немедленно уведите его отсюда!

Браш обернулся к полисмену.

— Пожалуйста, можете арестовать, — насмешливо бросил он. — Вот он я. А что я сделал? Я ничего не сделал. Я обращаюсь в суд. Я повторю любому все, что говорил сейчас.

— Идем, — сказал полисмен. — И не шуми.

— А ты не толкайся, — огрызнулся Браш. — Я и сам пойду. Вот так он и попал в тюрьму.

— Меня зовут Джордж Марвин Браш, — сказал он, тронув за локоть начальника тюрьмы.

— Убери свои грязные лапы, — рявкнул начальник. — Джерри, сними у него отпечатки.

Браша увели в соседнюю комнату и там сняли отпечатки его пальцев и сфотографировали.

— Меня зовут Джордж Марвин Браш, — сказал он, взяв за локоть фотографа.

— Вот как! — ответил тот. — Рад познакомиться. А меня зовут Бохардус.

— Извините, не расслышал, — вежливо сказал Браш.

— Бохардус, Джерри Бохардус.

Джерри Бохардус был отставной полисмен с добродушным мечтательным характером и грубоватыми манерами. Копна длинных седых волос накрывала его голову и свисала на глаза.

— Будьте любезны, станьте прямо перед этим стеклянным столом, — сказал он. — Отличная погода, не правда ли?

— О да, — кивнул Браш. — Погода в самом деле хорошая.

— А теперь положите руку на эту подушечку, мистер Браун. Есть отпечаток. Та-а-ак-с! Отлично! — Он понизил голос и свойски подмигнул: — Не бойтесь, ничего плохого не будет, мистер Браун. Это простая формальность; мы обязаны, понимаете? Они отошлют их в Вашингтон, где уже собраны восемьдесят пять тысяч отпечатков. Там есть отпечатки даже шерифов и другого начальства. Я не удивлюсь, если там окажутся отпечатки и некоторых сенаторов. Теперь другую руку, дружище; есть оттиск. Что, раньше не приходилось делать такое?

— Нет, — ответил Браш. — В другом городе, когда меня арестовали, не утруждали себя такой процедурой.

— Возможно, у них не было аппарата, — заметил Бохардус, самодовольно пристукнув костяшками пальцев по стеклянному столу. — Мы выложили две тысячи долларов за эту штуку. Великолепная вещь!

Браш внимательно рассмотрел оттиски.

— Этот палец получился не совсем отчетливо, мистер Бохардус, — заявил он. — Я думаю, надо сделать еще раз.

— Нет, этого достаточно. Отличный оттиск. Видите эти спирали?

— Да.

— Самые превосходные из всех, что я когда-либо видел. Говорят, по ним можно узнать характер человека.

— Неужели?

— Да, говорят, можно. Та-а-ак. Готово. А теперь мы сделаем ваше фото. Будьте добры, станьте там, головой в рамку. Готово. Отпечатки пальцев, вообще-то, удивительная вещь. Держите! — продолжал Бохардус, положив на грудь Брашу картонку с номером. — Даже если сделать триллион триллионов таких отпечатков, двух одинаковых не найти.

— Вот это да! — ответил Браш, с благоговением покосившись на стеклянный стол аппарата. Бохардус накрылся с головой у камеры.

— Может быть, мне улыбнуться? — спросил Браш, глядя в объектив.

— Не надо, — ответил Бохардус, наводя резкость. — Обычно мы не просим улыбаться в подобных случаях.

— Я полагаю, за свою жизнь вы насмотрелись на уголовников, мистер Бохардус?

— Я? Еще бы. Я видывал таких убийц, которые и свою родню не жалели, которые и жен своих травили, которые и на флаг плевали. Вы не представляете себе, чего я насмотрелся. Та-а-ак-с! А теперь боком, в профиль, мистер Браун.

Он подошел и повернул Брашу голову. Пользуясь моментом, он наклонился к уху Браша и доверительно спросил:

— Извиняюсь, а в чем все-таки вас обвиняют, мистер Браун?

— Я ничего такого не сделал, — пожал плечами Браш. — Я только сказал президенту банка, что содержать банк — безнравственно, и меня тут же арестовали.

— Ох, не говорите! Подбородок чуть выше, мистер Браун.

— Меня зовут не Браун. Я — Браш, Джордж Марвин Браш.

— А-а, да-да, разумеется. Что-что? Как ваше имя, вы сказали? Хм-м. Та-а-ак-с! Готово. Я думаю, фото будет первый сорт.

— А вы не продадите мне несколько штучек, мистер Бохардус?

— Нет, извините, не положено. Хотя, должен признать, меня еще об этом не просили.

— Вот как! А я бы купил несколько штук. За последние два года я ни разу не фотографировался. Я уверен, моей маме было бы любопытно взглянуть на меня в таком ракурсе.

Бохардус строго взглянул на него.

— Не думаю, чтобы это было хорошим тоном, мистер Браун, делать из моей работы посмешище. Должен вам сказать, мне это не нравится. За пятьдесят лет, что я здесь, еще никто не смеялся надо мной, даже отпетые убийцы.

— Поверьте, мистер Бохардус, — сказал, покраснев, Браш, — я и не думал смеяться. Я знаю, вы хороший фотограф, — вот и все, что я хотел сказать.

Но Бохардус сердито молчал, когда Браш пытался вернуть его доброе расположение.

Начальник полиции, мистер Саутвик и еще какие-то должностные лица о чем-то совещались, когда Браша ввели в кабинет. Прямо с порога Браш обратился к мистери Саутвику:

— Я не понимаю, что преступного было в том, что я сказал. Мистер Саутвик, я не могу оправдываться за те нарушения, которые я не совершал. Мне кажется, вы обиделись на меня за то, что я не вполне уважаю банковское дело, но это не повод для того, чтобы сажать меня в тюрьму, и также не причина для того, чтобы мне менять образ мыслей. Во всяком случае, все, чего я прошу, это законного суда, и я уверен, что оправдаю себя за полчаса. И я уверен, что в зале судебных заседаний будет полно народу, потому что в эти трудные времена Депрессии многим интересно будет узнать, как Ганди смотрит на деньги!

Начальник полиции вскочил и с угрозой двинулся к нему.

— Прекрати сейчас же свои глупости! — сердито сказал он. — Сейчас же прекрати! Что это с тобой такое случилось, приятель? — Он обернулся к своим людям: — Джерри, слышишь, он, кажется, того! Пожалуй, мы отправим его в Монктаун, чтобы его проверили. Как у тебя с психикой, приятель? Что это такое с тобой творится? Ты не сошел с ума?

— Нет, не сошел! — с яростью закричал ему в лицо Браш. — Я требую суда! Я совершенно точно знаю, что я не сумасшедший. Можете проверить меня, спрашивайте на память что вам угодно: даты, что-нибудь из истории, из Библии. Я — гражданин Соединенных Штатов, и я в своем уме. А если кто скажет, что я сумасшедший, я ему сумею ответить, несмотря на то, что я — пацифист! Я только лишь сказал мистери Саутвику, что его банк — и всякий другой банк — несправедное дело, основанное на страхе и малодушии...

— Все, кончай, завязывай, — остановил его изливания начальник полиции. — Теперь слушай, Браш: если ты не уберешься из нашего города в

течение часа, я тебе гарантирую смирительную рубашку и шесть месяцев в дурдоме. Ты меня понял?

— Пожалуйста, как хотите, — с вызовом ответил Браш. — Но только я не могу выбросить на ветер целых шесть месяцев.

— Гогарт, — приказал начальник, — отведи его на вокзал!

Гогарт был тот самый высокий полисмен с тяжелой челюстью и светлыми голубыми глазами.

— Ну что, дружок, сам пойдешь без глупостей или тебя придержать? — спросил он.

— Сам пойду, — буркнул Браш. — Не волнуйся.

Пройдя в молчании несколько кварталов, они остановились, и Гогарт, тронув Браша пальцем за лацкан пиджака, доверительно спросил:

— Скажи-ка мне, дружок, а где это ты услышал, что у «Мариана-банк» плохи дела? Кто тебе сказал?

— Я не имел в виду именно этот банк. Я имел в виду все банки вообще.

Такой ответ не удовлетворил Гогарта. Собираясь с мыслями, он продолжал рассматривать Браша через свои очки. Потом отвернулся и задумчиво посмотрел вдоль улицы.

— Сдается мне, сегодня у дверей банка людей больше, чем всегда, — пробормотал он.

Вдруг он повернулся к Брашу:

— Дружок, я на минуту. Не подведи меня! — попросил он.

Он кинулся в дом, у которого они остановились. Там на кухне женщина мыла посуду.

— Миссис Каулис! — сурово воскликнул Гогарт. — Как констебль нашего города, я имею право по служебной надобности воспользоваться вашим телефоном!

— О да, конечно, мистер Гогарт! — залепетала перепуганная миссис Каулис. — Что-то случилось?

— И еще вас попрошу, мэм, выйдите, пожалуйста, на крыльцо. У меня секретное донесение.

Миссис Каулис удалилась. Когда Гогарт услышал из трубки голос жены, он сказал быстрым полусшепотом:

— Мэри, слушай сюда! Немедленно пойд и заведи из банка все наши сбережения! Все, до последнего цента! Поняла? И побыстрее! Чтоб в полчаса обернулась. И никому не говори об этом ни слова!

Положив трубку, он позволил заинтригованной миссис Каулис продолжить мытье посуды и вернулся к Брашу. Он еще раз глянул вдоль улицы и, сочтя свой служебный долг исполненным, доверил Брашу добираться до вокзала самому.

Мистер Саутвик вернулся домой и лег на диван в гостиной, не зажигая свет. Время от времени он ворочался, издавая тяжкие стоны, в то время как его жена, ходившая вокруг на цыпочках, наклонялась к нему и, поправляя мокрый платок у него на лбу, шептала:

— Тимоти, дорогой! Не мучай себя, не думай о делах. Постарайся уснуть.

## ГЛАВА 2

Оклахома. Большой частью разговоры. Приключение в конюшне. Марджи Мак-Кой дает совет

В тот же вечер Браш приехал в Оклахома-Сити и заявился в «Мак-Гро Хауз». На другой день он с утра занялся своими делами. Он обзванивал директоров школ, начальников отделов и руководителей комитетов по образованию. Он ездил в исправительно-трудовые колонии и намеревался собрать общее собрание студентов города.

В восемь вечера он постучал в дверь номера, где остановился Блоджет. Некоторое время из-за двери слышались громкие ссорящиеся голоса. Потом дверь отворилась, вышел Блоджет и плотно прикрыл за собой дверь.

— О, Браш! — сказал он. — Рад тебя видеть. Я хотел попросить тебя: будь осторожнее. Ты знаешь, у моей кузины нервное расстройство. Не касайся тем, которые могут раздражать ее. Ты понял мою мысль?

— Хорошо, я постараюсь запомнить.

— Да, в последнее время она часто раздражается по пустякам. Она только что развелась, и месяца не прошло, и вот она теперь... как это?

— Разведенная? — сочувственно подсказал Браш.

— Да-да, вот именно! Ну, идем, я вас представлю друг другу. — И он заговорщицки подмигнул Брашу. Затем он распахнул дверь и провозгласил с нервным радушием: — Марджи! Смотри, кто к нам пришел!

Марджи Мак-Кой полулежала на кровати, постелив газету под ноги, обутые в черные туфли с высоким каблуком. Ее затылок покоился на никелированной спинке кровати. Лицо ее было мрачно. В одной руке она держала стакан, в другой — сигарету. Ответив на довольно витиеватое приветствие Браша лишь слабым движением глаз, она снова уставилась в стену с непримиримым выражением.

Разговор продвигался с величайшими трудностями. Браш вел себя крайне осторожно, не зная, о чем говорить, чтобы не травмировать женщину, которая недавно пережила такую жестокую жизненную трагедию, как развод.

Через сорок минут этой пытки он встал, чтобы попрощаться.

— Огромное вам спасибо за то, что дали мне возможность навестить вас, — сердечно произнес он, пятясь к двери. — Мне надо идти. Я еще должен составить кое-какие отчеты и...

К удивлению обоих мужчин, миссис Мак-Кой вдруг подала голос.

— Что за спешка? Куда вы? — в раздражении воскликнула она. — Сядьте в кресло. Вы не курите? Не удивительно, что вы похожи на дурака: только сидите и треплете языком. О Боже! Ремус, налей ему пива. Пусть он хоть что-нибудь держит в руках!

Браш сел и снова пустился в разговоры. Он нечаянно проговорился, что его успели арестовать и подержать в кутузке после того, как он виделся с ними в последний раз. Собеседники, заинтересовавшись, поощряли его красноречие, и вскоре они услышали полный отчет о разговоре с мистером Саутвиком. После чего Браш принялся объяснять им теорию Добровольной Бедности. Теперь уже миссис Мак-Кой смотрела на него во все глаза с нарастающим изумлением. В конце его выступления с губ обоих его слушателей одновременно слетел один и тот же вопрос:

— А что вы будете делать, если останетесь без работы?

— Я? Ну, я не знаю пока. Никогда об этом не задумывался. Полагаю, я найду какую-нибудь другую работу. Во всяком случае, это меня не пугает. Я все время получаю повышения, что меня отчасти даже раздражает.

— Вас раздражает повышение по службе? — воскликнула миссис Мак-Кой.

— Да.

— А что вы будете делать, если вдруг заболете? — спросила она.

— А что ты будешь делать, когда станешь стариком? — спросил Блджет.

— Да я ведь уже объяснил вам, — сказал Браш.

Миссис Мак-Кой величественно перенесла свои ноги с кровати на пол и, уперев руки в бедра, потянулась к Брашу.

— Послушай, беби, — произнесла она. — Дай-ка я на тебя погляжу. А ты нас не дурачишь?

— Что вы, миссис Мак-Кой! — слегка обиделся Браш. — Я вполне серьезно.

Она с тем же величием вернула себя в прежнюю позицию на кровати.

— Вот как! Забавно, — пробормотала она, подозрительно поглядывая сквозь свои очки.

— Послушай, малыш, — сказал Блджет, — а почему ты говоришь, что повышение тебя раздражает?

— Да потому, что в таком случае это повышение не достанется другому! Я думаю, Депрессия ударила по каждому в равной степени. Вы понимаете?

Миссис Мак-Кой холодно произнесла:

— Да, я все поняла. Ваши идеи не такие, как у других людей, верно?

— Нет, — сказал Браш. — Я думаю, что не так. Я не проучился в колледже и четырех лет, как пережил сильное религиозное потрясение, которое внушило мне идеи, подобные тем, каких придерживаются другие люди.

— Да, я вижу. Но ответь мне на такой вопрос: когда ты женишься, как ты будешь тратить свои деньги?

— Прошу прощения? — не понял Браш.

— Ну, вдруг твоя жена будет каждый месяц транжирить все твои деньги, которые ты зарабатываешь? А вдруг она тоже захочет жить в бедности, как и ты?

— Вполне возможно, — сказал Браш.

— Послушай, а ты не женат? — спросил Блоджет.

— Я... Практически я женат. Хотя наверняка я сам не знаю, женат я или нет.

— О-о! Вот как! А она... она красивая?

— Этого я не знаю, во всяком случае, не уверен. — Браш жалобно взглянул на Блоджета. — Не будем лучше говорить об этом, — попросил он. — Это одно из следствий той большой ошибки, которую я совершил. Вы говорили мне в прошлый раз, что не следует забивать голову на ночь подобной чепухой.

— Я хочу знать! — заявила миссис Мак-Кой. — После вашей идеи Всеобщей Нищеты я хочу знать все. В тот раз, утром, было совсем другое. Я на пустой желудок не желала ничего слушать, вот и все. Давайте рассказывайте, что там у вас стряслось.

Браш снова жалобно взглянул на Блоджета.

— Конечно, расскажи, — кивнул Блоджет. — Давай валяй.

— Мне кажется, что эти вещи слишком деликатные, чтобы рассказывать о них людям... людям, с которыми я знаком совсем недавно. Но вы понимаете, мне очень нужен совет. Перед тем как я начну рассказывать, я хочу объяснить, что я думаю о женщинах вообще.

— Одну минуту, малыш, — остановил его Блоджет, подрезая сигару. — Ты в самом деле хочешь все узнать о нем, Марджи?

— Я же сказала! Я хочу знать все.

Браш в удивлении посмотрел на Блоджета.

— А в моем рассказе ничего такого и нет, чего нельзя ей слушать. Я только хотел, чтобы вы знали, что до того, как все произошло, я повсюду искал себе жену. Нет, в самом деле — везде! Это было единственной моей мыслью: найти себе жену. Вы понимаете, мне двадцать три года. Как раз был мой день рождения, когда мы вчера с вами встретились.

— О, вот как! — воскликнул Блоджет. — Поздравляем тебя и желаем тебе счастья!

— Большое спасибо. Итак, мне уже давно хотелось взяться за какое-нибудь дело...

— Я понимаю.

— ...и завести себе настоящую американскую семью.

— Что?

Браш наклонился к нему и сказал с весьма важным видом:

— Знаете, что, я думаю, самое главное в целом свете? Это когда человек, я имею в виду американцев, сидит с женой за воскресным обедом, а вокруг копошатся шестеро детишек. Вы поняли, что я имею в виду?

— Шестеро, ты сказал?

— Да, шестеро. А если больше, то еще лучше. Да, это то, чего я хочу сильнее всего, вот почему я везде ходил и искал себе жену. И я уверен,

что рано или поздно найду себе такую. Вот, к примеру, однажды я пел в церкви, — я еще не сказал вам? У меня очень хороший голос, тенор...

— Нет, это для меня новость!

— Да, значит, голос. И когда я добрался до городка, где мне надо было побывать в воскресенье, я отправился к настоятелю церкви и предложил ему попеть у него во время службы. Должен сказать, что мое участие в значительной мере оживило службу. И вот когда я пел, среди прихожан я увидел девушку, и мне показалось, что она — само совершенство. Я пел «Утраченную гармонию», и когда я подошел к самой громкой части, вы можете себе представить, как я вкладывал душу в те слова! После службы все подходило ко мне, восхищались и благодарили, даже приглашали к себе на обед. Это было полное счастье! И отец этой девушки тоже подошел и тоже пригласил меня в гости. Конечно же, я согласился. Весь обед я сидел рядом с ней и думал, что она — самая чудесная девушка из всех, кого я когда-нибудь встречал в жизни, несмотря даже на то, что она двух слов не умела связать. А я все время боялся, что что-нибудь случится и все пойдет прахом. Я перевел разговор на общее развитие человека и понял, что ей нравится эта тема, — вы знаете, оказалось, что они тоже не верили, что человек произошел от обезьяны. Но вы, наверное, догадались, что случилось?

— Нет-нет! — сказал Блоджет. — Рассказывай дальше.

— Мы сидели так вокруг обеденного стола, и вдруг она попросила у своего брата сигарету.

— Ох, что вы говорите! Какой ужас!

— Ее матери это не понравилось, и она сделала ей замечание. Но мне это не понравилось еще больше! Сначала я подумал, что ей хочется перед гостем, певцом тем более, показаться взрослой, а вовсе не деревенской девушкой. Это происходило в Сульфур-Фол, штат Арканзас. И теперь я не могу слышать о Сульфур-Фол без отвращения.

— М-м-да! Забавная историйка, — озадаченно произнес Блоджет. — Марджи, как ты думаешь?

— Она хоть поняла, чего лишилась? — спросила миссис Мак-Кой.

Браш заулыбался.

— Она потеряла не только меня, миссис Мак-Кой, — сказал он.

Блоджет поторопился сменить тему разговора:

— А что, вам как певцу ни разу не отказывали?

— Ну, иногда, если во мне сомневались, то, конечно, проверяли. Но после первых же нот всем становилось ясно, что со мной все в порядке.

— Ты, наверное, мог бы зарабатывать этим способом.

— Нет, я не считаю, что за это надо брать деньги. Однажды в Плате, штат Миссури, ко мне подошел один человек и предложил двести долларов, чтобы я спел на собрании в «Ордене Лосей»<sup>2</sup> в Сент-Луисе. Но я отказался. Я бы спел им бесплатно, но в тот раз маршрут моей командировки не включал в себя Сент-Луис. Кстати, это еще одна моя теория. Такой голос, как, например, у меня, — это всего лишь подарок, дар, вот и все. Нельзя ведь каждому обещать, что у него будет хороший голос. Это каприз природы, как и всякий другой, как погода, например. Ниагарский водопад, пещеры в Кентукки или Джон Маккормак<sup>3</sup> — все это подарки обществу. Вы знаете, это подобно красоте, видом которой наслаждаются все. Это как сила. И я счастлив, что она у меня тоже есть. Я бы мог двигать ваши сундуки или пианино целый день и не устать. Но я не стану брать за это деньги. Вы понимаете?

— О да! — сказала в восхищении миссис Мак-Кой. — Да, я уже начинаю понимать. Ну а когда вы нам расскажете другую вашу историю?

---

<sup>2</sup> «Орден Лосей» — престижный клуб американских бизнесменов с филиалами в разных городах США.

<sup>3</sup> Маккормак Джон (1884 — 1945) — американский певец-тенор.



— Ох, эту историю трудно рассказывать. Она произошла во время каникул перед моим последним годом в колледже...

— Какой это был колледж? — спросил Блоджет.

— Баптистский колледж Шилоха в Южной Дакоте, очень хороший колледж. Летом я собирался побывать в Миссури, Иллинойсе и в некоторых районах Огайо, чтобы продавать там детскую энциклопедию. Я путешествовал на попутках из одного местечка в другое. Первый день мне пришлось потерять. Я был в двадцати милях от Канзас-Сити, примерно на юго-восток. Наступила темнота, начался дождь. Тогда я зашел на одну ферму и стал проситься переночевать в конюшне. Фермер с женой пустили меня в кухню, дали мне кофе и хлеба с маслом. Они сказали, что они прихожане методистской церкви. Я увидел их дочерей: их было трое или четверо, и они все были красивы. Но я не мог рассмотреть их хорошенько, потому что они держались в стороне от яркого света. Но я заметил их, и они все показались мне очень красивыми. Я сказал себе, что утром надо лучше запомнить этот дом, чтобы потом вернуться сюда. Затем я поблагодарил их, пожелал им доброй ночи и отправился спать в конюшню.

В этом месте Браш вытащил носовой платок и вытер лоб.

— Дальше пойдут деликатные вещи, — сказал он, — и я не хочу оскорбить ваши чувства, но ведь вы оба были женаты или замужем, верно?

— Да, — сказал Блоджет, — мы знаем, что такое «лихо»!

— Я проснулся в кромешной тьме и услышал девичий смех и потом, чуть позже, полусмех, полувозглас. Она спросила меня, не хочу ли я чего-нибудь поесть. Конечно, я всегда не прочь покушать...

— Хотите яблоко? — спросила миссис Мак-Кой.

— Нет, благодарю вас, не сейчас. Мы очень долго говорили. Она сказала, что ей не нравится на ферме. Я спросил, как ее звать, и она сказала, что Роберта. Во всяком случае, мне слышалось Роберта. Это очень важно, потому что ее имя могло быть просто Берта. А однажды я прочитал в газете, что есть такое женское имя — Херта. Ее имя могло быть любым из этих имен.

— Какое значение имеет ее имя! — вскричала миссис Мак-Кой.

— Вы сейчас поймете. Во всяком случае, она меня очень просила, и я не смог ей отказать. Словом, я решил, что она была той женщиной, на которой я должен жениться.

Последовала пауза; на Браша смотрели с ожиданием.

Он повторил с ударением:

— Итак, я решил, что она была той женщиной, на которой я должен жениться.

Блоджет наклонился чуть вперед и спросил взволнованным голосом:

— Ты хоть понимаешь, что погубил ее?

Браш, побледнев, кивнул.

— Дай ему выпить! — порывисто воскликнула миссис Мак-Кой. — Дай ему выпить, ради Бога!

— Я не пью, — угрюмо возразил Браш.

— Ремус, дашь ты ему выпить или нет? — закричала она еще громче. — Он должен выпить. Я не могу представить себе, чтобы он мог быть таким ребенком. Сейчас же выпей все до капли и перестань упрямяться.

Браш принял стакан и сделал вид, что пьет. К его удивлению, у него на губах остался слабый сладкий привкус.

— Давай дальше, — сказала миссис Мак-Кой. — Чем все это кончилось?

— Это все! — развел руками Браш. — Я пытался объяснить этой девушке, что вернусь завтра же и женюсь на ней, но она убежала в дом. А я вышел на дорогу, прямо под дождь, и прошагал всю ночь. Я шел несколько часов подряд, думая о том, что я скажу ее отцу, и все остальное. Но вы понимаете, с тех пор я никак не могу найти снова этот дом. Я прошел вверх и вниз каждую дорогу в том районе Канзас-Сити с дюжину раз. Я всех и каждого расспрашивал о ферме, где жил фермер-методист со свои-

ми дочерьми. Я расспрашивал всех почтальонов, но все было напрасно. Теперь вы знаете, почему я не могу стать священником.

Наступило молчание.

— И ты что же, все еще любишь ту девушку? — спросил наконец Блоджет.

Браш занервничал.

— Это не важно, люблю я ее или нет, — ответил он. — Я знаю лишь то, что я — ее муж до тех пор, пока она или я живы. Когда вы poznали женщину до такой степени, то это значит, что вы не должны знать так же еще кого-нибудь до тех пор, пока один из вас не умрет.

Миссис Мак-Кой откинулась на кровати и мстительно посмотрела на стакан в его руке.

— Ты ничего не выпил! — воскликнула она. — Сейчас же выпей до дна! Не валяй дурака. Выпей все.

— Я не пью, миссис Мак-Кой, — жалобно произнес Браш.

— Меня не волнует, пьешь ты или не пьешь. Я тебе говорю — выпей!

Блоджет и сам забеспокоился, видя ее настырность. Он с выражением поднял одну бровь, подавая знак Брашу, который сделал еще один глоток. Миссис Мак-Кой враждебно за ним наблюдала. Затем она снова опустила ноги на пол и произнесла медленно и веско:

— Хочешь один совет?

— Да, конечно, заранее благодарен, — пробормотал Браш в смущении.

— Значит, я спрашиваю тебя: хочешь один совет?

— Да.

— Совет? От меня?

— Да.

— Тогда слушай! Слушай! Ты искал ее, как мог? Искал! Ты не смог найти эту девушку? Не смог! Эта девушка не захотела отыскаться? Не захотела! И если все так получилось, то забудь ее! Ты чист. Ты свободен. Начни еще раз. Начни все сначала.

— Я не могу, — с угрюмой твердостью ответил Браш. — Вы же видите, что я уже женат!

— Что за глупости ты несешь? Ты не женат. У тебя нет свидетельства. Ты не женат, понял?

— Миссис Мак-Кой, когда вы говорите, что я не женат, то вы просто играете словами, потому что я точно знаю: я женат.

Миссис Мак-Кой разъяренно посмотрела на него, затем, покачав головой, снова улеглась на кровать.

Браш продолжал, опустив глаза в пол:

— Во всяком случае, мне это совершенно ясно. Может быть, это означает, что мне совсем не следует заводить себе дом. Иногда я думаю, что если упаду духом, то действительно могу заболеть или что-нибудь еще хуже. Потому что болезнь — это как раз и есть упадок духа. Это еще одна моя теория. По моей теории, все болезни приходят, когда человек теряет надежду. Если у кого-то плохи дела в бизнесе или еще в чем-нибудь или он сделал ошибку и не может исправить ее, то этот человек непременно заболит. Ему просто жить не захочется. Он просто потеряет всякий интерес к солнечному свету, к тому, что будет завтра и будет ли что-нибудь вообще. Он-то думает, что он хочет жить, но в подсознании у него коренится желание умереть. Во всяком случае, я намерен хорошенько обдумать эту мысль в ноябре, когда у меня будет отпуск. У меня уже набралось достаточно хороших примеров. Вот послушайте: я так переживал этот случай, что даже прошлой весной заболел инфлюэнцей. А вообще-то я в жизни никогда не болел. Вот вам и другой пример: извините, что я говорю о таких прозаических вещах, но я никогда не принимаю слабительного. Но теперь я вынужден пользоваться слабительным каждый раз. Я уже знаю, чем это вызвано. Это значит, что мне просто не хочется жить, пока я не заведу себе семью...

В этот момент Марджи Мак-Кой подскочила и закричала как сумасшедшая:

— Ремус, заставишь ты его замолчать или нет? О Боже, кончится это когда-нибудь или нет? Сдается мне, мы уже битый час обсасываем его теорию. Сейчас же смени тему! Я сойду с ума. А ну-ка выпей еще! Не-е-ет! Не такими птичьими глотками!

Браш выпил все и тут же встал.

— Мне, кажется, лучше уйти, — сказал он. — Мне надо ехать в Кэмп-Морган; поезд будет в два часа. Благодарю, что позволили навестить вас.

В смущении он остановился посреди комнаты, ожидая, не захочет ли миссис Мак-Кой попрощаться с ним за руку. Она поднялась и прошествовала к двери, при каждом шаге раскачивая бедрами. Она прислонилась к стене у двери. Двое мужчин с легким трепетом смотрели на нее.

— А теперь слушай. Слушай, что я тебе скажу! — многозначительно произнесла она. — Я заболела из-за тебя! И где же они теперь, твои теории и твои идеи? А? Нигде! Вот то-то! Живи, детка, живи! Что из всех нас, сукиных сынов, получится, если мы будем то и дело останавливаться и рассусоливать каждый свой шаг? Вымрем как вид, к чертовой матери!

Браш в раздумье взглянул на нее, глубокие морщины избороздили его лоб. Он произнес негромко:

— Ну, я-то, кажется, пока еще живой.

К изумлению обоих мужчин, она вдруг положила руку ему на плечо.

— Я имела в виду: посмотри вокруг. Мы все скоро вымрем. Если будем думать, что ничего не изменить. Если ты так думаешь, то ты вдвое гнуснее, чем просто голубой.

— Я не голубой, — обиделся Браш.

Миссис Мак-Кой с сердитым видом вернулась к столу и вынула из пачки новую сигарету.

— Ох, убирайся прочь! — сказала она.

Блоджет вышел следом за Брашем в холл.

— Я просто хотел попрощаться с ней за руку, — пожал плечами Браш.

— Не принимай близко к сердцу, дружище, — сказал Блоджет удрученно. — Она всегда себя так ведет при первом знакомстве. Она покажется тебе совсем другой, когда ты узнаешь ее поближе.

Браш медленно побрел к себе в номер. Перед тем как собрать вещи, он постоял у окна, глядя на проливной дождь за стеклом.

— Я слишком много говорю, — пробормотал он. — Надо следить за собой. Я говорю чертовски много.

### ГЛАВА 3

**Отдых в Кэмп-Морган. Ночные кошмары Дика Робертса. Обед с Миссисипи Кори**

Путешествие Браша в Кэмп-Морган было вызвано телеграммой, которую он получил в Оклахоме. Телеграмма, посланная его начальником, гласила: «Судья озеро Морган-Кэмп устроить Гутенберг Альдус Кэкстон смазать ему лыжи пределах Эйнштейн». Это сообщение вовсе не было столь непонятным, как могло показаться на первый взгляд. Просто отправитель был весьма жизнерадостным человеком и подписывал свои служебные распоряжения самыми невероятными, по его мнению, именами. «Судья озеро Морган-Кэмп» означало, что член Палаты судья Кори, получивший свою должность по наследству от отца, проводил уик-энд на озере Морган-Чатаука, на базе отдыха под Морганвилем, штат Оклахома. Судья Кори был наиболее влиятельным членом Комитета по образованию в парламенте, выбор учебников для системы публичных школ полностью зависел от него. «Устроить Гутенберг Альдус Кэкстон» означало, что Браш должен уговорить его дать рекомендации определенным учебникам, которые выпускает их издательство. Имена великих первопечатников обозна-

чали каулькинсовский учебник алгебры для начальных классов, «Les Premiers Pas»<sup>4</sup> мадемуазель Дефонтен и «Армию Цезаря» профессора Грабба. «Смазать ему лыжи» имело отношение к продолжавшейся шутке между начальником и Брашем — шутке, солью которой был намек на взяточничество среди членов Палаты. Эта фраза означала, что Брашу даются полномочия предложить судье Кори пост почетного члена Совета директоров в Ассоциации учреждений среднего образования. Данный пост приносил лицу, его занимающему, семьсот долларов ежегодно. Эта шутка давно уже потеряла для Браша свою прелесть, но начальник настаивал на том, что конкурирующие издательства всю практикуют подобные методы, предлагая некоторым членам парламента посты в консультативных советах начального и среднего образования, приносящие до тысячи долларов в год. Браш считал, что «Каулькинс и компания» не должны придерживаться такой стратегии, и кроме того, он не мог себе представить, как завязать разговор, который должен привести к подобному предложению. Что же касается его самого, то он был в состоянии положить свои учебники перед миллионами школьников и без этих сомнительных фокусов, поэтому его высоко ценили в руководстве фирмы, и особенно, как он считал, за его эксцентричность.

В действительности его эксцентричность и сама по себе доставляла его начальству немалое удовольствие. Дело в том, что в скрупулезности по отношению к расходам фирмы Брашу не было равных среди всех, кто когда-либо в ней работал. Он записывал каждый пятак и проявлял невероятную изобретательность, чтобы сберечь фирме лишний доллар. Он никогда не сомневался в том, что великий мистер Каулькинс лично читает его отчеты, и так было на самом деле. Мистер Каулькинс не только читал его отчеты, но и приносил их домой, чтобы поучить экономности свою жену, а также таскал их с собой в клуб, чтобы показать своим друзьям. Но существовал один пункт, в котором Браш и Хоуэлс никак не могли достичь взаимного согласия. Браш отказывался назначать встречи с директорами школ в воскресенье; он отказывался ездить поездом или автобусом в воскресенье с тем, чтобы в понедельник утром быть на месте. В крайнем случае он мог согласиться идти пешком или добираться на попутках. Ехать в воскресенье на поезде значило нарушать священный день отдохновения и лишать служащих железной дороги возможности сходить в церковь и провести день в размышлениях о Боге. Хоуэлс замечал ему, что поезда все равно ходят в воскресные дни «для того, чтобы скорее доставить сыновей и дочерей к ложу их родителей, которые внезапно заболели и нуждаются в помощи». Браш отвечал ему, что родителям следовало бы выбирать другие дни для своих болезней.

Браш покинул Оклахома-Сити в два часа, пересек, попеременно пользуясь поездами, автобусами, троллейбусами и такси, почти весь штат и наконец к середине следующего дня прибыл в Морганвиль. Во время путешествия ему никто не подвернулся в качестве объекта спасения, но мимоходом он поспорил с владельцем вагона-ресторана, греком, на предмет «язычества», которое заставило мальчишку с фермы пробивать себе дорогу в университет, которое побудило владельца гаража усыновить голодного кота и которое хочет добраться до «самой сути» смертной казни и пожизненного заключения.

В Морганвиле он сел в автобус, обвешанный китайскими фонариками и воззваниями, гласившими: «Хорошего отдыха в Кэмп-Морган!» Спинка сиденья перед ним несла на себе следующее объявление: «Девушки, расширяйте круг своих знакомств! Наш танцзал приглашает всех!» Автобус, пробиравшийся, казалось, наугад по редкому сосновому лесу, миновал группу женщин в спортивных костюмах, экскурсанток, выбравшихся на лоно природы с познавательными целями, затем объехал шеренгу мужчин,

<sup>4</sup> «Первые шаги» (франц.).

раздетых едва не до кальсон, с выпученными глазами, подгоняемых насмешливым тренером. Дорога огибала озеро, густо покрытое шлюпками и байдарками. В самой середине озера к выступающему из воды камню был привязан огромный резиновый баллон с рекламой автомобильного бензина. Браш спешил к административному корпусу и купил регистрационную карточку, в придачу к которой получил пригоршню билетов, талоны на койку и пищевое довольствие, и пропуск на представление «Соперников»<sup>5</sup>, которое вечером дадут публике слушатели «Лесной школы» при Арденском театре.

Его койка оказалась одной из шести в палатке с биркой «Феликс», которая относилась к «оранжевым». Сотоварищи по палатке встретили его с большим воодушевлением, потому что на следующее утро «оранжевым» предстояло состязаться с «синими» в перетягивании каната, а Браш, казалось, мог сдернуть с ног шестерых. Потом он без энтузиазма обошел окрестности. Предвидя, что ему придется со всеми вместе петь зажигательные песни у общего костра, он отыскал директора и предложил ему свои услуги в качестве солиста, что тот воспринял с удовольствием. Затем он позвонил администратору столовой и попросил дать ему место за столом, где обычно сидит судья Кори.

Вернувшись в палатку, он стал раскладывать вещи. Он вытащил зубную пасту, щетку и бритвенный прибор и положил на полку над своей кроватью. На соседней кровати мужчина лет сорока лежал, очевидно, отдыхая от спортивных трудов. Он время от времени открывал глаза, наблюдая за суетой Браша. Потом он сел, спустив ноги на пол, с несчастным видом, охватив голову руками.

Браш внимательно всмотрелся в него.

— Вы себя плохо чувствуете? — спросил он. — Вчера, наверное, перестарались?

— Нет, со мной все в порядке, — ответил мужчина и снова замолчал в унынии.

Браш опять взглянул на него и увидел, что мужчина следит за ним скорбными глазами.

— Я не понимаю, зачем я сюда приехал. Мне надо быть у себя в конторе.

— Сегодня уже пятница, — сказал Браш. — Или вы собирались поработать в воскресенье?

— Нет-нет, ни в коем случае! Просто у меня такая должность: я прихожу на работу и сижу. Я там вместо мебели, и позвольте вам сказать, у меня бывают сердечные приступы каждый раз, как звонит телефон. Я прихожу и ничего не делаю, лишь попусту торчу за своим столом.

— И в воскресенье тоже?

— Да. Я обязан сидеть там и по выходным. И больше ничего не надо делать.

Последовала пауза. Браш стал переодеваться к обеду.

— Это моя жена затащила меня сюда. Она сказала, что хорошо бы детям посмотреть на природу и послушать здешних экскурсоводов. Ох, она сказала, что детям неплохо бы полюбоваться здешней природой и посмотреть здешние концертные программы. Кстати, приятель, меня зовут Дик Робертс. Я из Мейсика.

— Рад с вами познакомиться. Меня зовут Джордж Марвин Браш. Я в командировке по делам школьного издательства. Я живу в Ладдингтоне, штат Мичиган.

— Мичиган? Ну и как там у вас с работой? Неплохо?

— Да, конечно, — сказал Браш, завязывая галстук и косо поглядывая на Робертса в зеркало. — У нас неплохо идут дела с продажей учебников.

Видимо испытывая внутреннее борение, Робертс помедлил и наконец выдавил неуверенно:

<sup>5</sup> «Соперники» — пьеса английского драматурга Р. Б. Шеридана (1751 — 1816)

— Браш... м-м... Могу я вас попросить о маленьком одолжении?

— Конечно. Что надо сделать?

— Это вовсе не обязательно, видите ли, но просто на всякий случай. Я вижу, вы заняли кровать рядом с моей. Моя жена говорит, что я разговариваю во сне. Если я буду вас беспокоить, вы толкните меня, и я перестану.

— Вы хотите сказать, что вы храпите?

— Нет, я не храплю. Жена говорит, что иногда я кричу во сне. Не очень часто, но бывает. Если сегодня ночью такое будет со мной, то просто толкните меня, и все. И я тогда встану и пойду досыпать к озеру. Там уж я никого не потревожу.

— Хорошо, я сделаю, как вы просите.

— Я только хотел предупредить вас. У меня вообще плохой сон, — продолжал Робертс, уставившись в пол. — Порой я не сплю по неделе и больше. Вот почему я занимаюсь в этой чертовой группе здоровья. Я хотел бы поправить здоровье.

Палатка «Феликс» стояла у самой дороги, которая вела от лагеря к берегу. Браш услышал женские голоса, доносившиеся с дороги.

— Эй, Дик! Дик Робертс!

— Это ваша жена зовет вас, — сказал он.

Робертс вышел. Браш слышал, как она говорит:

— Лилиан хочет, чтобы ты пошел с нами купаться и взял ее на руки. Наверное, ты очень устал. Я думаю, тебе надо разок окунуться перед обедом, это тебя освежит.

— Хорошо, я иду с вами.

— Как ты устроился, Дик? — спросила она, озабоченно оглянувшись на палатку.

— Все в порядке, все отлично, — сказал он. — Подожди минутку.

Вернувшись в палатку, Робертс сказал:

— Я хочу познакомить вас с моей женой, если вы не возражаете.

— Конечно. С удовольствием, — ответил Браш.

Миссис Робертс оказалась невысокой хрупкой женщиной с манерами одновременно и оживленными, и робкими. После знакомства все трое медленно отправились вниз по дороге. Взгляд миссис Робертс то и дело останавливался с участием на лице мужа; он же постоянно смотрел в землю либо с интересом что-то выглядывал на другом берегу озера.

— Очень хорошо, что мы приехали сюда, — сказала миссис Робертс. — Дети прямо-таки счастливы! Они уже тут с самого начала лета и, конечно, полюбили эти места. Я уверена, вы здесь хорошо отдохнете и поправитесь.

— Нет, — сказал Браш. — Мне не очень нравятся такие места. Я приехал, чтобы встретиться по делу с одним человеком.

— О! — сказала миссис Робертс, быстро взглянув на него. — Хорошо. Я думаю, мы еще увидимся, мистер Браш. А сейчас, может быть, вам захочется поболтать здесь с какими-нибудь хорошенькими девушками.

— Мне надо надеть костюм, — сказал Робертс и оставил их.

Браш не уходил. Он продолжал шагать рядом с миссис Робертс. Она еще раз нервно посмотрела на него и, остановившись, произнесла с большим волнением:

— Мистер Браш, вы будете жить с моим мужем в одной палатке, и я должна вам кое-что сказать.

— Я знаю. Он мне уже сказал.

— О своих ночных кошмарах?

— Да.

— Может быть, ничего не произойдет. Но все-таки будет очень любезно с вашей стороны разбудить его немедленно. Я боюсь, он принимает свою работу слишком близко к сердцу. Он только и делает, что сидит в конторе целый день и весь вечер и, наверное, думает о чем попало. Вот почему я привезла его сюда, в Кэмп-Морган, хотя это довольно дорого, — чтобы немножко его отвлечь. Ох, я не знаю, что делать, и только извожу себя, думая о нем.

Тут миссис Робертс начала лихорадочно шарить в сумочке, отыскивая носовой платочек. Браш искоса смотрел на ее руки, готовый предложить ей свой платок, затем устремил взгляд на озеро.

— Вот уже более шести недель, как с ним произошло ужасное происшествие, — продолжала миссис Робертс. — И очень похоже на то, что он только об этом и думает.

— Он попал в автомобильную катастрофу?

— Нет, не то. Я бы вам рассказала, если вы сейчас никуда не спешите. Видите ли, мы с мистером Робертсом однажды пошли в парк с весьма глупыми аттракционами и катались там на «русской горке». И один человек в точно такой же люльке, как наша, упал с высоты и разбился насмерть. И пока он умирал, он все пытался диктовать письмо своей семье в Форт-Уэйн, штат Индиана, а мистер Робертс, будучи тоже, как и этот мужчина, из клуба «Элк», взялся записывать. Это было просто ужасно. Этот человек — хотя я не люблю говорить такие вещи, — он был просто глупый. Он из тех, кто кричит громче всех. Я полагаю, он просто хотел обратить на себя внимание каких-нибудь девушек. Ни мне, ни мистеру Робертсу он не нравился, и шутки его тоже никому не нравились. А на втором круге, на самом повороте, он стоял прямо во весь рост в своей люльке и готовился к спуску. И вдруг он выпал. Он падал и бился обо все фермы и перекладыны. И потом, когда он лежал на земле в ожидании «скорой помощи», он все звал: «Есть кто-нибудь из клуба «Элк»? Есть кто-нибудь из клуба «Элк»?» Он хотел говорить только с кем-нибудь из клуба «Элк», и мистер Робертс подошел к нему. Это произвело на мистера Робертса ужасное впечатление.

— Я обязательно присмотрю за ним сегодня ночью, миссис Робертс, — сказал Браш. — Я действительно не сказал бы, что у него очень счастливый вид.

Она повернулась к нему и быстро с волнением проговорила:

— Вы правы, это в самом деле так. Он несчастлив. Мне кажется, я не должна говорить с вами об этом... Вы еще так молоды, и всякое может быть... Но, мистер Браш, мне кажется, на прошлой неделе он пытался покончить жизнь самоубийством.

— Да что вы?!

— Я не знаю, не знаю. Я боюсь думать об этом. Но однажды ночью я проснулась... Я увидела свет в ванной, и он стоял там, раздумывая... У него было такое лицо! Мистер Браш, у него был такой страшный вид! И теперь, когда он вскрикивает во сне, я каждый раз вспоминаю тот его взгляд, в ванной. На работе у него не много дел; в конторе ему не с кем поговорить. И он заботится обо мне, о детях. — Тут она вдруг приблизила лицо и взволнованно прошептала: — Я не боюсь, что мы станем бедными. Я не боюсь, что город будет содержать нас на свой счет. Но только я не хочу, чтобы он был таким несчастным.

— Вы обязательно должны сказать ему то, что сказали мне сейчас, — с чувством выговорил Браш.

— Я не могу. Никак не могу. Он такой гордый. Ему так хочется иметь хороший дом и хороших соседей. Он очень гордый. Иногда мне кажется, что он считает себя виноватым в своей депрессии. Вы знаете, он мог бы убить себя из-за страховки. Я знаю, он мог бы. Я из-за этого даже заболела.

— А если кошмаров не бывает, он спит хорошо?

— Я... я не знаю. Я слушаю его дыхание и порой думаю, что он только притворяется спящим, чтобы не тревожить меня.

В эту минуту мальчик лет девяти, весь мокрый, подбежал к ней, крича:

— Мама, я поймал черепашку! Я поймал черепашку, смотри!

Но при виде слез в глазах матери слова застряли у него в горле. Он переводил взгляд с матери на Браша и обратно, потом сказал тихо и жалобно:

— Мама, смотри, я поймал черепашку...

— Джорди, это мистер Браш. Он будет жить с тобой и с папой в одной палатке. Может быть, ты скажешь наконец «здравствуйте»?

Царственного вида женщина со значком на груди поравнялась с ними.

— Не забудьте, что завтра вечером будет бал-маскарад, — сказала она. — Вы можете сделать себе костюм, добавив к одежде какую-нибудь забавную вещь. Если ничего не придумаете, приходите к нам, и мы вместе что-нибудь сообразим. О, какая милая черепашка! Ты, наверное, очень рад, что поймал ее? Мистер Маклин знаток природы, он тебе все про нее расскажет. Ступай к нему.

И она пошла своей дорогой. Браш сказал:

— Я думаю, что как-нибудь смогу ему помочь.

— Но только не говорите ему ничего. Вы ничего ему не скажете, да?

— Нет-нет, ничего не скажу.

Браш повернул назад, к главному корпусу. На веранде большой краснолицый мужчина громко и с удовольствием читал мораль каким-то смущенным мальчишкам.

— Здравствуйте, мистер Кори, — сказал Браш.

— Стоп! — воскликнул судья Кори. — Я знаю ваше имя, дайте вспомнить!..

— Меня зовут Джордж Браш. Я прибыл, чтобы встретиться с вами по поводу рекомендации нескольких каулькинсовских учебников для ваших школ.

— Хорошо. Отлично. Всегда рад помочь людям. Поговорим об этом после обеда.

Браш начал было расписывать достоинства учебников, но внимание судьи уже было отвлечено.

— Да-да, все это очень хорошо, дружок. Конечно же, эти книжки подойдут. Я не забуду про них. А ты для надежности напиши мне про них письмо.

— Да я уже написал вам три письма, судья!

— Хорошо. Я распорядюсь, мой секретарь разыщет эти письма. В каких штатах вы распространяете? До самого Техаса? Вот как! А как поживает Билли Уиндерштед? Ты знаешь Билли? Слушай, Баш, я хочу познакомиться тебя со своими женой и дочерью. — Он огляделся вокруг. — Куда же они запропалились? Моя дочь Миссисипи здесь так ни с кем и не познакомилась. Слушай, у меня есть идея. За каким столом ты сидишь, дружок? Не спорь! Я распорядюсь, чтобы тебя пересадили за наш стол. Они ввели новинку — поздний ужин. Тебе понравится. Они тут хорошо готовят. Да, сэр, они следят, чтобы каждый из нас хорошо отдохнул. Столик «М». Запомни: столик «М».

— Спасибо вам, судья. Весьма благодарен.

Судья наклонился к его уху и негромко добавил:

— У меня есть еще одна идея. Наша компания собирается отправиться в Морганвиль, в отель «Депот» примерно в десять вечера, сыграть в покер. Ты не против?

— Я не играю в карты, сэр.

— Вот как! Ты совсем не играешь?

— Нет.

— Сказать правду, я тоже устал от всего этого. Конечно, это безвредно, знаешь ли, но эта игра отнимает так много времени! Понимаешь, что я имею в виду? А, вот они! Это моя жена, а это моя дочурочка.

Тут громогласный судья Кори подхватил Браша под руку, развернул лицом к своему подошедшему семейству и, хотя и опасался, что они могут догадаться по его губам, о чем речь, все-таки шепнул:

— Скажи, сынок, ты не мог бы, пока живешь здесь, пообщаться с моей малышкой? Она тут никого не знает. Немножечко покатай на лодке, знаешь ли... Только, пожалуйста, никаких безобразий... С полчаса на лодочке или что-нибудь вроде этого.



Миссис Кори была высокой чопорной женщиной с непреклонным выражением лица. Ее дочь абсолютно походила на нее. Мать носила пенсне, свисавшее на длинной золотой цепочке. Миссисипи носила толстые очки с голубоватым оттенком.

— Девочка моя, — сказал судья. — Я хочу познакомить тебя с Джимом Башем, лучшим парнем, которого здесь только можно встретить. Джим, это моя жена. Мы вместе вот уже тридцать лет. Она — прелесть! А это — Миссисипи, самая милая и самая веселая девушка во всей Оклахоме, я тебе скажу.

— Простите, я не расслышала имя, — вежливо сказала Миссисипи.

— Баш! Джим Баш! — закричал ее отец.

— Очень приятно. Я знаю многих мальчиков с таким именем.

— Да, это Джим. Он будет сидеть за нашим столом, — продолжал судья подмигивая. — Я не хочу больше смотреть на всяких бездельников, как это было всю прошлую неделю.

— Леонидас! — воскликнула миссис Кори, теребя золотую цепочку. — Что о нас подумает мистер Баш!

— Ладно, ладно. Если он думает так же, как и я сам, то он думает правильно, — ответил судья.

— Послушай, папа, — кокетливо воскликнула Миссисипи, спрятав руки за спину. — Послушай, я знаю, что нам делать! Давай не будем здесь ужинать! Давай переплывем через озеро на лодке и поужинаем на том берегу, вон там, где огни, в том ресторанчике. Папочка, ну сделай это для твоей Сиппи...

— Дочурочка моя! Я бы все устроил, если бы мог! Я бы устроил это в два счета, но не могу. Видишь ли, Джим, я акционер этого лагеря и должен сделать одно очень важное объявление для всех за ужином...

— Расскажи, папочка, расскажи ему о своей идее! Это очень интересно, мистер Баш.

— Да, сэр. Это о том, чтобы каждый, кого волнует проблема Депрессии в нашей стране, пожертвовал пятьдесят центов. Как ты это находишь?

— Что ж, резонно, — ответил Браш.

— Так что мы с женой останемся, а вы, молодежь, отправляйтесь за озеро и ужинайте на том берегу. Потом вы мне расскажете, как все было.

— Только не оставайтесь там допоздна, Миссисипи. А то я буду волноваться.

— Простите меня, сегодня вечером я не могу поехать, миссис Кори, — сказал Браш. — Я должен сегодня вечером петь у костра, все уже оговорено.

По правде говоря, последние его слова были вызваны удивлением перед тем обстоятельством, что он уже заплатил за еду в одном месте и она пропадет, тогда как он будет ужинать совсем в другом месте.

— Но еще рано. Еще только шесть часов. Вы успеете съездить туда, поужинать и вернуться обратно, — возразила миссис Кори.

Судья Кори для убеждения Браша высказал свои опасения:

— Не знаю, не знаю. Можем ли мы доверить нашу дочурочку такому молодцу шести футов ростом! А, Джим? — И он, подмигнув, довольно крепко хватил Браша ладонью по спине.

Браш вздохнул и пошел к мосткам готовить лодку.

Через десять минут наша парочка уже сидела в ресторанчике при гостинице «Венеция», готовая к потреблению ужина за семьдесят пять центов. Миссисипи без умолку болтала, кокетливо накручивая на палец свои кудряшки, и то и дело поправляла ворот платья на худых ключицах.

— Если вам придется быть в Оки-Сити, то я устраю большой прием в вашу честь, ладно? Мой отец любит устраивать приемы для меня, и я уверена, все наши сойдут с ума, когда увидят вас. В самом деле, наша компания всегда весело проводит время. Мы вовсе не балуемся — вы понимаете, о чем я говорю, — мы просто очень хорошие друзья. Когда вы к нам приедете, мистер Баш?

— Я не смогу приехать к вам на прием, — медленно проговорил Браш, — но я позвоню вам как-нибудь на днях. Я бы хотел с вами поговорить.

Миссисипи поморщилась и сказала с подчеркнутой небрежностью:

— Конечно, я не знаю, женаты вы или нет, мистер Баш, но я не думаю, чтобы это было важно, ведь мы просто друзья, верно?

Браш опустил глаза в тарелку.

— Практически я помолвлен, — сказал он. — Я, пожалуй, даже женат.

Такое заявление привело Миссисипи в восторг, и она начала делиться с ним своими взглядами на любовь и на брак. Браш был совершенно потрясен, узнав, как много разочарований довелось испытать его собеседнице. Однако вскоре описание ее бесчисленных страданий его утомило, мысли рассеялись, и он лишь отрывочно схватывал, что она говорила.

— Вы знаете, по-моему, как бы ни был беден человек, у него все-таки должны быть высокие идеалы, — тараторила Миссисипи. — Мои подруги говорят, что я глупая; но я думаю, что все-таки я права. Я бы не смогла согласиться стать женой человека, у которого нет высоких идеалов...

Браш покорно терпел.

Но когда Миссисипи начала хвастать своими ресторанными приключениями и принялась вовсю дымить сигаретой, Браш не выдержал.

— Заткнись! Хватит чушь пороть! — со злобой рявкнул он, сам не ожидая того.

Оба, и он и она, были потрясены.

— Ой, Джеймс Баш, — пролепетала Миссисипи. — Я и не думала, что вы такой грубый. Я вовсе не порю чушь. Я как умею, так и говорю.

— Я... я... Прошу меня простить, я сам не понимаю, как это у меня вырвалось, — виновато забормотал Браш, вставая перед ней и густо краснея. — Раньше я никогда так не выражался. Извините меня.

— Но ведь я... разве я? Разве я порола чушь? Может быть, что-нибудь есть во мне такое, что вам не нравится? Скажите мне честно. Я вовсе не тщеславна. Мне нравятся люди, которые откровенно говорят мне о моих недостатках. Честно, мистер Баш, я не обижусь.

— Меня зовут Браш. Джордж Марвин Браш. Ваш отец все напутал. Джордж Марвин Браш.

— В самом деле, я бы хотела, чтобы мне рассказали о моих недостатках. Я вовсе не думаю, что я идеал, вовсе не думаю!

Браш сел. Он склонил голову, уперев локти в колени, и посмотрел в ее толстые очки.

— Мисс Кори. Я занимаюсь исследованием психологии девочек. И где бы я ни был, я изучаю их и наблюдаю за ними. Я полагаю, что детская психика, особенно у девочек, — это самое удивительное явление на свете. И вы, конечно, в этом отношении тоже интересуете меня. Вы не могли бы на минуту снять свои очки?

Миссисипи побледнела. Дрожащей рукой она сняла очки. Ее испуганное лицо, страдальчески сморщившись, смотрело на него с ожиданием.

— Благодарю вас, можете надеть, — сурово разрешил он, встал и в раздумье начал вышагивать вокруг столика.

Последовало молчание. Затем он сел на свое место и, опустив голову, заговорил серьезным тоном:

— Из всех моих исследований я вывел несколько правил для девочек. Если позволите, я вам скажу эти правила. Вы действительно будете очень хорошей девушкой, если их усвоите.

От неожиданности она не могла вымолвить ни слова и лишь слабо махнула рукой, что Браш принял как знак согласия.

— Во-первых, всегда будьте простой во всем, что бы ни делали. Например, не хохочите громко, не позволяйте себе неестественных движений руками или глазами. Многие девушки не могут выйти замуж только потому, что нет никого, кто бы им сказал об этом. Во-вторых, ни в коем случае не пейте вина и не курите. Когда девушка пьет и курит, то очень трудно распознать в ней девушку — вы понимаете, что я имею в виду? И третье, наконец, и самое важное...

Но в этот момент с Миссисипи Кори случилась истерика. Браш никогда в жизни не забудет тех десяти минут. С ней было все, что только мож-

но вообразить: и визг, и смех, и остановка дыхания; стакан с водой — успокоить! — разлетелся вдребезги; она каталась по полу и дрыгала ногами, не подпуская перепуганного Браша. Наконец, схваченная его крепкой рукой при попытке выброситься через парапет в озеро, она разрыдалась, восклицая:

— Какой ужас! Все смотрят на меня! Какой ужас! Честное слово, я не сумасшедшая!.. Я сама хотела, чтобы меня поправили. Ради Бога, не думайте обо мне плохо!..

Успокоив прибежавшего на шум растерянного метрдотеля, Браш, поддерживая полуживую от перенесенного шока, давящуюся слезами девушку, свел ее вниз к пристани и усадил в лодку. До самой середины озера они плыли в молчании. Миссисипи успокоилась и умыла лицо водой. Казалось, она осознала всю искренность советов Браша.

Когда они причалили к своему берегу и он помог ей выйти из лодки, все обитатели лагеря уже располагались под деревьями вокруг костра и заводили свои песни. «Дорожные работы» сменялись душещипательным «Зовом индейской любви». Компания каких-то парней развлекалась перебрасыванием зажженного карманного фонарика из рук в руки. Браш извинился перед всеми за опоздание и отошел в сторону прополоскать горло. Он записался выступать первым в программе, потому что любил после выступления смешаться с публикой, быть в самой ее гуще, ходить среди рукоплещущих, смеющихся, разговаривающих людей и испытывать странное наслаждение от того, что никто не узнает его, только что певшего перед всеми. Концерт начался, и он объявил свой номер:

— Феликс Мендельсон-Бартольди. Родился в тысяча восемьсот девятом году, умер в тысяча восемьсот сорок седьмом. «На крылах голубя».

Такой его педантизм и само название песни не предвещали успеха исполнителю, но все прошло хорошо. Затем Браш спел «Оборванную струну» сэра Артура Салливэна (1842 — 1900).

После этого он дважды поклонился и скрылся за деревьями. Публика долго аплодировала, и когда Браш вновь вышел на аплодисменты, чтобы поклониться еще раз и тут же уйти, все стали хлопать в такт, громко скандируя:

— Мы-хотим-еще! Мы-хотим-еще!

Сам директор озабоченно забегал меж палаток и среди деревьев, разыскивая исчезнувшего певца, но Браш спрятался на пристани за лодками и сидел там, пока не услышал донесшееся от костра объявление следующего номера: «Уважаемый мистер Кедворт сейчас прочтет небольшой философский трактат „Улыбка“». Убедившись, что он уже не потребуется, Браш вылез из своего укрытия. Бледный лунный свет падал на пустые дорожки и тропинки палаточного городка. Он вошел в читальную палатку и заглянул в книжный шкаф, но «Британской энциклопедии» там не было, и он вышел на улицу. Он заглянул в окно домика «Первая помощь»: врач в белом халате что-то читал при свете настольной лампы. Брашу захотелось зайти к нему и поговорить на какую-нибудь медицинскую тему, но, чувствуя непривычную вялость, он повернул прочь и побрел к вершине холма. По пути он бросил взгляд в ярко освещенное окно кухни. Там целая армия молодых парней и девушек перемывала горы посуды, оставленной отдыхающими после ужина. Это были студенты из разных колледжей, отрабатывающие свою летнюю практику. Все это было хорошо ему знакомо. Чувствуя счастливое возбуждение, он вошел внутрь и сказал, что хочет помочь. Ему дали большое полотенце и поставили вытирать стаканы рядом с сероглазой девушкой, в которую он тут же влюбился.

Перевел с английского А. Гобузов.

*(Продолжение следует.)*

---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. КОРЖАВИН



## В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ

Часть вторая

### ТУМАНЫ ЮНОСТИ

#### СИМСКИЕ КОРРЕКТИВЫ-2. РОДНОЙ ЗАВОД

**В**ернувшись в Сим, я уже не мог вернуться в детство. Надо было думать, чем заняться. Школьником я уже не был, в армию меня еще не брали, в редакции я ошивался без должности, а в сущности, и без дела. Хотелось «настоящего».

Самым привлекательным местом для всех был инструментальный цех. Все-таки не конвейер, а самостоятельное мастерство в руках. А мы с моим одноклассником Додиком Брейгиным еще в школе увлеклись талантливыми очерками Бориса Агапова о мастерах своего дела — инструментальщиках, людях высокого достоинства и творческой силы. Очерки, судя по всему, были написаны еще в годы первой пятилетки, в духе времени и «социального заказа», но в них чувствовалась подлинная увлеченность реальной культурной ценностью — мастерством. Позже, когда я был студентом Литературного института, он вел там творческий семинар по очерку. Но я очерков не писал и не был с ним знаком. Да и вообще не задавал еще таких вопросов — даже себе самому. Но благодаря ему профессия инструментальщика была окружена для меня дополнительным ореолом. И вдвойне притягателен был для меня поэтому инструментальный цех. Когда я вернулся, Додик уже давно там работал учеником токаря-лекальщика. При моей «всезаводской известности» попасть в этот цех было не очень трудно, и в конце осени 1942 года я стал учеником фрезеровщика-инструментальщика.

Я впервые оказался в цехе не в качестве газетчика, выполняющего задание редакции, который беспрепятственно проходит прямо к начальнику, а в качестве одного из рабочих. Здесь я во всех смыслах мог быть только учеником. Разумеется, это отнюдь не воспринималось как падение. И не только потому, что я был в том возрасте, когда и надлежит быть учеником, а просто потому, что меня не очень привлекала потерянная возможность беседовать с начальством о выполнении плана и передовиках производства. Разговаривать с рабочими было куда интересней. Я тогда не думал о том, что теперь называется социальным статусом, но если бы и думал, то все равно труд рабочего, особенно квалифицированного, казался мне более полезным фронту, а его положение — куда более достойным и даже менее зависимым, чем положение газетчика, особенно заводского.

Учителем моим был очень квалифицированный рабочий, фрезеровщик восьмого (самого высокого тогда) разряда Анатолий Семин. Работал Толя (так он мне представился, так его и звали в цеху) на чуде тогдашней германской техники — новейшем очень точном универсально-фрезерном станке фирмы «Тиль», приобретенном в недолгие месяцы нашего романа с Гитлером. В цеху вообще было много заграничных станков: были еще токарные станки «Кергер»

того же класса и происхождения, были американские фрезерные фирмы «Гордон», шлифовальные, целая расточная мастерская, состоявшая из станков швейцарской фирмы «СИП», — всего не упомнишь. «Иностранщиной» тут явно не брезговали. Достижение пятилеток, токарный станок «ДИП» («Догнать и перегнать»), вызывал только насмешки и использовался для более грубых, обдирных работ.

Но я еще не знал, что для меня все это — и «Тиль», и цех, и Толя Семин — не в коня корм. Мне до сих пор неловко перед всеми, кто принимал во мне участие, перед Толей Семиным в первую очередь, за то, что они зря ухлопали на меня время и заботы. Но для меня самого, для моего внутреннего развития, это время, пребывание мое в этом цеху, никак не было зряшным. Наоборот — в высшей степени наполненным и плодотворным.

Прежде всего здесь я впервые увидел и понял, как делаются вещи. Но это не главное. Главное — люди, которые меня там окружали и через которых мне открывалась жизнь. Внешне они не были похожи на героев Агапова, но нравились мне не меньше. Я и теперь считаю, что по-настоящему квалифицированные рабочие, люди, способные своими руками сделать все, что захотят, — «высшая раса». В этом есть еще одна сторона. Я очень рад, что по-настоящему Россия стала мне открываться именно здесь, среди этих людей. При всем различии их характеров и представлений, было в них в целом нечто такое, из-за чего потом любая напраслина о России и о русском народе дома и за границей отскакивала от меня, как от стенки горох, — для меня Россией всегда были они. По-настоящему Россию я впервые полюбил там и тогда, да так, что ни в каких самых жестоких обстоятельствах в этой любви не поколебался.

Хотя момент, казалось бы, меньше всего подходил для этого. Все мы жили впроголодь, а немцы опять наступали. Это порождало общее ощущение ненадежности бытия, мутное брожение. Выражалось оно в первую очередь, как уже говорилось, в неоправданной злости против ближайшего начальства, но доходило и до пораженчества. В том плане, что «вот придут немцы, мы им!..».

Как ни странно, хотя многие рабочие происходили из деревни, тема коллективизации не очень дебатировалась. При той свободе самовыражения, какую позволяли себе рабочие, я просто не помню разговоров на эту тему. Слово «кулак» иногда употребляли, но только для определения характера: человек, у которого зимой снега не выпросишь. То ли, став рабочим классом и уважаемыми людьми, мастерами индустрии, они похоронили это свое прошлое на дне сознания как нечто постыдное, опасное и неразрешимое, то ли по какой другой причине, но таких разговоров не было — даже в пору самых крупных немецких успехов. Безусловно, ругали евреев — в основном за умение устраиваться «так, чтобы не работать». Считалось, что евреи только начальствуют и торгуют, а торговля считалась работой «не бей лежащего» и в то же время прибыльной.

В принципе, я должен был соответствовать представлению о еврее, который не хочет работать. У меня действительно ничего не получалось. И все-таки я никогда не чувствовал дурного к себе отношения окружающих — его не было.

Вряд ли мои мытарства при попытке освоить профессию интересны читателю — как, чего и почему я не понимал. Не понимал же я часто самых простых вещей. И именно потому, что они просты. Через много лет, уже после ссылки, в карагандинском Горном техникуме для меня самым страшным предметом был «Горные машины», для большинства ребят и даже девушек самый простой. Надо было просто, видя перед собой открытую машину, рассказать ее кинематическую схему, то есть то, что видишь — с какой шестерни на какую передается движение. Но это было выше моих сил: я не видел. Ибо не мог представить, что все так просто, пытался постичь скрытую здесь сложность.

На «Тиле» это несколько раз чуть не привело к порче дорогой детали. Как-то все обходилось, но радости от этого было мало — и мне, и другим. Потом меня перевели от Толи на более простую работу — нарезать шлицы на шурупах. Риску там не было никакого, но и тут я, хоть очень старался, сноровки не приобрел.

Хотелось бы отметить, что я к таким неудачам — а их в моей юности еще будет много — никогда не относился наплевательски: дескать, зачем мне эти

детали и шлицы — во мне зреет более высокое призвание! Я всегда относился к этому как к невзятой высоте, к тяжелому жизненному поражению. И сейчас отношусь так же. Тут я не соответствовал своим собственным требованиям — это одна из главных мук моей юности. Но хватит об этом.

Важно другое — я впервые оказался в «рабочей среде», теоретически среди класса-гегемона. Или, как еще недавно говорили, в «пролетарском котле», где, как предполагалось, из интеллигентов вываривается их мелкобуржуазная сущность. И хотя я уже несколько месяцев жил в поселке и ходил по заводу, нельзя сказать, что эти клише полностью выветрились из моей головы. Впрочем, и тут была закавыка — вокруг меня, согласно Ленину, был не просто рабочий класс, а, несомненно, рабочая аристократия. Ну как же не аристократия, когда к слесарю Сергею Боровикову в горячие дни приходил сам директор и чуть ли не заискивающе с ним разговаривал. И было от чего.

В связи с тем, что немцы выходили к Волге, под ударом оказывался саратовский завод АТЭ (Автотракторного электрооборудования), по-видимому, единственный, производивший магнето для всех двигателей, во всяком случае для всех авиамоторов. В связи с этим нашему заводу было дано срочное задание дублировать это производство. Завод залихорадило, я это знал по газете. Секретности ради магнето это в газете называлось инертно: «новое изделие», но на плакатах внутри завода именовалось «открыто» — БСМ-12. А прессформу для корпуса этого магнето делал именно он, Сергей Боровиков. И мало кто на заводе, кроме него, — ведь он и среди инструментальщиков считался асом — был способен выполнить эту сложную работу в такой срок. Правда, и вид он имел скорей интеллигентный, чем просто рабочий, — тогда это еще очень отличалось. На нем теперь все замыкалось: судьба министра и начальника главка, карьера директора, репутация завода и... бесперебойный выпуск самолетов в самое горячее время войны.

Я встречался с ним и до своего появления в цеху — но как газетчик с передовиком производства. Каждый соответственно играл свою роль. Собственно, он ничего не играл, только не перечил. Дело в том, что официально в масштабах завода он был одним из зачинателей всенародного движения тысячников — тех, кто обязался выполнять и выполнял дневную норму на целых тысячу процентов. Конечно, проценты эти были обычной советской туфтой, о чем бы я мог и догадаться. Тем более, что как раз тогда я прочел статью М. И. Калинина, который до того, как стать «всесоюзным старостой», а на самом деле — марионеткой в руках Сталина, был квалифицированным токарем и на основании этого своего опыта утверждал, что процентомания — чушь, что норму, если она грамотна, и на один-два процента перевыполнить трудно, а свыше — только если ввести техническое новшество. Поразительно, как эта статья, шедшая вразрез с пропагандой, вообще была напечатана. Статья мне понравилась, но о том, как становятся тысячниками, я как-то вообще не думал. А на то, что существенная часть заводских тысячников приходится на инструментальный цех, внимания не обращал.

Только потом, в цеху, я понял: ларчик открывался просто. Каждая работа оплачивалась в зависимости от требуемой квалификации (разряда) и времени, необходимого на ее исполнение. Но степень квалификации нормами учитывалась грубо, они разрабатывались для массовых операций и к «штучной» работе инструментальщиков не полностью подходили. Поэтому при выписке наряда выходили за счет увеличения времени. За сложную работу выписывали больше времени. За работу, которая у Боровикова отняла бы час напряженного труда, а другой не выполнил бы ее вообще, ему в наряде нормировщик выписывал десять часов. В смысле денег она столько и стоила, этим и руководствовались, о процентах же не думали. Но формально получался высокий процент перевыполнения плана. Как же этим было не воспользоваться пропаганде, всегда нуждавшейся в трудовых рекордах? Хотя какой рабочий на каком производстве мог не знать, что тысяча процентов — это туфта? Сам же Сергей Боровиков к этому спектаклю без зрителей не имел никакого отношения. А по существу, он просто был замечательным мастером, работал и получал за работу свое. Остальное делала система оплаты и пропаганда. Впрочем, в нашем цехе слово «тысячник» никого не раздражало. Так или иначе, этим отмечалось мастерство, которое все признавали.

Все это я узнал потом, когда маленько пообвыкся и когда меня — хоть и на странном положении — приняли в свою среду. А пока я еще только осматривался. Станок «Тиль», на котором работал Толя и пытался работать я, стоял буквально рядом с конторками начальника цеха и мастеров — вроде избушки под сводами цеха. Нас от этой «избушки» отделяла только главная сквозная цеховая дорога, по которой шло главное движение в цехе — передвигались люди, развозились заготовки и материал. Такое близкое соседство с начальством — «магистраль», естественно, не была слишком широкой — никак на нас не сказывалось. Толя очень редко проявлял какое-либо любопытство к тому, что происходило в «коридорах власти». Иногда, когда ему не хотелось работать и хотелось развлечься, он звал технолога и просил его объяснить чертеж и как чего делать. Тот тыкался, мыкался, а Толя в это время с интересом наблюдал за ним. Потом говорил: «Ладно. Понятно», — и приступал к работе. Понятно ему все было с самого начала. Зачем нужен был технолог в инструментальном цехе, не знал никто. Милый паренек, окончивший техникум (а хоть бы и институт!), чувствовал себя в цеху очень неловко. Но так сложилось, так требовало штатное расписание: распределили, поставили — и работал.

Иногда появлялся у станка и начальник нашего отделения (отделения приспособлений) Василий Васильевич Гвасков. Тут разговор бывал совсем другой. Василь Васильич некоторое время смотрел на то, что происходило на столе станка, и через минуту спрашивал:

— Толя, а почему ты делаешь так, а не так?

Василь Васильич был асом высочайшего класса, но Толя обычно знал почему. Впрочем, иногда оказывался прав и Василь Васильич, тогда Толя озадаченно соглашался. Хотя были они накоротке и именовал он своего начальника просто Васей. Это был разговор равных.

Однажды произошло следующее. Толя готовился к экспедиции в деревню — выменивать продукты. Этим занимались все: за городские, особенно московские, вещи деревня отдавала последнее. Но к тому времени вещи иссякли, и рабочие выменивали продукты на всякого рода изделия — естественно, подпольные. Каждый делал, что мог. На фрезерном станке удобней всего было делать расчески. К их изготовлению и готовился Толя. Материал — листики плексигласа — он припас заранее, «достал» где-то на заводе. Момент для производства работ тоже выбран был с умом — в ночную смену, далеко за полночь, когда все начальство спит. Все было предусмотрено. Но когда, закрепив в тисках штук двадцать листиков плексигласа, он собирался прорезать их все сразу достаточным количеством установленных им дисковых фрез, на что уходит не более минуты, у станка возник Василь Васильич. На то, чтоб понять, что происходит, ему вообще времени не понадобилось. Но он с минуту постоял, сдвинув к переносице свои густые черные брови. Толя невозмутимо заканчивал последние приготовления. Я ждал, что будет. Выговор? Замечание? Во-первых, заняты мы были работой явно необоронного характера, а во-вторых, использовали рабочее время, заводские материалы, оборудование и электроэнергию в сугубо личных целях! И замечание действительно последовало — в виде совета, как придать изделию наиболее товарный вид и где взять более подходящий для этого материал.

Скоро я понял, что дело было не только в Толиной незаменимости и в нежелании поэтому портить с ним отношения — тем более старый товарищ. Думаю, что если бы это делал и я, реакция была бы почти такой же. Конечно, наглости, работы главным образом на себя никто бы не потерпел. Но если человек нормально работал и изредка что-то делал для поддержания жизни своей семьи, то разумный начальник смотрел на это сквозь пальцы. Впрочем, дело было не только в разумности, а и в простой человеческой солидарности. Это я, несмотря на идейность, понимал, но чья эта солидарность и чему противостоит — недодумывал.

Как все. Тот же Толя весьма иронически рассказывал о «чуждачествах» своего тестя, офицера царской армии. Разумеется, состояли они не в том, что тот был офицером, а в общей «отсталости» его высказываний, в «непонимании» (читай: неприятии) им новой жизни (эмпирические проявления которой сам Толя при этом крыл, как и все вокруг, в хвост и в гриву). В этой иронии не было неуважения — то, что человек, несмотря ни на что, стоял на своем, Толе импонировало. Но то, на чем он стоял, казалось ему нелепым. И я вполне

разделял Толино отношение. Между тем от того, что Толин тесть отрицал, страдали и Толя, и я, и все вокруг — и каждый день.

На Толин вопрос о том, как он при таких взглядах относится к делу Тухачевского, тот ответил, что нарушителей присяги одобрить все равно не может. И опять это вызвало одобрение — и Толино, и, хоть и менее уверенное, мое. Конечно, офицер этот оставался и тут верен себе, но и он поверил в чушь, услышанную от тех, кому он, в принципе, не верил. Может быть, потому, что эта чушь теперь относилась к тем, кого он и до этого не уважал. Но факт остается фактом: он поверил в неправдоподобную чушь. Фантасмагория действовала на всех.

В этом плане я навсегда запомнил, как мой приятель — приятели у меня появились почти сразу, — москвич-десятиклассник, объяснял мне, что среди евреев очень много изменников революции. Парень этот вовсе не был антисемитом, просто слышал такие разговоры, и все у него перемешалось. Да и не об антисемитизме я сейчас. Доказать ему, что Бухарин и Рыков не евреи, было трудно, но все-таки возможно, а вот что не изменники революции — ни в коем случае.

Кстати об антисемитизме в цеху, раз мы коснулись этой темы. Натывать на настоящий антисемитизм, на желание дискриминировать или обижать кого-либо, да и вообще на дурное отношение к ближнему только потому, что тот еврей, мне не приходилось. Этого не было. Но зато дальним доставалось крепко. И отнюдь не всегда справедливо.

Слесари располагались непосредственно за «Гордоном», отделенные от него не очень широкой асфальтовой дорожкой. Там перед окнами тянулась длинная линия верстаков, за которыми они работали. Они были центром нашего отделения, ведь приспособления для производства создавали именно они, а все станочки, в основном, их как бы обслуживали. Очень недалеко от нас располагался уже упоминавшийся Сергей Боровиков и его ученик (или тогда уже просто его напарник — он им стал почти сразу после моего появления), мой ровесник, человек, дружба с которым прошла через всю мою жизнь и в значительной степени осветила ее, — Толя Быков.

Каким он был? Никак я не могу привыкнуть говорить о нем в прошедшем времени, но приходится: он умер в 1989 году, через несколько месяцев после моего первого приезда из эмиграции, после того, как мы все-таки наконец повидались — после пятнадцати лет почти безнадежной разлуки.

При взаимной симпатии сблизиться и узнать друг друга в таком возрасте просто. Он попал сюда из Москвы, я из Киева, оба кончили дома по восемь классов. Правда, я здесь еще два за один год, но он приобрел высокую квалификацию — независимо от того, считался ли он еще учеником, это было уже общепризнанно. Я пишу стихи, считаю себя поэтом, ездил в Свердловск, в МГУ, но вернулся. Хочу уйти в армейскую газету. Впрочем, про стихи и так было известно всем. Мой учитель, тезка Быкова Толя Семин, рассказывая о ком-нибудь, с кем его сводила жизнь, часто, когда позволяли обстоятельства рассказа, присовокуплял к характеристике: «Был стихоплет вроде Наума», что очень веселило моих приятелей и ничуть не огорчало меня. Да он и не собирался меня огорчать. Приятелями моими быстро стали двоюродный брат Толи Юра Быков, работавший расточником на «СИПе» (он умер раньше Толи, его я уже не застал, вернувшись), и шлифовальщик Витя Тихов — тот самый, который придерживался антисемитских взглядов. Его имя и фамилия, здесь приведенные, — вымышлены, хоть я помню и подлинные. Ибо, несмотря на свои высказывания, он был хорошим, добрым и порядочным парнем, никому не сделавшим зла. И умер он, хоть и вернувшись в свое родное Перово, очень рано, году в 1946-м, значит, еще до моего ареста. Его свалил туберкулез, сказалась, наверно, ежедневная, по 12 часов, пыль от шлифовального круга, дурное питание. В общем, война. Сегодня его высказывания, которые я буду приводить, могут вызывать раздражение и враждебность, каких они у меня не вызывали. В личных отношениях все высказывания имеют дополнительную окраску, идущую от живого ощущения личности. Ее не передашь. Так пусть реакция на эти высказывания обрушивается на никогда не существовавшего Витю Тихова, а не на того доброго и хорошего парня, с которым я дружил. Мир его праху.



Мы вовсе не были замкнутым кружком, к нашей компании примыкали и другие ребята. Но друг с другом дружили несколько больше. Потом к нам примкнул ученик слесаря, ленинградец, переживший блокадную зиму, Рэм Штруф. Он был вывезен через Ладогу вместе, кажется, с ремесленным училищем. Матери у него не было, но его беспокоила судьба отца. И не по тому естественному поводу, что шла война, а отец был кадровым военным. Беспокоило его, наоборот, то, что с какого-то времени письма отца стали приходить не с фронта, а из глубокого тыла. Но поскольку обратный адрес был, как в военной части, «почтовый ящик №...», я его уверял и сам думал, что отец его просто в тыловой части. Но Рэм недоверчиво качал головой, считая, что он в лагере. «За что?» — спрашивал я наивно. «За Штруфа», — отвечал Рэм. Отец его был обрусевшим немцем. Теперь я думаю, что он был тогда не в тыловой части, но и не в лагере, а в мало отличавшейся от лагеря так называемой «трудармии», куда мобилизовывали, точнее, запирали лиц призывных возрастов из всех сочтенных неблагонадежными наций, и без того уже высланных. Тогда же я об этом ничего не знал и не думал. Только сочувствовал Рэму, его тревогам и его неустроенности. Конечно, никому тогда не было хорошо, но все же мы жили в семьях, а он был одинок, заботиться о нем было некому. Матери наши его жалели и, когда он к кому-нибудь приходил, старались чем-нибудь накормить — он всегда был голоден. Но много ли они могли — ведь мы и сами были голодны...

Я думаю, эпизод этот должен бы сегодня некоторым «национально мыслящим» показаться фантастическим. Подумайте сами. Идет война с нацистской Германией, уже известно, что немцы не просто преследуют, а вообще уничтожают евреев. А немец, у которого отца преследуют за возможность сочувствия этой Германии, делится своими переживаниями с товарищем-евреем, с которым только что подружился, и нисколько не сомневается в его сочувствии. И, естественно, получает его. Передо мной даже вопрос не встает, верить ему или нет. Я ему верю, я не сомневаюсь не только в нем, но и в его отце, которого никогда не видел. Хоть я, как и он, — нас одинаково учили — нисколько не усомнился в том, что надо быть бдительным. Но то относится к каким-то другим людям. А это Рэм. Вот он. Он такой же, как я.

Знакомство с Толей, Юрой и Витей, стремительно перешедшее в дружбу, очень помогло мне освоиться в цеху. Конечно, нельзя сказать, что они были типичными рабочими, все они были людьми скорей интеллигентными. В цеху вообще работало много выпускников и бывших учеников средней школы. Но ребята уже были здесь своими, и это облегчило мою адаптацию. Но не освоение мастерства, сколько Толя Быков ни пытался мне в этом помогать. Помню его очень большие, добрые, какие-то все вбирающие и понимающие глаза, обращенные на меня, его совет: когда идешь на работу, думай о том, что и как ты будешь делать, и непонимание, что именно этого я не умею. У Толи это получалось естественно.

Пикантная подробность. Толя был сыном такой заметной в поселке фигуры, как начальник орс — заводского отдела рабочего снабжения. Отдел отвечал за снабжение трудового коллектива и поселка продовольствием, промтоварами, работу магазинов, столовых, бытовых мастерских — всего, что имело отношение к жизнеобеспечению трудящихся. А поскольку снабжение по независящим от него причинам было из рук вон, то на Толиного отца, Михаила Сергеевича, благодарные трудящиеся вешали всех собак. Пропаганда (плюс террор) приучила их ни в коем случае «не обобщать», не обвинять Систему и Центр, а во всем винить местные органы, допускающие искривления правильной линии. Наиболее свирепо ярость масс изливалась на завмагов. А Михаил Сергеевич был «главный завмаг» в околотке. Разгоряченное воображение голодных людей рисовало что угодно, вплоть до лукулловых пиров в его доме. Однако ни Толя, ни Юра (Юра жил в семье Толи) не походили на выходцев из нечестных семей: Толя бы просто не пережил, узнай он что-нибудь такое о своем отце. Но Михаил Сергеевич был честным и порядочным человеком. Максимум привилегий, которыми он пользовался — и вполне легально, — возможность отоваривать продовольственные карточки своей семьи по мере их получения. Это кажется само собой разумеющимся правом каждого — на то и карточки даются, чтоб их отоваривать. Но тогда в Симу это была привилегия, и притом немалая. Это ведь только теперь считается, что во время вой-

ны была налаженная система снабжения по карточкам. В Москве в 1944 году (как было раньше, не знаю) она действительно существовала, но в Симу 1941 — 1943 годов ее и в помине не было. В течение многих месяцев отоваривали только хлеб. Потом вдруг что-нибудь завозили и отоваривали сразу за много месяцев. Но поскольку Толина мать, тетя Настя, была блистательной хозяйкой, то жили они по тому времени сносно. Не более того. Они никак не относились к тем, о ком говорили потом, что «кому война, а кому мать родна», и кто больше пострадал не от войны, а от ее окончания. Толя, вернувшись в Москву, продолжал работать на заводе, кончил без отрыва от производства вечерний техникум — на его, да и Юрино образование в семье не было средств.

Пора поговорить и о Вите Тихове. С ним я дружил так же, как с Толей, часто и подолгу разговаривал с ним, стоя у его станка. Он был высок, худощав, подтянут — конечно, насколько позволяли нелегкие бытовые обстоятельства военного времени, — даже несколько итальянист. Это был первый в моей жизни интеллигент, не стыдившийся высказывать антисемитские взгляды. Иногда они были очень причудливыми. Например, насчет подсудимых на московских процессах, которых он всех считал евреями. Обвинению он верил (антисоветчиком не был) и презирал их — за предательство и за то, что «умели гадить, но не умели достойно ответ держать». Исключением был только Смирнов, который, как русский человек, в эту компанию, по мнению Вити, попал случайно. Тот не крутил, а прямо признавал: «Да, изменял, да, шпионил!»<sup>1</sup> Витя явно не погружался, подобно моему покойному другу Камиллу Икрамову, сыну одного из подсудимых на последнем процессе, в детальное изучение стенограмм его судебных заседаний, а то бы и тогда знал, что так «прямо» вели себя все подсудимые (кроме Н. Н. Крестинского и отчасти Н. И. Бухарина), — стенограммы эти были опубликованы и, как ни странно, тогда доступны. Почему это печатали? Видимо, это было удобней, чем не печатать. Расчет был прост: люди в большинстве не будут заниматься сложными, да и небезопасными исследованиями. И кто подозревал, что его обманывают, причем так грубо? Витя Тихов не подозревал — и тут был не одинок. Только приспособил это к антисемитизму.

То, что он обычно говорил об евреях, не очень отличалось от «общепринятого», от того, как и за что ругали евреев другие рабочие. Но Витя подводил под это теоретическую базу — больше упирал на еврейское засилье, которое образуется из-за выработанной веками преследований склонности евреев поддерживать друг друга. Он говорил, что отец его, инженер, долго сопротивлялся этому настроению, но под напором фактов уступил общему антисемитскому настроению семьи. Кажется, это было связано с личностью Кагановича — отец работал в Наркомате путей сообщения, которым тот руководил. О Кагановиче Витя отзывался очень непочтительно, но подтверждал свои высказывания конкретными фактами. Это меня поражало. О Кагановиче я тогда, как все провинциалы юго-запада, и особенно провинциальные евреи<sup>2</sup>, был чрезвычайно высокого мнения. Еще бы! Такой организатор! Столь же высокого мнения я был и о Ворошилове, Молотове, Калининe и всей уцелевшей части «старой гвардии».

Конечно, эти разговоры о евреях происходили на фоне событий 1942 года, когда брошенная сгоряча фраза: «Придут немцы — мы всем тут покажем!» — не звучала фантастически. И когда сестра Вити Тихова, поначалу ко мне хорошо относившаяся, говорила, что меня, в отличие от других евреев, будет защищать (интересно, как бы ей это удалось?), это тоже было размышление о реальных перспективах. На мое отношение к окружающим это не влияло. Далеко не каждый позволял себе такую фразу. Далеко не каждый, кто ее произносил, чувствовал жестокую подлость, стоящую за ней. И уж совсем не каждый был готов на эту подлость. Я вслушивался в людей, а не только в слова и не ставил каждое лыко в строку. Впрочем, я вообще не верил в наше поражение.

<sup>1</sup> Он держался крепко, но ему намекнули, что расправятся с женщиной, которой он дорожил, и он капитулировал (А. Орлов, «Тайные преступления Сталина»). Но я не думаю, что его капитуляция спасла эту женщину.

<sup>2</sup> Когда, уже после войны, Каганович был назначен на Украину, весь мещанский Киев, тогда в значительной степени антисемитский, тем не менее ликовал: «Вот сейчас он им покажет!»

Кстати о пораженчестве. Как только началось наше наступление, всякие его следы исчезли, как испарились. Всем не терпелось поскорей узнать, какие города сегодня освободили. Для этого использовалась моя причастность к редакции, где всегда шла запись последних известий. И днем и ночью я спускался в столовую за полчаса до обеда, чтоб успеть и поесть, и записать в редакции названия только что взятых сегодня городов. Встречали меня чуть ли не как виновника торжества — так велика была радость. Кричали «ура!», только что не качали. То, что раньше говорилось в сердцах, и тогда не было пораженчеством.

Думаю, что значительную роль в предубеждении против евреев играло то, что евреев тогда продолжали еще идентифицировать с властью, к которой, естественно, были претензии у всех — справедливые, но подспудные.

За всю свою симскую жизнь я только однажды видел человека, который высказывался прямо в этом смысле. Это был не кадровый рабочий, а мужичок в лаптях. Его, как и многих, «пригнали» сюда по мобилизации. Вроде работать на войну (он был еще крепок, но в возрасте), а оказалось — неизвестно для чего.

— Какая работа! — возмущался он. — Нечем, и концов тут не найдешь! Спать ночью и то негде!

Кто-то спросил, откуда пригнали. Последовал ответ:

— Да за Шадринском живем.

— Давно там?

— Да с тридцать первого года. Раньше под Пензой жили...

— Так вы что — раскулаченные?

— Да-да, раскулаченные мы... Раскулачили нас... Оттого-то теперь и всего много...

Помню отчетливо пасмурный слякотный день, мужика этого у заводоуправления рядом с проходной на дощатом тротуаре — в лаптях, высокого, крепкого, одетого бедно, но как-то очень пригнанно и сноровисто — для любой работы. И эти его слова, неопровержимо разрушающие все мои идеологические устои. «Раскулачили нас... Оттого-то теперь и всего много» — это о более высокой форме производственных отношений!

Как я должен был это воспринять при своем «маяковском» Sturm und Drang'e, пафосе новой жизни и тому подобных глупостях? Как вылазку классового врага? Как просто всплеск частнособственнической стихии? Или как выраженный «идиотизм деревенской жизни», по Марксу? Но мужик ни вылазками, ни пропагандой не занимался, был раздражен конкретными обстоятельствами, а сказал это потому, что к слову пришлось. И сказал правду. Она разрушала мировоззрение, но я, как видел читатель в предыдущих главах, тогда несколько притих со своим мировоззрением — все-таки жизнь влияла на меня. Не то чтобы я отказался от прежних идеалов (Сталина я не любил, но колхозы по неведению считал делом разумным, как все коммунистическое), но тут все было наглядно: и насколько «всего много», и почему это так. И даже что этого мужика оторвали от дела, где он был голова, и заставляют зря мучиться и мыкаться.

Жизнь была скудной, снабжение никудышным, обеды в столовой (для многих единственная горячая пища) иногда стоили 10 копеек. Представляли они из себя в такие дни миску пустого жидкого супа со считанными крупинками пшена. Иногда суп этот был из крапивы. Ходили в лаптях — я был только зачинателем этого «движения»... И на этом фоне был устроен банкет в честь посетившего завод начальника главка.

Не знаю, возможен ли был такой банкет в другом обществе. Знаю, что еще и после войны на английских королевских приемах бывало более чем скромное угощение. Определялось это приличием: когда всей стране тяжело, верхам нехорошо и политически бестактно роскошествовать — тем более открыто. Безусловно, и у нас это нарушало нормы приличия и было политически бестактным. Но вдобавок это еще противоречило официальной идеологии, гласными приверженцами которой были все гости, хозяева и приглашенные. Другой у них не было.

Еще недавно, лет семь назад, культивировался спартанский дух, и подобные банкеты — и не в таких условиях — были любимой мишенью фельетонистов. За это можно было и партбилет во время чистки потерять.

И если теперь, во время войны, устраивался банкет, то организаторы прекрасно знали, что это *можно*, а раз можно, значит, *нужно*. Значит, организаторы знают, что это норма, и *иначе нельзя*. Конечно, это все мое позднейшее понимание. Тогда же это воспринималось мной просто как крушение. Значит, ничего святого не осталось нигде. И действительно это проявляло себя создаваемое Сталиным псевдословное государство с прямо-таки кричащими привилегиями. И естественное приятие их постепенно становилось критерием благонадежности и условием успеха. При этом все обязано было продолжать считаться революционным коммунизмом.

Должен сказать, что в цеху среди класса-гегемона особых ревнителей революционных традиций тогда не наблюдалось. Кроме меня на них духовно опирался только фрезеровщик Пашка Богомоллов (так его и называли: Паша, Пашка, хотя был он уже мужчиной в летах). Но выглядел он всегда очень запущенно, как-то нечисто, что неудивительно: жил бобылем, спал тут же в цеху, судя по всему, пил (хотя в толк не возьму что). Зарабатывал он вовсе не меньше других, но квартирой — в отличие от них — упорно не обзаводился. И всегда был неопределенно-агрессивен. Революционность его заключалась в том, что на всех цеховых посиделках, случавшихся, в основном, по поводу отключения электроэнергии или обеденного перерыва, а часто — и просто проходя мимо, он обо всех, кто его возмущал, неизменно объявлял: «Мне бы сейчас законы революции, я бы с ним, с гадом, не так поговорил!» По-видимому, какие-то сладкие воспоминания о временах, когда действовали эти «законы», у него были. Не знаю, действительно он так погулял в гражданскую или только видел, как другие гуляли, но ничего романтического и «чистого» за Пашиными словами не вставало. Здесь была только неукротимая ярость злобного самоутверждения, и я против воли понимал, что это правда, что стихия, которую я за ним чувствую, была в революции именно такой. Конечно, я мог утешаться тем, что эта стихия в ней не единственная и что вообще «революции не делаются в белых перчатках», — я на этом не заикливался, не до того было, но все запомнил. На моем пути это был второй случай необаятельной революционности (первым, если помнит читатель, был красный партизан из Александровки).

К «революционности» Пашки Богомоллова рабочие относились иронически — в принципе, рабочим, особенно квалифицированным, люмпенская стихия по природе чужда и неприятна. Но к нему самому отношение было вполне дружелюбное и сочувственное, как к горемыке.

Был в цеху еще один горемыка, человек примерно такого же образа жизни, как Богомоллов, по фамилии или прозвищу Земляк, по специальности, если не ошибаюсь, слесарь-механик. Но этот о «законах революции» не разглагольствовал, больше вообще мрачно молчал. Правда, запомнился он мне потому, что однажды заговорил — выступил на каком-то цеховом собрании во время пересменки, то есть в присутствии всего цеха. К ораторству он склонности не имел, выступил потому, что накипело, — при полном сочувствии аудитории и при ее же дружном хохоте. Сочувствие было вызвано тем, что он говорил о том, что у всех болело: о невозможной жизни рабочего человека, о неуважительном отношении к нему повсюду, куда он обращается, о дурном снабжении, о пустом супе в столовой и о прочих возмутительных вещах. А хохот был вызван тем, что говорить о волнующих его вопросах он привык с привлечением, так сказать, ненормативной лексики, которую сам полагал в публичных выступлениях неуместной, стеснялся, извинялся, но от которой не мог избавиться. Удивляться не приходилось — тогда ведь еще и с семилеткой были не все.

Впрочем, в смысле лексики Земляк в цеху был не одинок. Бывали и виртуозы. Например, учитель Рэма, квалифицированнейший слесарь, ухитрялся объяснить ему самое сложное задание и работу весьма сложных устройств, не употребив ни одного приличного слова, кроме предлогов и союзов. Человек был взрослый, солидный. Звали его все уважительно — Виктор Федорович. И тем не менее... Впрочем, как кого звали — дело тонкое. Моего учителя Толю все звали на «ты», но уважали не меньше. А одного из слесарей, тоже аса, звали просто Акулиной, хоть имя ему было Василий. Но это, видимо, за внешность — он был широк, приземист и лицом простоват. По-моему, за внешность же его считали и «кулачком» — больше этому не в чем было проявиться.

Вообще разные люди были в цеху. Однажды в ночную смену, возвращаясь из столовой, я еще издали услышал раскаты хохота в соседнем отделении. Подойдя ближе, я увидел большое скопление рабочих, кто на чем сидящих вокруг одного из своих товарищей и весело слушающих его повествование. Время от времени кто-нибудь, давясь от смеха, задавал подначивающий вопрос, но это, как и взрывы смеха, никак не смущало рассказчика и не прерывало плавного течения диковинного рассказа. Это был известный всему цеху, кроме меня, враль — назову его Иваном Евтюховым. Нет, не обманщик — тому, что он рассказывал, не поверил бы и ребенок, — а именно враль.

В данный момент Иван Евтюхов делился с публикой «трагическими» воспоминаниями о том, как, находясь на действительной службе в Красной Армии, он узнал об измене жены и отомстил. Суть, конечно, была не в самой канве рассказа, а в его подробностях — неправдоподобных обстоятельствах, в которых это происходило. Подробностей этих я почти не помню, но суть сводилась к тому, что Иван Евтюхов, узнав про измену жены, счел себя оскорбленным за всю Красную Армию, с чем и вся эта армия была согласна. Противодействуя каким-то злым силам, он временно из армии дезертировал, тайно приехал домой, застукал преступников на месте, именем революции казнил их и вернулся в часть. Про его подвиг узнал сам наркомвоенмор Ворошилов, после чего повсюду по его приказу летали самолеты и разбрасывали листовки такого приблизительно содержания: «Всем надо брать пример с красноармейца Ивана Евтюхова, героически защитившего честь Красной Армии!» Народ, естественно, валился от хохота, но сам Евтюхов сохранял невозмутимую серьезность. Дескать, хотите верьте, хотите — нет, а так было!

В цеху мне довелось общаться с еще одним примечательным человеком, о котором разговор особый. Для меня он несколько выбивается из общей атмосферы цеха. Хотя был он рабочим, и, как многие, квалифицированным, токарем-лекальщиком восьмого разряда, но я не уверен, что это его полностью определяло. Было в нем нечто, из-за чего, при всей простоте цеховых нравов, не только ученики, а все более молодые, чем он, рабочие звали его в глаза не Миша и не Мишка, как звали бы другого, а «дядя Миша», за глаза же — «дядя Миша Нефедов».

Заговорил он со мной первый. И поразил меня — языком и осведомленностью. После этого я часто прибежал к нему в лекальное отделение. Он приветствовал меня кивком, в своей обычной позе — согнувшись над очередной сложной деталью. Он работал и что-то мне объяснял, а я подолгу стоял над ним по другую сторону его станка и слушал. Разумеется, мне тогдашнему, духовно всецело занятому коллизией «коммунизм — Сталин», мне такому человек типа Михаила Нефедова понятным быть не мог. Как и я не мог быть ему близок.

Но все же кое-что я понимал, верней, ощущал. Например, что он гораздо интеллигентней и образованней, чем я, что за ним груз передуманных мыслей. Глухо он говорил о судьбе России, поминал в связи с ней и со своими мыслями Достоевского — так, как до этого я не слышал. Помню, как он вдруг расчувствовался: рассказал, что в Москве иногда под вечер выходил на Красную площадь, проходил мимо Василия Блаженного, Исторического музея, вообще гулял по остаткам старой Москвы — и на душе светлело. Для меня тогда Красная площадь была связана только с революционными и сталинскими парадами и демонстрациями, с Мавзолеем Ленина (в котором тем не менее за свои 68 лет я ни разу не был — даже когда читал «Ильича»), а такое — естественное — восприятие было мне в диковинку. И странно: хоть сталинский поворот к патриотизму меня раздражал, этот — вызывал симпатию. Я знаю, что есть люди, благодарные Сталину за возрождение или реабилитацию русского патриотизма. Это ошибка. Сталин так же подменял патриотизм, как и революционность. У дяди Миши Нефедова он был подлинным. Не говоря уж о том, что за этим вставало реальное чувство истории.

Почему он беседовал так именно со мной? Неужели не видел, что имеет дело с революционным лопухом, который понять его еще никак не может? Видел. Но больше не с кем было. Нет, он нисколько не относился свысока к своим товарищам. Но во мне он, вероятно, увидел — может, из-за поглощавшей меня тогда любви к поэзии и к литературе — хотя бы в потенции способность понять те стороны его личности, которые здесь оставались не востребованными. Думаю, что некоторую потребность в истине и в культуре он во мне и почувствовал. На безрыбье и я сгодился. Считаю, что мне повезло.

Я не знаю, почему этот человек связал свою судьбу со станком и лекальной пастой. Конечно, и тогда встречались начитанные и культурные рабочие, но здесь образованность явно была приобретена раньше рабочей квалификации. По-видимому, «дядя Миша» был одним из тех, кто должен был в цеху замаливать грех социального происхождения. Почему подобно многим он не вырвался из этого состояния потом — не захотел или почему-либо не смог, — не знаю. Он мне о себе вообще никогда не рассказывал. Все это я думаю о его судьбе теперь, но, вероятно, чувствовал и тогда. И хотя выходило, что он один из тех, кто пострадал от революции, — а это в моих глазах человека вроде бы не красило, — все равно он мне нравился. Идеология смущенно отступала.

Дядя Миша избегал прямого отрицания моих верований. А ведь был у меня в Симу, пусть не в цеху, товарищ, который все это мое мировоззрение подавлял здравым смыслом и к которому я все же чувствовал только симпатию.

Но по порядку. Звали этого парня Валя Гребнев, приехал он с отцом из Нижнего Новгорода. Самое удивительное, что обретался он здесь в кругах, близких к комитету комсомола, где изредка бывал и я — когда приносил свои стихотворные поделки для наглядной агитации. Я забыл сказать, что здесь меня вторично приняли в комсомол — в Киеве мне не выдали никаких бумаг, подтверждающих мое членство. Здесь мы с ним и встретились. Потом встречались и разговаривали не раз. Мои революционные бредни, как и саму идею социализма, Валя отметал с порога. Причем не взбираясь на теоретические высоты, а аргументируя жизнью. Тогда — в 1942 и в 1943 годах — он настаивал на частной собственности как на нормальном и спасительном порядке вещей. Как тот мужик у заводоуправления, говоривший, что «оттого-то теперь и всего много». Но это был не мужик, а вполне грамотный, «современный» парень. И такое говорил! Еще в шестидесятые годы эта мысль поражала неожиданностью, хоть она уже постепенно переставала казаться дикой, особенно если речь шла не о деревне. Но услышать ее в сорок втором! Это было просто невыносимо. Но вот услышал. Как ни странно, был Валя Гребнев при этом настроен оптимистично и уповал вовсе не на приход немцев, которые к тому же уже отступали. Нет, он уповал на то, что меня больше всего огорчало, — на нереволуционность сталинщины. Ему казалось, что власть взялась за ум. Он рассказывал, что у них в Горьком существуют частные цеха и чуть ли не заводы, которые каким-то образом работают иногда даже на оборону. Я видел его отца и думаю, что Валя знал, что говорил, — деловой размах в его отце чувствовался явно. И, видимо, как-то он находил ему применение. Сегодня ясно, что при этом Валя был не меньшим утопистом, чем я. Только его утопией было торжество не идеи, а здравого смысла. Мы жили во времена, когда это было утопией, когда крестьянин Михаил Пряслин, которому, по всему, надлежало бы быть Санчо Пансой, начинает (к концу тетралогии Федора Абрамова) в родной деревне выглядеть Дон Кихотом, и именно потому, что обладает всеми достоинствами своего сословия.

И опять — почему мы с Валею сошлись при столь различном мировоззрении? А потому же: объединяла нас потребность думать о происходящем более обобщенно. И ведь думали, говорили, не подозревали друг друга в способности донести, и все нам сходило с рук.

Впрочем, идеологическая неприятность у меня уже к тому времени случилась и здесь. Связана она была со стихотворением, написанным по поводу моей поездки в райвоенкомат, в Ашу. Я его прочел на каком-то вечере. Вот оно:

#### ПОЕЗДКА В АШУ

Ночь. Но луна не укрылась за тучами.  
 Поезд несется, безжалостно скор.  
 Я на ступеньках под звуки гремучие  
 Быстро лечу меж отвесами гор.  
 Что мне с того, что купе не со стенками?  
 Много удобств погубила война.  
 Мест не найти? — Обойдемся ступеньками —  
 Будет что вспомнить во все времена.  
 Ветер, струями бодрящего холода  
 Вялость мою прогоняешь ты прочь.  
 Что ж!.. Печатлейся, голодная молодость,  
 Ветер и горы, ступенька и ночь!

Стихотворение «комсомольско-молодежное», романтически-лирическое, наивное по сути и исполнению, но почему-то в нем была обнаружена крамола — некий протест. Дескать, кто-то едет в вагоне, а я мыкаюсь на холоду, на ступеньках, и молодость у меня вообще голодная — по вине тех, кто сидит в вагонах. Я тогда очень удивлялся. О том, что все живут тяжело, о скудости питания открыто писали все газеты и говорили по радио. То, что с транспортом все непросто, тоже не было секретом. Но, по-видимому, «голодная молодость» все перевешивала, пугала. Ведь «заподозрили» меня люди, которые ко мне плохо не относились, зла не желали и не сделали. Мне просто запретили впредь читать эти стихи публично — и все. Да, эти люди боялись — но кто сегодня скажет, что боялись зря? И вот в такое время мы с Вале́й Гребневым спокойно вели свои беседы.

Я точно не помню, какое отношение имел Валя к комитету комсомола, был ли его членом или активистом при нем. Но какое-то имел, что было при его мировоззрении странно. Мы дружили с ним недолго. Когда стали набирать комсомольских работников для освобожденных областей, Валька вызвался и уехал из Сима.

С заводским комитетом комсомола, где я познакомился с ним, связан и другой удар по моим представлениям. Детским и идиллическим? Конечно. Помню, как однажды, когда мы уже получили комнату, где-то рядом ночью загорелся дом. Я, как работник редакции (пропаганды!), счел долгом броситься его тушить, тушил всю ночь и был поражен тем, что почти ни один из живших рядом ответственных коммунистов — людей, как-никак обязавшихся жить исключительно для общества, — не бросился на борьбу с этой общественной опасностью. Но — утешал я себя — то были ответственные, они обюрократились, а здесь ведь комсомол, свои ребята! К тому, что я для них делал «на общественных началах» и, в подражание Маяковскому, считал делом нужным и полезным, я относился тогда серьезно, даже истово. И считал, что они ко всему относятся так же. Но два эпизода разбили эту иллюзию.

Эпизод первый. Прямо скажем, мелкий. Однажды меня попросили написать приветствия фронтовикам для посылок с подарками. Я написал и принес их в комитет. Но дверь почему-то была заперта. Впустили, только удостоверившись, кто это, ибо шел процесс упаковки посылок и частичного поедания их. Парни и девушки, комсомольская элита, одновременно и трудились, и весело поглощали печенье. Это происходило в голодном поселке, работавшем день и ночь на войну и о печенье даже не мечтавшем. Это печенье испекли из муки, полученной из каких-то фондов, значит, отнятой у рабочих централизованным порядком. А сейчас это отнималось еще у фронтовиков. Мой ригоризм это очень оскорбило. Но меня тоже угостили: когда я уходил, дали четыре маленьких печенья, узеньких, тоненьких, желтеньких, длинненьких — сантиметра четыре на полтора и миллиметра в два толщиной. Отказываться при таком раскладе было нелепо, и я тоже оскоромился, взял.

Не подумайте, что я осуждаю этих парней и девушек. От этого в тех условиях мало бы кто удержался. Но если и впрямь слаб человек, то не становись молодежным вожаком и не гони людей по своему разумению в рай. Впрочем, активисты сталинской поры — не «вожаки», к ним это не относится.

Второй эпизод серьезней. Меня вызвали в комитет и сказали:

— Есть постановление обкома о мобилизации комсомольцев на уборку хлеба. Мы всем комитетом уходим в деревню. Пойдешь с нами?

Запахло чем-то вроде дорогой мне тогда романтики гражданской войны: «Райком закрыт, все ушли...» Потом оказалось, что партком их не отпустил. Поехали, в основном, ребята, выделенные по разнарядке цехами. Кроме них — только одна работница редакции и от парткома — руководитель Петр Мякишев, хороший и честный человек, — в сущности, тогда в колхозе он работал один за всех. В колхоз я поехал, но после этого ни в какой комсомол я уже никогда не верил.

Однако поездка моя в деревню — уже почти без всякой связи с «комсомольской» темой — достойна отдельного описания, прежде всего ввиду моей полной непригодности. То, что я не в состоянии подавать вилами снопы на молотилку, крестьянскому глазу стало ясно тут же. Меня пытались приспособить к перевозке снопов. Но лошади меня не слушались и возили по кругу под

хохот окружающих. Наконец мне нашли подходящую работу — стеречь по ночам хлеб от воров. Собственно, это была не работа, а синекура, потому что на этом боевом посту уже находился один дед, который, правда, был приставлен к лошадям, но все равно состоял и при хлебе. Просто не знали, куда меня девать. Я был отправлен в деревню отдыхать и с наказом вернуться к концу рабочего дня. Когда я вернулся, я был представлен деду. Тот встретил меня строго:

— Только смотри, Наум, у меня не спать!

— Да что вы, дедушка! — взмолился я. Я был так рад, что прибился к делу, а тут — спать! Да ни при какой погоде!

— Ну, смотри! — сказал дед.

После этого все, кроме нас с дедом, с тока уехали. Тон деда тут же изменился:

— Наум, ты походи вокруг, собери сухих сучьев, — (в тех местах поля перемежаются перелесками), — затируху сготовим.

И после того, как я принес:

— Вот и хорошо. Сейчас вот затирушку сготовим, поедем, а потом и спать ляжем.

Я опешил: это после такого строгого внушения — ни в коем случае не спать! Я не могу скрыть удивления:

— Как же спать, дедушка?

— Так и спать... А что?

— Так ведь воры могут прийти...

— Да нет... Воры не придут... Как бы начальство не пришло.

Перед тем как уснуть, долго разговариваем у таганка. Не могу сказать, что я тогда постиг — хотя бы поверхностно — жизнь деревни, но общение с дедом было очень интересно.

Однажды он вдруг спросил:

— Наум, а большевики еще долго продержатся?

Естественно, я обалдел от такого вопроса. Нет, не от его опасности, а вообще — как же можно такое подумать.

— Конечно, долго, — пробормотал я, — всегда...

Дед со мной не согласился:

— Нет, не будет так, не клеится что-то у них, — (клеится он произносил с ударением на «и»). — Не клеится. Может, и хотели чего хорошего, но не клеится... Вон и у французов когда-то так было... Тоже хотели...

Я был поражен. После вылазки в Свердловск, где я обнаружил закрытые распределители (например, на углу Ленина и Толмачева — настоящих названий, к сожалению, не знаю), у меня появилось стихотворение:

Пора задуматься теперь  
Над будто понятой картиной.  
Был, как Людовик, Робеспьер  
Вщелён под вой на гильотину.  
Курьезная такая вещь!  
Но может повториться снова.  
Уже ее зачатки есть  
У итээровской столовой,  
В глухом ворчании людей  
И в поездах, что с фронта едут.  
В швейцаре грубом у дверей  
Для всех закрытого «распреда»...  
...Но хочется слова найти,  
Чтоб взгляды выпрямить косые,  
Чтоб не свернула ты с пути,  
Идущая вперед Россия.

Здесь, конечно, слышится тревога, но тревога за большевистский путь «вперед», которым я еще дорожу. Я здесь еще думаю, что знаю, где он, этот «перед», и сочувствую Робеспьеру как трагическому герою. Впрочем, ведь и дед о том же: «хотели хорошего».

— Ты сам посмотри... Как коммунист — так он живет. А как простой человек — так мучается. Нет, конечно, не клеится...



Через неделю мне понадобилось съездить за бельем, и в комитете комсомола мне сказали, чтоб я возвращался в цех. На призыв партии мы отреагировали своевременно, а теперь можно было и не валять дурака.

Скоро я ушел с завода. Сначала в армию. Но об этом в следующей главе.

### «...ВВИДУ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ...»

#### «Швейка»

Не знаю, как считать, — пошел я в армию добровольно или нет. К тому времени на военном учете я уже состоял, на него ставили загодя. Числился я годным к строевой службе, что, честно говоря, не совсем соответствовало реальности, но в этом в значительной степени виноват был я сам.

Если на вопрос: «На что жалуетесь?» — я патриотически отвечал: «Ни на что», — это не проверялось. И порок сердца, о котором я хорошо знал, не обнаруживался.

Правда, на военных занятиях в симской школе обнаружился у меня еще и дефект зрения: нужным для стрельбы глазом я не видел мушки. До войны я об этом дефекте даже не подозревал. Я и на зрение не жаловался. Но проверка зрения входила в обязательный ритуал медкомиссии, и дефект был обнаружен. Однако, согласно расписанию болезней Наркомата обороны, на уровне моей «годности» это не сказалось. И действительно, выучиться стрелять можно было и с одним левым глазом. Не это лимитировало меня в армии.

Поначалу, хотя у меня было приписное свидетельство, меня в армию не брали из-за возраста. Потом я работал на заводе и имел бронь. Этой брони, ее несоответствия приносимой мною пользе я не успел даже устыдиться. Ибо независимо от своих трудовых успехов сидеть на ней долго не собирался. Ждал случая. И наконец он представился. В газетах появились объявления нескольких институтов о приеме студентов с предоставлением брони. Институты эти — МВТУ, Авиационный и прочие — все были мне не по профилю, и учиться в них я не собирался. Но вызов такого института давал возможность приехать в Москву. Там я надеялся найти Эренбурга, влияние которого я сильно переоценивал, и с его помощью «уйти в военную газету». Ясно и просто. План, конечно, был идиотский. Особенно если знать, что Эренбург, как потом выяснилось, тогда о своей киевской встрече со мной вообще не помнил. Но такого я себе представить не мог — предполагал, что все меня везде помнят и ждут.

Итак, я тоже подал документы — то ли в МВТУ, то ли в Авиационный, теперь не упомню. Но, видимо, долго собирался. Вызова мне долго не присылали, а по прошествии всех сроков он пришел из Московского лесотехнического института, платформа Строитель Ярославской железной дороги. Туда мои документы были пересланы из переполненного МВТУ или Авиационного. Все в моем вызове было, только брони не было, не давал ее Лесотехнический. Я не мог не понимать, что моя бронь, мое пребывание в тылу не компенсировались никакой приносимой пользой войне, и за бронь не держался. Смущало меня только, что отсутствие брони может помешать мне доехать до Москвы и исполнить свой план, но что было делать? Конечно, вызов этот ни к чему меня не обязывал. Я мог его просто порвать. Ради чего? Чтобы сохранить бронь? Я поехал сниматься с учета.

— Нет, — сказал работник военкомата, посмотрев мои документы. — Если вы уволитесь, я вас заберу в армию.

— Хорошо, — ответил я, — забирайте, я уже уволился.

— Ладно. Тогда подождите, — сказал работник военкомата.

Мое прибытие не было нигде отмечено, бронь была при мне, я мог уйти из военкомата, вернуться домой, восстановиться на заводе, сказав: «Не снимают с учета» (и правда ведь отказались снять), и никто бы меня не осудил. Но перед самим собой я бы все равно оправдаться не смог.

Минут через двадцать мне вручили повестку. Но и это не было еще фатально. Когда я пришел в цех, подписывать бегунок, начальник цеха сказал мне:

— А ты хочешь идти в армию? А то еще не поздно — отзовем.

Этого еще не хватало — отзывать такого незаменимого мастера! Я отказался.

Начался короткий, но едва ли не самый тяжелый период моей жизни — служба в армии.

Рассказ о нем я хочу предварить несколькими словами. Мне было очень плохо на военной службе, и посвящены ей будут очень горькие страницы. Но отнюдь не с целью «разоблачения» тогдашней армии они написаны. Разоблачать ее у меня не только нет желания, но и оснований. Виновата была во всех моих злоключениях главным образом моя фантастическая, неправдоподобная для многих неприспособленность к военной службе. Виноваты были пороки моего воспитания, а также и не в последнюю очередь мои физические возможности, лимитированные скрытым от медкомиссии пороком сердца.

В назначенное время я явился в военкомат. Там мне, как и всем новобранцам, дали предписание явиться в Челябинский облвоенкомат на следующее утро. Потом составили из нас команду, назначили старшего, снабдили его воинским литером — одним общим на всех — и отправили на вокзал. Сесть мы должны были обязательно на тот же пятнадцатый скорый, с которым у меня уже было так много связано. На следующем мы уже к сроку не поспевали. Все было расписано по-военному точно. Перед самым приходом поезда оказалось, что мест для нас в нем нет, а значит, превратить выданный нам общий литер в общий билет невозможно. Велено было проявить воинскую находчивость и добираться безбилетными. Мне это было не впервой, но, когда поезд подкатил к перрону станции Вавилово, выяснилось, что мой опыт тут не пригодится. У меня оказалось слишком много конкурентов, намного более крепких и ловких, — почти вся наша команда. А проводники почему-то отражали атаки будущих защитников родины особенно яростно. Впрочем, они были слишком измучены и вряд ли сознавали, кто есть кто, просто отвечали на особую ярость напора этих безбилетников. Короче, вцепиться в поезд, да еще с сидором на спине, мне не удалось. Добирался я до Челябинска в одиночку.

Литер, выписанный и на меня, уехал без меня, но военкоматское предписание оставалось при мне. Это был серьезный документ. А тогда, если уж попал в поезд, документы значили больше, чем билеты. И все-таки это поразительно, что защитник родины ехать защищать родину должен был поначалу зайцем.

В облвоенкомате сказали, что моя команда находится на распредпункте. Речь шла, по-видимому, не о той команде, с которой я выехал из Аши, а о той, куда меня, как десятиклассника, направили в Челябинске. В ней, как выяснилось вскоре, когда я разыскал ее, вообще почти никого не было из нашего района. Армия, тем более во время войны, тасует людей, как карты, — тут ничего не поделаешь.

Я поехал на трамвае разыскивать по указанному адресу распредпункт облвоенкомата, смутно представляя, что это такое. Оказалось, так назывался сборный пункт, куда со всей области собирали новобранцев и подлечившихся раненых, признанных годными для возвращения в строй. Здесь они ждали дальнейшего распределения по частям.

Этот распредпункт и сам по себе был местом, достойным описания. На воинскую часть он походил мало. Это была громадная казарма с двумя рядами нар со всех сторон и двор с проходной. Народу на нарах копошилась тьма, самого разного, — в основном молодые мужчины, которые томились без дела и не знали, куда себя девать. И это тягостное безделье, эта беспомощность и бесприютность порождали и усиливали тяжкие предчувствия, связанные с тем, что всех все равно ожидало и чего многие здесь уже с лихвой хлебнули. Было как-то душно и нечисто, хотя за санитарным состоянием следили. Многие считали — причем принимая рациональность этого установления, — что порядок на такого рода пунктах, как и питание в тыловых частях, рассчитан на то, чтобы человек не стремился там отсиживаться, а рвался сначала в часть, а потом на фронт. И кроме того, новобранец впервые здесь отрешался сам от себя, ощущал себя щепкой в океане и рад был прибиться к любому берегу.

Впечатления от этого распредпункта потом улеглись в отдельное стихотворение, из которого сейчас помню только отрывки. Вот они:

Два солдата и матрос.  
Завтра бросят на мороз.

А тоска, как нож, остра,  
 А в коленях медсестра —  
 Развалилась поперек  
 Сразу трех.  
 Так куда приятней спать!  
 Так красивше!  
 Не невинной погибать,  
 А пожившей...

И, согнувшись, как калеки,  
 На полу сидят узбеки,  
 Продают кишмиш по чести,  
 Вшей таскают в полутьме  
 И на все команды вместе  
 Отвечают: «Я бельме!»

Все это я видел: солдат с матросом и медсестру с ними; разве что только сексуальная сторона мной по младости преувеличена.

С обретением команды и вроде бы места в жизни злоключения мои вовсе не кончились, а приобрели даже более зловещий оттенок. Я впервые столкнулся с открытой и жестокой подлостью. Произошло это так. Почему-то я счел, что «загорать» нам здесь придется долго, и решил отправиться к своей однокласснице, эвакуировавшейся в Челябинск. Сидор свой я перепоручил парню из нашей команды, который показался мне культурней других (помню его фамилию — Мироничев), а сам пошел. Как я прошел проходную, не помню, но когда я вернулся, команда уже уехала, вместе со мной отстал еще один парень. Как-то мы узнали ее маршрут. Она уехала в Свердловск через Курган. На первом возможном поезде ночью мы бросились ее догонять. Путешествие было очень тяжелым. На станции Макушино глубокой ночью меня согнали с поезда, он тронулся без меня, стал набирать скорость — это был конец. Но меня спас Бог — поезд вдруг остановился. И я вцепился в него опять. В Кургане на перроне мы увидели всю команду. Ребята встретили нас как-то уж слишком безучастно — без обычных в таких случаях шуточек-прибауточек. Я что-то смутно заподозрил и спросил Мироничева о своем имуществе. Он протянул мне почти пустой сидор. Все съестное — собранное родителями, отоваренное по карточкам и выданное в качестве сухого пайка в райвоенкомате — исчезло. На вопрос о том, куда все подевалось, Мироничев что-то залепетал о «ребятах», о том, что спроси вон у того «малышки». «Малышка» в ответ только угрожающе огрызнулся. Дескать, с такими, как я, он на фронте еще не так поговорит. Его вообще очень привлекали слухи о том, что солдаты в атаке иногда под шумок расправляются с вызвавшими их ненависть командирами. Судя по всему, возможностью стрельбы по людям, вызвавшим его раздражение, и был для него привлекателен фронт. Весь он был какой-то востренький и злобный, явно уголовного склада.

Естественно, он и был душой «операции». Но он и других в нее втянул — ребят склада совсем иного. Что они думали? Что я исчезну? То есть стану дезертиром? Вряд ли. Это не могло быть результатом дурного отношения ко мне, основанного, допустим, на антисемитизме: они тогда меня не знали и мало кто представлял, что я еврей. Да я никогда и не видел, чтоб антисемитизм тогда проявлялся именно так. Он мог быть одним из оправданий, но не причиной. Как ни крути, она лежала не в дурном отношении ко мне, а в хорошем к моему сидору.

Меня могут обвинить в мелкости. Дескать, ребята эти ехали в армию, откуда, как мы теперь знаем, вернулись далеко не все. А ты даже на фронт не попал, а туда же — вякаешь!

Прежде всего это несправедливо: я ехал тогда туда же, куда они, и никто, в том числе и я сам, еще не знал и не мог знать, что у нас разные судьбы. Обобрали они такого же, как они сами, обобрали товарища. По их милости я, в отличие от них, туда же, куда они, ехал голодным. А это было тяжело, когда у тебя впереди не дом, а армия.

Я вовсе не думаю, что все они были дурными людьми. Вечная память и Царствие Небесное тем из них, кто погиб или уже умер, и наивозможнейшего благоденствия всем тем, кто еще жив. Но я пишу не только о себе, но и о времени. А это все-таки факт того времени. Так сказывались на стране ее обезбо-

женность и вытеснение морали, крепнувшие от поколения к поколению. Герои повестей В. Кондратьева, правдивость которых ни у кого не вызывает сомнения, немногим старше нас, но трудно себе представить его Сашку не только проделывающим, но и допускающим такое в своем присутствии. Правда, тут все были собраны с бору по сосенке с уральских заводов, но и это не оправдание шакальства.

Дальнейшее путешествие прошло без затруднений. Из Кургана в Свердловск, из Свердловска в Камышлов — город примерно на полпути между Свердловском и Тюменью (нас направили в камышловские лагеря) — я доехал совершенно легально, с командой и по билету. Только сошли не в Камышлове, а несколько не доезжая до него, на разъезде Елань.

Даты своего прибытия к месту службы я не помню, но был уже октябрь, а октябрь — поздняя осень для тех мест. Не знаю, действительно ли этот разъезд был столь пустынен, заброшен и беден, как мне теперь кажется, или это аберрация, вызванная моим тогдашним состоянием, — помнятся только серое небо и какие-то бедные чахлые елочки вокруг.

Как началась для меня армия, не помню. Помню, что состоял я в категории КВУ — «кандидаты в военные училища». Теоретически она подбиралась из лиц, окончивших десять классов. Кажется, вся наша команда с самого начала, еще в Челябинске, была подобрана по этому признаку. Но, как я помню, таких, «с десятилеткой», и в нашей команде, и — по прибытии на место — в нашем взводе было раз-два и обчелся. Меня это удивляло. Несмотря на симский опыт, я никак не мог привыкнуть к тому, что десятиклассников в целом по стране еще не так много, как в больших городах. В стране тогда не так уж редко встречались еще даже и неграмотные, а малограмотные — часто... И неудивительно, что для огромной армии при такой убыли офицеров десятиклассников не хватало. Приходилось в какие-то военные училища набирать окончивших и девять, и восемь, и даже семь классов. Большинство из них, если уцелели, вернулись к прерванным занятиям, к учебе. Но меньшинство, привыкнув командовать и принимать дань за воинские заслуги, в том числе и подлинные, стали худшей, наиболее агрессивной частью номенклатуры, неграмотность и комплекс неполноценности которой не могли победить никакие ускоренные курсы какого угодно уровня.

По прибытии в часть мы сразу или пройдя карантин стали солдатами 384-го запасного стрелкового полка. Сначала нас, роту КВУ, определили в полковую школу (готовившую младший командный состав), но потом быстро выделили в отдельное формирование — ожидающих отправки в училища. Естественно, все мы были рядовыми. Но один из прибывших с нами, старшина-фронтовик, был немедленно назначен старшиной батальона. По-моему, он примкнул к нам где-то в пути, но, во всяком случае, к афере с моим сидором отношения иметь не мог: его тогда не было с нами. До сих пор с удовольствием вспоминаю этого человека. Я ничем ему лично не обязан. Если я что-то в нем и вызывал, то только жалость и недоумение, но не жестокость, не желание поиздеваться. Сам он был полной противоположностью мне — высокий, статный, какой-то очень складный, всегда уместный и очень простой в обращении. Получив назначение, он прямо сказал своим новым приятелям, что служба есть служба и что служебные отношения нельзя путать с приятельскими. И действительно не путал, не отклонялся ни в одну сторону.

Кадровый солдат, хлебнувший войны, да и вообще превосходя нас годами и опытом, он делился с молодыми своим опытом солдатской службы, тем, как облегчить себе солдатскую ляжку. В основном поучения были ценные, но одно вызвало у меня сомнение.

— Легче всего служится, — говорил он, — если любишь своего командира. Поэтому надо стараться... ну, просто влюбиться в него, что ли... Тогда и приказы легко выполнять, и служба идет легче...

Это поучение очень тогда меня смутило. Любить командира или хотя бы абсолютно доверять ему на войне не только нужно, но и необходимо. Ведь у него есть «особое право жизнь дарить и на смерть посылать» (Д. Самойлов). Но что делать, если нет оснований? Такое соображение было кем-то высказано, в ответ он кивнул и развел руками. Дескать, тогда плохо, но надо использовать все возможности... Для армии, в основе существования которой лежит беспрекословное подчинение младших старшим, это действительно житейская

мудрость. Кстати, никакой потребности не подчиняться кому-либо в делах, требующих подчинения, у меня за все недели службы ни разу не возникло.

Но думаю, что в этом старшине, несмотря на его нелегкий опыт (а повидал он, надо думать, к концу 1943 года немало), продолжали жить те же «вера и доверье», которые, как я уже здесь говорил, были свойственны — в разных проявлениях, на разных уровнях — всему его поколению. По-видимому, этот молодой тогда — лет двадцати пяти — человек все-таки в глубине души верил в разумность происходящего. Даже тех боев местного значения, о которых рассказывает тот же В. Кондратьев. Правда, в них виноваты были не те, кто попадал в его поле зрения.

Началась служба. Расположение части, в которую мы попали, выглядело совсем неплохо. Аккуратные газоны, разграниченные кирпичом и камешками. Среди них аккуратные землянки — каждая на взвод, отдельные для начальства. Впрочем, начальство покрупней жило и в окрестных деревнях, иногда с семьями. Там же жил и командир нашего взвода, очень молодой, чуть старше нас, младший лейтенант. По-видимому, для офицеров это было делом свободного выбора — командир батальона, капитан, жил в расположении батальона, в отдельной землянке. Ни о ком из этих людей дурных воспоминаний у меня не осталось. Впрочем, комбат был вообще от меня слишком далеко, хотя несколько раз обратил на меня внимание — скорее доброжелательно-удивленное, чем иное. Младший лейтенант тоже бывал неизменно дружелюбен — и ко мне, и к остальным. Он был недавно из училища, чувствовал себя человеком нашего возраста и держался по-свойски. Занимались нами в основном старшина и сержанты. Мне от них доставалось, но претензий к ним у меня нет. Тяжесть моего положения заключалась в том, что у меня ничего не получалось, а кое на что — например, на ползание по-пластунски — у меня просто не хватало сил. Большинство солдат, в основном простые ребята, были твердо уверены, что я притворяюсь. Это был единственный период моей жизни, когда окружающие считали меня хитрецом и притворщиком. Надо сказать, что нас очень скоро перестали форсированно обучать, как положено в запасных частях. Мы не могли уйти отсюда даже добровольцами на фронт — только в училище, когда поступит требование. А пока нас просто через день посылали в бригадные и полковые наряды — мы несли караульную службу. Это после принятия присяги. А до этого нас просто посылали на работы — то на кухню, то еще куда-нибудь. И вот однажды меня вместе с другими послали в баню. Задача была простая: заменяя мотор, непрерывно качать воду. Уговорились по столько-то качков каждый, а потом сменять друг друга. На третий раз я уже едва дотянул свою норму. На четвертый и вовсе ее не вытянул, на пятый и разу качнуть не мог. Работа эта не была легкой ни для кого. Получалось, что я свою тяжесть сваливаю на других. Я готов был провалиться сквозь землю; но патологическое отсутствие бицепсов, не преодоленное мной и потом ни на какой работе, жестко лимитировало меня: руки отказывали.

А тут еще некий Иванов подпустил клеветы. Он говорил, что тоже из Сима. Наверно, так это и было, хоть я его там ни разу не встречал. Именно его, когда мы прибыли в часть, назначили командиром нашего отделения. На символического «Иванова» он не походил несколько — не был ни открытым, ни бескорыстным, ни даже блондином. Была в нем какая-то тяжесть, он как бы всегда мрачно и недоверчиво пребывал себе на уме.

Так вот этот Иванов стал врать, что в Симу-то, дескать, «он» (то есть я) был франт франтом, первым ухажером и кавалером — следовательно, «тут он „косит“». Про меня потом всякое говорили, но говорили, как воспринимали, а это была заведомая ложь, что мог бы подтвердить любой, кто когда-либо где-либо меня знал. Если я и бывал «ухажером», то, во-первых, много позже, а во-вторых, никак не с позиций бравого франтовства, а несмотря на его отсутствие. И может, поэтому весьма редко «ухажером» удачливым. Ложь Иванова была не заблуждением, а прямой подлостью, подыгрыванием общему настроению. Поверить в такое гениальное переоплощение было трудно, но прозвища «Швейка» (в женском роде) мне было не миновать. Это тоже был парадокс: со Швейком большинство было знакомо не по Гашеку, а по пропагандистским антинацистским кинофильмам, где человек в обличье гашековского Швейка только то и делал, что очень ловко и смешно дурачил немцев. Так что человек я выходил вроде бы неплохой. Но можно было истолковать

это и в том смысле, что я дурачил своих. Но думаю, что имелась в виду просто затрапезность моего внешнего вида.

Реальная объективная тяжесть усугублялась отношением ближайшего начальства — в основном сверхсрочников во главе с ротным старшиной. Подавляла его уверенность, что все евреи уклоняются от фронта — и я тому наглядный пример. Любой мой поступок, любое душевное движение рассматривалось сквозь призму этого отношения. Фамилию старшины я не помню, помню, что он был украинец. Все остальные были русские, кроме помкомвзвода Нарзуллаева, узбека, который как раз мне сочувствовал («потому что мы оба нерусские», как он мне однажды объяснил). Нарзуллаев был у нас после ранения, война его застала у границы. Он очень смешно рассказывал о хаосе тех дней — как он с «пельчером» (фельдшером) то пытался обороняться, то, когда их обходили немцы, наперегонки бежали, теряли и опять находили друг друга. В конце сорок третьего над этим уже можно было смеяться.

Но фронтовым прошлым Нарзуллаева я вовсе не хочу уесть «тылови-ков» — остальных сержантов и старшину, — не собираюсь задним числом «катить на них бочку». Дескать, меня обвиняли, а сами отсиживались в тылу. Они не отсиживались. Старшина, например, тоже был кадровым, и не его вина, что служил он не на Западе. Его многочисленные рапорты с просьбой отправить в действующую армию оставались безрезультатны. Я его тогда очень не любил. С удовольствием акцентировал ироническое внимание на языке. Он был особым образом не в ладах с грамматикой. Устав, неукоснительно им соблюдавшийся, требовал обращаться к подчиненным на «вы», он так и обращался, но насчет форм глагола устав не говорил ничего. Он и употреблял рядом с этим «вы» прошедшее время в единственном числе. Получалось: «Вы пошел», «Вы сказал». Сегодня он видится мне иначе, чем тогда. Я вспоминаю, что за все время моей службы, при всей предубежденности против евреев вообще и против меня в частности, не раз выражавшейся им прямо, вслух, он только один раз вlepил мне наряд вне очереди. Как ни странно, хоть я был очень плохим солдатом, взысканий у меня не было. Их давали за нарушения или халатность. А я ничего не нарушал и старался. И этого было достаточно, чтоб взысканий не получать. А сейчас он мне вlepил наряд за провинность. Какую, не помню, но пустячную. И наказание, наложенное на меня — вымыть пол в казарме после отбоя, — тоже было пустячным, соответствовало провинности. Любой другой в этом случае схлопотал бы у него то же самое. Он вовсе не использовал мою провинность как повод для преследований. Наряд был за дело, и он знал, что и я это знаю. И даже поинтересовался, понимаю ли я, что он прав. И был очень доволен, когда я это искренне признал. Он уважал службу и был человеком на своем месте. Это я был не на своем.

Кстати, об этом эпизоде — мытье пола в казарме — вспоминает мой старый товарищ, известный критик Владимир Огнев, бывший солдат нашей роты, единственный свидетель моей службы. Тогда он еще не был критиком, но тоже уже был потенциальным литератором, и мы могли отвести душу друг с другом в разговорах о том, что любим. Он был там единственной отдушиной для меня. Но закончу о старшине. Я впервые отдал ему должное в пятидесятые годы — после одного вроде бы не очень значительного эпизода. Тогда, после войны и ссылки, я жил в Мытищах. У одного знакомого лейтенанта, родственника моих квартирных хозяев, на службе случилось ЧП. Одного из солдат его взвода по семейным обстоятельствам отпустили из армии. Утром он должен был отбыть из части. Но накануне вечером он напился, стал буяннить, а когда старшина попытался его урезонить, послал старшину куда подальше. Налицо было грубое нарушение дисциплины, и у старшины было не только право, но и обязанность наказать провинившегося. Но старшина тут же нарушил дисциплину еще грубей. Он произнес фразу, немыслимую в мое время:

— Ну, теперь ты у меня уедешь!

И на следующее утро, когда солдата и впрямь задержали в части, это «у меня» сработало: весь взвод этого лейтенанта не прикоснулся к завтраку. А групповая голодовка — серьезное нарушение порядка в армии, тем более советской.

Словечко «у меня» говорило, что старшина не восстанавливает дисциплину, а использует данные ему права для личной мести. И прямым следствием этого нарушения явилась его эскалация — ЧП.

У нашего старшины этого случиться бы не могло — он всегда себя чувствовал представителем армии и дисциплины. Если бы теперь были такие старшины, не было бы в армии ни дедовщины, ни утечки оружия, ни прочего безобразия. Причина вовсе не в том, что «при Сталине был порядок», — причина в том, что сталинское разрушение порядка еще не до конца отразилось на внутренней сущности людей. Но это мои сегодняшние мысли. И отношение к старшине, тоже сегодняшнее, тогда было другое. Его достоинства я признавал, но относился к ним как к должному, а в нем видел только грубое существо, антисемита.

Между тем антисемитизм его был вовсе не безграничен. В часть прибывали и другие евреи, и все они исправно служили, и он, как и все остальные, к ним не имел никаких претензий. Их даже ставили мне в пример. Дескать, смотри, тоже еврей, а не «косит». Они были записаны в исключения. Я один был типичным. Сейчас к антисемитским взглядам я отношусь спокойней — как к заблуждению и соблазну. Это всегда плохо, всегда чревато подлым насилием и кровью, но с теми, кто так думает, можно и нужно разговаривать — не всегда, но часто. Особенно у нас, где все так запутано.

Но что бы я ни думал теперь и тогда о нашем старшине, главным стимулятором атмосферы антисемитизма был не он, а некто Шестаков, неизвестно на каких правах уже долго околачивавшийся в этой тыловой части. Он говорил, что вообще-то он офицер, но куда-то подевались его документы и он их ждет. Надо сказать, что военное дело — во всяком случае, в пределах подготовки солдата или сержанта — он знал действительно хорошо, хотя считался рядовым. Сержантские лычки ему дали уже при нас. В то, что он действительно рвался на фронт, я не верил. Старшине и другим верил, ему нет: уж очень он лебезил перед всеми, от кого зависел. Этот человек был антисемитом настоящим, по душевной потребности. Я бы сказал, антисемитом — мечтателем и провозвестником. Впрочем, в его отношении ко мне сказывался не только антисемитизм. Я был попавшийся интеллигент, да еще еврей. А он тоже был «интеллигент» — жертва советизации вузов (кончил то ли учительский, то ли какие-то курсы) и в этом смысле мучим был комплексом неполноценности.

Его разговоры о евреях выходили за грани обычных в армии. Он не ограничивался тем, что евреи-де уклоняются от службы, но любил поговорить и о другом — о еврейском засилии. Однажды он рассказывал героическую сагу о себе как о борце с этим хитрым засильем.

По его словам, его назначили руководить отделом народного образования какой-то из сибирских областей.

— И вот ко мне попросился на работу один еврей, и я взял его. А он привел второго, а тот — третьего... Смотрю — а у меня уже синагога. Кругом обсели. А он еще с одним приходит... Я взял и всех выгнал — до одного!

Я не очень тогда верил в то, что его могли назначить на такой пост. Он был старше нас, но все же слишком молод. Тем более дело происходило не прямо перед войной, а за несколько лет до нее. Да и уровень его был, как мне казалось, не тот. Но тут я, как теперь мне понятно, ошибался. И не с таким уровнем работали на любых постах. В том, что в учреждении работало много евреев, ничего особенно неправдоподобного нет. Разумеется, эта диспропорция вызвана общими причинами, а люди, поступающие на работу, сами этим греха не совершали. Кстати, и у Шестакова не выходило, что они плохо работали. Но, согласно распределительной психологии, должности распределяют не в интересах дела, а «по справедливости» — как готовые блага. Каждому разряду столько-то. Это болезнь не только наша — Клинтон по этому принципу составил правительство США. Короче, все рассказанное выше могло иметь место. Не могла иметь места только сама «героическая сага». Выгнать сразу столько людей по национальному признаку можно было только на пике «антикосмополитской» кампании 1949-го или истерии по поводу «убийц в белых халатах» 1953 года. В остальные послевоенные годы можно было евреев выживать по одному, и чаще старались не столько их выгонять, сколько не принимать на работу. А в довоенные времена, к которым относилась «сага Шестакова», его за одну такую попытку обвинили бы в антисемитизме и в лучшем случае лишили бы партбилета и должности, а в худшем — просто бы посадили: за подрыв дружбы народов СССР. Мне такие формы защиты моего национального достоинства отнюдь не по нраву, но факт есть факт. Шестаков врал —

врал самозабвенно, страстно, с южным придыханием. Точнее, мечтал вслух, выдавал желаемое за действительное... Но желаемое это в нем ощущалось каждый день, каждую минуту и отравляло мне жизнь — он ведь и спал с нами в казарме. Конечно, его филиппики я бы выдержал — но ему сочувствовали. На него мне было плевать, но на сочувствовавших ему я плевать не мог.

Я их не винил — я давал повод для такого отношения. Да, у меня в самом деле ничего не выходило, не хватало сноровки, сил и здоровья. Но и нехватка здоровья, будучи признана, не примирила бы ребят со мной, ибо она в тех условиях была преимуществом, даже привилегией: в перспективе могла от фронта освободить, сберечь жизнь. Как же тут было не заподозрить хитрость!

Тем более что слабость моя не была тотальной. Таскать тяжести, подставляя плечо, я вполне мог. Правда, когда на мучном складе на меня наваливали пятипудовый мешок, я просто не мог устоять на ногах. Но в принципе плечи мои могли кое-что вынести. Я мог, например, таскать бревна. И когда нас посылали в лес за дровами, я притаскивал оттуда никак не меньше других. Я старался как бы компенсировать то, что делать не мог. Но это было скорей подозрительно: почему так? Все это духовно сбивало с ног, подавляло и рождало твердое убеждение, что на войне меня, такого никчемного, убьют в первый же день, и без всякой пользы. Появились у меня даже «трогательные» жалостные стихи на эту тему, не помню, тогда или чуть позже я их написал. Привожу их исключительно как факт биографии:

Что для сводки могло в этот день перестрелки случиться?  
Фронт был тверд, и никто из врагов не подался назад.  
Не писать же о том, что погибла одна единица —  
Рядовой, никому не известный неловкий солдат.  
Просто пуля вошла; оборвала все мысли, желанья...  
Оборвала начатки каких-то несказанных слов,  
И осталась от жизни, от всех ее переживаний  
Фотокарточка девушки в маленьком томе стихов.

Дальше не помню. Кончались стихи так:

Этот день не был в сводках отмечен особой печалью.  
Были дни за войну — они большей печали полны.  
Лишь старушка одна, затерявшись в России, считала  
Этот день самым черным за долгие годы войны.

Стихи эти не входили ни в один из моих сборников — ни в России, ни в эмиграции. И не войдут. Конечно, в чем-то они близки к банальности тех лет. Да и рифма «печалью — считала», прямо скажем, не очевидна (хотя «ч» как-то выручает), но в основном я их не публиковал не поэтому. Мне вскоре и навсегда стало чуждо это подчеркивание интеллигентности (фотография девушки в томике стихов) и жалостливый тон задавленного человека. По моим взглядам и ощущению это противоречит поэзии, мельчит и подменяет ее.

Дни шли один за другим, все они были тяжелы и безвыходны. Собственно, мне ведь и училище ничего хорошего не сулило. Редко что-то случалось. Например, комсомольское собрание, может, полковое, а может, даже бригадное — народу было очень много. Общей риторики я не запомнил, но в заключение выступил только что присланный к нам новый командир бригады, генерал-майор Петров, — не тот знаменитый одесско-севастопольский, но тоже генерал, тоже фронтовик и тоже Петров. Речь его была странной смесью здравого смысла и дикости. Начал он с ностальгического восхваления старой армии (с бунта против которой, надо думать, и началась его карьера). Возрастная ностальгия его совпала с тем, что теперь это стало, так сказать, «в струю»: боевые традиции русской армии вытаскивались из несправедливого забвения, их не только разрешалось, их полагалось чтить, и это было правильно. Но наш новый комбриг вносил в это свою интерпретацию.

— Вот, все ругают старую армию, — говорил он, — а там была дисциплина. Допустим, ефрейтор. Теперь у нас тоже ефрейторы есть. Да разве у него настоящий авторитет? Нет. В старой армии ефрейтор был большой человек. Он спал вместе с солдатами, но сапоги у него всегда блестели. И разве сам он себе их чистил? Никогда! Солдаты ему чистили. По очереди. Один за другим



раньше вставляли и чистили. И подшивали-пришивали что надо. Встанет — сапоги стоят блестят и все у него в порядке. А если слово скажет — закон! Я сам был ефрейтором — знаю.

Это сегодня я понимаю, что генерал просто ностальгировал по молодости. Тогда этого не понимал, и его слова меня ужасали. И своим смыслом, и тем, что говорилось на комсомольском собрании.

— Или говорят: в старой армии солдат били, — продолжал он. — Да разве хорошего солдата били? Только нерадивого! А что вы думаете? Ничего страшного. Вот и теперь на фронте бывает: его, подлеца, расстрелять мало, а ты ничего — палочкой огреешь, поймет.

Тогда на фронте в боевой обстановке разрешили применять физическое воздействие и даже оружие. В боевой обстановке все бывает. Действительно удар может привести растерявшегося человека в чувство. Во всяком случае, это лучше, чем расстрелять его. И я думаю, что этот генерал так и поступал — как лучше. Но от общих его представлений о порядке мне становилось страшно. Я ведь еще стоял на страже завоеваний революции. А остальные — как им эта речь? Как же это — терпеть побои и сапоги чистить ефрейторам? Генерал им понравился своей простотой и непосредственностью, мне, честно сказать, тоже — но ведь не бросились же все после собрания чистить сапоги своим ефрейторам! О чем же они думали?

Сегодня, много пожив, узнав и передумав, я полагаю, что генерал был не прав. Уже и до семнадцатого бить солдат в России было нельзя. Я не о правилах — этого вообще уже нельзя было делать безнаказанно, народ уже этого не переносил. Дед, хозяин моей сибирской квартиры, служивший перед революцией вместе с двоюродным братом в слабосильной команде, после того, как фельдфебель дал этому брату зуботычину, всерьез решал с ним вопрос — будем сигать вниз головой с чердака высокого дома или погодим: не могли снести оскорбления. Положим, это сибиряки, люди особенно самостоятельные. Они ведь и на Колчака пошли, когда их стали пороть. Но и во всей России — тому тьма свидетельств — этого уже делать было нельзя.

Не могу умолчать об одном почти забавном приключении. Почти — потому что, само по себе забавное, оно касается самого страшного в советской жизни. Как я уже говорил, через день мы отправлялись в суточные бригадные караулы. Меня решили не брать как непригодного не потому, что я где-то в этом смысле провинился (наоборот, я был очень старателен), а просто, так сказать, на основании эстетического несоответствия. Из-за этого я однажды попал в самый ответственный наряд — в бригадную контрразведку, в СМЕРШ бригады.

Дело было в том, что в этот караул наряжалась всегда одна и та же группа. Но на этот раз один из членов группы заболел. И выяснилось это очень поздно, когда все остальные наряды разошлись по постам. Это ставило формируемых наряд в затруднительное положение, ибо в такой наряд можно было назначать только коммунистов и комсомольцев, а все они были разосланы по другим точкам. Кроме меня. Сержантам очень не хотелось посылать меня, но никого больше не нашли. Наконец с угрожающими напутствиями: дескать, смотри не подведи, а то! — меня снарядили в путь-дорогу. Но я и сам относился к заданию ответственно. Шла война, СМЕРШ означало «Смерть шпионам», а шпионам я, естественно, не сочувствовал — моя оппозиционность на войну не распространялась. Что речь в подавляющем большинстве случаев шла совсем не о шпионах, что ободрившийся Сталин как раз начал тогда очередной виток своих репрессий, я знать не мог. Этот «поток» и сейчас мало кем осознан, затерялся в океане войны между тридцать седьмым и сорок девятым. Но я шел стеречь шпионов и был горд оказанным (хотя и нехотя) доверием. Начальником караула был старшина-казах, человек толковый и знающий службу. Остальные ему под стать, всего нас было четверо. Ко мне относились по-товарищески. Они, как и я, не несут ответственности за то, что творилось на охраняемом ими по наряду объекте. Они были солдатами, а не чекистами и несли только внешнюю караульную службу — в остальное их не посвящали. Во всяком случае, ответственность их за то, что там творилось, была не больше, чем у остальных граждан тогдашнего СССР.

Нам выдали винтовки с боевыми патронами, и мы пошли в ту деревню, где размещался штаб бригады и его службы. В том числе и СМЕРШ.

Внешне в СМЕРШе было все по-домашнему. Представлял он из себя крестьянский двор. Вероятно, потеснил СМЕРШ не самого хозяина, выселенного из построенного им дома гораздо раньше, а какое-то сельское учреждение. Дом был одноэтажный, но как-то очень высоко стоящий, с большими смотревшими на улицу окнами в наличниках. Дом этот помещался справа от ворот, слева от них, выходя одной длинной глухой стеной на улицу, а сенями в торце — в сторону главного дома, находилось помещение для арестантов. Вдоль второй длинной стены во дворе, тоже глухой, на цепи по проволоке бегала овчарка. Провод был протянут так, чтоб собака никоим образом не могла дотянуться до сеней, где надлежало находиться часовому. Главная задача часового была простой: как-нибудь по рассеянности не сделать шага вдоль этой стены. Ибо собака не была знакома с Уставом караульной службы и не знала, что часовой есть лицо неприкосновенное.

Прямо от сеней вдоль сарая (который и СМЕРШу служил сараем: ему тоже нужны были дрова) вела куда-то дорожка. Вроде куда-то за усадьбу, в бывшие огороды. Караульное помещение находилось в одном из хозяйственных помещений, расположенных на другой стороне двора, как раз напротив главного дома, справа по диагонали от арестантской. Это была маленькая, но теплая бревенчатая избушка. Там должна была находиться караульная команда — вся, кроме того, кто на посту.

Туда мы и пришли. И были там встречены вполне радушно, «по-домашнему» теми, кого мы сменяли. Все, кроме меня, были знакомы. Они ведь в том же составе сменяли друг друга регулярно через день. Видимо, КВУ были не только в нашем полку. Меня представили сменщикам, объяснили, что я подменяю заболевшего, после чего посидели немного, покурили, и сменные ушли. Начался один из самых удивительных дней моей жизни.

Начальства никакого не было — только мы. Кто-то заступил на дежурство сразу, как пришли. На посту стояли по четыре часа два раза — раз ночью, раз днем. Я должен был заступить вторым или третьим, точно не помню, и по совету старшины тут же завалился спать. Разбудил он меня ночью. Проверил, правильно ли я понимаю свои обязанности, прочел напутствие — но не угрожающее, а вполне дружеское — и повел меня на пост. Смена произошла без каких-либо формальностей, прежний часовой отдал мне тулуп и отправился со старшиной в караулку — греться и отдыхать, а я остался один в сенях. Прохаживаться можно было только в сенях и вдоль сеней по двору до улицы. Мой «коллега» не давал о себе забыть, все время гремел цепью.

Вдруг я услышал шаги. К нам! В свете фонарей я увидел офицера. Вскинул винтовку:

— Стой, кто идет?

Офицер остановился, и я услышал интеллигентный голос:

— Стоите? Вот и хорошо! Я проверяющий из штаба бригады...

Офицер явно был доволен, что ни на чем меня не застукал.

— Хорошо, что не спите, — сказал он закуривая. — Нет, не надо будить начальника караула. Пусть спит.

И проследовал дальше.

Как я мог спать? Я ведь охранял разоблаченных шпионов!

Я снова вошел в сени. Из арестантской слышались голоса и смех. Смеха было много. Когда я через четырнадцать лет сидел на Лубянке, мы там тоже много смеялись. Сталинские арестанты вообще много смеялись. Весело им не было никогда, а смешно бывало часто. Но тогда этот смех меня поразил. Я стал прислушиваться. И вдруг после очередного взрыва смеха услышал чистый голос:

— А ты думаешь, это смешно, что мы здесь сидим?

Я вполне и сразу понял значение этой фразы. Прежде всего, я охранял не шпионов. Человек, произнесший эту фразу, *знал* и про себя, и про своих товарищей по несчастью, что они ни в чем не виноваты. Для них это было совершенно очевидно.

Утром двух из этих арестованных я смог увидеть воочию. Я отдыхал, когда пришел приказ выставить временно дополнительный пост — к арестованным, которые будут заняты пилкой и колкой дров. Поставили меня. Кто вывел, а потом увел заключенных, я не заметил. К заключенным мы отношения не имели. И общаться с ними ни по какому поводу не должны были. Им же,

наоборот, хотелось общаться. Но я стоял как пень, как петровский солдат, усвоивший «сено-солома», и ни на какие заговаривания не отвечал. Один из арестованных, в шинели без хлястика, уже не очень молодой, кажется, попросил закурить. Этого я сделать никак не мог, ибо никогда не курил и ни папирос, ни спичек у меня не бывает. Надо было так и сказать. Но я просто не ответил — согласно уставу и приказу стоял как изваяние и хранил каменное молчание. Думаю, именно потому, что был плохим, да еще затравленным солдатом. Арестованный довольно быстро сообразил, с кем имеет дело:

— Солдат, ну чего ты бычишься? Не бойся, не убегу. А если б захотел бежать — рванул бы, и хрен бы ты меня догнал. И не попадешь. Или вот топор бы тебе в лоб засадил — и конец.

Все это было чистой правдой, и я это понимал. Стерег его не я со своей винтовкой, а то, что бежать неуголовнику в СССР все равно было некуда.

Но и не нарушая устав, а, наоборот, его соблюдая я все же оказался на грани крупных неприятностей. Произошло это через некоторое время после того, как я заступил на свой настоящий пост — при арестантской. Стоя у входа в сени, я вдруг увидел, что по дорожке вдоль сарая прямо на меня идет человек в ушанке и в синей зимней куртке. Я секунду подождал, но он продолжал свое бесстрашное движение в непопущенном направлении. Тогда я вскинул винтовку и стал действовать строго по уставу:

— Стой, кто идет?

Ответ был лаконичен:

— Пошел на ... .

Я повторил свой вопрос еще два раза — и получил два аналогичных ответа. Только адреса отсылок становились все отдаленней. Движение продолжалось. Тогда я перешел к тому, что требовал от меня устав в подобных случаях:

— Стой! Стрелять буду!

Тут нападающий на пост послал меня особенно далеко, но движения не прекратил. Тогда я сделал единственное, что мне оставалось. Взвел курок и крикнул:

— Ложись!

И тогда, видимо, он тоже вспомнил устав и понял, что за этим последует. Лечь он не лег, но присел на корточки и завопил:

— Начальник караула!.. Начальник караула!.. Гони его к ...онной матери!

Выскочил испуганный старшина, увидел эту живописную картину и не столько приказал, сколько разрешил:

— Пропусти...

После этого «потерпевшему»:

— Он, товарищ старший лейтенант, новенький, не знает...

Тот еще продолжал ругаться, но успокаивался. Старшина подошел ко мне.

— Это начальник контрразведки. Пропускай его... — Потом тихо спросил: — Ты сказал: «Стой, кто идет?» Три раза? Потом «Стой, стрелять буду!» предупредил?

Получив на все утвердительные ответы, он почти шепотом на ухо сказал:

— Правильно!..

Так мы с ним шепотом соблюдали Устав караульной службы.

А что только нам не говорили о святости устава! Часовой без начальника караула никого допускать на свой пост не должен. Даже хорошо знакомых ему собственных командиров любых уровней. Умилялись по поводу нравоучительной истории о Ленине, похвалившем часового, не пропускавшего его без пропуска в Смольный. Рассказывали даже идиотскую историю про часового, застрелившего собственную мать, приехавшую его навестить и невзирая ни на какие окрики бросившуюся к увиденному вдруг сыночку. По этому поводу разводили руками и говорили:

— Что делать! Устав требовал. Часовой не мог иначе.

Вскоре после моего дежурства в СМЕРШе нас провели через медкомиссию. Но теперь, когда молодой врач спросил, какие болезни у меня были, я сказал о пороке сердца. Он рьяно стал меня выслушивать, бросился к старшим, которые тоже меня по очереди выслушали, и в конце концов я был признан «годным к нестроевой службе в тылу». После этого меня перевели в нестроевую роту.

## Станция Самоцветы

С переводом в нестроевую роту все мои злоключения как будто кончались. Но был еще один, заключительный, аккорд, в каком-то смысле самый тяжелый и оскорбительный. Правда, уже не в армии, а на небольшой шахте возле станции Самоцветы. Но туда еще предстояло добратся.

Нестроевая рота представляла собой не регулярную часть, а род распределенного пункта или — из более позднего опыта — камеры пересыльной тюрьмы, в просторечии пересылки. Только что взаперти не держали, из казармы выйти всегда можно было. Гигантская казарма с двумя рядами широких сплошных нарах вдоль всех стен. И везде люди, люди, очень много увечных воинов: хромавших, каких-то скособоченных и тому подобное. Там были представлены все народы СССР. Мест на нарах было впритык, время от времени вспыхивали конфликты, кто-то кого-то стаскивал с нарах — иногда наглеца, занявшего чужое место, иногда с целью отобрать чужое место, а чаще по ошибке: вышел ночью в нужник, а потом перепутал — спали ведь сплошняком, вповалку, а народ был случайный, друг другу незнакомый. Почему этих людей не отпускали домой, а заставляли мучиться здесь? Неужто кто-то наверху полагал, что они долечиваются в этой нестроевой? Видно, такие вопросы решал кто-то, кто видел перед собой только цифры и вообще не имел представления, что есть что. А внизу плохо понимали, чем занять это воинство. В основном рота использовалась в кухне и на других хозяйственных работах. На кухню отправлялись охотно. Там можно было наесться вдоволь. Иногда голодные люди, стремясь наверстать недоеденное и наесться впрок, переедали. Над ними потешались. Помню такую, например, картину. Юный, совсем юный узбек, вероятно колхозник в прошлом, вообще непривычный к нашему быту и пище, стоит, страдальчески согнувшись и держась за живот — его буквально скрутило, — перед старшиной, а тот потехи ради орет: «Смирно!» А вокруг стоит народ, смеется. Беззлобно, да и старшина не злой человек, но смеется. Но узбеки тут же стоят — не смеются. Столкнулись разные уклады, углубляется взаимонепонимание. А оно, как мы теперь знаем, — чревато.

Однажды по приказу генерала, командира бригады, нестроевую роту под командованием лейтенанта, тоже раненного, выгнали на строевые занятия. Это, может быть, было и смешно — видеть этот нестройный строй, но генерал, как военный человек, знал, что делал, приказывая это. Он понимал, что люди дурели от скученности, духоты и безделья и во избежание разложения надо их занять. Вряд ли он думал, что нас всерьез начнут муштровать. Этим и не пахло. Лейтенант вывел свое воинство под иронические приветствия всех встречных и поперечных из расположения части — достаточно далеко, чтоб не мозолить глаза начальству, но не так далеко, чтоб эту железную гвардию переутомить. Найдя удобное место, он объявил перекур. Перекур этот был довольно длинным, к нему, собственно, и свелись «занятия». Когда подошло время, нас опять построили в колонну, и столь же живописным строем мы побрели обратно. Думаю, что если б нас застукал за этими «занятиями» любой начальник, кроме уж очень глупого, он, сразу бы догадавшись, в чем дело, вполне бы удовлетворился рапортом, что с ротой проводятся строевые занятия, а в данный момент как раз перекур. В армии часто приходится соблюдать декорум, никакого своеволия в ней проявлять нельзя, но форма приказа не всегда соответствует тому, что от тебя на самом деле хотят. Ты должен тоже соблюдать декорум, но делать то, чего от тебя ждут и требует здравый смысл. Так и понял свою задачу лейтенант. Но в то же время надо было не ставить и начальство в неловкое положение. Поэтому он нас и отвел чуть подальше, с глаз долой. Своеобразная армейская грация тех лет.

Еще в связи с этой ротой я помню митинг. По какому он был поводу, я уже забыл. Но разговор шел о ненависти к врагу. Надо сказать, что митинг проходил почти стихийно. Политрук на сцене только слегка дирижировал, вводил его в рамки. А так он двигался сам собой. Солдаты сами стремились высказаться. С места, анонимно, вовсе не стараясь выслужиться. Да и кто мог выслужиться в тамошней текучке? Просто примеры немецких зверств, приводимые политруком, они дополняли своим, наболевшим:

— А вот у нас в деревне, товарищ старший лейтенант, немцы сделали то-то...

Тут же другой голос:

— Это что! А вот у нас...

Политруку оставалось только обобщать:

— Вот видите, товарищи...

Что бы ни говорили некоторые эмигранты и как бы ни изгалялись некоторые молодые в стране, война — во всяком случае, в тот период — была войной и в самом деле народной и Отечественной. А того, что насмерть перепуганный в сорок первом Сталин расплачивался жизнями легко и щедро, что его любимым деепричастием в приказах (не тех, которые читались по радио) было «не считаясь с потерями», — этого люди ни знать, ни представить себе не могли.

Вскоре была составлена команда из солдат моей категории годности, человек восемь, не больше. Были они, в основном, люди в возрасте, самым молодым было под тридцать. Некоторые очень даже бывалые. Тут-то и возникает в моей жизни недоброй памяти станция Самоцветы. Станция эта расположена между угольным Егоршином и металлическим Алапаевском. Вероятно, где-то рядом добываются знаменитые уральские самоцветы, отсюда и название. Но нам дали предписание явиться не на рудники, где их добывают, а на угольную шахту, расположенную, вероятно, по другую сторону железной дороги.

Шахта эта, хотя и была уральской, не относилась к числу индустриальных гигантов. Относилась она к тресту «Местоп» — местной топливной промышленности, объединяющей предприятия, добывающие уголь для местных нужд. Но какие были тогда местные нужды у Свердловской области? Все ее заводы работали на войну. И эта маленькая шахта тоже. Поэтому ее неплохо снабжали продуктами, поэтому и нас прислали — в качестве централизованно распределяемой рабочей силы. Практически нас демобилизовали, но закрепили за этой шахтой.

На шахте в основном работали жители расположенных рядом с ней деревень. Может, кто из них добывал или обрабатывал самоцветы, но я о таких не слышал. Поселили нас не в деревне, а в шахтном общежитии, где кроме нас жили люди, называвшиеся поляками. Поляками считали их все окружающие, поляками они, по-видимому, считали себя и сами. Я поначалу думал, что все это выселенные жители Западной Украины. Оказалось, ничего подобного. Они были исконно советские граждане, только жили раньше вдоль польской границы. Но и это было не самым удивительным — я ведь знал, что поляков выселили из Киева. Самым удивительным было то, что их «польский» язык был мне абсолютно понятен и знаком с детства. Ибо говорили они по-украински, причем очень хорошо и чисто. У меня скоро среди них завелся приятель, любитель книг, но и из его разъяснений я не смог уразуметь, кто они такие и почему они поляки. Теперь я понимаю, что это были униаты, переселенные с западных границ, — Солженицын в «ГУЛАГе» зафиксировал среди потоков и этот маленький (тоже из многих тысяч семей) ручеек. А здесь они были — как я сформулировал потом — в *трудоармии*. Я уже упоминал это образование, когда писал об отце своего товарища Рэма Штруфа. Туда «мобилизовывали», точнее, загоняли для оборонных работ всех трудоспособных представителей «ненадежных» наций. Вероятно, все они считались находящимися под наблюдением, хотя чего было за ними наблюдать? Люди были все сдержанные, солидные, вежливые и замкнутые от посторонних.

Наша команда занимала отдельную большую комнату. Под землей никто из нас не работал — даже не приглашали. По-видимому, своих хватало. Работавших под землей освобождали от армии и к тому же сравнительно хорошо снабжали. Но прибывшие со мной на подземные и не рвались. Народ это, в основном, был тертый и дошлый. Один тут же устроился заведующим столовой, другой — мужик вполне основательный — очень скоро стал заведующим пекарней. Что и то и другое тогда значило, догадаться легко. Третий — будем его называть мастерской — устроился куда-то в мастерскую. Меня, моего соседа по кровати, кустанайского колхозника и некую личность по имени Попов — в чернорабочие. Точнее, в укладчики путей — там строилась узкоколейка. Это на уральском-то морозе, под уральским снегом. Особенно «весело» было отгрести этот снег с предполагаемой трассы. Пока отбросишь одну лопату снега — а работали мы широкими фанерными лопатами, — наваливало две или три. Однажды я не выдержал этого мартышкина труда, бросил работу

и пошел к начальнику шахты. Сказал, что я не могу больше, что сил выполнять такую работу у меня нет и что я просто не знаю, что теперь делать. Видимо, бессмысленность моего пребывания была очевидна и для него. И, выслушав меня, он пожал плечами и велел секретарше напечатать приказ о моем увольнении, точнее, о направлении в райвоенкомат, за которым мы числились, с резолюцией: «Ввиду невозможности использовать». Думаю, что она относилась ко всей моей службе. Меня рассчитали. Нет, шахта эта не сделала мне ничего дурного.

Досталось мне вовсе не от шахты, а от моих случайных товарищей, остальных «годных к нестроевой в тылу», населявших нашу комнату. Дело не в том, что это были простые люди. Мне не раз приходилось жить среди простых людей, но с такой атмосферой я больше не сталкивался. Вероятно, переход от армейской регламентации и регламентированной обеспеченности к относительной свободе и неизвестности действовал деморализующе. Не говоря уж о том, что и предыдущий советский опыт отнюдь не действовал на них облагораживающе. Это несколько противоречит тому, что я до этого здесь говорил о «советскости», — но это противоречие не мое, а жизни. К сожалению, все те же «вера и доверье» способствовали их человеческим качествам, но держались ни на чем. Они и начинались на ином уровне бытия, которого большинство не достигало. Не обязательно этот уровень был материальным — он мог быть уровнем связей, человеческой активности, интереса к общественным вопросам. На прочих советчина наваливалась безо всякой иллюзорной «советскости» — ничем для них не окупаемой бедностью, тяготами, опасностями, эксплуатацией. И они знали свое дело туго: надо уметь выкручиваться и изворачиваться. Завстоловой с фиксой явно до армии прошел через лагерь, хотя человек был не преступного типа (вообще людей вороватых среди них почти не было). Выкручивался... Меня он считал человеком, обреченным на гибель ввиду моей непригодности. «Единственное место, где такой может жить, — это лагерь, там хоть кормят», — однажды философски высказался он. Вполне, впрочем, доброжелательно. Подводила его чрезмерная положительность, так сказать, вульгарный позитивизм. То страшное, о чем я хочу рассказать, что разыгралось потом и не лезет ни в какие ворота, произошло по этой же причине. Главные действующие лица тут были люди вполне честные. Главные, но не все.

Началось (для меня) с того, что я как-то ночью проснулся от чьего-то прикосновения. Надо мной в белье стоял уже упоминавшийся Попов и пытался из мешочка, висевшего на тесемочке на моей груди, вытащить все мои продовольственные карточки. Увидев, что я проснулся, он что-то пробормотал: дескать, хотел одеяло поправить, чтоб я не замерз. Я намерения его понял вполне, в такую заботливость не поверил ни на секунду, но не удивился. Ни в чем таком он замечен не был, но от него за версту несло опустившимся человеком, доходягой — кстати, термин такой бытовал не только в лагерях, но и в армии (в тылу). Конечно, до дистрофии и пеллагры тут было далеко, в армии все питались одинаково, но некоторые опускались. Мне бы крик поднять, но я почему-то этого не сделал. Вообще не отреагировал, повернулся и снова заснул. И никому не рассказал об этом. Это было ошибкой, и я за нее жестоко поплатился. Когда люди живут вместе, они должны такие вещи знать во избежание недоразумений. Но я полагал, что он больше никому не опасен: ко мне он второй раз не полезет (да и тесемку я затянул потуже), а других тронуть побоится. Но он, видимо, преодолел страх — тронул.

Однажды, когда я в коридоре беседовал со своим приятелем-«поляком», меня на минуту позвали в комнату. Все были в сборе, Попов тоже. Тот, которого я называю мастеровым, спросил:

— Ты тут на столе буханку хлеба, — (или пол, или две — теперь не помню), — не видел?

Парень был мне до этого вполне симпатичен. Широкоплечий и крепкий, положительный, он внушал доверие. Поэтому, ничего еще не понимая, не задумываясь о том, почему он это именно у меня спрашивает, и уж совсем не догадываясь, к чему он ведет, я просто прямо ответил на вопрос:

— Да, видел.

Мне хотелось быстрее вернуться к своему «поляку» и продолжить разговор. Но последовал вопрос:

— Ах, видел! А куда ж она делась?

Как ни странно, я и теперь ничего еще не понимал. И только удивился:

— Не знаю. — Откуда мне было знать?

— Ах, не знаешь, мать твою так-перетак! Я тебе покажу «не знаю»! Убью гада!

И он стал меня избивать. Он был намного сильнее меня, тягаться мне с ним было не по силам. Тем более на его стороне было молчаливое сочувствие остальных. Но и мне стало все равно: я наконец понял, что меня обвинили в воровстве. Он меня бил, а я не переставая ругался по их адресу. На угрозу добавить отвечал: «А хоть убей. Мне все равно». Защититься не было никакой возможности. Попутно выяснилось: кроме того, что я видел этот злополучный хлеб, у них было еще одно «неопровержимое» доказательство моей вины: я не умел растягивать свой хлеб на весь день, съедал сразу. Следовательно, по их логике, я и взял. Попов так на всякий случай и аргументировал свое «алиби», хоть я на него и не указывал: «У меня же свой хлеб есть». Логика эта меня поразила. Конечно, отсутствие воли, неорганизованность, безалаберность — качества не похвальные. И съесть свой хлеб сразу, когда впереди целый голодный день, не стоит. Но съедал-то я все-таки свой хлеб, а не чужой. Съедал не только сегодня, но и вчера, и позавчера. Неужели для них так фатально одно вытекает из другого? Сколько людей по всей стране умирали от голода, но чужого не трогали. Или все это у них было вытеснено грубым материализмом выживания? Не знаю. Но все равно они люди, а людям нельзя смотреть мимо человека. Не говоря уж о том, что нельзя выносить приговор на таких шатких основаниях. Я был одновременно смят и разъярен.

Потом все постепенно рассеялось. Общее впечатление через несколько дней суммировал завстоловой:

— Нет, на него зря думали. Потому что у него как ничего не было, так ничего и нет.

Это воспоминание до сих пор наполняет меня болью и яростью. Ведь все эти люди не были ни дураками, ни, кроме Попова, подлецами. Как можно с такой легкостью обвинять человека?

Впрочем, через несколько месяцев, уже в Москве, со мной опять случилось нечто подобное. Я был если не обвинен, то заподозрен в еще более страшном преступлении — в том, что в начале месяца унес все карточки целой семьи своей знакомой по Симу, у которой был в гостях. Другими словами, сознательно обрек целую семью на месяц жизни впроголодь. Дескать, мы не обвиняем вас, но после вас у нас никого не было, а карточки пропали. Правда, все это было вежливо... Вечером того же дня эта знакомая встретила меня у проходной завода, где я работал, и, стесняясь, сообщила мне о пропаже. Не унес ли я их случайно? После того как я самобыскался и версия о случайности отпала, она перешла к более серьезным версиям. Она сказала, что если я не выдержал и польстился, то чтобы опомнился. И заплакала. Конечно, это было от отчаянья. Но то, что они могли поверить в такое, было слишком — видеть я ее больше никогда не хотел.

Это вовсе не означает, что я был тогда, в начале своей московской жизни, свят. Я был молод, действительно безалаберен, действительно не умел организовать свою жизнь, и это иногда приводило к поступкам, которых я потом всю жизнь стыдился. Да и тогда тоже. Например, задолжал двум хорошим людям на том же заводе по сто рублей. Одолжил на то, чтобы выкупить пайковую водку и продать ее (после чего вернуть первоначальный капитал), да как-то не получилось, не выкупил, а деньги разошлись, и я их не отдал. Могут сказать, что тогдашние сто рублей — деньги небольшие, но раз я их одолжил, значит, они имели какое-то значение. Меня до сих пор оторопь берет при воспоминании об этом, не знаю, куда от себя деваться. Но в этом не было предубежденности и злой воли, не было согласия оставить кого-то без чего-то. Не говоря уже о том, что не было воровства...

А тогда в комнате общежития при шахте было другое. Хитроумное подозрение, обвинение, приговор и его исполнение слились в одно.

Кончилось все совсем похабно. Когда меня отпустили и я собирался в дорогу, в комнате оставались только я и кустанайский колхозник, человек вроде вполне положительный. Я оставил свои вещи и на секунду вышел из комнаты.

Когда я вернулся, из сумки исчез весь мой хлеб, заготовленный на дорогу, а степенный колхозник демонстративно храпел на своей койке. До этого он не спал.

— А? Что? — продрал он глаза, когда я спросил, где хлеб. — Ничего не знаю.

И даже стал возмущаться ворами...

В каком-то смысле я его понимаю. Он очень тяжело переживал, что его не пускают домой. А тут еще отпустили меня, молокососа. Возможно, в том, что он отнял мой хлеб, была еще и месть удачнику.

Таков был мой «военный» опыт. С тем, что было со мной в армии и что случилось здесь, на шахте, со всем, что я узнал о других и главным образом о себе (о несоответствии моих возможностей моим же требованиям к себе), мне предстояло жить дальше. Конечно, требования были романтическими, но других не было. И что-то во мне сломалось.

Я не только вдруг перестал находить оправдание тому, что меня затолкали туда, где я только смешон, но и вообще понятие долга зашаталось в моем сознании. Вместо этого с новой силой утвердился во мне культ личности поэта, его ничем не ограниченные права и привилегии. Привилегиями никакими для меня и не пахло, но так сталкивались в моем сознании молодое желание жить и моя затравленность.

Это проникало и в мои стихи. Протест, который в них слышался теперь, был уже протестом не против оскорбления Великой Идеи и Мечты, а просто воплем живого существа, с жизнью которого не считаются, протест личности (хотя этого слова я еще практически не знал) против того, что любой чурбак ценится выше ее. Все это брезжило во мне уже в армии и нарастало постепенно. Начиналось вот с чего:

Мороз свирепствовал так, словно  
Мою он твердость проверял.  
Я часовой, приставка к бревнам, —  
Они ведь пиломатериал.

Это ирония, но в ней больше грусти, чем протеста. Армия и должна быть армией — это я всегда помнил. На шахте этот мотив стал звучать откровеннее:

От судьбы никуда не уйти,  
Ты передан по списку, как прочий.  
И теперь ты укладчик пути,  
Матерящийся чернорабочий.  
А вокруг только посвист зимы,  
Только поле, где воет волчица.  
Что б для жизни ни значили мы,  
А для Центра мы все единица.  
Видно, ты уж вовек не герой  
И душа у тебя не большая,  
Раз не терпишь, что время тобой,  
Как костяшкой на счетах, играет.

И пускай в конце все опять отдается на суд привычной романтики, тут уже явно превалирует озабоченность «не героя» — нежелание быть костяшкой на чьих-то счетах. Он согласен быть «не героем», почти готов согласиться с тем, что душа у него «не большая» (что очень не котировалось после Маяковского), но все-таки этого «не терпит». В чем-то потом это мне очень помогло почувствовать реального себя, но в чем-то тут был и соблазн, поскольку речь шла о войне, где погибали хорошие люди. Думаю, отчасти я тут оскоромился, написав (уже в Москве) стихотворение «Демобилизованный»:

Пусть я голоден и раздет,  
Пускай ночлега даже нет,  
Но говорю при всех, что рад  
Тому, что больше не солдат,  
Что пусть навстречу генерал,  
Будь он оралой из орал, —  
Могу, смотря ему в глаза,  
Зевать, почесывая зад.



А старшине сказать, что он  
 Дурак, болван и солдафон,  
 Потом в ответ на грозный рык  
 Вдруг показать ему язык.  
 ...Но только черта в этом мне —  
 Грубить из мести старшине.  
 А генералу много лет,  
 И с ним ругаться смысла нет.  
 Но просто в штатской тишине  
 Приятно-непривычно мне  
 На каждом чувствовать шагу  
 Вот это самое «могу».

Тогда, в Москве 1944-го, стихи эти нравились почти всем, фронтовикам в том числе. И все-таки — о неточностях и огрехах я сейчас не говорю — есть в этом наивное нарушение пропорций. Большинство старшин тогда воевало.

За культивированием обиды и защиты от окружающего хамства может угнездиться и замыкание на самом себе, и примирение с собственной низменностью и с отказом от элементарного долга перед другими — тем более если это освящается ценностью «творческого самовыражения». Это было свойственно тогда многим во всем мире, но во всем мире подлинные достижения были невозможны без выхода из этого состояния. Состояния элиты, отделившейся от почвы, как сливки от молока.

О нет! Меня таким не знала ты.  
 Он вывернут войной, духовный профиль.  
 И, верь не верь, предел моей мечты —  
 Печеный хлеб да жареный картофель.  
 Мне снятся сны... В них часто он шипит  
 На сковородке... И блестит от сала.  
 Да хлеба горы. Да домашний быт.  
 Да все, над чем смеялись мы, бывало.  
 Но как бы я об этом ни мечтал,  
 Но в тишине с картофелем и салом  
 Я б, верно, скоро дико заскучал,  
 И ты б тогда меня опять узнала.

Прошу прощения у читателя за «духовный профиль», а также за столь резкий переход к антитезе. Но я тут привожу стихи исключительно как документы и иллюстрации к мемуарам. А мое настроение того времени это стихотворение все-таки передает. Старая романтика все равно меня держала.

Впрочем, в том, что мне тогда не хотелось быть щепкой или костяшкой, я никогда не раскаивался — в конце концов, я на этом не заиклился. Года через два я опять увидел смысл и долг в том, чтобы быть щепкой, — вот в этом я и впрямь потом раскаивался. Но об этом — в следующих книгах.

Покидал я эту шахту навсегда без всякого сожаления, голодный и в какой-то хламиде. Ее я получил в придачу после того, как, обворованный кустанайцем, вынужден был обменять у завпекарни свою «комсорговскую» шинель на толику хлеба — тот давно к ней приценивался. В Алапаевске, куда я приезжал сниматься с учета и где мне выдали предписание «явиться в Лесотехнический институт», я встретил хороших людей, которые мне помогли — накормили. В поезде на Нижний Тагил сердобольная крестьянка дала мне луковицу. С военной службы (на шахте мы ведь тоже были по военному предписанию) я уезжал таким же обворованным и голодным, каким приехал служить. Но как-то я доехал до Сима. Что чувствовали родители, увидев меня, описывать не надо. Для них я вернулся с того света. Вернувшись, я четыре дня только спал и ел. Вставал, что-то ел, собирался навестить друзей — и снова засыпал. Отдыхал от голода, усталости и, как теперь говорят, от стрессов.

Стало известно, что начинается частичная реэвакуация завода. Через пару недель отправляли первые два вагона в Москву. Я попросился, и меня включили в список пассажиров. Через две недели мы и отбыли — в двух теплушках. Начиналась Москва. Начиналась, медленно и тяжело разворачиваясь, моя подлинная жизнь.

## В МОСКВУ И МОСКВА 1944 ГОДА

Дорога до Москвы — в сущности, почти через всю Европейскую Россию — мне помнится довольно ясно. Наши две теплушки грузились на заводском пристанционном складе, грузились спокойно, никто не волновался, не боялся, что не попадет, как, бывало, во время эвакуации. Руководил всей экспедицией разумный и организованный человек, бывший председатель завкома, руководил хорошо, толково. Не знаю, по его ли инициативе, но при его активном участии были собраны деньги для ускорения продвижения наших вагонов. Другими словами, для взяток тем, от кого на сортировочных зависело, к какому составу нас прицепят: к тому, который отойдет через два часа, или к тому, который сформируется через два дня. Мера была вполне разумная, но ее несоответствие мировоззрению никак не могло укрыться от моих глаз. Я тогда был еще очень зорек на этот счет, хотя уже и менее скор на осуждение. Стихия жизни действовала и на меня — тоже ведь случалось ездить на ступеньках и зайцем.

Беспринципность бывшего предзавкома привела к тому, что мы доехали не за три-четыре недели, дойдя до ручки, вконец поистратившись и ненавидя его и себя, а дня за четыре. На всех сортировочных нам поначалу обещали несколько суток «загорания», но нигде мы не стояли больше нескольких часов. Наши ходатаи отправлялись на переговоры, и довольно скоро к нашим теплушкам подходила маневровая «кукушка» и перетаскивала их к стоящему уже под парами составу. И мы ехали дальше. Это делала взятка. Впрочем, это слово здесь не совсем уместно.

Я был свидетелем одного такого «взяткодательства». Это было на станции Рыбное, уже за Рязанью. До Москвы оставалось — рукой подать, а нам и здесь обещали несколько суток стояния.

На переговоры, как всегда, отправилась делегация во главе с предзавкома. По какой-то причине увязался за ними и я. Искали не начальника станции, а сменного диспетчера, непосредственно руководившего формированием поездов. Помещался он в какой-то стеклянной будке, стоящей высоко над путями. Туда мы взобрались к нему — я сзади всех. Дальше произошел знаменательный разговор. После того, как, узнав, в чем дело, он наотрез отказался что-либо изменить.

— Да ты погоди, не спеши! Давай сначала поговорим.

Тут же была обнаружена водка и стало нарезать сало для закуски — деликатес тоже не тривиальный в те дни.

— Это что, — возмутился диспетчер, — взятка?

Я и теперь уверен, что взятки он бы не взял. Но ведь и наши были не лыком шиты.

— Нет, не взятка, — мирно сказал глава делегации. — Какая это взятка? Это не взятка, а водка.

Водка была разлита. Выпили сами, поднесли диспетчеру, поговорили о том о сем, потом вернулись к главной теме:

— Послушай, как же нам добратся... А то едем, едем, тут же близко, а не укусишь...

Теперь диспетчер уже был мягче:

— Ничего, ребята, я вас сейчас к такому составу прицеплю — без остановки до Перова домчит...

После чего обе стороны, вполне дружелюбно расположенные друг к другу, вернулись к прерванным занятиям. Утром мы были в Перове.

Что же произошло? Неужто диспетчер купился на доставшуюся ему часть поллитры и шматок сала? Да нет, конечно. Ему бы с удовольствием отдали всю поллитру целиком, только сделай. Но он бы не сделал. В том-то и соль, что ему ничего не дали, а просто с ним выпили. И тут произошло следующее: до этого мы для него были просто клиенты, проталкивающие свои два вагона, а таких перед ним прошли тысячи. Что говорить, весь рабочий день он имел дело с такими и все грузы были срочными. Процесс совместного возлияния разрушил эту инерцию, и он увидел в нас людей, которым надо доехать до дому, и понял, что ему совсем несложно прицепить эти два вагона к чему угодно. Именно поэтому на Руси иногда за водку можно сделать то, чего не сделаешь за деньги. Речь не о пьяницах, а о нормальных людях. Думаю, что я

это почувствовал и частично осознал уже тогда, когда издали наблюдал за этой трапезой. Эта неформальная человечность, с которой я сталкивался не раз и потом — по самым разным поводам и в самых неожиданных местах, — меня всегда привлекала в России. Она помогла выжить и уцелеть многому. Поможет ли на этот раз (пишу в июне 1994-го)?

А вообще поездка была не тяжелой. Люди друг к другу относились спокойно и дружелюбно. Запомнились мне кроме предзавкома, которого я знал и раньше, лишь один вьедливый сухощавый старик и два парня моего примерно возраста.

Старик этот был явно умен, всерьез начитан, общался в Москве с какими-то явно «старорежимными» профессорами (такие тогда, несмотря на все чистки и «ответы Керзону», еще встречались) и жаждал общаться, выразить свои мысли. Естественно, я был для него наилучшим объектом. К сожалению, мысли, им выражаемые, были тогда, по моей заталуженности, слишком просты, а потому непонятны, да и неприемлемы для меня, и их конкретный смысл не задержался в моем сознании. Помню только общий образ, несмотря ни на что обаятельный для меня и тогда. Сколько я помню, предъявлял он серьезные претензии к русскому человеку как к таковому. Под которым — он специально это уточнил — разумел «всех, населявших территорию бывшей Российской империи». Обвинял он его в лени и безответственности, в склонности к упрощенным решениям. Он, конечно, не говорил прямо о революции и большевизме, но явно имел их в виду, и я это если не осознавал, то чувствовал. Казалось бы, я защищал идейность как смысл жизни, и вроде бы он этой цели не отрицал, но не отрицая ее не оставлял камня на камне от моих рассуждений.

Только одну его сентенцию запомнил я хорошо. Однажды, осведомившись о моих планах (военная газета, литература), он сказал:

— Ну конечно... Поближе к государственному пирогу... Как все...

Такое истолкование моих гордых планов меня поразило. Я опешил. Я и теперь не думаю, что эти слова справедливы. Но суть была не во мне (я только шел по общей дороге), а в системе, к которой я, так сказать, пристраивался. И больше всего меня поразило, что старика в этом поддержал бывший предзавкома, функционер этой системы. И именно понимание ее как пирога и одобрил. В частном порядке, в очень неформальном разговоре, но одобрил.

Что его раздражало? Распространенное представление о вольготной жизни писателей и «артистов», к которым я хочу примкнуть и которые подобрались к этому пирогу ближе и удобнее, чем он, уставший от ежедневной текучки? Отчасти, может, и это. Но не только.

Его одобрение слов старика не было вызвано личной обидой — сейчас его переводили в Москву, а не понижали в должности, не удаляли от вышеназванного пирога, — а вытекало из его жизненного опыта, отвечало его собственным, скрытым от самого себя представлениям о «нашей советской действительности». Кем он при этом представлял сам себя? Это его высказывание — естественное проявление оруэлловского «двоемыслия» (double think), когда у человека есть одновременно два искренних представления о том, что его окружает: официально-идеальное для примирения с действительностью и реальное, чтоб в этой действительности существовать. Причем в той версии этого double, которая мне казалась непоследовательностью и чуть ли не изменой, как раз проявлялся его ум, здравый смысл и просто человечность. Я здесь не называю его фамилии, хотя помню ее, — не он в ответе за это явление. Да и тогда я не стал относиться к нему хуже. Мой ригоризм заметно выцвел под напором жизни.

Но и от старика, и от предзавкома меня отделял возрастной барьер. Ближе всех я сошелся в пути с двумя своими сверстниками — рабочим Борей и техником по фамилии Богоявленский. Люди это были совсем разные, объединяло их только отсутствие денег на дорогу. В пути я им одалживал деньги. Следует помнить, что все, кроме меня, ехали к себе домой, я один — в белый свет, как в копеечку, и какие-то небольшие деньги у меня поэтому были. С Богоявленским никаких проблем у меня в связи с этим не возникло. Через несколько дней после приезда он пригласил меня к себе, его семья очень мило меня приняла, и все деньги были мне с благодарностью возвращены. Предста-

витель же пролетариата не вернул мне ни копейки, встреч избегал. А когда Богоявленский встречал его на заводе, он мрачно молчал или проезжался на счет моего еврейства. Когда одалживал, этот факт его не волновал.

Но дорога кончалась. В Перове я, как и решил, пересел из теплушки в электричку и так впервые приехал в Москву. Конечно, сегодня легко сказать: «приехал». Или как в «Автобиографии» для отдела кадров: «В Москву я приехал в апреле 1944 года». Все это правда, но уж очень формализованная и ясная, введенная в рамки. Когда впервые я вышел на перрон Казанского вокзала, ясным мне ничего не представлялось. У следующего перрона остановился только что прибывший поезд дальнего следования, и все выходы с этого перрона были прочно перекрыты милицией, проверялись документы. У меня документы, вероятно, были в порядке, но было приятно, что это не приходится удостоверять. Вместе со всеми я оказался на Каланчевской (тогда, естественно, Комсомольской) площади — иначе говоря, на площади «У трех вокзалов». Об этой площади я много слышал от своих симских москвичей и быстро в ней разобрался. За спиной у меня был Казанский вокзал, а передо мной рядом два других: слева — Ленинградский, чуть правей — Ярославский. Последний, в отличие от всего вокруг, имел ко мне некоторое отношение. Отсюда можно было ехать к платформе Строитель, указанной в вызове как адрес Лесотехнического института. Правда, там меня теперь, в конце учебного года, тоже не ждали. Не говоря уж о том, что учиться я тогда всерьез не собирался. Планы у меня были все те же: «идти в военную газету», до этого познакомиться с поэтами, почитать и послушать стихи и т. п. Планы эти выглядели ясно и четко, особенно издалека. Но вот я приехал. Площадь... Три вокзала... Вокруг снует множество людей, все знают, куда торопятся. А мне куда было идти? Где сегодня «преклонить главу»? Мне, для которого сейчас самое родное место — Ярославский вокзал?

Насколько я помню, сразу в Лесотехнический я тем не менее не поехал. А поехал я к своему соседу по Симу (брату тех девочек, с которыми я поделился печеньем) Зиновию Ровенскому. Он к этому времени учился в каком-то институте и собирался в армию. Все это было бы ничего, но дело в том, что у него к тому времени своей квартиры не было: то ли была разбомблена, то ли занята военным ведомством, и он сам жил у подруги своих родителей около Савеловского вокзала. Туда я и направился, расспросив дорогу. Женщина эта оказалась очень приятной, отличалась той строгой и естественной добротой, которая так обаятельна во многих русских интеллигентных женщинах. Занимала она одну комнату в коммунальной квартире. У нее в комнате уже жил Зиновий, и уложить меня просто было негде. Но в общей кухне (подчеркиваю: *общей!*) стоял какой-то старый диван. На нем меня поселили. И соседи, в основном люди простые, это терпели. Помню одну пожилую женщину, которая если и ворчала по моему поводу, то только уча уму-разуму, в смысле «как дальше жить думаешь», а не по поводу доставляемого неудобства. А неудобства я иногда доставлял большие. Однажды родители, оторвав от себя, прислали мне с оказией килограмм масла в жестяной банке. Но солнышко пригрело, и масло прогоркло. Его надо было срочно перетопить. На этом сошлись все женщины в квартире. Но они полагали, что это вполне понятное и однозначное действие. Между тем это было не так. Ибо делать это должны были мы с Зиновием Ровенским, смело взявшим на себя руководство. Сначала мы выложили масло в какую-то кастрюлю, потом поставили эту кастрюлю на огонь, почему-то оставив в ней и ложку. Видимо, мы готовились к длительной операции, ибо, проделав все это, стали беседовать о чем-то интересном. Однако минуты через две масло густо задымило и кастрюля почернела, ложка тоже. Тогда Зиновий чем-то ухватил эту черную ложку и рывком выбросил ее из кастрюли. Масло вспыхнуло. Но Зиновий и тут не растерялся и залил пожар кружкой воды. Произошел взрыв, и все заполнилось дымом. Сбежалась вся квартира. Каким-то образом тлеющие капли масла проникли через дымоход к верхним соседям. Те тоже прибежали. Пожар потушили, но было «весело». Я не знал, куда деваться от стыда, — явился в чужой дом и чуть не спалил его. За это меня и выгнать могли — а куда пойти? Оргвыводов, однако, не последовало. Я продолжал спать на том же диване. Доброты, несмотря ни на что, тогда еще было много в России. А если вспомнить об американской тете, ко-

торая отказала гостю в ночлеге потому, что в ее доме все спальни были заняты, то вокруг головы каждого жильца этой московской коммуналки сам собой загорается нимб.

Лесотехнический институт расположен был как бы в лесу, в дачном массиве по дороге от Строителя к Подлипкам — станции другой ветки, отходившей от магистрали перед Строителем, в Мытищах. Мое появление в институте в столь неурочное время вызвало некоторое удивление. Все-таки решили меня принять. Люди, с которыми я имел там дело, были интеллигентными и доброжелательными. Поскольку все равно требовалось прописаться и для этого стать на учет в военкомате, а я хоть и к нестроевой службе в тылу, но был годен, то секретарша вызвалась сходить в военкомат со мной дня через два. Но я пошел тут же. И был тут же опять мобилизован. Явиться я должен был дней через семь.

С этого и началась моя литературная биография. Несмотря на все предубеждения, я отправился в Литературный институт. Но о нем — еще успеется. Ибо некоторое время, месяцев восемь, моя литературная жизнь шла параллельно с продолжением моего прежнего бытия. Эти два моих бытия мало соприкасались между собой, но люди были и там и там, а «действительности» в этом «предыдущем» бытии было даже больше.

В назначенный день и час я явился в военкомат — «с вещами», как было указано в повестке. Не совсем выспавшийся: накануне я не уложился в комендантский час, и патрули, несмотря на повестку, протаскали меня часа два по Новослободской. Просто так — развлечения ради. Из военкомата нас — целую группу — стали отправлять на соседние заводы и авиачасти, а их было вдосталь и в Подлипках, и в Болшеве. Везде мы подолгу ждали, и везде нас потом отсылали обратно. В обслуживающий персонал авиачастей нас не зачисляли — пристойные авиачасти и без нас были укомплектованы техническим персоналом, — но и заводы в нас не очень нуждались. В конце концов меня зачислили на оружейный завод № 88 в Подлипках (будущее базовое ракетное предприятие Королева, Калининград Московской области) учеником контролера ОТК. На этом моя мобилизованность кончалась: я получил обычные паспорт и военный билет. Так, пусть отчасти и не по своей воле, я все-таки легализовался в Москве. Завершился этот процесс через восемнадцать месяцев, когда — в сентябре 1945-го — я стал полноправным студентом Литературного института. Там я впервые был на своем месте, и койка в ставшем потом легендарным его общежитии-подвале, которую я занимал, принадлежала мне по праву.

А пока моя приписанность к Москве не освобождала меня от известной ложности и двойственности положения. Ведь контролер из меня был не лучший, чем фрезеровщик. С той только разницей, что стать фрезеровщиком я действительно очень хотел, а контролером — не очень. Тем более что поездка в Москву стоила двадцать копеек и занимала максимум сорок минут, а там я окунался в жизнь, которую считал своей. Короче, из более сложного цеха меня перевели в более простой, а там чуть не отдали под суд «за прогул».

Формально прогул этот имел место: я ночевал в Москве и проспал нужную электричку. Начальник цехового ОТК, старик въедливый и самолюбивый, с самого начала меня почему-то невзлюбивший, был неумолим и велел дать делу «законный ход» — направить его в отдел кадров, чтоб тот согласно заведенному порядку передал его в суд. О том, что такой «порядок» возмутителен вообще, что он унизителен и для народа, и для страны, я тогда не думал, хотя ощущать себя крепостным было неприятно. Но возможность «попасть под суд» вселяла в меня нечто вроде мистического ужаса. Но и без «мистики» меня должны были приговорить как минимум к нескольким месяцам принудработ с вычетом двадцати пяти процентов зарплаты, а это было опасно. Дело было не в процентах, а в том, что приговор надолго и безвыходно закрепил бы меня за заводом. И неизвестно, чем бы это кончилось. Но меня спасли друзья.

Свойством быстро обрастать друзьями я обладал всегда. Друзей у меня не было только в армии, до появления там В. Огнева, и на станции Самоцветы. Тем более я успел ими обрасти здесь, на заводе, — завод был московский и люди, соответственно, тоже.

Знакомые у меня появились и в цеху — два молодых интеллигентных инженера. Потом мастер Фирсов — хороший добрый человек, в начале тридцати-

тых — студент вечернего Литинститута. Воспоминание о нем до сих пор обжигает меня стыдом, ибо это ему я по тогдашней своей несобранности до сих пор должен сто рублей. Цеховым друзьям не под силу было меня выручить — тем более работал я уже в другом цехе. Но у меня были и другие знакомства — городские, приобретенные через редакцию многотиражки, куда я почти сразу после своего поступления на завод стал носить свои поделки «на злобу дня».

Редакция состояла из редактора и литсотрудника. Литсотрудником там работала одна милая молодая интеллигентная женщина, имя которой я, к сожалению, забыл, но с которой у меня с самого начала установились доверительные отношения. Читатель, который хочет увидеть в этом завязку романа, разочаруется. Не было ни романа, ни даже тени завязки. При всей молодости, она была существенно старше меня и, как взрослая женщина, немного опекала меня — девятнадцатилетнего и бездомного. Она знала на заводе всех — и директора, и начальника отдела кадров в том числе. Но представлен я ей был не из-за ее знакомств (кто знал, что они мне понадобятся?), а просто так. Кажется, я ей что-то писал для самодеятельности. Так или иначе, личные человеческие отношения у нас установились.

Когда грянул гром, они приняли во мне участие. Втянули в это дело завком, для которого я тоже до этого что-то написал. Короче, вопрос о том, что со мной делать, почти сразу же потерял оттенок судебности и стал проблемой перевода на другое рабочее место.

И тут на сцене появляется Николай Петрович Тузов, заведовавший тогда художественной мастерской завкома, которому она была нужна для обеспечения «наглядной агитации». Это по тому времени — дело ясное. Гораздо менее ясно, каким образом во главе этого предприятия оказался Николай Петрович, по профессии преподаватель литературы, сроду, как мне кажется, ничего не рисовавший. А это уже надо было знать самого Николая Петровича. Что это по сравнению с тем, что он не моргнув глазом сообщил мне о себе, когда я встретил его через много лет! А сообщил он, что заведует кабинетом русской литературы на том же, теперь уже королёвском, ракетном предприятии. Что это значило, я и по сей день не знаю, но ясно понимал и тогда, что никакого кабинета русской литературы ни на оружейном, ни на ракетном, ни на каком-либо другом заводе, НИИ или КБ не требуется. Безусловно, многим его работникам присущ интерес к литературе, но, находясь в двадцати километрах от московских книгохранилищ, они вполне могут удовлетворять свой интерес без какой-либо помощи Николая Петровича и его кабинета. И все-таки факт остается фактом: кабинет этот существовал и Николай Петрович им заведовал. Кого-то ему удалось убедить в необходимости такого подразделения. Я смотрел на него во все глаза, как на кудесника-чародея, а он был вполне доволен произведенным впечатлением.

Совершенно понятно, что такому человеку перевести понравившегося ему юношу почти из-под суда в художественную мастерскую ничего не стоило. Назначение мое состояло в том, чтобы писать подтекстовки к карикатурам — всем нам не давали покоя «Окна РОСТА» Маяковского. Как это происходило, я уже плохо помню. Побывали мы и у начальника отдела кадров, капитана МГБ Ивашкина, — МГБ, а не КГБ потому, что тогда ГБ было министерством, а не комитетом. Своей принадлежности к ГБ капитан не скрывал: он был в форме. Тогда нахождение представителя этого ведомства на таком посту казалось мне естественным: шла война, а завод был оружейным. Я и теперь думаю, что такие места должны — особенно во время войны — находиться под охраной спецслужб. Другое дело, насколько тогдашнее ГБ, привыкшее формировать «врагов» из фанатичных сторонников режима и мирных обывателей, было способно противостоять реальной враждебной воле. Но сам Ивашкин оказался довольно живым, умным и даже проницательным человеком. Он сразу угадал во мне «своего» — не своего сотрудника, конечно, а одного из тех, кем эти сотрудники занимаются.

Не помню, в этот раз или когда я пришел увольняться, он добродушно заметил:

— Тебя, Мандель, в спецукупорку надо. Смотри, попадешь...

Что такое «спецукупорка», я, конечно, не знал и спросил, но он ухмыльнулся и не ответил. Не помню, с чем был связан этот разговор, может, с какими-то моими стихами, конечно, не крамольными, но и не казенными, кото-

рые я по какой-то причине или по чьей-то просьбе прочел, может, с каким-то моим замечанием такого же характера, но с чем-то, в чем он уловил самостоятельность. Нет, он вовсе мне этого не желал, это была шутка. Но шутка, основанная на ассоциации. Таких и «укупоривали».

Куда? Во что? Я и теперь неточно знаю, что это такое было — «спецукупорка». Но, видимо, что-то очень плохое. Или лагеря смертников, или баржи, которые до отказа набивали людьми и топили в море. А может быть, в «своей среде» так шутейно именовались лагеря? Не похоже. Звучало как рабочий термин.

Но шутки шутками, ведомство ведомством — а жизнь жизнью. Этому капитану я могу быть только благодарен. Ничего дурного он мне не сделал, а хорошее сделал: не дал ходу судебным поползновениям вредного старика, а потом, когда пришло время, безо всяких отпустил меня на учебу — тогда это было немало, очень немало.

А пока меня оформили маляром в деревообделочный цех, начальник которого, очень милый и простой человек, был приятелем Николая Петровича и прикомандирован к художественной мастерской.

Помещалась мастерская, которую возглавлял Тузов, в одной из комнат галереи, тянувшейся вторым этажом вдоль стен громадного цеха или, точнее, комплекса механических цехов. В этой пропахшей красками комнате над непрерывно гудящими цехами я проработал, вернее, прожил (ибо тут же и ночевал) несколько месяцев. У меня было место в общежитии, но здесь мне было лучше: по вечерам эта комната вся принадлежала мне. Обязанности мои были неопределенными. Что касается подтекстовок, из-за которых я тут якобы стал необходим, то хорошо, если я их написал два раза за все время. И еще кое-чего писал для цеховых художников, которые тоже каким-то образом относились к нам и подчинялись Николаю Петровичу. В основном же я практически был подсобником: бегал за красками, приносил холсты, иногда их грунтовал. Говорят, последнее требует квалификации, но для нашей продукции хватало и моей.

В мои обязанности иногда входило и водружение нашей «наглядной агитации» на отведенные для нее места. Однажды я должен был водрузить громадное панно над зданием проходной. Я взобрался на крышу. Николай Петрович и предзавкома снизу корректировали: «Чуть ниже», «Чуть выше», а я вместе с кем-то возился наверху. Потом я — не помню почему, но это нужно было для дела, для быстроты: кажется, что-то у нас свалилось туда, — спустился вниз, на внезаводскую сторону. Оказалось, что тем самым я создал ЧП в отделе охраны оборонного завода! Дело в том, что пропуска находились у их хозяев только на территории завода. Уходя, рабочие оставляли их на проходной, а приходя, называли то ли фамилию, то ли номер и получали свой пропуск. Порядок этот строго соблюдался и никем не нарушался. Если человек выходил и возвращался несколько раз в день (у меня тоже было такое право), то он проделывал эту операцию несколько раз. И вдруг появился я извне, но с пропуском в руках.

— Откуда у тебя пропуск? Как ты вынес его с завода? Как сам вышел?

— Да по крыше, — отвечал я беспечно, зная, что охрана предупреждена о нашей операции — без этого никто бы нам не дал разгуливать по крыше проходной. Но, оказывается, это означало только, что нас не надо сгонять с крыши и арестовывать, а не то, что можно выходить с завода, минуя проходную. Перепуг был большой, хотя в моем «переходе границы» не было никакого недосмотра охраны или ущерба военным тайнам. Все знали, чем я занимался и как оказался снаружи. Но было нарушено некое мистическое табу. По тем временам это дело и раздуть можно было. Но ограничились тем, что потребовали письменного объяснения. Его подтвердили предзавкома и Тузов — и дело закрылось. Вопреки распространенному убеждению, в России не так уж много было людей, которым было бы приятно кого-либо губить.

Коллектив у нас был дружный. Состоял он из освобожденных военнопленных, живших в «проверочном» лагере при заводе, и двух или трех глухонемых — они-то и работали цеховыми художниками. На заводе вообще на разных работах была занята целая группа глухонемых со своим руководителем-переводчиком. Впрочем, со «своими» Николай Петрович ухитрялся объясняться без переводчика и даже успешно острил на разные — в том числе и на игривые — темы. Все смеялись.

Что касается военнопленных, все выглядело не столь естественно. Жили они рядом с заводом, в лагере. На работу и с работы, в лагерь и из лагеря их водили под конвоем. После работы они всегда спешили: на место сбора должны были успеть к определенному времени. Теоретически я считал, что бдительность необходима: мало ли кого могли немцы оставить отступая. Но моя «государственная подозрительность» не распространялась на ближних — на тех, кого я знал и с кем работал.

Но сегодня, узнав многие неизвестные тогда ни мне, ни им обстоятельства этой войны и ее первого дня, я стыжусь даже абстрактного признания права государства на эту проверку. Помимо всего прочего, она производилась от имени тех, чьи тупость или беспринципность поставили этих ребят в безвыходное положение, загнали в плен. Да и кроме того, кто был в состоянии осуществлять такую проверку? Каким образом? Собирать доносы этих пленных друг на друга, стимулировать наушничанье? Это и применялось. Именно поэтому ребята, работавшие со мной, не очень-то много рассказывали о пережитом за линией фронта. Впрочем, вождь любил, чтобы люди «его» народа не доверяли друг другу.

А жизнь и в плену выкидывала фортели. В гости к «нашим» пленным заходили к нам в мастерскую их товарищи, среди них даже один еврей. Почему-то немцы еврея в нем не узнали и зачислили его на вспомогательную службу. Он был назначен подручным повара при какой-то немецкой части. Естественно, все время боялся и хотел перебежать. Повар, при котором он состоял, тоже не знал, с кем имеет дело, но откровенничал насчет того, что эта проклятая война нужна только Гитлеру и Сталину — пусть и воюют, а таким, как мы с тобой, простым людям она ни к чему. Но мой приятель, видимо, от страха перестарался. Через год ему за беспорочную службу был предоставлен законный отпуск. Он должен был съездить в родной донбасский городок, где его знала каждая собака, что никак не входило в его планы... Но немецкий порядок действовал неукоснительно — пришлось изобразить радость и ехать. Начальник-повар его поздравил, хорошо снарядил и, тепло напутствовав, отпустил. Беда была в том, что обмануть, миновать свой городок он никак не мог: надо было именно там закомпостировать обратный билет. В родном городке он провел один день, может быть, самый опасный в его жизни, и вечером отбыл обратно, стараясь ехать как можно дальше. Перебежал он где-то на Курской дуге, когда началось наше наступление. На его горе, в части, куда он перебежал, оба — командир и комиссар — были евреи. Они от возмущения просто не хотели с ним разговаривать: еврей, а в немецкой форме! Но все же он был перебежчик, и его отправили дальше по команде — проверять, не стали сочувствовать Гитлеру.

Для тех, кто работал в нашей мастерской и кто к ним заходил, «проверка» эта, к счастью, кончилась благополучно. Все они были освобождены еще на моей памяти. Только все ли надолго? Людей их судьбы (из других проверочных лагерей) я потом не раз встречал на Лубянке и пересылках.

Но одного из них, в прошлом театрального актера, так и оставшегося заводским «художником», я встречал в Москве и потом. У него была глупая привычка стращать меня рассказами, как мной интересуется ГБ. Это было странно, ибо встречал я его редко и случайно, и если МГБ временами мной интересовалось, то явно не через него. Зачем это ему было нужно, я понять не мог никогда. Стукачом он явно не был, да стукачи так себя и не ведут. Доставить себе удовольствие моим испугом он тоже не мог: я не верил ему и не пугался. И тем не менее каждый раз, встретив меня (с интервалом в год, два и больше), он все так же отводил меня в сторону и с неизменной театральностью сообщал новые сведения на этот счет. Дескать, не хочешь — не верь, но учти! Учитывать-то я учитывал, но не в связи с его сообщениями. Если бы не плен и не проверки, перевернувшие его жизнь, его актерские способности нашли бы, вероятно, лучшее применение.

К сожалению, многого о себе в связи с городом Калининградом Московской области я вспомнить не могу, ибо жил я Москвой, а здесь только отбывал некий никому не нужный срок. Да и путаное было у меня тогда все: психология, идеология. Без особых трудностей я ушел со своего ответственного поста обратно в «свой» Лесотехнический институт. Это стало возможным потому, что студенты, принятые на факультет МОД (механической обработки



древесины), в этом последнем военном году начали обеспечиваться бронью. Я отнюдь не был уверен, что стану инженером, но моральных мук по поводу обретения таким образом брони не испытывал. На этот раз я точно знал, что уклоняюсь не от фронта, а от новой никому не нужной мороки. Кончалась моя физическая зависимость от предприятия, где мне нечего было делать. Теперь уже никто не мог отдать меня под суд за случайное нарушение трудовой дисциплины, вызванное тем, что я просто не в силах был пропустить какой-либо важный для меня разговор или мероприятие, а таких тогда в Москве было много.

Впрочем, я не так уж убежден, что планировал манкировать Лесотехническим институтом. Во мне тогда жила мечта о материальной независимости от литературы, ибо я не надеялся, что написанное мной будет когда-либо напечатано. В этих условиях овладение нейтральной лесной профессией было достаточно заманчиво. Временами я даже пытался посещать занятия. Был на нескольких лекциях по математике. Но посещения мои были нерегулярны: я не мог противостоять стихии собственной жизни и рядом расположенной Москве — меня тянуло в другую сторону. А это не способствовало прилежанию.

Теперь мне иногда не по себе оттого, что, в сущности, я несколько своевольно обращался с государственными средствами. Не мог же я не понимать, что и институт, и общежитие стоили, как говорится, народных денег. А я ведь еще и стипендию полгода получал, мизерную, но все же получал. Все это в расчете на отдачу в будущем. А ведь я довольно скоро понял, что той отдачи, которой от меня ждут, не будет. Но не по себе от этого мне бывает только теперь — после опыта жизни среди западных налогоплательщиков. Тогда это меня несколько не беспокоило. Прежде всего я свято верил, что отдача — пусть не эта, а другая — все же от меня обязательно будет. Другими словами, то, чем я хотел заниматься, безусловно, имело в моих глазах общественную ценность. А при социалистическом отношении к собственности, поскольку хозяйство у нас единое, не все ли равно, из какой кассы я получаю возможность удержаться на плаву и принести пользу обществу. Конечно, я так тогда не формулировал, но явно из этого исходил. И, наверно, в чем-то был прав.

Впрочем, помогала мне мириться с несоответствиями моего положения и некоторая богеменность духа, которой я считал своим долгом предаваться — вопреки моим естественным склонностям. Согласно моему тогдашнему моральному кодексу, поэты вообще имеют право на многое. Иногда, несколько утрируя свое соответствие необходимой, по моим тогдашним представлениям, бесшабашности поэтической природы, я даже определял себя так:

Прохожу неровной лентой,  
Изрыгаю рев и мат,  
А хорошие студенты  
Изучают сопромат.

Бесшабашности — подлинной и приобретенной — у меня тогда хватало. Вряд ли образ, стоящий за этими строками, точно соответствовал моему внутреннему облику. О внешнем я не говорю, но он достигался не потому, что я к этому стремился. И «неровной лентой», что значит — «надравшись», проходил я крайне редко, да и не по улице. У меня на это не было денег, да и потребности не испытывал. Кроме того, вряд ли я думал всерьез, что духовно превосхожу «толковых студентов» тем, что не учу сопромат. Но вовсе от такой гордыни, связанной с профессией, воспринятой как призвание, я свободен не был.

Что греха таить, этому предавался. Но как-то абстрактно — пока не сталкивался с живыми людьми. Стремлением чувствовать себя обязательно выше всех встречных-поперечных я не страдал никогда. И со студентами, которые жили со мной в общежитии, я дружил на самом деле, хотя они были людьми практических соображений — профиль института притягивал именно таких людей. Это никак не означает отворачивания от всего высокого. Конечно, если не сводить это высокое к интимному постижению литературы или, скажем, философии. В их практицизме и естественности были самостоятельность и достоинство. И рядом с этим естественное уважение ко всему высокому, выхо-

дившему за пределы их профессии. У меня о них остались самые теплые воспоминания.

Все они были — говорю об общежитских — из недалекой, но глубинки. Все они понимали, что жизнь — дело серьезное, что надо в ней устроиться серьезно и основательно. У некоторых и родители работали по лесному делу, были директорами лесхозов. И учились, в основном, на лесохозяйственном отделении, которое брони не давало, — были белобилетниками. Были среди них и инвалиды войны. Заходил и партизан из соединения генерала Сабурова. Жил он в Москве, но заходил и к нам.

Мне они всегда сочувствовали — вероятно, поводов для сочувствия было много. Некоторые слышали мои стихи. Все советовали держаться за институт. Точнее всех это сознавал Толя Фадеев. Приехал он откуда-то из-под Тулы. Парень был простой, крепкий и мыслил очень четко. Одну глупость, как он считал, он уже сделал: кончил Горный техникум. Теперь он, слава Богу, отрабатывал положенное под землей и больше таким дураком не будет, поскольку сам себе не враг. Короче, он решил, что отныне его жизнь будет связана только с работой на чистом воздухе.

Общие его взгляды на современность были вообще более трезвыми и непримиримыми, чем у других, в том числе и у меня. Не теоретически — в философские и идеологические дебри он вообще не забирался — а исходя из жизни и здравого смысла. Прежде всего, его раздражала всеобщая туфта.

Помню, с каким сарказмом рассказывал он о своем зяте, начальнике райотдела МГБ. Занимался тот не уважаемой Толей деятельностью, но жил себе да поживал, охранял тыл и на фронт не рвался. Но заело дурака, что у него фамилия неблагозвучная (особенно в связи с должностью) — Дубинкин. Попросил заменить на Дубровский — показалось красиво. Заменили. И тут же забрали в Войско Польское — туда как раз тогда шел набор<sup>3</sup>.

Я уже не помню, что именно Толя рассказывал. Но всегда нечто нелепое, возмущающее разум и тем не менее торжествующее в жизни. И выводы делал вполне четкие. Он — мыслил. К сожалению, советская интеллигенция — я говорю о самых лучших и честных представителях поколения Симонова и молодежи, — полагавшая, что смотрит на жизнь «глубже» и «диалектичней», утратила связь с такими людьми, а через них — и со здравым смыслом. Эта связь очень медленно начала восстанавливаться во время и после войны. Когда наступила перестройка и интеллигенция, перестав быть социалистической, обрела некоторую общественную активность, она все равно не перестала решать политические вопросы как идеологические. Я вовсе не хочу этим отречься от нее, сказать, что в стране сейчас есть другие силы, более конструктивные, чем она, — их нет. Но я хочу сказать, что здравый смысл как был у нее в загоне, так и остается.

Однако вернемся к прерванному рассказу. Мне Толя очень сочувствовал: все же я был очень не устроен и несло меня неизвестно куда. Не думаю, что он много думал о поэзии или о моих стихах, — у него были другие интересы. Но одно он понимал ясно: я пишу то, что думаю. А что это дело по нашему времени абсолютно гиблое, он знал и до встречи со мной. Но он не отговаривал меня так писать — наоборот. Только принимать меры предосторожности.

— Не дури, Наум!.. — увещевал он меня своим затрудненным, сдавленным голосом. — Держись за институт! Кончишь — будешь работать в лесу, далеко от всего этого, и пиши себе что хочешь. А то ведь пропадешь — убьют! Разве они правду потерпят? Это ж бандиты...

Высокий, худощавый, жилистый, крепкий, он весь при этом светился добротой и заботливостью. Он ведь и впрямь был старше и опытней. Но в то же время говорил он это вслух, при ребятах и девушках, и чувствовал себя при этом в полной безопасности. И, сколько я знаю, ему это сходило с рук. На что рассчитывал? На свой жизненный опыт и знание людей? Не знаю. Но он не ошибся. Вероятно, слова его воспринимались остальными как разумный дружеский совет в разговоре о жизни, а не о политике. Никаких политических

<sup>3</sup> Войско Польское формировалось на территории СССР в качестве фиктивного противовеса ушедшей через Иран на Запад армии генерала Андерса. Ввиду недостатка подлинных поляков заполнялась советскими поляками, не совсем поляками и совсем не поляками. Такими вот «Дубровскими». Однако воевать ей пришлось на самом деле.

задач не ставил перед собой и Толя, справедливо полагая, что не его это дело и что плетью обуха не перешибешь.

Тоталитаризм не оставлял убежищ. Лесное хозяйство тоже не избежало пристального внимания родной партии. Оно оказалось в центре целых двух шумных политических кампаний: лесопосадочной и общебиологической. Не знаю, насколько разумна была сама идея лесополос (с биологическими «дискуссиями», полагаю, все ясно и без меня), но оказаться под руководящим воздействием всеобъемлющей некомпетентности центральных и региональных идеологических руководителей Толе, видимо, все-таки пришлось. И хоть к тому времени я его потерял из виду, уверен, что ему это было очень неприятно. Но что лес может оказаться в центре идеологической кампании, нам тогда в голову прийти не могло...

Мое пребывание в Строителе подходило к концу. Разумеется, произошло это не сразу. Я еще даже продолжал посещать институт.

Но именно в это время не здесь, а в Москве надо мной по-настоящему сгущались тучи, а потом странным образом разрядились, что на первых порах даже выручило меня. Но это уже другая тема.

А пока я продолжал жить в общежитии. И даже после того, как совершенно справедливо (не сдал экзаменов) был исключен из состава студентов и лишился в нем места, жил у ребят. Когда же жить в общежитии стало невозможно, я несколько раз ночевал в котельной института — приезжал ночью, приходил и ночевал, и кочегары, спасибо им, меня не прогоняли. Все это мелочи, но без таких мелочей — а их тогда было много в моей жизни — я бы погиб. Спасибо всем, кто помог мне выжить тогда.



*В роковые кризисные моменты истории Россия «вдруг» вспоминает о своем евразийстве. И тогда даже петербургские европейцы бьют себя кулаком в грудь: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы!»*

*«Скифы» Блока — гимн евразийства, написанный до оформления его в цельное идеологическое течение. И это не удивительно: евразийство не исчерпывается известной эмигрантской доктриной — как актуальное умонастроение оно существовало и до нее, и вне ее рамок, и после отмирания большинства ее постулатов. Существует и посегодняя — в гремучем конгломерате идей посттоталитарной России.*

*...Казалось бы, простой натуральный факт географии нашей родины приобретает в евразийстве напряженное идеологическое значение. Эта срединная идеология между славянофильством и западничеством впитала в себя как некоторые достоинства, так и, увы, пороки этих мировоззренческих полюсов. Сама промежуточность положения евразийства делает его уязвимым по отношению к коммунистическому и националистическому соблазнам.*

*Но при всех крайностях и изъянах евразийство ценно уж тем, что заставляет пристальней вглядываться в национальную своеобразность исторического развития.*

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ



## ЕВРАЗИЙСКАЯ МИСТЕРИЯ

Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями.

*Владимир Набоков, «Дар».*

**К**ак существуют «роковые события», так существуют и «роковые темы». Европа — роковой континент для России, Европа — роковая тема отечественной историософии: трудно отыскать русского мыслителя, у которого отсутствовало бы сочинение на эту сакраментальную тему. «Россия и Европа» — словосочетание из двенадцати букв, скрепленное союзом «и», за более чем двести лет своего литературно-философского существования превратилось в нечто особое, самостоятельное, в метафизическую дихотомию, подобную «свободе и необходимости», «причине и следствию», заняв почетное место в пантеоне парных философских категорий<sup>1</sup>. Но сегодня, похоже, «роковая тема» во многом исчерпала себя: открывая очередной текст, уже заранее зна-

---

Журнальный вариант.

<sup>1</sup> Помимо фундаментальной «Россия и Европы» Н. Я. Данилевского статьи с таким же названием можно обнаружить у Герцена, Вл. Соловьева, Н. Бердяева (в книге «Судьба России»), Л. Карсавина («Европа и Россия. Наброски евразийской идеологии»). Далее следует назвать лишь известные работы, свидетельствующие о навязчивой повторяемости этой темы: И. Киреевский, «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России»; К. Кавелин, «Философия и наука в Европе и у нас»; Ф. Тютчев, «Россия и Запад»; К. Леонтьев, «Византизм, Россия и славянство»; С. Ф. Платонов, «Москва и Запад...»; Н. Бердяев, «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы»; Л. Карсавин, «Восток, Запад и русская идея»; В. Зеньковский, «Русские мыслители и Европа...»; Г. Федотов, «Россия, Европа и мы»; В. Вейдле, «Россия и Запад» и т. д. Кроме того, от «Философических писем» Чаадаева до итоговой книги Г. Адамовича «Комментарии» эта же тема является основной в огромном количестве историософских работ, хотя она и не вынесена в заглавие.

ешь, что там прочтешь. Все аргументы «славянофилов» против «западников», «космополитов» против «почвенников», «правых» против «левых», «центрис-тов» против тех или иных «радикалов» известны наперед.

Парадокс русской интеллектуальной истории состоит в том, что, хотя Азия была рядом и являлась частью Империи, тема «Россия и Восток» русскую мысль мало интересовала и трактаты об этом не писались. Более того, образованная Россия всегда скрыто или откровенно стыдилась Азии, как стесняются перед авторитетными и просвещенными гостями бедного, некультурного и непредсказуемого родственника, когда он некстати появляется в гостиной и может нарушить правила хорошего тона и учинить скандал. В обыденной речи слово «азиатчина» было и до сих пор остается бранным, тогда как аналогичное — «европейничанье» — при всех стараниях почвенников и славянофилов в таком качестве не привилось. Отсюда постоянное самополагание и самоопределение исключительно по отношению к Западной Европе (что характерно не только для западников, но и для славянофилов).

### Наказ «быть европейцем» и «враг с Востока»

Россия есть страна европейская...

*Из «Наказа...» Екатерины II.*

Если для народного сознания Азия — это всегда угроза, насилие, кочевники, то для интеллигентского — это пассивность, непросвещенность, покорность, рабство, и наконец, в метафизическом смысле Азия — это небытие, нирвана, смерть... В пушкинскую эпоху для русской аристократии, полностью ориентированной на Западную Европу, Азия была еще неким единым целым, противостоящим как России, так и Западу, — естественно, прилагательное «азиатский» имело однозначно негативный оттенок. В работе «Пушкин об отношениях между Россией и Европой» С. Л. Франк так характеризует восприятие поэтом Востока: «Уже в самых ранних его письмах у него есть излюбленное противопоставление (в отношении явлений русской жизни) «азиатского» начала — «европейскому», как низшего высшему. Переселившись из Кишинева в Одессу, он пишет Александру Тургеневу: «Надобно, подобно мне, провести три года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и невольного европейского воздуха» (1823). Шутя он называет Россию «родной Турцией» и Петербург «северным Стамбулом». Когда находится щедрый издатель для его «Евгения Онегина», он пишет: «Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов». Восхваляя статьи князя Вяземского, он называет их «европейскими»; находя пестроту внешнего украшения книги «безобразной», он прибавляет, что она «напоминает Азию»<sup>2</sup>.

В дальнейшем это восприятие становится более дифференцированным: для описания «азиатских настроений» широкое распространение получает выражение «буддизм» («буддийский») в качестве своеобразной отрицательной метафоры. У молодого Герцена есть работа «Буддизм в науке», где соответствующая метафора, возможно, впервые применяется на практике и вводится в интеллектуальный оборот. Под «буддизмом» здесь понимается основанное на гегелевской метафизике всеобщего знаменитое «примирение с действительностью». «Русский буддист», по Герцену, — это человек, поднявшийся по ступенькам гегелевской логики на вершину «абсолютного духа», своеобразный «метафизический Обломов», утративший волевое, пассионарное начало, способность к выбору и принимающий мир таким, как он есть: «Буддисты науки, так или сяк поднявшись в сферу всеобщего, из нее не выходят. Их калачом не заманишь в мир действительности и жизни...» Но русского интеллигента, всегда находящегося в оппозиции к существующему status quo, именно это и возмущает более всего — ему «мало примирения; ему мало блаженства спокойного созерцания и видения, ему хочется полноты упоения и страданий жизни, ему хочется действия, ибо одно действие может вполне удовлетворить человека»<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Франк С. Л. Этюды о Пушкине. Мюнхен. 1957, стр. 95.

<sup>3</sup> Герцен А. И. Буддизм в науке. — Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2. М. 1955, стр. 70.

Начиная с Герцена, обличение «буддийско-азиатских» опасностей становится важной темой радикальной общественной мысли и публицистики. Уже в двадцатом столетии «пассионарий» Максим Горький, исповедовавший философию «динамического активизма», благоговевший перед европейским просвещением, цитирует в очерке о Блоке не понравившееся ему высказывание и заключает: «Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль». При чтении многочисленных текстов подобного рода создается впечатление, что полупросвещенной русской интеллигенции Азия по преимуществу представлялась неподвижным, застывшим континентом, где царит унылый «буддизм» и живут брамины, занимающиеся созерцанием собственных «пупков». И даже люди иного типа, как Владимир Соловьев, вопреки своему интуитивному универсализму в конце концов тоже оказывались в плену подобных представлений. Мистический страх Соловьева перед «панмонголизмом», «буддизмом» и «туранством» постепенно нарастал и в конце жизни вылился в апокалиптические предчувствия. В пространной статье «Буддийское настроение в поэзии» — речь идет о поэзии А. Голенищева-Кутузова — Соловьев использует «буддизм» в сходном смысле и обнаруживает в русском поэте «отрицательный буддийский взгляд на мир». Он заключается в том, что все существующее действует на поэта «своею отрицательною стороною. Жизнь (согласно этому взгляду. — П. К.) есть бессмысленная тоска, от которой чужая нам Европа находит развлечение в ненужном шуме так называемых вопросов, а более близкая Азия — в гашише; в самой России царит ничем не одолимая, лишь мгновенно прерываемая ужасами войны скука...»<sup>4</sup>. Однако в заметке «Враг с Востока» Азия превращается уже в настоящее чудовище, вызывающее у Соловьева почти мистический страх: «Есть основания думать, что дальняя Азия, столько раз выславшая опустошительные полчища своих кочевников на христианский мир, готовится в последний раз против него выступить с совершенно другой стороны: она собирается одолеть нас своими культурными и духовными силами, сосредоточенными в китайском государстве и буддийской религии»<sup>5</sup>. Но эта работа посвящена еще одной совершенно неожиданной «азиатской угрозе», которая чудится философу, — иссушению русской почвы и превращению России в «азиатскую пустыню». Соловьев специально рассматривает в этой работе состояние российских почв и пути их спасения от еще одного «врага с Востока» — засухи и обезвоживания. Вывод данной работы удивителен: «На нас надвигается Средняя Азия стихийною силою своей пустыни, дышит на нас иссушающими восточными ветрами, которые, не встречая никакого препятствия в вырубленных лесах, доносят вихри песку до самого Киева»<sup>6</sup>. «Пустыня» в контексте всего творчества Владимира Соловьева может быть истолкована как метафора все той же угрожающей «азиатской энтропии».

«Угроза с Востока» не давала Соловьеву покоя во всех отношениях — и он посвящает этой теме специальное исследование, основываясь на книге русского синоведа С. Георгиевского «Принципы жизни Китая». В 1890 году журнал «Русское обозрение» в трех номерах публикует пространный трактат философа под названием «Китай и Европа», где религия, культура и государственное устройство «срединного царства» подвергаются тщательному и пристрастному анализу. Действительно ли культура и цивилизация Китая таит в себе угрозу христианской Европе, а следовательно, и России? Текст создателя «метафизики всеединства» говорит сам за себя: «Наши антипатии и опасения может возбуждать не сам китайский народ с его своеобразным характером, а только то, что разобщает этот народ с прочим человечеством, что делает его жизненный строй исключительным и в этой исключительности ложным. Внешняя победа европейской культуры над Китаем может быть прочною и желательною лишь под условием внутреннего преодоления к и т а й щ и н ы, то есть того исторического начала, на котором основан ограниченный и исключительный строй китайской жизни»<sup>7</sup>. Согласно «метафизике всеединства», любое «отвлеченное начало», имеющее собственный онтологический статус и самостоятельное бытие, отторгнутое от целого, является не только неполным, но и по

<sup>4</sup> Соловьев В. С. Литературная критика. М. 1990, стр. 94.

<sup>5</sup> Соловьев В. С. Соч. в 2-х томах, т. 2. М. 1989, стр. 432.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> «Русское обозрение», 1890, т. I, стр. 677.

существо ложным. В этом смысле, согласно Соловьеву, любой замкнутый этнос с особенным, совершенно исключительным «жизненным строем» имеет — как сказали бы экзистенциалисты — «неподлинное бытие» и представляет собой угрозу всеединству и вселенской теократии.

Китай, по Соловьеву, — это страна, где господствует культ предков «как общий принцип китайской жизни», где прошлое имеет абсолютное значение, доходящее до «обогащения мертвых», где историческое время течет вспять, где древнее, архаическое весомее, нежели настоящее и будущее. В этом отношении Китай не просто противоположен, он враждебен христианской Европе, враждебен «истинному христианскому прогрессу» (его принципы изложены в наделавшем в свое время много шуму докладе Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания»), и столкновение между Китаем, с одной стороны, и Россией и Европой — с другой, практически неизбежно: «Абсолютная пустота или безразличие, как умозрительный принцип, и отрицание жизни, знания и прогресса, как необходимый практический вывод, — вот сущность китаизма, возведенного в исключительную и последовательную систему»<sup>8</sup>.

И наконец, предсмертная эсхатология Владимира Соловьева, выраженная в «Краткой повести об антихристе», завершается заметкой «По поводу последних событий». В этих последних строках, вышедших из-под пера русского мыслителя, предсказывается конец всемирной истории, надвигающийся опять-таки с Востока: «китайское государство» и «буддизм» подавляют динамику исторического процесса, история умирает, завершаясь нирваной, энтропией, всесмешением. Однако поводом для эсхатологических пророчеств Владимира Соловьева — напоминающих нынешние разговоры о «конце истории» — оказывается почти забытое, с точки зрения «всемирной истории», событие — «боксерское восстание» в Китае. Именно в нем почудился философу глухой рокот «последних событий»: «Что современное человечество есть больной старик и всемирная история внутренне кончилась — это была любимая мысль моего отца, и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: «Да в том-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы отыщешь?..» А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., мой отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние... Какое яркое подтверждение своему продуманному и проверенному взгляду нашел бы покойный историк теперь, когда вместо воображаемых новых, молодых народов неожиданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого деньми китайца и конец истории сошелся с ее началом!»<sup>9</sup>

Интуиция и здесь не покидает Соловьева: понимая, что любые пророчества «о последнем» всегда вызывают естественное недоверие, он скрывается за авторитетом своего отца — Сергея Соловьева — и выносит летальный приговор Клио устами знаменитого историка. И речь здесь идет не о христианском апокалипсисе, а именно о медленном умирании, энтропийном затухании многотысячелетнего процесса: «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно»<sup>10</sup>.

Эта эсхатология с отчетливым «азиатским привкусом» оказала сильное воздействие на русскую культуру начала XX века. Она звучит у Александра Блока, отдал ей дань и Андрей Белый — достаточно вспомнить угрожающее «туранство» в романе «Петербург». Неожиданное продолжение «азиатская эсхатология» получает у Мережковского, правда в несколько иной интерпретации. Главная метафора Мережковского не «буддизм», а «Китай». «Серединное царство» находит у автора «Грядущего Хама» абсолютно буквальное толкова-

<sup>8</sup> «Русское обозрение», 1890, т. I, стр. 677.

<sup>9</sup> Соловьев В. С. Смысл любви. Избранные произведения. М. 1991, стр. 431.

<sup>10</sup> Там же, стр. 432.

ние — как «царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства» (?!). Это мир, где «все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность». В соответствии с ходячими представлениями своего времени даосизм и конфуцианство почему-то отождествляются с западноевропейским позитивизмом: «Духовная основа Китая, учение Лао-Цзы и Конфуция — совершенный позитивизм, религия без Бога, религия земная, безнебесная»... Никаких тайн, никаких углублений и порываний к «мирам иным». Поэтому Китай — главная угроза Европе, России, мировой истории, но не внешняя, а внутренняя — духовная. «Вот где главная «желтая опасность», — не извне, а внутри, — намекает Мережковский на эсхатологию Соловьева, — не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай». «Лица у нас еще белые; но под белую кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сукровицу, — пугает русских и европейцев Мережковский, — разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться». Иными словами, Китай, как «царство усредненности», — это победа энтропии, завершающаяся скучным «всечеловеческим муравейником»<sup>11</sup>. Как это разительно противоположно тому, что будут говорить евразийцы всего лишь пятнадцать лет спустя!

Так, десятилетие за десятилетием в сознании отечественной интеллигенции складывалась своеобразная «мифология Востока», в которой все богатство восточных религий и культур сливалось в некое единое недифференцированное «азиатское чудовище», порождавшее на российских просторах определенную востокофобию. В этой «мифологии» можно выделить по крайней мере четыре грани. Во-первых, традиционный образ Азии как грозного хаоса, «панмонголизма», татарской орды, несущей смерть и разрушение. Во-вторых, образ Востока, уместающийся в формулу «китайская государственность и буддийская религия», которая включает в себя восточный деспотизм, этатизм, созерцательность, пассивность, неподвижность, мироотрицание, квиетизм и т. д. Третий образ, часто сливающийся со вторым, — Восток как тотальная энтропия, как вечная угроза динамике мировой истории, «срединный мир», «царство абсолютного мещанства» в противоположность динамичной и хотя бы в прошлом одухотворенной Европе (сюда же можно отнести и образ «азиатской пустыни» Владимира Соловьева как метафоры энтропии). Последняя, четвертая, грань — Восток как «царство архаики», «седой древности», традиции, что для просвещенческого сознания, в плену которого долгое время находилась образованная Россия, тождественно царству «варварства», «дикости», «косности» и т. п.

### Европейский плен

Мы живем на востоке Европы — это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока — своя история, не имеющая ничего общего с нашей.

*Петр Чаадаев, «Апология сумасшедшего».*

Были ли исключения, был ли другой взгляд на Восток? Да, разумеется, но, как правило, они наталкивались на стену непонимания<sup>12</sup>. Некоторый интерес

<sup>11</sup> Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. XIV. М. 1914, стр. 8, 10, 11.

<sup>12</sup> Показательна в этом отношении судьба крупнейшего русского синоведа, о. Иакинфа (Бичурина), пытавшегося объяснить, что Китай — это не только «косность» и «застой», но и древняя великая цивилизация. В лучшем случае многочисленные работы о. Иакинфа о «срединном царстве» удостоивались снисходительной похвалы, но в целом в глазах общественного мнения этот монах оставался странным чудачком, увлеченным восточной экзотикой. «Властители дум» того времени видели в его книгах лишь то, что хотели увидеть. В качестве примера можно привести отклик В. Г. Белинского на его работу «Китай в гражданском и нравственном отношении» (СПб. 1848). «Отец русской интеллигенции» в духе времени не жалеет ярких красок: «Исчисление родов китайских преступлений даже у почтенного отца Иакинфа хоть кого приведет в ужас... Все это свидетельствует о нравственности народа. Лицемерие, лукавство, ложь, притворство, унижение — натура китайца. И как быть иначе там, где церемония поглощает всю духовную жизнь народа... Вся жизнь китайца словно пленками связана церемониями. Становиться на колени и бить поклоны — это его священ-



к индийской философии обнаруживается у Чаадаева: в седьмом «Философическом письме» говорится о положительном влиянии «идей Индии» на развитие философии, позднее этот интерес усиливается. Правда, не приходится удивляться, что Индия являет свои идеи «басманному философу» непосредственно из Парижа. От своего знакомого, барона д'Экштейна, Чаадаев получает его статью о Катха-упанишаде и в ответ посылает ему письмо, где выражает свои взгляды на философию индусов. Чаадаев был буквально одержим «всемогущим принципом единства», которого он не находил в своем отечестве, поэтому в индийской мысли его, естественно, привлекал ее ярко выраженный монизм. В письме к барону д'Экштейну Чаадаев говорит о «великом синтезе, рожденном мыслью (нашего) времени», который «нас учит, что источник всех человеческих знаний — один, что отправная точка для всех человеческих семей едина; что развитие их пошло разными путями по их собственному усмотрению, но между ними всеми обязательно существует точка соприкосновения». И далее: «Две вещи, больше всего поразившие меня в философии индусов, я нашел в Вашей поэме (Катха-упанишаде). Во-первых... что все заветы, все обряды, вся суровая гигиена души, за которую так ратуют их книги, — все это направлено только на обретение знания... Во-вторых, стремление этой философии упразднить идею времени». Но в дальнейшем интерес Чаадаева к индийской мысли развития не получил<sup>13</sup>.

Вопреки широко распространенному мнению, у евразийцев в строгом смысле практически не было серьезных предшественников в России. «Исход к Востоку» в национальном сознании восемнадцатого или девятнадцатого столетия так же трудно представим, как, скажем, «исход в Африку». Славянофилы и почвенники (исключая, пожалуй, лишь Н. Я. Данилевского и К. Леонтьева), критикуя Запад, говорили лишь о «самобытности»; ни китайский, ни буддийский, ни мусульманский Восток не были ни образцом, ни хотя бы союзником, каким для большинства была Западная Европа. Отношение славянофилов к Азии было совершенно европейским: как только «критики европейской культуры» обращали свой взгляд на Восток, они оказывались в плену традиционного европоцентризма. Восток в представлении славянофилов не простирался дальше Урала — вот как его определял Юрий Самарин: «Это значит: не Китай, не Исламизм, не Татары, а мир Славяно-Православный, нам единоплеменный и единоверный... В отличие от него Запад значит: мир Романо-Германский или Католико-Протестантский»<sup>14</sup>.

Неожиданный «исход к Востоку» открывается в последнем выпуске «Дневника писателя» Достоевского (январь 1881 года), вышедшем уже после его смерти. Заметка посвящена взятию крепости Геок-Тепе в Туркмении 12 января 1881 года — она так и называется «Что такое для нас Азия?». В Достоевском внезапно обнаруживается скрытый евразиец, дословно формулирующий то, что Савицкий, Н. Трубецкой и Сувчинский «открыли» сорок лет спустя: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» Достоевский вдохновенно призывает покончить с духовной зависимостью от Европы и обратить свой взор на Восток: «И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев... а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напращивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии «спасать царей», то склонялись опять перед нею... и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою». Теперь же, говорит Достоевский, «надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы... Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не

ная обязанность... Китай — страна неподвижности; вот ключ к разгадке всего, что в нем есть загадочного, странного. Тут ничего нет проникнутого идеей государственного и народного развития: все держится на закоснелом обычае...» (Белинский В. Г. Соч. в 9-ти томах, т. 8. М. 1991, стр. 598 — 599).

<sup>13</sup> Чаадаев П. Я. Соч. в 2-х томах, т. 2. М. 1991, стр. 103 — 104.

<sup>14</sup> Самарин Ю. Сочинения, т. 1. М. 1877, стр. 98.

переставали пребывать)... очень дорого стоили нам в эти два века, и мы заплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой... и, наконец, деньгами...». Однако что же все-таки означает этот «исход к Востоку», что такое для русского писателя Азия? И тут выясняется, что борец с идолопоклонством перед Европой смотрит тем не менее на Азию все теми же глазами европейца — «колонизатора» и «империалиста». В двух главах «Дневника писателя», посвященных «азиатскому вопросу», нет даже намека на то, что Россия у Азии может чему-то научиться или хотя бы взаимодействовать с ней как с равной. В Азии возможен лишь выход той не востребованной энергии, накопившейся в глубинах России, которой русские люди не могут тут найти применение. Миссия России в Азии исключительно цивилизаторская, просветительская и колонизаторская, и никакая иная. Достоевский здесь проговаривается с удивительной непосредственностью: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы... Миссия... наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение»<sup>15</sup>.

Таким образом, было бы все же неверно утверждать, что отечественная философия и публицистика совсем игнорировали Восток, но в подавляющем большинстве случаев они оказывались в плену своих традиционных предрассудков. Так что слова Лермонтова, сказанные им А. А. Краевскому — речь здесь идет, очевидно, о мусульманском Востоке, — повисают в воздухе и не находят отклика у большинства «мыслящих соотечественников»: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского мирозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но поверь мне, там, на Востоке, — тайник богатых откровений»<sup>16</sup>. Однако учиться у Азии было некому: два идола — просвещение и цивилизация, которым поклонялось русское образованное общество, неизбежно поворачивали вектор русской истории на Запад; увидеть и почувствовать Азию могли лишь те, кто, подобно Лермонтову, был свободен от этого идолопоклонства. В свое время Восток в Европе открыли романтики, люди, разочарованные в просвещении и цивилизации. Не удивительно, что и в России увидеть Азию непредвзято могли по преимуществу люди романтического склада, как Лермонтов или — в XX веке — Александр Блок. В целом же ситуация была такой, какой ее представил Н. Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа»; именно он был едва ли не единственным русским философом, у кого «Китай» не получил уничижительной оценки. Напротив, государственное устройство, религия, культура, экономика, жизненный строй Китая оцениваются им необыкновенно высоко, как и восточные культуры в целом. В главе IV он не без иронии писал: «Запад, Европа составляют полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед; Восток, Азия — полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку... Ибо, если не Запад, так Восток; не Европа, так Азия — середины тут нет; нет Европо-Азии, Западо-Востока, и если б они и были, то среднее междуумочное положение также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения уже вред и гибель. Итак, как можно громче заявим, что наш край европейский, европейский, европейский — что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще смерти противен, что нет спасения вне прогрессивной, европейской, всечеловеческой цивилизации... Утверждать противное — зловерная ересь, обрекающая еретика если не на сожжение, то, во всяком случае, на отлучение от общества мыслящих...»<sup>17</sup> Ирония Данилевского вполне оправданна, но, естественно, она ничего не меняла по существу.

#### «Русская нирвана» и азиатское подполье

Итак, постепенно проясняется, что так отпугивало русскую мысль от Востока, что заставляло с удручающим однообразием устремлять свой взор на Запад и все глубже увязать в двусмысленной диалектике европейского

<sup>15</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 27. Л. 1984, стр. 33 — 37.

<sup>16</sup> Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. 2. М. — Л. 1936, стр. 250.

<sup>17</sup> Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. 1991, стр. 71.

просвещения. Это — страх не успеть за историей, навсегда остаться аутсайдером; страх перед засасывающей неподвижностью, внеисторическим существованием среди вязкого, душного быта, где можно веками «сидеть на стуле и смотреть вдаль» (Розанов) и где не изменяется ничего; это — страх перед властью бесконечных пространств, в которых растворяется человек, перед «русской нирваной», перед господством чистой протяженности, где время замедляется, исчезает и теряет свою силу. Когда-то свободолюбивые философы и публицисты сломали немало перьев в обличении «вечного сна» и «пуховых перин», на которых Илья Ильич Обломов проспал всемирную историю, но в наши дни все это кажется странным помутнением сознания, провинциальной болезнью роста...

Помимо страха перед «русской нирваной» в отечественной мысли звучит и смежная тема — страха перед азиатским Востоком как подпольем, скрывающим опасные и разрушительные инстинкты. Если Россию называют «подсознанием Европы», то, в свою очередь, можно утверждать, что Азия — это «подсознание России», то самое «Оно», блуждающее под «Сверх-Я», темный чулан подавленных инстинктов, источник непредсказуемости, агрессии, которая может нарушить правила поведения в любую минуту и учинить «мировой скандал».

На языке юнгианской школы Восток мог быть сочтен нашим «коллективным бессознательным», темным, архаическим подпольем, пахнущим дымом пожарищ и кочевых костров.

Примерно то же самое пытался сформулировать один из наиболее неистовых обличителей «азиатских напластований» в русской психике Максим Горький: «У нас, русских, две души: одна — от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя, убежденного в том, что «Судьба — всем делам судья», «Ты на земле, а судьба на тебе»... а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к самозащите от ядов, привитых ей, отравляющих ее силы. Это слабосилие, эта способность легко разочаровываться, быстро уставать объясняется, вероятно, нашим близким соседством с Азией, игом монголов, организацией Московского государства по типу азиатских деспотий и целым рядом подобных влияний, которые не могли не привить нам основных начал восточной психики. Чисто восточное презрение к силе разума, исследования, науки прививалось нам... намеренно, искусственно, домашними средствами»<sup>18</sup>.

В каком-то смысле этот текст архетипичен: он выражает взгляды значительной части русской интеллигенции. Азия, если не сама по себе, то по крайней мере «Азия в России», — это тьма, безнадежная, непроницаемая. Любопытно, что даже Бердяев, еще недавно (в 1914 году) издевавшийся над борьбой Горького с «азиатским сознанием», после октябрьской катастрофы, явно теряя самообладание, начинает мыслить в аналогичных категориях и неожиданным образом проговаривается. «Ненависть к «буржуазии» есть исконная ненависть темного Востока к культуре... — повторяет он своего оппонента в ноябре 1917 года. — Такое... перерождение марксизма поистине изумительно, оно возможно лишь на темном Востоке, в совершенно некультурной стране. В этом есть что-то турецкое. Есть основание думать, что западные люди и смотрят на «русскую революцию», как на китайскую или турецкую»<sup>19</sup>. Эта оговорка очень характерна: она свидетельствует о том, что Азия в России — не только темное подполье, «Оно», бессознательное, но также и своеобразный козел отпущения, некая сточная канава, куда «просвещенное сознание» спускает всю отрицательную энергию. Можно сказать еще сильнее: как только «самосознание России» в лице русского интеллектуала теряет самообладание и разочаровывается в «этой стране», то тут же можно ожидать, что «эта страна» будет обвинена в «извечном рабстве» и «неизжитой азиатчине». Символично, что бегство (эмиграция, уход) из Европы на Восток существовало и существует уже несколько столетий, начиная по крайней мере с эпохи Романтизма. Эмиграция же из России<sup>20</sup>, пожалуй, еще более интенсивная, всегда была возмож-

<sup>18</sup> Горький М. Статьи 1905 — 1916. Изд. 2-е. Пг. 1918, стр. 184.

<sup>19</sup> Бердяев Н. Соч. в 4-х томах, т. 4. Париж. 1990, стр. 108, 107.

<sup>20</sup> Знаменитый русский скиталец Владимир Печерин, бежавший на Запад в 1836 году, выразил это состояние, этот архетип эмиграции в названии главы своих мемуаров — «Страх России — роман жизни»: «Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным

на только на Запад, в «страну святых чудес» (Хомяков), — представить себе образованного русского, эмигрирующего в Индию, Китай или исламские страны, было практически невозможно.

Так или иначе, Восток не знал гуманизма в европейском смысле, не было его и в России: именно на этом срединном уровне — культуры, права, автономии личности — всегда и звучала жесткая критика русской ментальности и русской истории, в наиболее глубокой форме исходившая из самой России. В ней выразилось сознание тотального одиночества тонкого слоя «гуманистической интеллигенции», зажатой между молотом сильного, но вполне терпимого государства и наковальней простого народа, между Западной Европой и безграничным азиатским континентом... Почему здесь «все проваливается», не получает непрерывного продолжения, а ярко вспыхивает, горит и гибнет? Почему, несмотря на устойчивую консервативную традицию, здесь так и не удастся создать «почвы», «фундамента» и под ногами тут всегда топь, трясина, зыбь, но никак не прочное основание? Почему каждый раз мы оказываемся на пепелище и вновь приходится начинать с самого начала, почти с нуля?

На эти вопросы существует множество разнообразных ответов, но в нашем ракурсе то, что так пугало Чаадаева, Соловьева, Мандельштама — «азиатчина», — как раз и есть эта «вязкость», «топкость» бытия, отсутствие исторической динамики, завершенной формы, пресловутый быт («среда заела»), «синкретизм», отсутствие дистанции, различения (европейское *differance*), образ жизни, от которого невозможно оторваться и увидеть его извне; где на другом полюсе — катастрофичность истории, русское странничество, блуждание в мире крайностей, беспочвенность интеллигенции, эсхатология и апокалиптика. Евразия как срединный континент со всех сторон открыта «ветрам истории». Как и Китай, это «привилегированное место пространства» (М. Фуко), но пространства открытого, разомкнутого, неустойчивого. Вертикальная пропасть между тварью и Творцом пересекается на просторах континента с горизонтальной — пропастью между Востоком и Западом. Евразия, таким образом, оказывается пространством «двойного провала», «Марианской впадиной», грозящей поглотить весь «цивилизованный мир»... В нормальном состоянии, в идеале, — это мост между Востоком и Западом, «континент-океан», о котором мечтали евразийцы, но в критическом, переходном он превращается в разрыв, в мировую трещину, вселенскую прорву, куда может провалиться все. Тогда — это пространство абсолютной непредсказуемости, черная дыра, мировая яма — «русское ничто», куда могут кануть все нашествия, полчища кочевников, отборные европейские армии, собственные гении и таланты, миллиардные субсидии, пограничные страны и народы; «евразийская утроба» способна породить все самое неожиданное, удивительное, чудесное, но одновременно и поглощать это с ужасающим постоянством. Именно это пытался выразить Розанов, когда в известном предисловии к своему предсмертному «Апокалипсису...» писал: «...глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Всё потрясено, все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания»<sup>21</sup>.

### Путь на Восток, или «Разочарованный европеец»

Продукт Просвещения — общественное мнение, первоначально возникшее в противостоянии авторитаризму, со временем превратилось в несравнимо более жесткий авторитарный дискурс, в инструмент публичного подавления

---

инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать — чума никого не щадит — особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что если б я остался в России, то, с моим слабым и мягким характером, я бы непременно сделался подлеишим верноподданным чиновником или — попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство... был непомерный страх России...» (Печерин В. С. Замогильные записки. Калинин. 1932, стр. 115).

<sup>21</sup> Розанов В. В. Мимолетное. М. 1994, стр. 413.

всякого инакомыслия. Для открытия Востока во второй половине прошлого века необходимо глубинное разочарование в ценностях Просвещения, и вслед за Данилевским таким «разочарованным европейцем» стал Константин Леонтьев. Некоторые его тексты звучат вполне по-евразийски, и недаром участники евразийского движения называли Леонтьева своим предшественником. «Конец петровской Руси близок, — предсказывал он еще в 80-е годы. — И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв!» Однако его вопрошания и рецепты спасения звучали в то время не только для либерального, но и для консервативного уха совершенно шокирующе: «Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет?..» Тогда, говорит Леонтьев, наша судьба — «окончить историю, погубив человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной»<sup>22</sup>.

От большинства своих современников, помимо прочего, он отличался одним качеством, встречающимся у нас крайне редко, — необыкновенной внутренней независимостью. В одном из его писем есть мимоходом брошенная фраза: он говорит о «русском ужасе перед всякой умственной независимостью»<sup>23</sup> — этот «общинный» русский ужас он чувствовал как никто другой (удачно заметил по этому же поводу Андрей Белый: «Если на Западе один против всех, то у нас — все против одного»). И потому в русском XIX веке автор «Византизма, России и славянства» выглядел столь одинокой, странной и трагической фигурой (отсюда частые обвинения его в «нерусскости»). Однако в исторической перспективе очевидно, что Леонтьев не был так одинок, как кажется на первый взгляд. Юрий Иваск, автор едва ли не лучшей работы о Леонтьеве, говорит о нем как о «выдающемся представителе той великой контрреволюции XIX века, которая защищала качество от количества; даровитое меньшинство от бездарного большинства; яркую мысль от серой массы; дух от материи; природу от техники; истину от рекламы и пропаганды; творческую свободу от плутократии и бюрократии; искусство от прессы»<sup>24</sup>. Иными словами, защищала традицию от антитрадиции, сакральное от профанного, вечное от временного.

Среди предшественников Леонтьева многие известные имена — от Жозефа де Местра и Шатобриана до Карлейля и Гобино; среди близких по духу мыслителей — Ницше и Леон Блуа, Шпенглер и Ортега, а в XX веке — француз Рене Генон и его окружение. «Консервативные революционеры», часто казавшиеся одинокими, непонятыми и отторгнутыми либеральным истеблишментом фигурами, мрачноватыми чудаками, интеллектуальными маргиналами, упорно шедшими наперекор историческому процессу, после Генона выглядят иначе — они образуют «непрерывную линию». Между Геноном и Леонтьевым много общего, в их текстах встречаются поразительные совпадения. Однако для нас здесь существенна одна тема: их открытие Традиции через открытие Востока, и прежде всего ислама. Безусловно, «жизнь К. Леонтьева на Востоке дала огромные импульсы для его творчества. Можно сказать, что самые значительные произведения его написаны под влиянием переживаний и мыслей, рожденных на Востоке. Восток окончательно сформировал его духовную личность, страшно обострил его политическую, философскую и религиозную мысль, возбудил его художественное творчество...»<sup>25</sup>. «Восточные составляющие» в мировоззрении Леонтьева очевидны: это и глубинный фатализм, протупающий сквозь его эволюционно-натуралистическую философию истории; и «восточный пессимизм» по отношению к «устроению земной жизни» и европейскому эвдемонизму; и апология восточного деспотизма; и религиозное ми-

<sup>22</sup> Леонтьев К. Избранное. М. 1993, стр. 168, 147.

<sup>23</sup> См.: Бердяев Н. Константин Леонтьев. Париж. 1926, стр. 211.

<sup>24</sup> «Вестник РХД». — Париж, 1977, № 123, стр. 180.

<sup>25</sup> Бердяев Н. Константин Леонтьев, стр. 54 - 55.

роощение — «трансцендентный эгоизм», часто доходивший до монофизитства. Бердяев совершенно прав, утверждая, что «не случайно Константин Николаевич любил ислам. Все его христианство пропитано элементами ислама. Он сильнее чувствовал Бога-Отца, чем Бога-Сына. Бога страшного, далекого и карающего, Бога трансцендентного, чем Бога искупающего, любящего и милосердного, близкого и имманентного. Отношение к Богу для него было прежде всего отношение страха и покорности... У него было сильно чувство Церкви, но слабо непосредственное чувство Христа... У него почти нет слов о Христе. Из Евангелия... он цитирует только те места, в которых говорится, что на земле не победит любовь и правда, ему близки лишь пессимистические ноты Апокалипсиса»<sup>26</sup>. Наконец, «византизм» и «Византия» в интерпретации Леонтьева весьма напоминают то, что Генон позднее назовет «традиционной цивилизацией» — иерархическим обществом, построенным на определенных духовных принципах. Роднит их с Геноном и критика «антрополатрии» — гуманистического идолопоклонства перед «падшим человеком», в том числе и всех форм христианского гуманизма. Человек есть то, что должно быть преодолено, — максима этики «любви к дальнему» звучит у них, пожалуй, даже более радикально, чем у Ницше. Человек не занимает привилегированного положения в космосе, он не есть «мера всех вещей», он глубоко вторичен — отсюда, видимо, отсутствие как у Генона, так и у Леонтьева развернутой антропологии, интереса к «человеческому, слишком человеческому». Историческая философия Леонтьева представляет собой последовательное отрицание любых форм исторического прогресса в его «наивной» просветительской интерпретации.

И надо признать, что предвидения Леонтьева и других «разочарованных европейцев» о грядущем «царстве энтропии» сбываются; знамения времени говорят сегодня за себя сами...

### **Злоключения теософии — эзотерическое и профанное**

Очередная попытка духовного синтеза Запада и Востока — теософская доктрина — родилась и распространилась благодаря энергии необыкновенной русской женщины Е. П. Блаватской, натуры невероятно противоречивой, хаотичной, но, несомненно, харизматической, сотворившей эффектный миф из своей жизни, в котором сегодня трудно отличить реальное от фантастического. Теософия возникла из романтического желания воскресить Тайну, похороненную сциентизмом и позитивизмом. Этому соответствовал и невероятно романтический характер «современной жрицы Изиды», чья жизнь напоминает приключенческий роман («Ей нужен вечный ребус, перманентная тайна», — писал Н. К. Михайловский). Именно благодаря Блаватской, а не академическим работам восточные культы и учения стали достоянием широких кругов на Западе. Как раз судьба Блаватской, созданный ею миф, а не содержание ее сумбурных книг, собственно, и есть «ключ к теософии». «Синтез науки, философии и религии», провозглашенный Блаватской и полковником Олкоттом, возник на благоприятной почве: «смерть Бога», утрата религиозных корней, разочарование в официальной церкви, всевозрастающее одиночество человека и породили теософское движение, призванное воссоединить личность с утраченной «древней мудростью» и определить ее место в космической эволюции.

Но, выступая в роли теософа и учителя, Блаватская в России не могла иметь никакого влияния не только потому, что ее книги за редкими исключениями в то время практически не издавались по-русски. В полупатриархальном и консервативном русском обществе прошлого века женщина в качестве проповедника и теософа могла рассчитывать на признание с таким же успехом, как в роли военного или промышленника. Будучи по своему характеру натурой слишком своенравной и независимой, как тогда говорили — эмансипированной, Блаватская тяготела к Западу естественным образом: ее миссия могла быть реализована только там. Символичен в этом отношении факт, приводимый ее биографами: встреча Блаватской с древней мудростью Востока, встреча с Учителем произошла не в тибетских монастырях или в долине Ганга, а в Лондоне, в Гайд-парке, в августе 1851 года, и лишь затем последовали

<sup>26</sup> Бердяев Н. Константин Леонтьев, стр. 226 — 227.

путешествия в Азию, где и были получены так называемые «письма Махатм». Она принадлежала к тому редкому типу харизматических русских женщин, для которых «реальность» не имеет существенного значения. Благодаря своей «пассионарности», она беспрестанно творила мифы и, страстно веруя в них, расправлялась с реальностью самым безжалостным образом. В этом отношении Блаватская была вполне экзистенциальна: если видимая реальность всего лишь Майя, иллюзорность мира позволяет творить с ним все, что угодно. И потому задавать вопрос о том, как соотносились с действительностью ее взгляды, уличать в мошенничестве, как это было в связи с «письмами Махатм», то же самое, что уличать в подменах наши сны. «Никогда я не встречал такой сильной натуры, сильной в своих желаниях и стремлениях, — вспоминал один ее американский собеседник, — окружающее не имело для нее значения, даже если небеса рухнут, она будет продолжать свой путь»<sup>27</sup>. Видимо, поэтому теософские упражнения Блаватской, будучи во многом «дамским рукоделием», оказывают столь сильное воздействие на западную аудиторию: скорее энергия автора «Тайной доктрины», нежели ее эклектичные спекуляции, ломает рационалистические суеверия и позитивистские предрассудки. Реанимация древних мистерий и гностических образов подготавливает мистическую ауру грядущего века: из этих темных гностических недр будут черпать идеи самые разные люди нашего времени — от Андрея Белого и барона Унгерна до Юнга, Генона и Борхеса...

Теософия воспроизводит древнюю как мир гностическую парадигму о тождественности микрокосма и макрокосма; отсюда же вытекает и другая столь же вечная идея — о наличии в человеке скрытых, неведомых сил и возможностей, высвобождение которых позволит совершить грандиозную трансмутацию и вывести сознание на новую ступень космической эволюции; ключ к этим силам — тайное знание, хранимое посвященными. Когда в двадцатом столетии мир вновь погрузится в гностическую эпоху, попытки высвобождения скрытых энергий будут проводиться в различных формах и дискурсах — от сомнительных опытов Г. Гурджиева до инфернальных экспериментов национал-социализма. При всей несхожести результатов смысл этих проектов, в сущности, один: путем оккультных мутаций произвести на свет «нового человека», который будет свободен от всех грехов и пороков исторического человечества.

В Россию же в начале века эти идеи проникнут в несколько иной антропософской упаковке, скрепленные немецким методологизмом, наукообразием и несомненной харизмой доктора Рудольфа Штейнера. В отличие от Блаватской, всегда яростно нападавшей на «папское христианство» и «протестантское фарисейство», Штейнер попытался соединить несоединимое: христоцентризм европейской традиции и пантеистический монизм индуизма — с помощью эзотерического истолкования. Антропософский «синтез» имел большой успех у русской интеллигенции.

Как давно замечено, трагический хаос русской жизни порождал успех тех западных учений, которые претендовали на открытие «универсальных законов истории», «саморазвития мирового духа», «космической эволюции», позволявших упорядочить магму внутренней жизни и внести смысл во «внеисторическое» существование человека среди беспредельных географических пространств (в этом же, видимо, и причины невероятного успеха астрологии на русской почве). Шеллинг, Гегель, Маркс, Кант, Спенсер, неокантианство — Штейнер занимает существенное место в этом ряду. «Пленение антропософией» испытали Вяч. Иванов, Волошин, М. Сабашникова-Волошина, Эллис, Михаил Чехов, Скрябин, Кандинский, но самая показательная фигура; безусловно, Андрей Белый. «Стихия Белого — чисто русская, национальная, народная, восточная, стихия женственная, пассивная, охваченная кошмарами и предчувствиями, близкая к безумию»<sup>28</sup>. Этот семантический ряд, выстроенный Бердяевым, очень показателен, — для такой стихии главная проблема — это проблема формы и внутренней дисциплины, проблема в самом деле очень русская, мучительная и трагическая. Глубоко прав о. Г. Флоровский, когда го-

<sup>27</sup> Нэф Мэри. Личные мемуары Е. П. Блаватской. М. 1993, стр. 268.

<sup>28</sup> Бердяев Н. Соч. в 4-х томах, т. 3. Париж. 1989, стр. 483.

ворит о том, что книги Когена и Риккерта, творения Фихте и Гегеля (и следует добавить Безант и Штейнера) читались в начале века «именно в качестве практических руководств для личных упражнений, точно аскетические трактаты... как книги мистического опыта и действия». «И здесь повторяется проблематика христианской аскетики: борьба с хаосом страстей и впечатлений, верность правилам и законам, выход к высшим созерцаниям, стяжание бесстрастия...»<sup>29</sup> Тут необходимо уточнение — повторяется, но не реализуется: антропософия, безусловно, стимулирует творчество и раскрывая нераскрытое, в результате оборачивается подменой, и все завершается драматическим русским разочарованием в Учителе и Отце. И как свидетельствуют мемуаристы, финальные сцены протекают в 1921 году в берлинских кафе, где одинокий и отчаявшийся Андрей Белый (именующий теперь Штейнера «дьяволом») протанцовывает свои безумные танцы... «Тайноведение» доктора Штейнера не дало формы и дисциплины, а само «тайное знание» постепенно становится все более общедоступным.

Теософия ввела в широкий обиход вполне панибратское отношение с трансцендентным. В результате «тайное знание» становится чудовищным кичем, профанацией подлинной традиции и, выплескиваясь из салонов на улицы, превращается в бульварный оккультизм. Осип Мандельштам был в этом смысле не далек от истины, назвав теософию «буржуазной религией прогресса», «религией господина Оме»<sup>30</sup>. С этим в 20-е годы был связан отход от теософии наиболее глубоких мыслителей, совершенно несхожих между собой, — Дж. Кришнамурти (объявленного теософами мессией еще в 1911 году) и Рене Генона...

Если же вернуться к Елене Петровне Блаватской, то не исключено, что она также искала в гностических идеях и древних мистериях форму и дисциплину для своей предельно антиномичной натуры, которая разрывалась между своими русскими корнями, воспитанием, верованиями и теософией. Будучи одновременно страстной русской патриоткой по своим чувствам и привязанностям, американской гражданкой, космополитом по убеждениям и популяризатором восточных учений на Западе, она писала своей сестре: «Люди называют меня, и я должна признать, что сама называю себя язычницей. Я просто отказываюсь слушать, как люди говорят о несчастных индусах или буддистах, обращенных в англиканское фарисейство или папское христианство, это приводит меня в содрогание. Но когда я прочла о появлении русского Священника в Японии, мое сердце ликовало... Меня тошнит от одного только вида иностранного священника, но знакомая фигура русского попа воспринимается мной без всякого усилия... Я не верю никаким догмам, я не люблю всякие ритуалы, но мои чувства к нашим церковным службам совершенно другие...

Я, конечно, всегда скажу: в тысячу раз предпочтительнее буддизм, который является чистым моральным учением, абсолютно гармонирующим с проповедями Христа, чем современный католицизм или протестантизм. Но с верой в Православную русскую церковь не сравню я даже буддизм. Это сильнее меня. Такова моя глупая противоречивая натура»<sup>31</sup>. Но за «необъяснимой противоречивостью» натуры Е. Блаватской скрыты противоречия принципиальные. Христианство утверждает уникальность личности, человеческой души, лица; индуизм и буддизм, на которых строится теософская доктрина, по сути дела, не знают личности, душа — текуча и взаимозаменяема, личность иллюзорна, это — лишь песчинка в мировом океане. Православие — лично и соборно, но совсем не индивидуалистично, как западное христианство, его космизм и тяготение к пантеизму сближают его с религиями Востока... Роль же теософии оказывается предельно двусмысленной: с одной стороны, русские интеллектуалы ищут в ней форму, канон, логос, с другой — как и все гностические учения с восточной окраской — теософия растворяет личность в абсолюте. И меж этими полюсами нет примирения: здесь — пространство, в котором и разворачивается мистерия странствий русской души между Западом

<sup>29</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Изд. 4-е. Париж. 1988, стр. 484 — 485.

<sup>30</sup> Мандельштам О. Соч. в 2-х томах, т. 2. М. 1990, стр. 199.

<sup>31</sup> Нэф Мэри. Личные мемуары Е. П. Блаватской, стр. 289.



и Востоком, земным и небесным, между утверждением уникальности человеческой личности и стихиями распыления и развоплощения...

И непонимание этих существенных различий делает возможным тот странный факт, что некоторые теософы наивно воображают себя вместе с тем церковными людьми, православными или католиками, не сознавая сомнительности «теософского смешения всех алтарей, жертвенников, догм, верований и философий»<sup>32</sup>.

### Русский авангард. Панмонголизм и скифство

Вопреки широко распространенному мнению «евразийский поворот» в русской культуре первыми попытались сделать не собственно евразийцы и не Блок, Белый, Иванов-Разумник и авторы сборников «Скифы», а русский живописный и поэтический авангард накануне Первой мировой войны. Русские футуристы от Велимира Хлебникова до Бенедикта Лившица откровенно провозглашали себя «азиатами». В 1914 году, в связи с приездом лидера европейского футуризма Маринетти, Бенедикт Лившиц читает доклад о самоопределении русского искусства по отношению к Европе — своеобразный манифест «эстетического евразийства». Он отождествляет мировосприятие русского художника с Востоком и видит эту близость не во внешних обнаружениях. «Гораздо существеннее иное: наша сокровенная близость к материалу, наше исключительное чувство его, наша прирожденная способность перевоплощения, устраняющая все посредствующие звенья между материалом и творцом...»

Иными словами, художник растворяется в материале, субъект не противостоит объекту, а сливается с ним; и если перевести эту горделивую футуристическую манифестацию на метафизический язык, легко увидеть: русский авангард по-своему проговаривает здесь то, что в отечественной традиции получило название онтологизма. Это означает, что творчество или познание есть не столько состояние сознания, образ определенных мыслей и чувств, сколько образ существования, погруженности в бытие, в котором снимаются все опосредствования между материалом и творцом, субъектом и объектом, мыслью и сущим, внешним и внутренним. Футуристы неизбежно оказываются здесь в русле общей традиции, чьи основные положения были уже сформулированы, в частности, их злейшим врагом — русским символизмом, которому будетляне неустанно себя противопоставляли — и тем не менее на каком-то глубинном уровне с ним смыкались.

Футуристический «исход к Востоку» имел скорее оттенок хлесткой метафоры, будетлянского самоутверждения, вызывающей игры, нацеленной на традиционный авангардистский скандал: «Если космическое мироощущение Востока еще не богато конечными воплощениями, то виною этому прежде всего — гипноз Европы, за которой мы приучены тянуться в хвосте. У нас раскрываются глаза только в трагический момент, когда Европа, взыскующая Востока, приводит нас к нам же самим... Проснемся ли мы когда-нибудь? Признаем ли себя когда-нибудь — не стыдливо, а исполненные гордости — азиатами?»<sup>33</sup> Между этим футуристическим манифестом и эсхатологическим панмонголизмом Вл. Соловьева — пропасть. Панмонголизм предельно двойствен: пробуждение крайнего Востока, «желтая опасность», страшит и одновременно притягивает автора «Трех разговоров». Панмонголизм апокалиптичен — в нем русский мыслитель предчувствует грядущую божественную кару как Европе, так и России за измену христианским заветам:

Панмонголизм! Хоть имя дико,  
Но мне ласкает слух оно,  
Как бы предвестием великой  
Судьбины Божией полно.

Но если универсализм Соловьева заставляет его колебаться, не делать окончательного выбора, то «скифство» — прежде всего в лице Александра

<sup>32</sup> Вышеславцев Борис. Кришнамурти. (Завершение теософии). — «Путь», Париж, 1928, № 14.

<sup>33</sup> Лившиц Бенедикт. Полутораглазый стрелец. Л. 1989, стр. 506 — 507.

Блока (и отчасти Иванова-Разумника) — этот выбор недвусмысленно совершает, здесь все проговаривается до конца. Тут звучит старая русская тема самообмана и романтического разочарования. Европа, «страна святых чудес», континент великой культуры, в очередной раз обманывает возвышенные ожидания. Великое прошлое арийской культуры заканчивается парламентами, банками, демагогией, плутократией, торжеством «буржуазной сволочи» (выражение Блока).

Буржуа — последнее слово Европы, его образ достигает космических размеров, застилая все остальное, словно в Европе больше ничего не осталось: она заслужила только возмездие. «Вы уже не арийцы больше, — записывает Блок в «Дневнике» 11 января 1918 года. — И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянули нашим *косящим*, лукавым, быстрым взглядом; мы *скинемся азиатами*, и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся — уже не ариец. Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным *человека*»<sup>34</sup>. В это же время создаются «Двенадцать», а через три недели «музыка революции» сольется со стихиями Востока и зазвучат тяжелые ямбы «Скифов». И за всем этим, конечно, не предчувствие «грядущего братства», а глухое, гибельное, бесконечное отчаяние — жажда гибели и упоение этой гибелью в том мире, который большего не стоит. «Скифство» можно было бы назвать евразийством отчаяния<sup>35</sup>. И здесь возникает сюжет, который во многом станет архетипическим для нашего времени, когда духовный аристократ, воспитанный на утонченной европейской культуре, влюбленный в готику средневековья, великое прошлое Европы, предаёт эту культуру анафеме, пытается сбросить опостылевший сюртук и провозглашает «крушение гуманизма». Гуманизм — это побочное дитя западного христианства — довел личность до высшей степени сложности и утончения; но личность — это боль, личность сама в себе неполна, личность в этом смысле всегда — неудача, она не выдерживает собственного напряжения и пытается развоплотиться, раствориться в духе музыки, в древних безличных стихиях, все еще доносимых до цивилизованной Европы ветрами Востока. Другая грань этой же темы звучит у Михаила Гершензона в его «Переписке из двух углов» с Вячеславом Ивановым: «Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние — полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности. Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит. Это знание не я добыл в живом опыте; оно общее и чужое, от пращуров и предков; оно соблазном доказательности проникло в мой ум и наполнило его. И потому, что оно общее, сверхлично-доказанное, его бесспорность леденит мою душу. Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? Огромное большинство их мне вовсе не нужно. В любви и страдании мне их не надо, не ими я в роковых ошибках и нечаянных достижениях медленно постигаю мое назначение, и в смертный час я, конечно, не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум, они тут во всякий миг моей жизни и пыльной завесой стоят между мною и моей радостью, моей болью, каждым моим помыслом»<sup>36</sup>. Но если в словах Гершензона слышится печаль, мягкая усталость человека перезревшей цивилизации, сознающего всю безнадежность собственных желаний, то Блок серьезен, трагичен, зол, он ставит на карту все, и никакие компромиссы невозможны. Однако когда Александр Блок писал о времени, «когда свирепый гунн в карманах трупов будет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить», он вряд ли подозревал, что его предчувствия и тайные желания уже получают на Дальнем Востоке, в пустынных степях Монголии самое буквальное воплощение — там разыграется следующий кровавый акт евразийской драмы...

<sup>34</sup> Блок Александр. Дневники. М. 1989, стр. 260 — 261.

<sup>35</sup> В этом отношении прав Даниил Андреев, который в «Розе мира» рисует путь Блока как гибельное падение, происходившее одновременно с творческим расцветом, закончившееся в последние годы «умиранием заживо».

<sup>36</sup> Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух углов. Пг. 1921, стр. 16.

### Боги войны: священное безумье

Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумьем.

*Александр Блок.*

«Восток непременно должен столкнуться с Западом. Белая культура, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, образовавшейся три тысячи лет назад и до сих пор сохранившейся в неприкосновенности»<sup>37</sup>, — эти слова принадлежат уже не петербургскому поэту, а человеку совсем иного типа — «безумному барону» и самодержцу монгольской пустыни Роману Унгерн-Штернбергу (1886 — 1921), который первым попытался осуществить некоторые евразийские идеи на практике.

Он происходил из древнего обрусевшего рода балтийских баронов, его внушительное родовое древо насчитывает восемнадцать родовых колен, — среди них рыцари, сражавшиеся вместе с Ричардом Львиное Сердце под стенами Иерусалима и в битве при Грюнвальде, члены Ордена меченосцев, морские разбойники и средневековые алхимики. Род, по его собственным словам, отличался склонностью к мистике и аскетизму. Для самого Унгерна, верившего в метемпсихоз, это было подтверждением, что в нем воплотился дух одного из грозных предков. И в самом деле, появление барона Унгерна в Забайкалье и монгольских степях можно сравнить лишь с появлением ливонского рыцаря или конкистадора вроде Лопе де Агирре («Агирре Гнев Божий»). Так примерно и воспринимали его современники. С одной стороны, «барон стоял на грани почти гениальности и безумия. Он принадлежал к величайшим идеалистам и мечтателям всех времен». Но «если бы море внезапно отхлынуло, на месте его черных глубин люди увидели бы страшных, фантастических чудовищ; так из-под волн Гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни»<sup>38</sup>.

Роман Унгерн — это словно материализовавшееся видение Вл. Соловьева или Блока, герой Карлейля, Леонтьева, Ницше — «человекобог» по ту сторону добра и зла, витальный герой с безумной энергией, превосходящей человеческие возможности, усердный читатель Библии, в особенности Апокалипсиса, поклонник Данте, Достоевского, Леонардо да Винчи, прочитавший множество философских и теософских книг, однако глубоко презиравший всякую «литературу» и «интеллигенцию», аскет, совершенно равнодушный к внешним условиям, мистик, окружавший себя прорицателями и гадалками, фаталист с его *amor fati*, человек, чья сомнамбулическая храбрость сочеталась со столь же невероятной жестокостью, фанатичный монархист, женоненавистник и юдофоб, «бич Божий», огнем и мечом искоренявший пороки «падшего человечества».

В его мировоззрении перемешались идеи, на первый взгляд кажущиеся несоединимыми. Но таковой была эпоха и география — Дальний Восток времен Гражданской войны, где расцвело своего рода «мистическое евразийство», в котором смешалось многое: панмонголизм Соловьева и ненависть к «срединному европейцу» Леонтьева, «грядущие гунны» Брюсова и «скифство» Блока и Иванова-Разумника, Заратустра Ницше и евангельское «Свет с Востока», мифы об Агартхе и Шамбале, пророчества Нострадамуса и предсказания Шпенглера, идеи Блаватской, Рериха и Гурджиева, «протоколы сионских мудрецов» и монгольская легенда о грядущем спасителе монголов «бароне Иване». Все это скрыто или явно пересеклось в харизме барона Унгерна, если и не в реальном человеке, кем он был, то в том, кем он желал бы сам себя видеть.

Как описать Унгерна в этих категориях? Тут все путается: «самодержцу пустыни» не было никакого дела до дефиниций разгоряченной революцией московско-петербургской богемы. Унгерн — несомненный «скиф» (абсолютный максималист), но одновременно и «монголист» — поклонник традицион-

<sup>37</sup> Юзефович Леонид. Самодержец пустыни. Феномен судьбы Р. Унгерн-Штернберга. М. 1993, стр. 235. (Пользуясь случаем, рекомендуем читателям эту исключительно интересную монографию. — *Ред.*)

<sup>38</sup> Там же, стр. 12 — 13.

ного и неизменного Востока. Он один из инициаторов «мирового пожара», только с противоположным знаком, пожара, в котором должны сгореть европейские революции вместе с породившей их Европой и быть восстановлено традиционное общество, сохранившееся лишь на Востоке.

Вторая половина XIX века, начиная с Ницше, породила позднее широко распространившийся тип интеллектуального маргинала, совершающего не социальное, а метафизическое «восстание против современного мира», против гуманизма, демократии, плутократии, прогресса, «сентиментального добра» и восхваляющего витальность, мужество, волю, риск, архаику, войну, зло, смерть... Этот тип был представлен многими выдающимися людьми — рыцарями грядущего «нового средневековья», которое, однако, в XX веке так и не наступило. В большинстве своем они были не столь страшны, как им хотелось бы себя представить, тем более что реальность давала мало шансов для реализации инфернальных и героических добродетелей, так что чаще всего их позиция сводилась к интеллектуальной мастурбации, к маске, размахивающей картонным мечом, театрализованному эпатажу, который никого не пугал. Меч же Унгерна был настоящим, более того, барон был абсолютно с е р ь е з е н, сомнамбулически серьезен, и, как свидетельствуют очевидцы, в нем не было ни малейшего привкуса театральности, игры, маскарада, он совершенно не заботился о производимом им впечатлении. Об этом говорит и Ф. Оссендовский — польский путешественник, литератор и журналист, автор в свое время нашумевшей на Западе книги «Звери, люди и боги», где, в частности, дан яркий, хотя и романтизированный портрет Романа Унгерн-Штернберга. В беседах с Оссендовским, происходивших в Урге и ее окрестностях, в монгольской пустыне, барон поразил собеседника своими познаниями — он цитировал «Св. Писание, буддийские книги, научные теории, художественные произведения... сопоставляя научные теории Европы и религиозные воззрения ламаистов. Речь его перескакивала то с русского на французский, то с немецкого на английский язык»<sup>39</sup>. Катастрофические события того времени барон воспринимал как предвестие Армагеддона — последней битвы сил света с силами тьмы: «В буддийских и древних христианских книгах говорится о времени, когда вспыхнет война между добрыми и злыми духами... Мир будет побежден «проклятием», которое уничтожит культуру, мораль и сделает невозможным человеческое существование... Оружие этого проклятия — революция!.. Но вот пришло это «проклятие», предсказанное Христом, апостолом Иоанном, Буддой, первыми христианскими мучениками и предвиденное Данте, Леонардо да Винчи, Гёте и Достоевским... Великий дух мира поставил у порога нашей жизни Карму, которая не знает ни злобы, ни милости...

Расчет будет произведен сполна, и результатом будет голод, разрушение и гибель культуры, славы, чести и духа... среди бесчисленных страданий... Я вижу эти ужасные кошмары развала человеческого общества...»<sup>40</sup>

От апокалиптических монологов Унгерна веет характерным для начала века теософским смешением всего и вся: в лютеранине по воспитанию (он не был перекрещен в православие) и буддисте по убеждению («всю свою жизнь я посвятил войне и изучению буддизма» — еще одно сочетание несочетаемого, о котором он заявил Оссендовскому) переплетается эсхатология Апокалипсиса с «неумолимым духом Кармы», кальвинистское предопределение с чисто восточным фатализмом. Как пишет биограф барона, вопрос о его конфессиональной принадлежности лишен смысла: «От других религий буддизм отличается исключительной веротерпимостью, и, как замечает один из его исследователей, „истинный буддист легко может быть одновременно лютеранином, методистом, пресвитерианцем, кальвинистом, синтоистом, может исповедовать католицизм или даосизм, являться последователем Магомета или Моисея...”» «В жизни он придерживался старого принципа: Бог один, веры разные. В Азиатской дивизии заведен был ежевечерний ритуал: на заходе солнца выстраивались все сотни, сформированные по национальному признаку, и каждая хором читала свои молитвы. По словам очевидца, это было „прекрасное и величественное зрелище”»<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Оссендовский Ф. Звери, люди и боги. Рига. 1925, стр. 174.

<sup>40</sup> Там же.

<sup>41</sup> Юзефович Леонид. Самодержец пустыни, стр. 146.

Собственное мировоззрение Унгерна несложно — его можно назвать «пан-монархизмом» и «паназиатизмом». Интернационалу Ленина и Троцкого и «интернационалу» либеральной демократии он хотел противопоставить своеобразный «монархический интернационал» — идею реставрации монархии от Владивостока до Атлантики, в которой главенствующая роль принадлежала бы «неиспорченной» желтой расе. Об этом свидетельствует и эмблема китайского дивизиона его Азиатской дивизии — фантастическое соединение дракона с двуглавым орлом, символизирующее единство судеб двух рухнувших великих империй. При этом падение монархии и революция в России вызвали у барона разочарование в жизнеспособности своего отечества, его нельзя назвать убежденным русским патриотом, как большинство вождей белого движения. «В России... крестьянство неграмотно, дико, грубо и поэтому ненавидит всех и все, не умея дать себе отчета, за что именно, — говорил он Оссендовскому. — Русская интеллигенция отдала всю свою душу мнимым идеалам, не имеющим никаких шансов на осуществление. Русские интеллигенты обладают способностью к критике, но не к творчеству... У них нет никакой воли, и они только говорят, говорят, говорят... Их любовь, их чувства — одно воображение...»<sup>42</sup> Но, желая видеть себя реставратором традиции, Унгерн был не в меньшей степени разрушителем, возмездием, идущим по стопам Аттилы и Чингисхана и оставлявшим после себя сплошное пепелище. Огнем и мечом «безумный барон» пытался искоренить все пороки современного мира: падение нравов, проституцию, спекуляцию, пьянство, — прелюбодеяние в его дивизии жестоко каралось, проститутки и их клиенты нещадно преследовались. Современники, отмечая оккультные наклонности Унгерна, его аскетизм, полное равнодушие к условиям быта и своему внешнему облику, единодушно говорят не только об отсутствии у него всякого интереса к женщинам, но и об откровенном женоненавистничестве. Его отрицательные высказывания о прекрасном поле многочисленны: «барон почти не знал женщин», как аристократ, в женском обществе он бывал любезен, держал себя по-светски, но «при внешних рыцарственных манерах» к представительницам слабого пола относился с несомненной и глубокой неприязнью»<sup>43</sup>. Как и юдофобия, это существенный элемент его взглядов, как, впрочем, и всех мировоззрений подобного типа. Это напоминает не столько воззрения Ницше или Вейнингера, за женоненавистничеством которых скрывался тайный страх перед женщиной как бесконечно меняющимся и непостоянным существом (хотя, видимо, у Унгерна это тоже присутствовало), сколько идеи Николая Федорова, видевшего в женщине новый языческий идол капиталистической цивилизации. (Ненависть Унгерна к буржуа, торговле, спекуляции и роскоши привела к тому, что после взятия Урги на некоторое время была ликвидирована любая «спекуляция» и «торговля» и тем самым на время осуществлена предсмертная мечта Константина Леонтьева — феодально-монархический социализм.) Федоров же не без некоторого основания считал, что капиталистическая индустрия порождена отнюдь не протестантской этикой, а извращенным эросом, жадностью обладания, «машиной желания»<sup>44</sup>. Обычное представление о западной цивилизации как цивилизации фаллократической, когда роль женщины предельно амбивалентна — она то языческий идол, символ славы и успеха, объект поклонения, то кукла, рабыня, гетера, объект манипуляций, — здесь переворачивается. «Неприятие современной европейской цивилизации Унгерн мог перенести на свое отношение к женщине, — пишет биограф барона. — Она казалась ему олицетворением продажности и лицемерия, позлащенным кумиром, который Запад в губительном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда воина и героя. В традиционной антиномии Восток — Запад не первый, как обычно, а последний ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру револю-

<sup>42</sup> Оссендовский Ф. Звери, люди и боги, стр. 178.

<sup>43</sup> Юзефович Леонид. Самодержец пустыни, стр. 59 — 60.

<sup>44</sup> «Высшее, основное европейское искусство есть искусство одеваться, искусство половой борьбы, полового подбора, которое и создало промышленное государство... Ибо женщина, пользуясь всеми произведениями фабрик и заводов для соблазна мужчин, заставляет и сих последних пользоваться произведениями тех же фабрик и заводов, чтобы и в свою очередь путем соперничества друг с другом действовать на нее...» (Федоров Н. Ф. Сочинения. М. 1982, стр. 446 — 447).

ции как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник должен был, следовательно, явиться на противоположном конце Евразии». Поэтому не удивительно, что время от времени по приказу барона «начинались гонения на проституток, когда жен солдат и офицеров Азиатской дивизии секли за разврат, за супружескую неверность или даже, как рассказывали, за сплетни»<sup>45</sup>.

Он был жесток, как может быть жесток только аскет, — это мнение одного из современников барона характерно. Рыцарски-аскетическая жестокость Унгерна странным образом вписывалась в атмосферу чисто «восточной жестокости», где, в отличие от европейского гуманизма, личность не является безусловной ценностью. Личность — нереальна, иллюзорна, это цепь бесконечных инкарнаций, и ценность ее очередного земного воплощения весьма относительна. Поэтому незначительный, на первый взгляд, проступок, нарушающий божественное установление, может караться чудовищно, совершенно шокирующим европейца образом...

Монгольская эпопея барона Унгерна длилась не многим более года. В мае 1920-го вместе со своей Азиатской дивизией, насчитывавшей менее тысячи всадников, он уходит от атамана Семенова и в октябре пересекает монгольскую границу. Многим уже тогда этот поход барона представлялся полнейшим безумием. Белое дело было безнадежно проиграно, но для генерал-лейтенанта в монгольском халате с погонями это не имело значения. Слова Апокалипсиса — «Будь верен до смерти» — имели для него абсолютный сакральный смысл: человек не является целью сам по себе, он должен принести себя в жертву тому, что выше его... Через несколько недель Азиатская дивизия внезапно появляется под стенами Урги, занятой китайской армией, которая отрешилась от власти Богдо-гэгэна — духовного и светского владыку Монголии. Осада Урги поначалу не имела успеха, так как китайский гарнизон почти в десять раз (!) превышал численность дивизии Унгерна. Но в конце января 1921 года с помощью отборной тибетской сотни (как говорили, присланной Унгерну самим Далай-Ламой XIII) было осуществлено дерзкое похищение ламаистского первосвященника, которого сторожила в его дворце едва ли не тысяча солдат; моральный перевес перешел на сторону осаждавших, монголы видели в Унгерне мессию, освобождающего их от китайского владычества. В первых числах февраля Урга была взята после кровопролитного штурма, многотысячный китайский гарнизон был разбит и выброшен из монгольской столицы. Как у Чингисхана, город был отдан на разграбление, а в конце февраля был восстановлен на троне Богдо-гэгэн. Монголия ликовала... Затем последовал разгром еще двух крупных армий китайских республиканцев (барон не уставал подчеркивать, что воюет не против древнего народа, а против «гаминов» — китайских революционеров), и Монголия почти полностью оказалась под контролем Азиатской дивизии. Причем барон, постоянно возглавлявший атаки, выходил из всех сражений целым и невредимым, словно его мистическая харизма предохраняла его от, казалось бы, неминуемой гибели. Как на монголов, так и на китайцев это производило ошеломляющее впечатление<sup>46</sup>.

Итак, теократия в Монголии была восстановлена, теперь на очереди было восстановление династии Романовых и Циней в России и «Срединном Царстве». «За последние годы оставалось во всем мире условно два царя, это в Англии и в Японии, — говорит Унгерн в письмах этого времени. — Теперь Небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и третьего февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан... Я знаю, что лишь восстановление царей спасет испорченное Западом человечество. Как земля не может быть без Неба, так и государства не могут жить без царей». И далее, в другом письме: «Лично мне ничего не надо. Я рад умереть за восстановление монархии хотя бы и не своего государства, а другого»<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Юзефович Леонид. Самодержец пустыни, стр. 61, 225.

<sup>46</sup> Сопровождавшие Ф. Оссендовского казаки рассказали ему, что, когда во время боя барон, по обыкновению, сам поскакал в атаку, китайцы узнали его и открыли по нему прицельный огонь. Потом в седле, седельных сумках, сбруе, халате и сапогах Унгерна обнаружили следы будто бы семидесяти пуль, но он не был даже ранен. Этим чудом, по словам Оссендовского, его собеседники и объясняли громадное влияние Унгерна на монголов.

<sup>47</sup> Юзефович Леонид. Самодержец пустыни, стр. 225, 226.

В этот момент Унгерн находился на вершине славы, однако его конец был уже предрешен, как и неудача похода в Россию, начавшегося в мае 1921 года с отрядом всего в три тысячи всадников...<sup>48</sup> Абсолютный фаталист, он и сам предчувствовал это. Оссендовский передает еще один полубезумный монолог Унгерна перед началом похода, после предсказания гадалки о его смерти через сто тридцать дней: «Умру... Я умру... Но это ничего!.. Ничего!.. Дело уже начато и не умрет. Я знаю пути, по которым пойдет оно. Племена потомков Чингисхана проснулись. Никто не потушит огня, вспыхнувшего в сердцах монголов. В Азии образуется громадное государство от Тихого океана и Индийского до Волги!»<sup>49</sup>

За фантастической геополитикой с демоническим привкусом и несомненно «фашистским дискурсом» в личности Унгерна чувствуется что-то другое — болезненно-нездешнее, сомнамбулическое, трансцендентное. Его фанатическая устремленность к Иному породила неизбежное сверхчеловеческое презрение к земному, обыденному, человеческому, его безумную и бессмысленную жестокость. Безусловно, он чувствовал наличие окон, «трещин в мировой стене» (Р. Генон) и мучительно искал их. Человек рождается, получает образование, достигает зрелости, но все больше и больше ощущает, что нечто существенное, глубинное в нем не раскрыто: его дух дремлет, и сам он полумертвец, марионетка, похожий на тысячи окружающих его мертвецов. (Человек во сне рождается, во сне живет и во сне умирает, неустанно повторял Гурджиев, чья мрачная тень незримо витает вокруг одиссеи Унгерна.) «Труднее всего попасть в свое собственное инобытие», — не известно, действительно ли эти слова принадлежат «самодержцу пустыни», но, так или иначе, они сливаются с мифом его жизни... Когда летом 1921 года измотанная в боях с многократно превышающими ее силами красных Азиатская дивизия отступает назад, в Монголию, у барона возникает еще один невероятный и, видимо, давно вынашиваемый им план: двинуться в тысячеверстный переход через абсолютно непроходимую летом пустыню Гоби в «сердце Азии» — Тибет, в Агартху и Шамбалу — прародину великой арийской цивилизации, существовавшей несколько тысячелетий назад... Этот неосуществленный замысел имел и вполне конкретное объяснение: барон, уже сознавая безнадежность собственных устремлений, хотел попасть в Тибет и поступить на службу к Далай-Ламе XIII... Он был одержим идеей жертвенного служения высшему и с жестокостью одержимого принуждал служить ей всех встречавшихся ему на пути (о «жертвенном служении» как основном принципе организации евразийского идеократического государства будут много писать евразийцы в эмиграции<sup>50</sup>). В этом смысле Унгерн в чистом виде «онтологический герой», осуществивший мечту «скифствующих символистов» и сплавивший «жизнь и творчество воедино»... Но в отличие от многих поэтов и философов путь барона Романа Унгерн-Штернберга был не путем брахмана, а путем кшатрия, воина, а этот путь неизбежно омывается реками крови...

### Евразийский эпилог: мировое сиротство и «заблудившаяся соборность»

Начало монгольской эпопеи Унгерна осенью 1920 года совпало с появлением в далекой Софии книги никому не известного тогда лингвиста Н. С. Трубецкого «Европа и человечество»; а когда звезда барона уже клонилась к закату, там же появился сборник статей П. Н. Савицкого, П. П. Сувчинского, Н. С. Трубецкого и Г. В. Флоровского с тройным названием: «Исход к Востоку: предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», положивший начало евразийскому движению в эмиграции... Это был уже новый этап: под сложными, мучительными отношениями России со своим «европейским двойником», со своим Другим в лице Европы, катастрофа 1917 года под-

<sup>48</sup> В Азиатской дивизии, измотанной в боях с многократно превосходящими силами красных, возникает заговор, в результате которого Унгерн попадает в плен, не успев покончить жизнь самоубийством. После судебного процесса, устроенного большевиками с невероятной помпой, он, по личному указанию Ленина, был казнен в сентябре 1921 года. Обвинителем на процессе выступал Емельян Ярославский.

<sup>49</sup> Оссендовский Ф. Звери, люди и боги, стр. 191 — 192.

<sup>50</sup> См.: Савицкий П. Н. Подданство идеи. — «Евразийский временник», 1923, кн. 3; Трубецкой Н. С. Об идее-правительнице идеократического государства. — «Евразийская хроника». 1935. Выпуск XI.

вела итоговую черту. Если в начале века попытки самопознания через свое восточное Другое, через азиатского двойника, попытки найти иной эстетический и философский дискурс были все же вполне маргинальны, то евразийцы полностью попытались изменить ориентации культуры и превратить стихийные интуиции поэтов и художников в основную доминанту...

Сверхзадача евразийства необыкновенно заманчива и амбициозна: это желание совершить «коперниканский переворот» в геополитике, историософии, географии, перекроить привычные границы континентов, соединить казавшееся несоединимым, сместить положение «мировых центров» и создать модель нового континента, которому суждено будет играть главную роль в грядущей истории. Иными словами, это был замысел некой «космической трансмутации», призванной изменить облик земного шара, так что в этом отношении евразийцы вполне могут быть записаны по ведомству «русского космизма». Одновременно в евразийстве изначально звучит идея великой империи, идея универсальной синтетической культуры, столь дорогая сердцу Достоевского и Вл. Соловьева.

Но культура прочна на Западе, в России — катастрофична; тут все непрочно, зыбко, все проваливается. В эмиграции русская тоска по мировой (а точнее, опять-таки по европейской) культуре сменяется глубоким разочарованием в ней. Роман с Западом заканчивается чувством обмана, горечи, обиды. Но отношение к Западу за прошедшие два столетия было не столько отношением к Другому, Двойнику, сколько — к Отцу-просветителю, Наставнику, чьи поучения оказались ложными. Ощущение «мирового сиротства» фундаментально для русской традиции — из него возникало многое; из этого состояния возникает и евразийство, тем более что эмиграция — это сиротство вдвойне. Евразийское движение неизбежно рождается в эмиграции как отталкивание, протест, бунт против обманувшего Отца...

Вместе с тем это поиск новой, иной родословной, попытка освобождения от чувства сиротства, возвращение к «праматери Азии», поиск укрытия, материнского чрева... Именно это более всего и возмутило в «самобытном» евразийстве Ивана Ильина, язвительно писавшего: «Весь вопрос о самобытной духовной культуре сводится к тому, куда именно всем шарахнуть: вот двести лет (якобы) шарахались на запад, ясно, что вышел провал, значит, надо шарахнуть на восток... В человеческой жизни так обстоит всегда и во всем: спасение всегда состоит в том, чтобы удариться в другую противоположность. Переголодал — значит, теперь объедайся; кутался — значит, теперь ходи голым; страдал манией преследования — спеши развить в себе манию грандиозу...» Вопрос о духовной самобытности евразийства, говорит он, по существу, есть вопрос «географического и этнографического припадания». «Но почему же нельзя без припадания? Разве самобытность не в том, чтобы быть перед лицом Божиим самим собою, а не чужим отображением и искажением? Ни восток, ни запад, ни север, ни юг... Вглубь надо; в себя надо; к Богу надо... Почему же именно в Азию, почему на восток?»<sup>51</sup>

Здесь Иван Ильин, философ императивно-волевого начала, склонный к нормативному морализаторству, чьи тексты часто напоминают приказы и постановления, как это ни странно, попадает в «десятку». Диагноз поставлен точно — и не только для евразийства...

Тема сиротства принципиальна для русской культуры — из этого состояния возникает и евразийское движение<sup>52</sup>.

Русское сиротство, звучащее у Гоголя, Достоевского, Федорова, Андрея Белого, Платонова, — это отчаяние извергнутого, потерянного человека. Слово «изверг» этимологически обозначает человека, взявшего индивидуальный земельный надел, то есть одиночку, «извергнутого общиной». Тема извергнутости, отщепенства интеллигенции со времен «Вех» стала общим местом. Интеллектуал — это всегда «изверг» именно в первоначальном значении этого слова.

<sup>51</sup> «Начала». — М., 1992, № 4, стр. 60 — 61.

<sup>52</sup> «Евразийство... порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовок, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загоралось после спора с консьержкой, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и беженство застали подростками» (Чебышев Н. Впечатления. — «Возрождение», Париж, 1927, 16 февраля).



В этом и смысл евразийского обозначения интеллектуала как «подданного идеи». «Подданство идеи» (П. Н. Савицкий) означает для беспочвенного и извергнутого сознания некую сублимацию сиротства, преодоление одиночества. Это понятие, пожалуй, лучше всего выражает архетип интеллигенции вообще — архетип, каждый раз наполняющийся новым содержанием.

Отвергая прежние идола интеллигенции — свободу, прогресс, народ, класс, человечество, — евразийцы ставят на их место понятие «особого мира» — Евразию, точнее, идею Евразии (включающую в себя сильную государственность, церковность, иерархичность, автаркическое месторазвитие, этику жертвенного служения). Но далее и следует самое интересное: во имя поклонения идее Евразии утонченные и европейски образованные приват-доценты и профессора — философы, языковеды, историки — начинают «соскребать с себя европейцев», чтобы под слоем многовековых напластований обнаружить «туранцев». Отталкиваясь от западного индивидуализма, либерализма, плутократии, эти разочарованные европейцы с академической тщательностью преобразовывают все прежние «пороки» русской ментальности в «добродетели», меняют все минусы на плюсы. Получается любопытная картина: все то, что обличалось критиками «азиатчины» и «восточного уклона» от Чаадаева до Вл. Соловьева и Горького, под пером Савицкого, Сувчинского, Н. Трубецкого, Карсавина приобретает черты неоспоримых достоинств. Так, сакраментальная «азиатчина» превращается в солидное евразийство, «восточный фатализм» и сопутствующие «рабство» и «покорность» — в мудрое смирение; лень и пассивность — в бескорыстную созерцательность; за отсутствием аналитической рефлексии обнаруживается способность к целостному видению; за бытовой и культурной неустроенностью — презрение к относительному и религиозная устремленность к абсолютному; за внеисторичностью и неподвижностью — здоровая устойчивость и консерватизм, победа пространства над дурной бесконечностью исторического процесса; за тоталитаризмом и деспотизмом — сакральное отношение к власти, отвергающее рыночно-демократические идола лжесвободы, и т. д.

В этом переворачивании, в культурологической деконструкции односторонних и предвзятых либерально-европоцентристских оценок и клише в самых различных областях знания, пожалуй, главная заслуга евразийского движения... Однако, претендуя на новый синтез, евразийство было, как нетрудно заметить, лишь антитезисом<sup>53</sup> предшествующей традиции, столь же неполным и односторонним метанием от одного полюса к другому. И в результате вместо «синтетического учения» все те же грандиозные руины и развалины... Российская катастрофа и прозаическая реальность послевоенной Европы настолько оттолкнули евразийцев от всякого индивидуализма и либерализма, что человек как таковой полностью растворяется и исчезает в их геополитических и историософских конструкциях. Поразительно, что у провозвестников «исхода к Востоку», писавших, кажется, на любые темы, совершенно нет антропологии (за исключением, пожалуй, Льва Карсавина<sup>54</sup>), и вместо провозглашенного «евр-азийства» в итоге получается чисто восточный монизм и антиперсонализм. Сюжет повторяется: человек не выдерживает катастрофического напряжения истории и, сбрасывая с себя непосильное бремя ответственности, стремится раствориться в евразийском «континент-океане», в планетарном потоке геоисторической эволюции.

Безусловно, православие впитало в себя язычество в несравнимо большей степени, чем западная церковь, поэтому природные стихии, энергии земли, воды, огня всегда были столь властны над русскими равнинами. Отчасти где-то здесь лежат причины постоянного пантеистического уклона в русской мысли, тенденции к растворению и развоплощению личности — уклона, бесспорно, восточного, азиатского. И здесь нетрудно обнаружить то, что о. Г. Флоровский точно назвал «заблудившейся жаждой соборности»...

Существует высокий идеал, но его инкарнация в хаосе мирской жизни слишком мучительна и трудна, ибо в предельно поляризованной культуре нет промежуточных ступеней, нет уровней и связей, соединяющих «верх» и «низ», головокружительную высоту и кошмар неустроенной повседневности. И пре-

<sup>53</sup> См.: Хоружий С. С. Трансформация славянофильства в XX веке. — «Вопросы философии», 1994, № 11, стр. 56.

<sup>54</sup> Карсавин Л. Восток, Запад и русская идея. — В кн.: «Русская идея». М. 1992.

зрение к относительному, промежуточному, гуманистическому жестоко мстит как в истории, так и в обыденности. Возникает порочный круг: тот же человек здесь не выносит лжи, грязи, унижения, бес-человечности самим же собой созданной жизни и бежит, уходит от мира «во зле лежащего» в инобытие абсолютных ценностей, отрицая историю и культуру.

Евразийцы были убеждены, что «духи революции» овладели Россией из-за двухвековой ложной ориентации государственности и культуры. Крушение и эмиграция помогли им освободиться от плена европейского просвещения и взглянуть на мир другими глазами. Но цена была слишком высока... Почему-то русский человек всегда живет иным, другим, дальним: в России боготворит Европу, в Европе открывает Азию или, наконец, оценивает собственное отечество.

Любовь к дальнему и неизбывная «всечеловечность» вновь сыграли с русской интеллигенцией злую шутку: освобождение от одной формы пленения в конце концов привело к другой — к пленению собственными идеократическими конструкциями; вечная болезнь интеллектуалов — идеомания — привела к невероятной идеологизации многих точных идей и интуиций, к грехопадению в политику, к сомнительным играм с ГПУ — НКВД, к разложению и крушению евразийского движения...

### Сироты-отцеубийцы, или «Рожденные от идеи». Постскриптум к «Трагедии интеллигенции»

Мы мертворожденные, да и рождаемся-то не от живых отцов, и это нам все более и более нравится... Скоро выдумаем родиться как-нибудь от идеи.

Ф. М. Достоевский, «Записки из подполья».

После катастрофы, на пепелище, всегда подводят итоги. После крушения 1917 года русской интеллигенции пришлось подводить итоги в изгнании. В то время начало века выглядело совсем не грандиозным ренессансным собором, каким оно кажется теперь из исторического далека, — тогда это были дымящиеся руины...

Георгий Федотов, изображая «трагедию интеллигенции», в 1926 году писал, что «столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила она сама в вечной жажде саможжения»<sup>55</sup>.

Но самый суровый диагноз был поставлен в «Пути русского богословия» разочарованным евразийцем о. Георгием Флоровским — он назвал эту болезнь «мистическим непостоянством» или «исторической безответственностью». Он писал: «Слишком привыкли русские люди празднично томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. *«Ни Зверя скиптр нести не смея, ни иго легкое Христа»*... И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутиям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры»<sup>56</sup>.

Сегодня, несколько десятков лет спустя, можно утверждать еще с большим основанием, что история русского самосознания *par excellence* — это история пленения (и вместе с тем история сопротивления этому пленению).

В нашем столетии (не только в России, конечно) настойчиво повторяется один и тот же сюжет, демонстрирующий глубоко иррациональную тайну истории: идеомания интеллектуалов, «власть идей», навязчивая и неизбывная вера (на другом полюсе порождающая идеофобию и обскурантизм), что с помощью внедрения в реальность метафизических и социальных схем, доктрин, учений можно разрушить старую (ложную) историю и создать новую (истинную), «оседлать тигра» и наконец-таки овладеть и покорить Клио. Первая, разрушительная, часть удается: не выдерживая агрессивного напора «ноосферы», жизнь рушится, и кажется, что впереди — победа... а Клио вновь ускользает, растоптав и похоронив идеологов, идеософов и идеократов...

<sup>55</sup> Федотов Г. Судьба и грехи России. СПб. «София». 1991, стр. 68.

<sup>56</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия, стр. 501.

Да, евразийство было право: Россия — это не Европа и не Азия. В своем идеальном проекте евразийский континент — это мост (и одновременно синтез) между Востоком и Западом, но в действительности — это бесконечное пространство было и остается полем столкновения энергий Европы и Азии, циклонов и антициклонов, образующих гигантские завихрения, воронки, впадины, куда время от времени проваливаются история, культура, цивилизация, и все нужно начинать сначала. Синтез не удастся, и слово «Евр-азия» придется писать через дефис. И все имперские тенденции российской государственности проистекают не только из «похоти власти», но оказываются вынужденными попытками скрепить распадающееся пространство, в котором центробежные силы раздирают ткань империи и на пепелище — вновь обломки и руины «трагического империализма». Поэтому почти каждое последующее поколение отрицает предыдущее, совершая реальное или символическое «отцеубийство», ибо «отцам история не удалась». Отсюда и «детскость» — пресловутый русский инфантилизм с его беспамятством, нежеланием взрослеть и неуютным чувством сиротства, изобличаемый, начиная с Чаадаева, уже полтора десятилетия лет. Но точнее было бы сказать — не нежелание, а роковая невозможность взрослеть, хотя этнос по возрасту уже более чем зрел, но как возможно реальное достижение зрелости в рамках одного поколения?.. «Сирота-отцеубийца», начинающий историю с нуля, неизбежно юн и незрел, а потому открыт и всеотзывчив; всечеловечность Достоевского — изнанка, вернее, прямое следствие трагической детскости, вечно пытающейся освободиться от агрессивного патернализма «промотавшихся отцов».

В наши дни, во времена очередного катастрофического разрыва национальной традиции, свержения старых идолов и водворения новых, жизнь опять начинается сначала (какой раз за столетие!): «ложная история» уничтожается и начинается «истинная». Но вопреки «смерти идей» и размягчающей ситуации постмодерна, которую после многочисленных идейных опьянений XX века можно назвать «похмельем истории», все повторяется в самых гротескных формах...

Мысль о. Г. Флоровского об особом пристрастии русских к перекресткам и перепутьям трудно оспорить. Что поделаешь, если Россия-Евразия — промежуточный континент, всемирный перекресток, где столкновение планетарных стихий доводит историю до апокалиптического напряжения. И евразийский «всечеловек», призванный разрешить мировые противоречия, раздирается ими в клочья, оставаясь трагическим странником, вынужденным блуждать и скитаться всегда «между», «вне», «посреди» и отрицать самого себя. Ибо синтез не удастся, а преждевременный выбор обедняет...

На закате первой эмиграции, в 1967 году, Георгий Адамович, поэт и критик, казалось бы далекий от историософских спекуляций, начал свою итоговую книгу следующими словами: «После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглеризма, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, — ...после всего этого... главный для нас, общерусский, вопрос над личными темами есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия — страна промежуточная. И конечно, этот вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе»<sup>57</sup>.

Тридцать лет спустя текст Георгия Адамовича можно продолжить и сказать, что после коммунизма с его «оттепелями» и «заморозками», после либерализма и диссидентства, после структурализма, концептуализма и постмодернизма, после реформ, монетаризма и «дикого капитализма», после очередных путчей и переворотов, неизбежных крушений и очередного «конца истории» этот вопрос по-прежнему остается открытым. Если в отношении Запада многое уже ясно, то Восток и поныне *terra incognita*; и ситуация все также напоминает русскую сказку с витязем на перепутье, томящимся у рокового камня...

С.-Петербург.

<sup>57</sup> Адамович Г. Комментарий. Вашингтон, 1967, стр. 5.

---

---

ДАНИ САВЕЛЛИ



## ДРАКОН, ГИДРА И РЫЦАРЬ

**В** 1890 году в статье «Китай и Европа» Вл. Соловьев неявно и вместе с тем достаточно определенно сблизил между собой Поднебесную империю и Францию, тем самым отделив последнюю от всей остальной Европы. При этом он отталкивался от двух событий, происшедших годом раньше: первое, реальное, — празднества в Париже по случаю столетия революции 1789 года; второе, гипотетическое, — решение китайского правительства начать модернизацию страны на западный манер. Связать эти два события можно было только при наличии ярчайшей доминантной идеи, без труда вбирающей в себя самый разнородный материал.

Соловьев вспоминает, как в 1889 году, в Париже, он присутствовал на заседании Географического общества, где китайский военный агент (атташе) Чен Китонг, блистая остроумием, «на чистейшем парижском говоре» произнес речь, встреченную бурными рукоплесканиями публики. Между тем в своей вызвавшей овацию речи этот обаятельный генерал в шелковом халате, оказавшийся вдобавок корреспондентом французского «*Revue des deux Mondes*», предсказал не что иное, как будущее завоевание Европы Китаем, усвоившим последние достижения западной науки и техники. Тем не менее его грозная речь была встречена аплодисментами. Очевидно, присутствующие восприняли все сказанное как прогноз настолько нереальный, что сама его фантастичность давала основание восхититься изящной дерзостью пекинского генерала. Но Соловьев относится к его словам в высшей степени серьезно, реакция французов кажется ему легкомысленной. Ведь совсем недавно, напоминает он, всего пять лет назад, в 1884 году, китайцы нанесли поражение французским войскам в Тонкине, идет обновление китайского флота. По Соловьеву, даже такие ученые, как А. Ревиль, автор изданной в 1890 году в Париже книги «Китайская религия», считавший Поднебесную империю очагом опаснейшей духовной инфекции и единственным препятствием для абсолютной европейской гегемонии в мире, недооценивают исходящую от этой страны потенциальную военную опасность.

Разумеется, объясняет Соловьев, с христианской точки зрения было бы безнравственно желать истребления целого народа, в данном случае — китайского, однако весьма желательно подорвать основы собственно «китаизма», то есть тех принципов, которыми управляется вся жизнь китайцев и которые имеют следствием обособление Китая от остального мира. Ссылаясь на работы французских синологов А. Ревилья, Ст. Жюльена и Ж.-П. Потье, немецких — Р. фон Пленкнера и И.-Г. Платта и русского — С. Георгиевского, Соловьев пытается охарактеризовать сущность «китаизма». Мы узнаем, что китайская цивилизация не дала миру ни одного великого человека; что китайская литература представляет лишь исторический и этнографический интерес; что буддизм и даосизм основаны на нелепых идеалах; что конфуцианская философия «содержит только практическую житейскую мудрость *ad usum Cinesium*, то есть, в сущности, проповедь умеренности и аккуратности, доходящую

---

Д. САВЕЛЛИ — французский литературовед и переводчица, автор работ о «азиатстве» в русской литературе и общественной мысли конца XIX — начала XX века. Перевела на французский ряд произведений Л. Андреева, А. Белого, В. Брюсова.

Статья написана по-русски.

нередко де истин господина де-ля-Палисса»<sup>1</sup>, и т. д. Отсюда следует вывод, что основополагающий принцип, регулирующий жизнь китайцев, есть доведенный до крайности материализм, а его идеологический фундамент — культ прошлого. Эти столь же резкие, сколь и поверхностные суждения о китайской культуре занимают девять глав «Китая и Европы», и лишь в «Заключении» Соловьев говорит о понимании прогресса и об отношении к прошлому на Западе. С одной стороны, считает он, с 1789 года в Европе утвердилась ложная идея прогресса, в своем откровенном материализме противная духу христианства; с другой — «реакционное направление, само того не замечая, стало искать спасения для Европы в принципах китаизма, в безусловном культе прошедшего»<sup>2</sup>, что может оказаться для западной цивилизации не менее пагубным, чем культ прогресса. Последняя тенденция на государственном уровне в конце XIX века ярче всего была представлена Россией, о которой Соловьев умалчивает — видимо, по цензурным соображениям; первая — Францией, что парадоксальным образом не отдаляет ее от «недвижного Китая», но, напротив, сближает с ним по принципу сближения крайностей. Франция, с ее давними антиклерикальными традициями, была для Соловьева самым слабым, самым уязвимым звеном христианской цивилизации, поэтому именно Франции он отводил роль будущего союзника китайцев при покорении ими Европы. Гораздо определеннее о причинах такого противоестественного, казалось бы, альянса он скажет спустя десять лет в своей знаменитой «Краткой повести об антихристе», где описывается нашествие азиатских полчищ на Запад.

Соловьев разрабатывает подробный сценарий этого апокалиптического вторжения. Ход событий следующий: Китай и Япония объединяются под властью японского принца на пекинском престоле; китайская армия, реорганизованная японскими инструкторами, включающая в себя орды монголов и тибетцев, уничтожает отчаянно сопротивляющиеся русские войска и выходит к рубежам Германии. Здесь, правда, богдыхан терпит первое поражение от немецких дивизий, но как раз в это время Франция, где после позора 1871 года «берет верх партия запоздалого реванша», наносит вероломный удар в тыл немцам. Оказавшись «между молотом и наковальней», Берлин капитулирует; «ликующие французы, братаясь с желтолицы, рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое представление о военной дисциплине». В результате «не-нужные более союзники» вырезаются «с китайской аккуратностью», а тем временем в Париже начинается «восстание рабочих *sans patrie*»<sup>3</sup> и «столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока»<sup>4</sup>.

Иными словами, Франция дважды предаст общеевропейское дело: первый раз — в силу узкоэгоистических национальных интересов, которые она ставит выше интересов всего христианства; второй — по причине своих давних революционных традиций. Ведь тот же 1889 год, когда французы с необычайной пышностью праздновали столетие со дня падения Бастилии, ознаменовался еще одним событием того же плана: в Париже был создан II Интернационал (на это, несомненно, намекает выражение «рабочие *sans patrie*»). Таким образом, Франция, воплощая собой две главные для христианской цивилизации внутренние опасности — национализм и наднациональный революционаризм, в обеих своих ипостасях становится естественной союзницей внешних врагов христианства. Этому, в изображении Соловьева, способствует и характер французов как нации: они безрассудны, не способны к предвидению, страдают недостатком воли, пленяются формой, забывая о содержании (остроумные пассажи и «чистейший парижский говор» китайского генерала-дипломата заслоняют для них зловещий смысл его речи); наконец, они попросту легкомысленны. Все для них — повод к очередному празднику: и годовщина кровавой революции с ее давно дискредитированными идеалами, и роковая по своим последствиям победа над Германией в союзе с коварными азиатами, и даже вступление «желтолицых» в Париж, который «радостно» встречает собственных поработителей.

<sup>1</sup> Соловьев В. С. Собрание сочинений, т. VI. СПб. 1911 — 1914, стр. 139. *Ad usum Sinenium* — для китайского употребления (*лат.*). Палисс — персонаж шуточной французской песенки, в тексте которой обыгрываются трюизмы.

<sup>2</sup> Там же, стр. 148.

<sup>3</sup> Не имеющих отечества (*франц.*).

<sup>4</sup> Там же, т. X, стр. 194 — 196.

Надо заметить, что в своем восприятии Франции как «пятой колонны» грядущих с Востока завоевателей Соловьев не был одинок: на русской почве у него имелись и предшественники, и последователи. Г. Данилевский еще в 1879 году опубликовал фантастический рассказ «Жизнь через сто лет», герой которого отдает семь лет жизни в обмен на возможность прожить семь дней в будущем, столетие спустя. Чудесным образом оказавшись в Париже 1968 года, он обнаруживает, что «столица западной культуры» ныне пребывает под властью китайцев. «Везде отзывалось китайщиной, — от своего лица с иронией резюмирует Данилевский, — и это очень шло к французам, как известно, и в былое время, в XIX столетии, бывшим великими охотниками до разных „chinoiseries”»<sup>5</sup>. В известной степени Данилевский прав: моду на все китайское в Европе ввела мадам де Помпадур, но во Франции эта мода была выражением не упадка, а силы собственной культурной традиции, способной без ущерба для себя воспринимать чуждые веяния. Не случайно Россия получила от мадам де Помпадур не только изящные китайские павильоны в загородных дворцах русских самодержцев, но и «Медного всадника» на Сенатской площади (до приглашения в Петербург Э. Фальконе находился под покровительством этой любительницы «chinoiseries»).

Настороженное отношение к Франции свойственно было и А. Белому, который еще в юности был потрясен «Краткой повестью об антихристе», услышав ее в авторском чтении. Эти настроения сказались в «Петербурге», но сильнее всего — в повести «Одна из обителей царства теней» (1924). Здесь описывается жизнь русских эмигрантов в Берлине — чудовищном, как бы по-стороннем городе, где, однако, все самое отвратительное, смутное, противостественное порождено влиянием Франции, которая давно утратила свою западную природу и стала придатком Востока в лице собственных колоний («Вы не знаете Франции, — цитирует Белый дневник своего путешествия в Тунис в 1912 году, — европейская Франция — малый отросток гигантского тела, лежащего в Африке, и отломанный от африканской земли кручами Гибралтара... Знаю наверно я: никогда не пришло вам на ум вымерить Францию; вымерил я: отношение ее европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара... равняется дроби  $\frac{1}{22}$ ...»<sup>6</sup>). Франция ассоциируется у Белого уже не с «желтой опасностью», как у Соловьева, а с «черной», но суть остается та же: эта родина декаданса, эта ветреная нация, распространяющая самое грубое варварство под видом самой утонченной цивилизации, бездумно поощряющая все кровосмесительные течения современной культуры — от Гогена до канкана, — таит в себе угрозу Европе.

Но вернемся к «Краткой повести об антихристе» и ее автору. Итак, Западу угрожает Китай, в трактовке Соловьева — совершенно умозрительный, сконструированный из его собственных иллюзий и опасений, из намеков на политическую ситуацию в России и соответствующим образом подобранных цитат. Это — «дракон». В комплоте с ним выступает «гидра» — Франция, которая тоже является не реальной Францией, а символом определенных тенденций европейского духовного кризиса (мы оставляем в стороне вопрос о том, насколько этично использование живых существ в качестве символов чего бы то ни было). Эти две псевдореальности в системе соловьевского мировоззрения имеют отрицательный знак; одновременно рядом с ними встает третья, также вполне иллюзорная, но отмеченная знаком положительным, — Германия. Недаром именно немецкая, а не русская армия наносит первое и единственное поражение полчищам японо-китайского богдыхана. Если Россия заражена «китаизмом», Франция — политическим либерализмом и «прогрессизмом», Великобритания — торгашеским капитализмом (в «Краткой повести об антихристе» англичане, не выходя на поле боя, откупаются от ужасов азиатского вторжения контрибуцией в миллиард фунтов), то Германия остается последним оплотом и надеждой христианского Запада. Подобно герою средневекового эпоса, она побеждает врага в честном поединке и гибнет от предательского удара в спину, как всегда погибают достойнейшие. Но почему именно Германия?

<sup>5</sup> Данилевский Г. Сочинения, т. XIX. СПб. 1901, стр. 23. Chinoiseries — китайские безделушки (франц.).

<sup>6</sup> Белый А. Одна из обителей царства теней. Л. 1924, стр. 52.

Бурное развитие ориенталистики в Европе XIX века было теснейшим образом связано с колониальной экспансией западных держав<sup>7</sup>. Синологические экскурсы Соловьева — не исключение. Его интерес к Китаю был отнюдь не академическим. Источником вдохновения для него была современная политика, а события на Дальнем Востоке подтверждали, казалось, правоту его предвидений. В своей последней статье, написанной в 1900 году, незадолго до смерти, Соловьев с удовлетворением констатирует, что его давняя тревога по поводу грозящего Западу «панмонголизма» ныне разделяется рядом «более важных лиц», нежели он сам. «В этом ожидании исторической катастрофы на Дальнем Востоке я не был, конечно, одинок», — пишет Соловьев в связи с началом так называемого боксерского восстания в Китае, но из всех своих единомышленников упоминает единственного — это известный французский географ Э. Реклю<sup>8</sup>. Вне всякого сомнения, имеется в виду не только и не столько он. Кто же они, эти загадочные и, видимо, влиятельные фигуры, чьи имена Соловьев не хочет или не может назвать?

Приведем одну цитату:

«20 — 30 миллионов обученных китайцев, при поддержке 1/2 дюжины японских дивизий и под командой пылких, неудержимо ненавидящих христиан японских офицеров, — вот будущее, которое мы должны предвидеть не без душевного волнения».

Кажется, что это написал Соловьев, хотя на самом деле цитата извлечена из переписки двух высочайших особ, двух кузенов, один из которых, безусловно, должен был возглавить список тех «важных лиц», кого Соловьев причислял к своим единомышленникам. Автор этих строк — германский император Вильгельм II, их адресат — российский император Николай II<sup>9</sup>. Написаны они в 1902 году, но тема «желтой опасности» становится лейтмотивом внешней политики Германии гораздо раньше, со времени японо-китайской войны 1894 — 1895 годов, когда кайзер поначалу с радостью воспринял победы японцев, но вскоре их чересчур быстрые военные успехи стали его беспокоить: он увидел в них угрозу немецким интересам на Дальнем Востоке. Именно по инициативе Вильгельма II была достигнута договоренность о совместных действиях Германии, России и Франции с целью ограничить территориальные претензии Токио к Китаю; 23 апреля 1895 года Берлин, Петербург и Париж направили японскому правительству предостерегающие ноты, причем немецкая нота оказалась наиболее резкой: она была выдержана в оскорбительном для Японии тоне. Хотя Германия при этом (как, впрочем, и Россия и Франция) исходила из собственных далеко не бескорыстных интересов, подобная акция могла показаться Соловьеву исполненной особого смысла: впервые Запад выступил против Востока единым фронтом. Если само существование «панмонголизма» для Соловьева было аргументом в пользу необходимости объединения христиан всех конфессий, к тому же аргументом не умогательным, а, как он себе это представлял, идущим непосредственно «от жизни», то и Вильгельм II, казалось, тоже осознал насущную важность такого единства: ведь он ратовал за союз Германии (главным образом протестантской), России (православной) и Франции (католической), чтобы общими усилиями положить предел японской экспансии на материке. Задача была тем важнее, что такая экспансия могла бы привести к полной зависимости Китая от Японии, а затем и к созданию столь страшившей Соловьева могущественной федерации двух «желтых» империй.

Теперь в его распоряжении оказываются новые аргументы. По своей весомости они не идут ни в какое сравнение со ссылками на тибетские пророчества о пришествии Будды Майтреи и распространении «желтой религии» по всему миру (об этом Соловьев вычитал из книги французских иезуитов Гюка и Габе) или на грозные речи китайских дипломатов типа Чен Китонга (вряд ли Соловьев не понимал, что такого рода речи произносились прежде всего с целью получить финансовую помощь от европейских стран, для чего их следовало немного поугуать<sup>10</sup>). С 1895 года у Соловьева появляется единомышлен-

<sup>7</sup> См.: Saïd E. Orientalism. New York. 1979.

<sup>8</sup> Соловьев В. С. Собрание сочинений, т. X, стр. 223.

<sup>9</sup> «Переписка Вильгельма II с Николаем II». М. 1923, стр. 42 — 43.

<sup>10</sup> См.: Gollwitzer H. Die gelbe Gefahr. Göttingen. 1962, P. 31.

ник куда более авторитетный, чем Э. Реклю или синологи вроде А. Ревилля; отныне идейным союзником русского философа становится не кто иной, как сам германский кайзер с его громовыми речами и воинственными призывами противостоять «желтой опасности» (примерно тогда же японцы, в свою очередь, начинают говорить о «хакабату», то есть «белой опасности»). В то время как Соловьев полемизировал со Львом Толстым, считая, что пацифизм последнего есть лжехристианство, Вильгельм II объявил, что германская военноморская экспедиция в Китай в 1897 году предпринята именно в защиту христианской религии. Поводом для этой экспедиции стало убийство китайцами двух немецких миссионеров в Шаньдуне, и при личном свидании с Николаем II в Петергофе кайзер заявил ему, что вынужден занять китайский порт Киао-Чао для обеспечения безопасности миссионеров и, следовательно, для того, чтобы содействовать распространению христианства в Китае. Сам царь и русские дипломаты прекрасно видели истинные мотивы этого предприятия (накануне высадки немецкого десанта в бухте Киао-Чао прозвучал протест министра иностранных дел Муравьева), но Соловьев предпочитал закрывать на них глаза. Вероятно, тогда же Вильгельм II стал для него человеком, пытающимся возродить в Европе традиции крестовых походов, за которыми открывалась перспектива скрепленного кровью христианского всеединства.

Едва ли Вильгельм II читал Соловьева. Мысли вроде тех, что он высказал в цитированном письме к Николаю II, кайзер мог почерпнуть откуда угодно. В источниках недостатка не было. Все это носилось в воздухе и перепевалось на разные лады. Впрочем, парадоксы соловьевского уровня оставлены были интеллектуалам, а обывателю предлагались блюда самой грубой журналистской кухни. В последнем десятилетии XIX века тема «желтой опасности», как пишет Ж. Декорнуа, автор книги «Желтая опасность, белая боязнь», превратилась в «дежурную тему газетного киоска»<sup>11</sup>, причем киоска, расположенного и в Западной Европе, и в России, и в Соединенных Штатах — всюду, где считали Дальний Восток зоной своих интересов. Трудно сказать, кому тут принадлежит приоритет, но, во всяком случае, не Соловьеву. Идея давно стала расхожей, затертой до безликости. Например, русский публицист Чернов, живший во Франции и писавший по-французски под псевдонимом «А. Доверин», еще в 1890 году утверждал, что «нашествие кроликов в Австралии — ничто по сравнению с угрожающим нам нашествием желтой расы»; при этом, в отличие от Соловьева, он полагал, будто Германия тайно вооружает китайцев, подстрекая их к нападению на Россию<sup>12</sup>. Не исключено, что наградой за такие откровения был не только авторский гонорар, но и выплаты из секретных фондов разведывательных служб. Тема «желтой опасности» все активнее использовалась и в дипломатической игре, и для обработки общественного мнения. Цели могли быть самые разные, часто взаимоисключающие. Жупел действовал на уровне подсознания и был настолько ирреален, что с легкостью вписывался в любую политическую идеологию — охранительную, либеральную, германофильскую, германофобскую и т. д. Разумеется, у Соловьева все было несравненно тоньше, глубже, чем у корреспондента какой-нибудь бульварной газеты, но сложнейшая философская и религиозная основа подобных идей для сильных мира сего имеет лишь один, и сугубо практический, смысл, она позволяет скрывать земные интересы за ширмой с евангельскими цветами.

Вскоре после окончания японо-китайской войны Вильгельм II совершенно в соловьевском духе напоминает своему петербургскому кузену о том, какую «великую роль должна играть Россия в деле насаждения культуры в Азии и в деле защиты креста и старой христианской европейской культуры против вторжения монголов и буддизма»<sup>13</sup>. Письмо датировано июлем 1895 года, а спустя два месяца, продолжая ту же пропагандистскую кампанию, кайзер посылает многим государственным деятелям и выдающимся личностям Европы, в том числе Николаю II, репродукцию картины, которая призвана служить наглядной иллюстрацией к его высказываниям последнего времени. Эту картину Вильгельм II представляет как свое собственное произведение (тоже штрих к

<sup>11</sup> Decornoy J. Peril jaune, peur blanche. Paris. 1970, p. 35.

<sup>12</sup> Dovéline A. L'esprit national russe. Paris. 1890, p. 164, 183.

<sup>13</sup> «Переписка Вильгельма II с Николаем II», стр. 9.



его характеру!), хотя в действительности ее автором был немецкий художник Кнакфусс, профессор Академии художеств в Касселе. На картине изображена женская фигура в шлеме, символизирующая собой Германию, за ней теснятся аллегории других стран Европы, а перед ними, в вышине, — зловещий Будда, окруженный мрачными облаками. Подпись следующая: «Европейские народы, сохраните ваши самые драгоценные блага». Тем самым политический конфликт на Дальнем Востоке переводится в принципиально иную плоскость и предстает как судьбоносное противостояние двух цивилизаций — христианской и буддийской. Такой подход должен был импонировать Соловьеву, который считал (и неоднократно писал об этом), что буддизму безосновательно приписывают исключительно мирный, пассивный и созерцательный характер (в исламе, кстати, он не усматривал ни малейшей угрозы христианскому миру ни в настоящем, ни в будущем, полагая, что эта религия целиком принадлежит прошлому, как и народы, ее исповедующие).

Соловьев страстно стремился найти соответствие между своим телеологическим осмыслением истории и событиями современности. Последние, как ему казалось, давали основания надеяться, что угроза с Востока наконец-то поставит христианскую Европу перед необходимостью преодолеть межконфессиональные распри. «Имя дико» — «панмонголизм» — «ласкало слух» русско-го философа именно в этом смысле. Он не понимал или не желал понимать, что Германия готовится к новой войне с Францией, для успеха которой Франция должна быть изолирована, а ее главная союзница, Россия, отвлечена восточными авантюрами. Возможно, Соловьев слышал о наполненных предостережениями по поводу «желтой опасности» письмах Вильгельма II к Николаю II (слухи о них могли просочиться за стены царских дворцов), но он и мысли не допускал о том, что эти письма продиктованы не заботой о судьбах христианства, а политическим расчетом и являются составной частью немецкой дипломатической стратегии. Точно так же Соловьев решительно не хотел видеть, что не Китай угрожает Западу, а наоборот. Дальневосточная политика западных держав становилась все агрессивнее; в итоге члены тайного общества «Ихэтуань» («боксеры»), раздраженные вызывающим поведением Германии, 5 июня 1900 года убивают немецкого посла в Пекине барона Кетелера. Конечно же, немцы, а за ними французы и русские пользуются случаем и посылают войска в Китай и Маньчжурию. При этом Вильгельм II мгновенно забывает о своей роли защитника христианства и глашатая культуры в Азии: обращаясь к немецким солдатам и офицерам, он публично призывает их учинить такую расправу, чтобы китайцы запомнили германское имя так же твердо, как народы Европы сохранили в памяти имя гуннов и их вождя Аттилы. Сопоставляя самого себя с Аттилой, Вильгельм II, видимо, учитывал, что в немецкой традиции Аттила — Этцель «Песни о нибелунгах» — не является тем чудовищем, каким он предстает в традиции других европейских народов. Однако при всех его достоинствах у Аттилы-Этцеля есть один существенный и в данном случае символический изъян: он — язычник.

Если Лев Толстой тогда же найдет достаточно сильные выражения, чтобы высмеять и лицемерие Вильгельма II, и казенный восторг, вызванный его истерическими призывами<sup>14</sup>, то Соловьев открыто восхищается речами и решениями кайзера. «И речь грозящая — свята», — заявляет он в стихотворении «Дракон», написанном 7 июля 1900 года, сразу же после отправления немецкого экспедиционного корпуса в Китай, и посвященном, правда, не Аттиле, а другому герою «Песни о нибелунгах» — Зигфриду. Хотя в печатном варианте «Дракона» этого посвящения нет, оно присутствует в рукописном, содержащемся в письме автора к В. Стасюлевичу<sup>15</sup>. Надо полагать, Соловьев сам позднее снял его из-за слишком очевидных языческих ассоциаций. Но исторический контекст, в котором написан «Дракон», не оставляет ни малейших сомнений в том, какие именно события послужили для Соловьева источником вдохновения и кто подразумевается под именем Зигфрида. Вообще все аллегии этого стихотворения на редкость прозрачны. Дракон традиционно символизирует Поднебесную империю, но в христианской мифологии он же олице-

<sup>14</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 34. М. — Л. 1928 — 1964, стр. 203 — 204.

<sup>15</sup> «Письма Владимира Сергеевича Соловьева», т. IV. СПб. 1908 — 1913, стр. 83.

творяет собой дьявольское начало. «Наследник меченосной рати», который «верен знамени креста», — это, разумеется, Вильгельм II. А поскольку он собирается поразить дракона, фигура германского императора сливается с образом святого Георгия. «Меченосная рать» — не что иное, как Орден меченосцев, чьей экспансии противостоял еще Александр Невский, один из крестоносных рыцарских орденов европейского средневековья. Символы выстраиваются в определенную систему; в результате невольно возникает параллель между подавлением восстания «ихэтуаней» и крестовыми походами, когда христианский Запад тоже единым фронтом выступал против «неверных». Тогда к «неверным» наряду с мусульманами и язычниками причислялись и «схизматики», то есть православные, но теперь ситуация изменилась: участие России в антикитайской коалиции для Соловьева было, видимо, равнозначно ее окончательному «вхождению в Европу». В создании этой коалиции он увидел пролог будущего христианского единства, а в Вильгельме II — вождя нарождающегося движения («Христов огонь в твоём булате»). Последние строки обращенного к нему предсмертного стихотворения Соловьева звучат боевым кличем и в то же время откликом на картину, принадлежащую якобы кисти самого кайзера: «Но перед пастью дракона / Ты понял: крест и меч — одно». Заметим, однако, что в этом ликовании христианского философа отчетливо слышится языческая нота.

Возводя ситуацию к ее античному архетипу, можно сказать, что очередной Платон, как это не раз бывало в истории, нашел своего Дионисия<sup>16</sup>, способного оценить его идеи и воплотить их в жизнь. Чем это обычно кончается, хорошо известно. К началу XX столетия сюжет разыгрывался на исторической сцене уже так часто, что стал восприниматься как трагикомический. Таковым он остается и поныне.

Хотя, может быть, Соловьев, рисуя полюс мирового зла, из понятных побуждений сознательно сгущал краски, в целом его искренность вне сомнений. Об угрозе со стороны Китая он заговорил задолго до того, как схожие идеи начал использовать Вильгельм II. По словам Льва Лопатина, друга детства Соловьева, тот еще в двенадцать — тринадцать лет «с одушевлением доказывал, какую огромную опасность для России и всей Европы представляет в будущем Китай»<sup>17</sup>. Но, поддавшись соблазнам демонического дуализма, свою религиозно-политическую концепцию Соловьев построил на ряде парадоксов, как строятся все системы такого рода. Бессмысленно полемизировать с ними на рациональном уровне. Они рушатся не под напором теоретических аргументов, а при столкновении с парадоксальностью самой жизни, не укладывающейся в дуалистическую схему, и чем концепция жестче, тем губительнее для нее подобные столкновения. История пошла не по тому пути, который начертал ей Соловьев. Уже вскоре после его смерти японские войска в Китае сражаются бок о бок с немецкими, русскими, французскими и британскими, а чуть позже Вильгельм II, рыцарь христианского единства, продолжая запугивать Николая II «желтой опасностью», тайно побуждает носителей этой «опасности» — японцев — к войне с Россией и заверяет их, что в случае такой войны Германия будет соблюдать по отношению к Японии самый благожелательный нейтралитет. Одновременно, действуя с западным цинизмом и восточным вероломством, кайзер то же самое обещал и царю (кстати, политика Германии весьма напоминает поведение Франции в «Краткой повести об антихристе»). Но Соловьев, к счастью для него, об этом уже не узнал.

<sup>16</sup> Имеются в виду политические надежды, которые возлагал Платон на сиракузского тирана Дионисия, о чем с иронией пишет В. С. Соловьев в своем сочинении «Жизненная драма Платона» (1898). (Примеч. ред.)

<sup>17</sup> Лопатин Л. Вл. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой. — «Вопросы философии и психологии», 1913, сентябрь — октябрь, стр. 356.

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ



## НЕИСТОВЫЙ ФИГЛЯРИН

**В** седьмом томе собрания сочинений Булгарина есть фантастическая «Сцена из частной жизни», действие которой происходит в 2028 году. В России в это время, как пишет Булгарин, установился «союз торговли, просвещения и промышленности», страна пришла к благоденствию. И вот на фоне этого подъема люди XXI века читают Булгарина и подводят итог его литературной деятельности. Их заключение таково: «Слог и язык устарели, формы и периоды обветшали, но... занимательное... описание *Нравов*».

Что ж, Булгарин не ошибся. По крайней мере, в конце XX века его продолжают читать. И образ этого литературного казановы зазывает и зазывает исследователей.

Издатели «Истории русской литературы», которая выходит во Франции, попросили меня написать главу о Булгарине.

А получилось вот это эссе.

---

Жизнь Фаддея Булгарина достойна романа. Может быть, именно такого романа, которые он сам писал, где есть возвышения и падения, выигрыши и проигрыши, дым сражения, угар любви и скачок из грязи в князи — карты, женщины, война, измена, — одним словом, авантюрный роман в духе «Ивана Выжигина» и «Петра Ивановича Выжигина», принесших их автору европейскую славу. Вот как Булгарин аттестует себя в предисловии к своим воспоминаниям: «Почти двадцать пять лет сряду прожил я, так сказать, всенародно... и, наконец, дожил до того, что могу сказать, ...что все грамотные люди в России знают о моем существовании!»

Но не только в России грамотные люди были читателями его романов, «благодаря Бога», как признается Булгарин, разошедшихся «в числе многих тысяч экземпляров». Они были переведены на языки «французский, немецкий, английский, шведский, итальянский, польский и богемский».

Булгарин никогда не отличался скромностью, и, слушая его, всегда надо делать поправку на то, что в ста частях информации тебе преподнесут семьдесят частей лжи, а то и все сто, как в речах Ивана Александровича Хлестакова. Послушать Булгарина, так он и со всеми министрами знаком, и во дворец каждый день ездит, и литературу русскую создал он (по крайней мере «первый оригинальный русский роман», как он отозвался сам о своем «Иване Выжигине»), и с Пушкиным на дружеской ноге и т. д. и т. п. Но вернемся от мифов к строгим фактам.

Фаддей Булгарин, чей род по матери шел от канцлера Димитрия Самозванца Яна Бучинского, а по отцу — из славянского племени «булгар, выходцев из Албании», родился в Белоруссии, почти на границе с Литвою и Польшей, 24 июня (по старому стилю) 1789 года.

Он был на десять лет старше Пушкина, на двадцать лет — Гоголя и пережил их обоих, скончавшись в своем имении Карлово под Дерптом 1 сентября 1859 года.

Имя Фаддей (по-польски Тадеуш) было дано ему в честь предводителя польских повстанцев знаменитого Тадеуша Костюшко, в войске которого сражался отец Булгарина, высланный впоследствии за убийство русского генерала Воронова в Сибирь.

Булгарин в своей (во многом придуманной) биографии умалчивает об этом преступлении отца, но не скрывает того, что отец был арестован, затем выпущен и через некоторое время скончался. Рано лишившись отца и будучи на попечении матери вместе с другими детьми от ее первого брака, Булгарин вынужден был полагаться на себя, на свои способности, характер, волю, и особенно, конечно, на характер, — а Булгарин от природы был вспыльчив, горяч, необуздан (и в этом походил на отца). Все это вместе наряду с успехами доставляло ему немало неприятностей, которых, будь Булгарин скрытней, терпеливей, хитрее и умней, могло бы и не случиться.

Но наш герой был поляк — и этим все сказано.

Впоследствии Пушкин в статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», напечатанной в московском журнале «Телескоп» в 1831 году, отвечая соиздателю Булгарина Н. И. Гречу и защищая честь Москвы, поставленную под сомнение Гречем, писал: «Москва доньше центр нашего просвещения: в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих *ibi bene, ibi patria*, для коих все равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить русское — были бы только сыты».

«Переметчик» и «не коренной русский» — это слова, безусловно, обидные для Булгарина, но они соответствуют фактам его жизни, и, может быть, эти факты более, чем что-то другое, искривили его судьбу.

Булгарин действительно был переметчик. По окончании Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса в Петербурге он был зачислен в конную гвардию, воевал в 1806 — 1807 годах против французов, был ранен и за бой под Фридландом удостоен ордена Анны 3-й степени, затем участвовал в 1807 — 1808 годах в финской кампании. Потом сорвался, написал сатиру на командира полка (а по другим сведениям — на шефа полка великого князя Константина Павловича, брата царя) и оказался вне гвардии, в армии, служил в Кронштадте и Ревеле, играл в карты, дело доходило даже до того, что проигрывал собственную шинель, пьянствовал, стоял с протянутой рукой на ревельском бульваре, прося милостыню, а затем исчез. Спустя некоторое время он появился в Варшаве, где поступил в польский легион армии Наполеона, участвовал в походе в Испанию (в 1811 году) и вместе с французскими войсками форсировал в 1812 году Неман, то есть перешел русскую границу как завоеватель, как захватчик.

И хотя в то время не было такой ненависти к военному противнику, как в наши дни, и пленные французские офицеры танцевали в русских дворянских домах на балах (это описано в романе Толстого «Война и мир»), налицо была измена: офицер русской армии в форме офицера французской армии вступил на русскую землю.

Этот грех всегда числился за Булгариным, это был тот крючок, на который его ловили не только литературные оппоненты, но и власть имущие. При своем характере он, наверное, вел бы себя иначе, если б за ним не было этого проступка, о котором ему всегда можно было напомнить, попытайся он выказать хоть какую-то независимость.

Когда властям требовались его услуги (самого разнообразного рода — от записки о состоянии литературы или финансов до характеристик отдельных лиц, беспокоящих своей деятельностью правительство), то он не отказывался: назвался груздем — полезай в кузов, — говорит русская пословица.

Имея чин капитана французской армии, он все время искал случая сменить его на подобающее русское звание и за свои услуги был в конце концов наделен им: он стал коллежским асессором, как Пушкин и Гоголь.

В конце жизни он превзошел их и сделался действительным статским советником, что по петровской Табели о рангах соответствовало чину штатского генерала.

Чтоб сохранить за собой репутацию патриота, Булгарин в романе «Петр Иванович Выжигин» (1831), являющемся продолжением «Ивана Выжигина» (1829), заставил своего героя, alter ego, лоб в лоб столкнуться с Наполеоном, вторгшимся в Россию, и высказать тому несколько горьких истин о его исторической ошибке. Но это была лишь слабая попытка обычной булгаринской лжи, о которой знающий своего друга лучше, чем кто-либо, Н. И. Греч писал:

«Когда, бывало, хотел подкрепить какую-нибудь колоссальную ложь, то клялся при ее жизни седидами матери, а по смерти, — ее тенью».

Да и военные доблести этого прототипа собственных бесстрашных героев были не так уж велики. Он всего лишь вел под уздцы лошадь Бонапарта при переправе через Березину, что же касается остального, то, как свидетельствует тот же Греч, «частенько, когда наклеывалось сражение, он старался быть дежурным по конюшне».

В 1814 году Булгарин был взят пруссаками в плен и при обмене пленными оказался в Варшаве, где стал подвизаться на журналистском поприще и даже издавал какой-то листок.

Уже тогда в нем выработался нюх на сенсацию, жадность к действительным фактам, политическая гибкость, если не выразиться сильнее, и беспримерное чувство вкуса толпы, вкуса заказчика, который должен оплатить его беллетристические старания и новации.

Это был талант Булгарина, который в нем все же отрицать нельзя, потому что природа наградила его хваткой памятью, наблюдательностью и немалым даром риска, всегда необходимым в журналистском деле.

Он, по существу, воссоздал свой портрет в обоих Выжигиных, которые не брезгают ничем — ни карточным шулерством, ни связями с темными личностями, ни похищением прекрасных дам, ни шантажом и угрозами, дающими в результате непрременный выигрыш — полное благоденствие.

Один из таких эпизодов Булгарин описал в своих «Воспоминаниях». Сюжет этот относится ко времени его первого пребывания в столице. Молодой улан знакомится с французской актрисой, с которой предается любовным утехам в доме Пепена на Малой Морской улице (кстати, в том доме, где Гоголь позже создаст «Ревизора»). Но любовь-страсть, быстро вспыхнув, тут же и погасла. Любовник обнаружил, что его возлюбленная не по-женски любопытна и любопытство ее распространяется на русские военные тайны.

Он готов выдать ее, но потом, взяв обещание больше не шпионить и грозя в случае неповиновения арестом, заставляет покинуть Петербург.

История сия, если и выдумана Булгариным, вполне в его духе: с одной стороны, опасная связь, грозящая крахом карьеры, с другой — храбрость патриота, с третьей — чистый детектив.

Так или иначе, пробыв недолго в Варшаве и затем прослужив несколько лет управляющим имением своего дяди в Литве, Булгарин возвращается в 1819 году в Петербург, где и суждено ему было стать тем, кем он стал.

Он делается стряпчим, то есть судебным поверенным, берясь за дело, кажущееся безнадежным, и через несколько лет (все-таки не сразу, а через эти несколько лет!) выигрывает его.

Также выигрывает он и на журнальном поприще. В 1822 году он вместе с Н. И. Гречем начинает издавать журнал «Северный архив» и в качестве приложения к нему «Литературные листки», а через три года газету «Северная пчела», которая делается первой частной газетой в России и собирает по прошествии времени от 4,5 до 10 тысяч подписчиков — неслыханный по тем временам тираж.

«Северная пчела» помимо официальных новостей давала своему читателю и статистику, и объявления о спектаклях, и иностранные и внутренние известия, и отклики на новые книги, и физиологию Петербурга (автор очерков о столице был часто сам Булгарин), и стихи, и моду, и литературные обзоры, и многое другое. На ее страницах регулярно появлялся такой жанр, как фельетон, — почти интимный разговор редактора с подписчиком на разные темы — от бытовых до философских, причем все это писалось в игривом тоне и сближало издателя и читателя. То, что Булгарин двинул русскую газету, — это факт. Не было бы «Северной пчелы» и темпераментного ее редактора, время от времени впадавшего в «ересь» и будоражившего воображение общества, не будь его неистовой войны со всем, что грозило «Пчеле» потерей подписчика, русская публичная жизнь была бы скучнее.

В «Северной пчеле» печатались до декабря 1825 года Крылов и Рылеев, Пушкин и Языков. Ее читали и в провинции, и в столицах, на нее ссылались, над ней смеялись и, смеясь, опять-таки читали, потому что это был единственный живой листок, который выделялся среди бесстрастно-скучных ка-

зенных «Ведомостей». И хотя Булгарин пел в «Пчеле» песню благонамеренную и не позволял себе ничего, что не было бы разрешено свыше, все же здесь являлись и сведения неофициальные, мнения пристрастные, раздражавшие, на которые нельзя было не обратить внимания.

В 1830 году Булгарин осмелился покритиковать роман Загоскина «Юрий Милославский», который понравился императору Николаю. В номере «Северной пчелы» была напечатана только первая часть рецензии, и Булгарину было сделано предупреждение, но он, зная, откуда оно идет, в следующем номере напечатал окончание своей статьи, ни в чем не расходящееся с ее началом.

Царь был в гневе и велел закрыть «Северную пчелу», а самого Булгарина отдать под арест. 30 января непокорного издателя посадили на гауптвахту, решение о запрещении газеты шеф жандармов Бенкендорф, покровительствующий Булгарину, уговорил царя отменить, но эту расправу над ним Булгарин — всегда терявший голову, когда дело касалось его имени, — не смог оставить без ответа. В нем соединялись дерзость и трусость, но иногда дерзость торжествовала, и тогда он совершал поступки, обещавшие ему самые непредвиденные последствия.

Так было и на этот раз. Он не испугался грозных намеков и, пострадав за своеволие, не простил царю обиды — конечно, не простил косвенно, в переносном смысле, но вместе с тем и открыто.

Под портретом Николая I, висевшим в его редакционном кабинете, он четко вывел дату своего ареста: 30 января 1830 года, и все, приходившие в «Пчелу», могли созерцать это наглядное свидетельство мести Булгарина.

Так уж был устроен этот неистовый человек, в котором чувства брали верх над осторожностью, над опытом и ловкостью дельца, умевшего делать дело и знать свою выгоду.

Ведь «Северная пчела» была коммерческой газетой, и издатели ее долго добивались, чтобы в ней было позволено публиковать частные объявления. Это не позволялось никому — не дали разрешения и Булгарину. Однако он сумел обойти эти строгости и печатал не рекламу, а хвалебные заметки о парфюмерной лавке «Реноме», о кондитерских и гостиницах, за что, конечно, взимал определенную мзду. Как вспоминает все тот же Греч, «он не брал денег, а довольствовался небольшою частичкою восхваляемого товара или дружеским обедом в превознесенной новой гостинице».

В повести «Портрет» Гоголь описывает эти проделки Булгарина, отправляя своего героя — безвестного художника Чарткова — к «издателю ходячей газеты», который за десять червонцев сочинил и напечатал в следующем же номере «вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах» статью о «необыкновенных талантах Чарткова», давшую художнику пропуск на золотой Олимп. А в повести «Нос» Гоголь еще раз прошелся по Булгарину в том месте, где говорится, что майор Ковалев, утративший внезапно собственный нос, хочет объявить об этой пропаже в печати, и ему советуют: «Если уж хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение природы и напечатать статейку в «Северной пчеле»... для пользы юношества...»

Дело в том, что в газете Булгарина существовал раздел «Смесь», в котором появлялись сообщения о разного рода аномалиях, фантастических происшествиях, случившихся в разных концах света. Здесь рассказывалось о том, что где-то выплыла «рыба, принадлежащая к числу тех, которых в древности называли сиренами. Голова и грудь ее совершенно подобны женским, и когда рыба поднимается из воды, она издали довольно походит на женщину» (1834, № 194). Тут можно было прочесть «об ученых блохах, везущих тяжести в 400 раз тяжелее их тела», о парижской девице, у которой два носа, и притом она «очень недурна собою». Из этого раздела «Северной пчелы» Гоголь почерпнул стиль и факты, которые свидетельствуют об умопомешательстве героя повести «Записки сумасшедшего», являющегося регулярным подписчиком «Пчелки» (так любовно называет он чтимую им газету). Заметки в разделе «Смесь» печатались в «Северной пчеле» без единого иронического комментария, и так же всерьез воспринимал их несчастный чиновник. Некоторые из этих публикаций попали в его дневник почти дословно. Например, это: «Какой-то мистик, — повествовала «Северная пчела», — напечатал в баварском календаре, что 20 марта 1832 года в 3 часа пополудни начнется осень». Если

вспомнить одну из записей дневника сумасшедшего, где стоит дата «мартобря 86 числа», то становится ясно, откуда взято это скрещение марта с октябрём.

Да и сам «испанский сюжет» повести (герой ее воображает себя испанским королем) тоже взят из газеты Булгарина, где целый год (1833 — 1834), когда как раз и писалась повесть Гоголя, печатались новости о борьбе за трон в Испании под рубрикой «Испанские дела».

Булгарин дал русской литературе много поводов для насмешек (один только Пушкин посвятил ему несколько эпиграмм), но он же и кормил русскую литературу сюжетами. Я имею в виду не только прямо-таки пародийные продолжения «Ивана Выжигина», принадлежащие перу А. А. Орлова. Фаддей Венедиктович не раз возникал в ней собственной персоной. Так, появляется он в гоголевском «Ревизоре» в образе петербургского журналиста Тряпичкина, которому пишет свое разоблачительное письмо о чиновниках городка Хлестаков. «А уж Тряпичкину, — говорит он, — точно, если кто попадет на зубок — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит». Любопытно, что не только эти черты Тряпичкина совпадают с личностью Булгарина, но и его домашний адрес: оба они проживают в Почтамтской улице.

Позже в «Мертвых душах» Гоголь воспользуется типами помещиков, выведенных в романе «Иван Выжигин», один из которых пьяница и гуляка, разбазаривающий свое добро (Глаздурин — у Булгарина, у Гоголя — Ноздрев), а другой — образцовый хозяин, умножающий крестьянское и личное богатство (у Булгарина — Россиянинов, у Гоголя — Костанжогло).

Надо сказать, что Булгарин неплохо знал русскую фактографию и, будучи совершенно далек от поэтической фантазии, всякий раз укорял своих коллег в просчетах против действительности. Гоголю он ставил в вину сказочный прием, оказанный Хлестакову, у которого не спросили даже подорожной — то есть документа, удостоверяющего его чин и личность, Пушкину — что тот не показал в «Путешествии в Арзрум» и в «Онегине» ни одного героического русского человека, которых так много в жизни. Булгарин писал, что действие «Ревизора» происходит на «Сэндвичевых островах», а не в России, что же касается «Мертвых душ», то в них все вранье: крестьян можно приобретать без земли, но «закладывать их в ломбард» без земли (как это делает Чичиков) запрещено законом.

На Пушкина Булгарин давно точил зуб — с тех пор, как их отношения, вначале бывшие вполне сносными, охладились. Еще в феврале 1824 года Пушкин писал Булгарину: «Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания или похвалы могут быть и должны быть уважаемы». А через несколько лет — по выходе в свет «Ивана Выжигина» — он бросает ему в лицо:

Не то беда, Авдей Флюгарин,  
Что родом ты не русский барин,  
Что на Парнасе ты цыган,  
Что в свете ты Видок Фиглярин:  
Беда, что скучен твой роман.

Разъясним читателю, что «Авдей Флюгарин» — один из псевдонимов Булгарина, хотя и придуманный им самим, но весьма двусмысленный, ибо «флюгер» — это флажок, который изменяет свое положение в связи с направлением ветра. Но далее идут еще более обидные аналогии: Пушкин называет Булгарина фигляром — то есть шутком, — цыганом на Парнасе и Видоком (Видок — имя парижского полицейского сыщика). Видок — не что иное, как намек на стукачество Булгарина, на его услуги, оказываемые III Отделению Его Величества Императорской канцелярии и лично графу Бенкендорфу. Под сомнение ставятся не только литературные способности автора скучного романа (имеется в виду «Иван Выжигин»), но и его порядочность.

И тут мы должны сделать некоторое отступление и вернуться к началу журналистской биографии Булгарина, к тому времени, когда после своих злоключений он вновь появился в Петербурге.

Это была эпоха либерализма, когда «все, — как пишет Греч, — тянули песнь конституционную, в которой запевалою был император Александр Павлович». Что правда, то правда: именно Александр I намеревался дать конституцию России — и именно он тянул с конституцией, понимая, что вводить ее

не пришло время. Это создавало настроение ожидания и нетерпения, что способствовало созданию тайных обществ, желавших подтолкнуть государя на решительные действия. Оказавшись в доме Греча, Булгарин познакомился с братьями Бестужевыми, К. Рылеевым, Батеньковым, Тургеневыми, Кюхельбекером и другими будущими декабристами. Тогда же сошелся он и с Грибоедовым, который через несколько лет, уезжая послом в Персию, оставил ему список комедии «Горе от ума» с надписью: «„Горе“ мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов». Как литературный душеприказчик Грибоедова, Булгарин и опубликовал ее впервые в отрывках в издаваемом им театральном альманахе «Русская Талия» (1830, № 39) и всю жизнь потом гордился этим поступком.

Как поляк, Булгарин не мог не сочувствовать идеям свободы, но как человек, уже однажды запятнавший себя изменой престолу, перестраховывался, чем и объясняется его поведение после разгрома восстания 14 декабря. В восемь часов вечера этого рокового дня он был на квартире Рылеева. Рылеев, ждавший ареста, сказал ему: «Я погиб, а ты уходи». Булгарин ушел, но вскоре, когда к нему обратились с просьбой описать приметы бежавшего из Петербурга Кюхельбекера, он описал его, как свидетельствует Греч, «умно и метко», и по составленному им портрету Кюхельбекер был схвачен и препровожден в Петропавловскую крепость.

Видно, Кондратий Рылеев (посвятивший, между прочим, Булгарину стихотворение «Мстислав Удалой») знал, что говорил, когда однажды в веселую минуту заметил ему: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим».

Голова Булгарина оказалась цела, но страх соучастия, хоть и не выявленного правительством, остался при нем. Опять сошлюсь на авторитетного в делах жизни Булгарина Греча: «Он до крайности боялся жандармерии и, завидя издали лошадь с синим чепраком, хватался за шляпу и кланялся». Поневоле будешь кланяться, когда за плечами такие подвиги и всегда маячит поездка в «русский Сорренто» — Якутск.

В Большой Советской Энциклопедии по этому поводу приводятся самые нелестные характеристики Булгарина как политического доносчика, осведомителя и слуги полиции. В издании БСЭ 1927 года Булгарину посвящена большая статья, не скупящаяся на такие выражения: «Булгарина ненавидят и презирают все», «„патриотический предатель“, который сам именовал себя в честь жандармского генерала Фаддеем Дубельтовичем», «Северная пчела» — «орган крепостнического дворянства, высшей бюрократии и консервативного мещанства», «Булгарин стал... присяжным адвокатом и идеологом русской реакции...». Во втором издании БСЭ, 1951 года, ему отведено более скромное место — всего два абзаца. Здесь сказано, что он «русский реакционный писатель», «шпион и доносчик» и «имя его... всегда вызывало презрение передовой русской общественности».

Чем это отличается от характеристики, данной Булгарину Пушкиным (Видок Фиглярин)? Почти ничем, разве что спецификой советской фразеологии и отсутствием юмора, так что печать агента III Отделения стоит на имени Булгарина до сего дня. Когда заходит речь о его деяниях, то прежде всего поминается это — это и больше ничего.

Но, как и всякая историческая фигура, Булгарин не однослоен. И даже в его служении ведомству Бенкендорфа (тот говорил о Булгарине: «был употребляем по моему усмотрению») есть отнюдь не оправдательные, но некие переливчатые краски.

Во-первых, мотором этого служения было самолюбие. Булгарин считал, что, будучи одним из самых компетентных и известных людей в государстве («Вся Россия меня знает»), он вправе давать советы правительству, увещевать его и наставлять на путь истинный.

Во-вторых, его ахиллесова пята — беллетристика — ставила Булгарина всегда в обиженное положение, и не было иной более сильной причины для открытой и тайной войны с его литературными соперниками, чем это неравенство, эта третьесортность его положения в отечественной словесности. Литературная зависть доводила его до бешенства, нападки в адрес «Северной пчелы», его детища, — тоже, и он не гнушался политическими передержками, чтоб отмстить, ниспровергнуть, изобличить обидчика.



Греч как-то верно сказал, что если б Грибоедов не был убит, а вернулся из Персии и взялся бы за издание, имеющее успех больший, чем «Северная пчела», то он стал бы злейшим врагом Булгарина.

Важнейшая деталь в биографии Булгарина: он никогда не получал за свои фискальные услуги ни копейки денег. Он трудился бескорыстно и бесплатно. Конечно, не совсем бескорыстно и не совсем бесплатно. Конечно, он хотел быть замеченным, поощренным, заслужить доверие правительства, доверие царя, историю царствования которого он то и дело порывался писать. Но Николай I брезгливо отказал ему в этом.

Но и желание быть полезным также руководило им. Булгарин, как и многие литераторы той поры, был государственный, он не только сводил счеты со своими журнальными конкурентами, но и действительно служил, как понимали тогда службу, и доносил, ибо донос как доведение своего мнения до сведения высших инстанций, как донесение считался одним из инструментов воздействия на власть.

Доносы Булгарина многообразны: от определения задач Министерства просвещения, от действительного доноса на журнал «Отечественные записки» (конкурент!), который сеет революционные идеи, до критики самого царя за то, что тот не обращает внимания на крестьянский вопрос.

«Управление финансов тяготительно для народа и затруднительно для администрации, — пишет он. — ...Купечество надеется на слова государя... об освобождении торговли. Общее доверие исчезло, никто не платит долгов. Законы по сему предмету слабы и не исполняют... Для крестьян еще ничего не сделано... Кажется, надлежало постановить что-нибудь общее в обеспечении этого класса людей, многочисленного и сильного братством с солдатами».

Касается Булгарин и литературы. «Государь наградил многих литераторов, — читаем мы в его донесении, — но это не переменяло мнения, что он не весьма любит литературу русскую и что на просвещение менее всего обращает внимания». «Не надо себя усыплять и обманывать, — заключает Булгарин, — это вреднее даже коммунизма».

Особой заботой издателя «Северной пчелы» была цензура. «Я не позволю, — писал он в одном из писем наверх, — чтобы на меня, как на собаку, надевала цензура намордник!» Стоит согласиться, что в «донесе» не употребляются столь сильные выражения. Но Булгарин, повторим, был неистов и неистово неосторожен, когда дело касалось его лично — его газеты или журнала. «Если б правительство, — утверждает он, — вошло в разбирательство цензурных дел, то удивилось бы, в какую грязь брошены у нас высшие качества человека: разум и чувство».

Булгарин требует, чтоб на должности цензоров назначались «образованные» и «достойные», а не невежды и дураки. Он подвергает ревизии «чугунный» цензурный устав 1826 года и предлагает своих кандидатов в цензоры. Как отмечает автор новейшей статьи о Булгарине А. И. Рейтблат, «поданные им записки были, по всей вероятности, учтены, по крайней мере, все лица, отрицательно охарактеризованные им, были выведены в 1828 году из состава цензоров и заменены теми, кого рекомендовал Булгарин».

По мнению того же автора, Булгарин содействовал созданию новой, более либеральной редакции цензурного устава 1828 года.

Письма Булгарина в III Отделение наполнены жалобами на невнимание, на высокомерное обращение, на недостаточность наград. Это смесь подыскивания, лести и самой неприкрытой дерзости, когда он уже не считается ни с чем, а хочет излить себя.

Булгариним пользуются — и Булгарина ни во что не ставят, его призывают на помощь (он составляет обзоры положения в Литве и Польше) — и его презирают: по многим рассказам, бытовавшим тогда в литературных кругах, шеф III Отделения Дубельт, сам когда-то чуть ли не состоявший в тайном обществе, трепал его за ухо и ставил в угол на колени.

Меж тем мы находим в осмеянной историками литературы переписке Булгарина с жандармами и здравые мысли, и знание предмета, и советы, которые мало в чем расходятся, скажем, с советами Пушкина царю в записке «О народном воспитании», составленной по просьбе последнего в 1826 году. «Совершенное безмолвие, — пишет Булгарин, — порождает недоверчивость, неограниченная гласность производит своеволие, гласность же, вдохновленная

самим правительством, примиряет обе стороны». Так же, как Пушкин, он придает первейшее значение «просвещению, которое должно преобразовать воспитание и, изгоняя якобинство с земли русской, дать позволенный простор уму... Тогда найдутся и способные люди, которые поймут государя и будут помогать ему».

Конечно, Булгарин завидует Пушкину, подтягивается к Пушкину и, когда ему указывают на его место, жалуется: «Я думал, если сочинителю «Гавриилиады», «Оды на вольность» и «Кинжала» оказано столько благодеяний и милостей... то почему же не дать займы мне?» Жалоба эта полна откровенных намеков: сочинения Пушкина, которые поминает Булгарин, все сплошь богохульные и якобинские, но и эта попытка «свалить» Пушкина не находит ответа. Более того, стоит Булгарину напечатать разносную статейку о стихах поэта, как царь грозит издателю закрыть его газету.

Так зарождается и не покидает Булгарина до конца жизни вражда к «аристократической партии» в литературе, и прежде всего вражда зависти, вражда лакейская: только лакей может так ненавидеть барина, который не сажает его за свой стол.

Для Булгарина Пушкин был барин не по рождению, а по таланту, он в литературе был аристократ, а Булгарин — плебей. Пушкин (как и Гоголь, и Жуковский, и Тютчев — все, кто печатался в пушкинском «Современнике») был поэт, то есть существо высшего рода, а Булгарин — «душа Тряпичкин», пишущий статейки, а иногда романы, похожие на статейки.

Но пора сказать несколько слов и о Булгарине-литераторе. Он оставил потомству много томов прозы (включая книжки «Воспоминаний»), но мы остановимся лишь на двух его романах, действительно переведенных на европейские языки и превзошедших в этом смысле зарубежные издания его современников. Как нетрудно догадаться, Иван Выжигин и Петр Иванович Выжигин — отец и сын, приключения отца продолжаются в приключениях сына. Но главное — не эта сюжетная преемственность, а, так сказать, наследственность нравственная. И тот и другой, будучи не без греха, в конце концов являют собой пример добродетели и высоты духа. Но если отец, родившийся чуть ли не на одной подстилке с собакой, начинает с бедности и достигает богатства, то сын, начав с богатства, проходит испытания бесчестьем и бедностью и кончает так же, как отец.

Жанр своих романов Булгарин определяет так: «Иван Выжигин» — нравственно-сатирический, «Петр Иванович Выжигин» — «нравоописательный», «исторический».

В предисловии к «Ивану Выжигину», обращенному к министру внутренних дел графу А. А. Закревскому, Булгарин объясняет свое понимание сатиры и ее взаимоотношения с нравственностью: «*Благонамеренная сатира* спешествует усовержению нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать».

Понятие «благонамеренной сатиры» принадлежит к личным изобретениям Булгарина, хотя выражает пожелания не только непосредственного булгаринского заказчика — российской власти, но и властей всех времен и народов.

«Благонамеренная сатира» — это нонсенс, потому что сатира не может стоять перед кем-то по струнке, обслуживать и прислуживать. Она своевольна, она ни перед кем не вытягивается и никого не боится. Благонамеренность чужда ее природе, которая, как и всякое стихийное явление, неожиданна, неуправляема и непредсказуема.

Благонамеренная же сатира — это сатира на часах, это страж хозяина, призванный охранять его сон, а если и тревожить по необходимости, то только с одной целью — превратить его бодрствование в удовольствие.

Да, в «Иване Выжигине» беспощадно бичуется казнокрадство и взятки, пороки высшего общества, есть такие устрашающие личности, как убийца и вор Вороватин, князь Чванов, англоман Глупашкин, карточный шулер Зарезин, граф Беспечин, купец Мошнин, сообщник Вороватина злодей Ножов и т. д., но есть и добродетельные капитан-исправник Штыков, помещик Россиянинов (истинно русский хозяин, благодетель своих крестьян), и бедный офицер Миловидин, друг Выжигина, и несчастный сирота, впоследствии оказывающийся потомком князей Милославских, — сам Выжигин, и отец своих при-

хожан священник Симеон, и многие-многие другие, которые покрывают своим благородством и численностью своею всех «скотинок» и «плутяговичей» (еще две фамилии из романа Булгарина), ибо, по убеждению автора, высказанному прямо в тексте «Выжигина», «на одного дурного человека верно можно найти пятьдесят добрых».

Вот арифметика «благонамеренной сатиры»: она обличает, но более славит, она прославляет добрых, которых в пятьдесят раз больше, чем злых. Или, как говорит здесь же Булгарин, «дурное представлено мною на вид для того только, чтобы придать более блеска хорошему».

Современные исследователи скажут, что это чистейший социалистический реализм, так все тут соответствует канонам последнего, и, пожалуй, стоит принять их правоту: автор «Выжигина» предвосхитил соединение верноподданности с реализмом и дозировку этого реализма, которая есть не что иное, как математика подхалимства.

При этом Булгарин пользуется всеми штампами плутовского романа, заимствованными им прежде всего у французов. Романтическая любовь к блуднице (Выжигин — Груня), семейная тайна, держащая читателя в напряжении вплоть до финала (история княжеского происхождения главного героя), сын не узнает свою мать (Выжигин и Аделаида Петровна Баритона). Герой попадает в плен к диким киргизам, доблестно ведет себя там, наконец, спасается и возвращается в Петербург, где порок (карточная игра) вновь увлекает его в свои сети. Потом он попадает на войну, отважно сражается с турками, наконец, влюбляется в бедную сиротку, безусловно красавицу, и, заработав миллион, поселяется с нею в Крыму.

Выжигинский миллион очень важен для романиста, ибо проблема безродного, но богатого, нажившего себе богатство умом и предприимчивостью героя есть проблема номер один его капитальной идеи. Он не только беллетрист, но и социолог, и политик. Его ставка — среднее сословие (купцы, промышленники, коммерсанты, примыкающие к ним обедневшие дворяне), которое одно, на его взгляд, способно дать благополучие России. Только мускулистые выжигины, а не бездельники онегины, проводящие свой досуг в волокитстве, в мелькании на балах («Выжигин» написан в пику «Евгению Онегину», так же как «Димитрий Самозванец» (1830) — в пику «Борису Годунову», а «Мазепа» (1834) — в пику «Полтаве»), способны это сделать, ибо, как пишет в романе Булгарин, «исполнять свой долг по совести есть обыкновение среднего сословия, которое в большом свете называют дурным обществом».

«Большой свет» откровенно противопоставляется любимым героям Булгарина как прибежище разврата, лени и лжи, здесь он клеймит уже не аристократическую партию в литературе, а русскую аристократию в целом, которая, по его мнению, как сгнившее дерево, уже не способна дать плода.

Будучи в журналистике апологетом держателей гостиниц, хозяев кондитерских и парфюмерных лавок, а также ресторанов и кондитерских, Булгарин и в прозе своей сочувствует прежде всего им и их кровному брату Выжигину, который начал с ничего, а получил все.

На этой нехитрой пружине и держится вся нравственность романа. Карточное шулерство списывается Выжигину — важно, что он выиграл. Чересчур одиозных злодеев арестовали, другие покончили с собой, а Выжигин на коне: у него выигранный процесс и деньги.

В этом смысле он как две капли воды похож на своего создателя, у которого не было ничего, да стало все (в частности, имение Карлово под Дерптом) — и чин, и состояние, и кругленький капитал.

Что же касается «Петра Ивановича Выжигина», то поэтика этого романа есть тот же набор клише, что и «Иван Выжигин», только перенесенных на подлинные события и действительные исторические лица. Булгарин смело выступает предшественником Льва Толстого, мешая в повествовании сцены солдатские, крестьянские, партизанские (сюжет романа — нашествие Наполеона на Россию и его разгром русской армией) со сценами, в которых участвуют генералы, маршалы и императоры, причем когда дело касается звезд первой величины, то они говорят отрывками из собственных речей, записанных свидетелями — современниками, секретарями и историографами.

Наполеон цитирует Наполеона, Александр I — Александра I, а маршал Даву — маршала Даву. Булгарин всюду дает сноски на разные издания, перечисляет авторов, на которых ссылается, подсовывает читателю первоисточник, чтоб тот не сомневался в его подлинности.

Но несмотря на то, что в романе есть безусловно полезная историческая информация (особенно касающаяся начала кампании, вступления войск Наполеона в Литву и Белоруссию), все это жалкая пародия на историю, на поэзию и на жизнь.

Булгарин описывает горящую Москву, сопротивление оккупантам, русского патриота Русакова, возглавляющего народное движение, бегство людей высшего света из Москвы (которое потом в тех же обстоятельствах, даже с повторением отдельных подробностей из «Петра Ивановича Выжигина» — к примеру, как кареты богачей отдают раненым, — появится у Толстого в «Войне и мире»), затем изгнание Наполеона и счастливое соединение влюбленных.

Петр Иванович Выжигин — это в некотором роде сам Булгарин, только русифицированный, только не «переметчик», а патриот и рыцарь, и даже встреча его с Наполеоном совпадает с автобиографическим эпизодом из «Воспоминаний» Булгарина, где он не преминул выставить себя в самом выгодном свете. «„Случалось ли вам драться с русскою пехотою?“ — спросил его Наполеон. „Случалось, Ваше Величество, — ответил тот. — Отличная пехота и достойная соперница пехоты Вашего Величества!“»

Автор «Выжигина» всю свою жизнь беззаветно врал, верить ему в данном случае нельзя, и, думая об этом, я почти уверен, что в том числе и с него писал Гоголь в «Ревизоре» не только Тряпичкина, но и Хлестакова.

Само предисловие к «Петру Ивановичу Выжигину» подтверждает эти догадки. Если Хлестаков сравнивает себя с главнокомандующим, то Булгарин себя — с Сократом, которого за правду «попотчевали цикутой». Он причисляет себя к «благородным отчизнолюбцам» и добавляет: «...трудами моими споспешествовал несколько к пробуждению уснувшей нашей литературы». И эту тираду в свою честь он соединяет с призывом чтить русских государей. «Будем благодарны. Возлюбим сердцем августейший род Романовых, прославивший, возвеличивший, просветивший Россию!»

О чем бы Булгарин ни писал, он нигде не знает меры. Мера — это вкус, а у него совершенно нет вкуса. У него солдаты и офицеры говорят не как солдаты и офицеры, а как греческие герои, переодетые в крестьянское и солдатское платье, его священники слащавы, барышни падают в обморок, как в водевиле, его война — маршировка оловянных солдатиков, и над всем этим царит тщеславная мысль: как бы вписать себя в историю с положительной стороны.

Булгаринская война напоминает перлы батальных сцен в образцовых творениях соцреализма: и тут и там полководцы сливаются с народом (у неприятеля — все наоборот), и тут и там ложь мешается с правдой и на первом плане, конечно, верные царевы слуги, они же красавцы, они же любимцы женщин и «поселян». Зло наказано, добродетель торжествует — таков итог исторической и житейской философии Булгарина, где «отчизнолюбие» означает прежде всего «царелюбие», а царелюбие — верно подданность.

Если правда рассказ о том, как в день 14 декабря 1825 года Булгарин, взобравшись на камень возле строившегося Исаакиевского собора, кричал: «Конституцию! Конституцию!», то вдвойне ложь все, что он писал потом, хотя требовать искренности от Булгарина — все равно что требовать святости от черта.

Тем более что есть в его биографии случай, когда он не только присвоил себе чужие мысли и чужие заслуги, но и целую книгу. В 1837 году он издал под своим именем книгу «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях», которая принадлежала перу Н. А. Иванова. Да, по существу, и все его писательские упражнения сплошь заимствования чужих слов, чужих идей, чужих сюжетов и чужих приемов. Это классический пример идеологизированной истории и дидактической поэтики, в которой нет ни капли чувства (хотя в романах Булгарина бушуют страсти), а есть холодный расчет и умысел.

Защищая третье сословие, призывая правительство поощрять торговлю и предприимчивых людей, Булгарин и в романах своих развивал торговое направление.

Потому-то именно его беллетристика была полезным раздражителем для литературы, что низкое часто провоцирует на ответ высокое, и проза Пушкина и Гоголя, да и вся отечественная литература первой трети XIX века, имела на своей периферии этот заряженный электричеством источник.

Вопреки творениям первоклассных талантов средняя, если не сказать хуже, проза Булгарина выигрывала в массовости, как поделки — легко сработанные, но модные романы и повести (сейчас их называют бестселлеры) — берут верх над аристократией таланта.

Булгарин как родоначальник массовой литературы, как первый коммерческий писатель, вероятно, не раз будет поминаться в истории рядом с именами своих великих современников. Это были примеры чтива на Руси, это было обнажение механизма обработки умов, прямого использования печатного слова для нужд власти и вызов смертного — бессмертному, рептильной поэзии — дару богов.

Недаром Николай I именовал Булгарина «королем Гостиного двора» (так назывались главные торговые ряды в Петербурге).

После Булгарина остались не только тома его сочинений, но и несколько афоризмов, метких и остроумных определений творчества отдельных писателей или целых литературных направлений.

Так, ему принадлежит термин «натуральная школа», который был прикреплен к художественной прозе Гоголя и его последователей. Впервые Булгарин употребил его в «Северной пчеле» (в номере от 26 января 1846 года), и употребил в уничижительном значении, но, потеряв авторство и сделавшись анонимным, определение это фигурирует в критических исследованиях до сего дня.

Если понимать под «нравами» (занимательное описание коих Булгарин ставил себе в заслугу) быт, прозаическую житейскую материю с ее исчезающими подробностями, черты эпохи, сказавшиеся даже в том, как тогда играли в карты, как шулерствовали, как игра возрастала до размеров карточного космоса (где честное сражение в карты соседствует с подлогом, обманом и передергиванием — причем гениальным обманом и гениальным передергиванием), то тут Булгарин прав: у него есть чем поживиться.

Фаддей Булгарин — одиозная фигура русской литературы. Конечно, можно спорить, чему он более принадлежит — литературе или журналистике. Помоему, мы имеем дело с феноменом человека, который, будучи рожден для коммерции и авантюры, сумел, однако, оставить в изящной словесности свой след.

Можно сказать, что Булгарин из журналистики вторгся в храм Аполлона, не расставшись с привычками «второй древнейшей профессии». Это было вторжение плебея в Дворянское собрание, шулера — в компанию честных игроков, персонажа водевиля — в высокую драму.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## ЦАРЬ-КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ... И ДЛЯ РАЗДРАЖЕНИЯ?

Е. Н. ЛЕБЕДЕВ



### ДОСТОЙНЫЙ СЕБЯ МОНУМЕНТ

**О**коло двадцати лет работал Евгений Евтушенко над созданием своего капитального труда<sup>1</sup>. Около девятисот авторов — от Константина Случевского до самоновейших. Около девятисот вступительных заметок к каждой подборке. Около ста тридцати авторских листов поэзии, разной по уровню и установкам. Около сотни иллюстраций, тщательно и со вкусом подобранных (частью впервые публикуемых). Предисловие самого составителя. Предисловие научного редактора. Напутствие от главного редактора серии «Итоги века. Взгляд из России», в рамках которой осуществлялось издание, Анатолия Стреляного. Прекрасное общее художественное оформление и полиграфическое исполнение. «Вот, мыслил я с невольным содроганьем, вот разума великолепный пир!..»

Впрочем, начнем с напутствия А. Стреляного на суперобложке: «В пору наибольшей известности собственных стихов Евгений Евтушенко начал разыскивать и отбирать чужие». Услуга поэту, в общем-то, неуклюжая. Нельзя подавать как подвиг самоотречения то, что скорее естественно для любого нормального поэта. «В пору наибольшей известности собственных стихов» В. А. Жуковский, например, составил антологию «Собрание русских стихотворений» (1810 — 1811) от А. Д. Кантемира и М. В. Ломоносова до современных ему авторов (книгу, на которой воспитывались поэты пушкинского круга), а Н. А. Некрасов в 1850 году перепечатал в своем «Современнике» из пушкинского «Современника» подборку тютчевских «Стихотворений, присланных из Германии». То есть и тот и другой, чтобы напомнить читателям и собратям по перу образцовые стихотворения своих предшественников и современников, тоже «разыскивали и отбирали».

Далее главный редактор серии называет «Строфы века» «самым полным собранием» имен «русских поэтов мировой величины». Думаю, А. Стреляный оговорился: не самым полным, но самым объемным — следовало бы сказать. Для того, чтобы выработались художественные, нравственно-философские и политические критерии отбора, без которых и вопрос-то о полноте издания ставить нельзя, нужно время. Большое время. По его прошествии и появляются «самые полные собрания». Яркий пример — составленная С. А. Венгеровым антология «Русская поэзия» (1893 — 1897), охватывающая весь XVIII век и начало века XIX. Лет едва не через сто после «Собрания...» В. А. Жуковского.

Вообще напутствие А. Стреляного и предисловия Е. Евтушенко и Е. Витковского несут на себе отпечаток напряженных предшествующих размышлений составителя и редакторов над жанровой природой рассматриваемой книги: если она такая большая и названа антологией, то она должна претендовать

---

<sup>1</sup> Евтушенко Евгений. Строфы века. Антология русской поэзии. Научный редактор Е. Витковский. Минск — Москва. «Полифакт», 1995. 1053 стр. (Итоги века. Взгляд из России).

на полноту. Но с другой стороны, если она таки антология, то ей должна быть присуща хотя бы видимость объективности.

Е. Евтушенко начинает с верного наблюдения: «Объективных антологий не бывает». Но из этого еще не следует, что любую антологию надо уже задумывать как субъективную. Особенно если учесть, что главная цель, которую преследует составитель, — показ «истории через поэзию». Цель благая. Еще Пушкин писал: «История народа принадлежит Поэту». Но для того, чтобы она действительно принадлежала поэту, от поэта многое требуется. И прежде всего, выражаясь в религиозных терминах, — пост, воздержание, отречение от личных пристрастий; выражаясь в светских категориях, — приоритет объективной истины как категорический императив, как фундаментальная установка. М. М. Бахтин в одном из своих набросков писал: «В большом времени ни один смысл не умирает». Конечно, составить объективную антологию трудно, пожалуй, даже невозможно. По существу, любого, кто дерзает на это, ждет сокрушительное поражение. Но поэт, по внутренней логике своей, и должен ставить перед собою только невозможные задачи. (Между прочим, Уильям Фолкнер считал Томаса Вулфа выше всех американских писателей лишь потому, что тот стремился к самой невозможной творческой цели и потерпел самое блистательное поражение из всех.)

Составитель «Строф века» устремляется в прямо противоположном направлении и позволяет себе — будем называть вещи своими именами — бестактность в отношении предшественников: «Эта антология не притворяется объективной». Получается, что те только делали вид, что стремятся к беспристрастности. С какой же целью? Составитель отчасти поясняет: «Читателям, которые привыкли к академическим информативным антологиям, некоторые мои комментарии могут показаться резкими. Но эта антология не комплиментарная, — аналитическая». Выходит, академизм и информативность — синонимы комплиментарности и враги аналитичности. Я не могу понять такой логической эквилибристики: неужто же все академические антологии фиговым листком объективности прикрывали свой сервилизм? Скажем, гутнеровская «Антология новой английской поэзии» (1937) и академична, и информативна, и ее составителя, переводчиков, комментаторов уж никак нельзя упрекнуть в комплиментарности (Е. Евтушенко не может не знать об этом, он даже включил в свою книгу стихи участников этой антологии, но по логике приведенного высказывания получается, что и они «притворялись объективными»).

Но самое главное — как можно претендовать на показ «истории через поэзию», иронически относясь к информативности?

Ведь на поверку заявленная Е. Евтушенко аналитичность его «антологии» сплошь да рядом оборачивается избирательностью оценок, дуализмом критериев в отборе стихотворений. Как составитель и комментатор он судит об истории с позиций сегодняшнего знания, придавая своим программно односторонним суждениям всеобщность и окончательность. В какой-то мере все мы так судим. Но все-таки: почему сегодняшнее знание составителя, претендующего на показ истории через поэзию, столь избирательно? Почему, если уж М. Исаковский включен в книгу, проигнорировано его хрестоматийное для 50-х годов стихотворение «Оно пришло, не ожидая зова...»? Ведь так даже женщинам в любви не признавались, как поэт признается здесь в любви к Сталину. Почему отсутствует в книге стихотворение А. Межирова «Коммунисты, вперед!» — одно из лучших стихотворений на эту тему? Включить в антологию подобные стихи было необходимо не для того, чтобы теперь позлорадствовать по их поводу, а потому, что из песни слова не выкинешь, потому, что «в большом времени ни один смысл не умирает», потому, что, к нашему ужасу, рукописи и впрямь не горят. Завершая свое повествование о страшной эпохе Ивана Грозного, в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин писал: «История злопамятнее народа». И — составителей антологий, добавим от себя.

Даже тогда, когда Е. Евтушенко пытается быть объективным и включает в книгу стихи Ю. Кузнецова, Ст. Куняева и других своих антиподов в поэтическом и политическом отношениях (что делает ему честь, а впрочем, как же иначе?), отбор их стихотворений тоже отмечен тенденциозностью. Кузнецовское «Я пил из черепа отца...» упомянуто, а вот такие стихотворения, как «Отцепленный вагон» (1969), «Отец космонавта» (1972) и некоторые другие, написанные в самые затхлые годы застоя и трактующие о тупике и исторической лжи большевизма, обойдены вниманием составителя. Точно так же не мешало

бы включить в книгу куняевское «Реставрировать церкви не надо...», появившееся задолго до того, как Алла Гербер начала собирать подписи против восстановления храма Христа Спасителя (по другим, впрочем, мотивам, нежели поэт). Короче, по отношению к своим антиподам Е. Евтушенко активно эксплуатирует древнее правило: что позволено Юпитеру, не позволено быку. Обратившись к комментариям Е. Евтушенко, в большинстве случаев мы увидим все ту же тенденциозность, которую нам предлагают как аналитичность. О Вл. Соловьеве читаем, что это был «философ, публицист, критик», но что он «как поэт менее значителен». Вот и весь анализ. И это об авторе «Панмонголизма»! Об Ольге Чюминой говорится: «Автор забытых психологических романов и не потерявших актуальности сатирических стихов...» И ни слова о ее оригинальных стихотворных вариациях на библейские темы. О Константине Случевском узнаем, что он «служил в лейб-гвардии Семеновского полка». Слово у Семеновского полка была собственная лейб-гвардия.

Но чаще всего от подобных биографических деталей комментатора тянет к анализу и обобщениям в его, разумеется, понимании этих терминов. Например: «...он выигрывал в человеческой простоте, в скептической исповедальности своей поэзии, все больше и больше подходившей к сюрреализму». Е. Евтушенко пишет о Г. Иванове почти как В. И. Ленин о А. И. Герцене: вплотную подошел к историческому материализму. При всей парадоксальности такого сближения оно не столь безумно, как может показаться. Стилистически комментарии Е. Евтушенко, хочет он того или нет, восходят к литературной критике и публицистике 30-х годов. В свое время Аркадий Белинков кратко и точно описал зарождение этого стиля: «Постепенно люди разучивались говорить соответствующими словами о большинстве вещей, о которых приходится говорить. Началась эпоха повышенной речи. В эту эпоху уже не говорили: «Надо хорошо работать». Стали говорить: «Все силы на борьбу за высокое качество труда!» Фраза: «Писательница такая-то написала хорошую книгу» стала казаться бедной и неубедительной. Доцент в «Литературной газете» пишет так: «Глубокое проникновение в изображаемую эпоху, ее дух, быт, умение запечатлеть наиболее характерные черты этой эпохи, выразительно живописать человеческие характеры — таковы сильные стороны дарования писательницы...» Вместо того, чтобы сказать: «Сегодня теплый солнечный день», стали говорить: «В этот удивительный, обрызганный солнцем день». ...Такое патетическое разбрызгивание всегда идет нарастая. И преграждает поток не филологическая инициатива, к которой тщетно взывают авторы статей и книг о культуре речи, но общественное потрясение» (Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Мадрид. 1976, стр. 435, 436).

Когда же комментатор пытается метафорическим топором разрубить гордиев узел подобной стилистики, из-под его пера выходят такие вот запредельности: «Лермонтов родился не от женщины, а от пули, посланной в сердце Пушкина». Иностраный читатель, для которого первоначально и предназначались «Строфы века», вполне может отнести это умозаключение на счет загадочности русской души (Oh, those Russians!). Русскому же читателю остается только развести руками и припомнить, как в похожем случае Варвара Петровна Ставрогина отвечала метафористу Игнату Лебядкину: «Вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью».

Серьезную помощь составителю мог бы оказать научный редактор книги. Но Е. Витковский в своем предисловии загодя назвал всех возможных ее критиков «судиями неправедными». Сообщил, что Спиридон Дрожжин и Любовь Столица сознательно исключены из книги. На этом фоне исключение из нее Алексея Жемчужникова, этого «зажившегося реликта бессмертного Козьмы Пруткова», выглядит само собою разумеющимся. Оставим на праведной душе научного редактора выражение «зажившийся реликт». Но не будем забывать, что в 40-е и 50-е годы, после войны, вся Россия пела жемчужниковских «Осенних журавлей», лишь отчасти переиначивая слова, но бережно сохраняя самую суть лирического плача по родине:

Дождик, холод, туман, непогода и слякоть,  
Вид угрюмых людей, вид печальной земли...  
О, как больно душе, как мне хочется плакать!  
Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..



Пусть никто тогда и не помнил, какой такой «реликт», в каком таком году, в какой такой Ницше написал эти безыскусные и пронзительные слова.

С тем же сочувствием могли подойти к стихам А. М. Жемчужникова и составитель с научным редактором и поместить хотя бы одно его стихотворение — «На родине», написанное на излете XIX века и поражающее своей злободневностью на излете века XX:

Но те мне, Русь, противны люди,  
Те из твоих отборных чад,  
Что, колотя в пустые груди,  
Все о любви к тебе кричат.

Противно в них соединенье  
Гордыни с низостью в борьбе  
И к русским гражданам презренье  
С подобострастием к тебе.

Противны затхлость их понятий,  
Шумиха фразы на лету  
И вид их пламенных объятий,  
Всегда простертых в пустоту.

Здесь и правая и левая части современного политического спектра сходятся во всежигающем фокусе...

Что можно сказать в заключение? Это действительно самая большая «книга для чтения» по русской поэзии XX века (в жанровом определении издания научный редактор более прав, чем составитель). Воистину бездонная память Евгения Евтушенко воздвигла достойный себя монумент. Можно добрым словом помянуть его усилия по восстановлению исторической справедливости к поэзии и личности Николая Глазкова и других поэтов, извлеченных из небытия. Многие молодые авторы, неожиданно попавшие в «золотой фонд» поэзии XX века, должны Бога молить за Евгения Евтушенко. Что же касается большинства комментариев, то их автору неплохо было бы учесть одну из любимых поговорок Пушкина: «То же бы ты слово, да не так бы молвил».

Книгу эту будут читать и апологеты, и критики. Она единственная в своем роде покамест. История XX века присутствует в ней лишь отчасти — ровно настолько, насколько она касается истории непрекращающегося противоборства Евгения Евтушенко с самим собой.

---

**АЛЕКСЕЙ ПУРИН**

\*

**ЦАРЬ-КНИЖКА**

**В**ес: три с лишним кг. Габаритные размеры (в картонном футляре): 300 × 220 × 55. Суперобложка. Приложен плакат — очень странный, надо сказать, с витающим в облаках скелетом Пегаса. Перед титулом вклеен «сертификат призового розыгрыша», снабженный «отрезным талоном» и украшенный гравюрками à la Biedermeier, напоминающими о казначейских билетах Российской империи или о чугунных Меркуриях с фасада питерского Елисейского магазина — о союзе труда и капитала. Смесь фальшивого бидермайера и залежалого модернизма, представленного «видеомами» А. Вознесенского, придает особый нуворишский шик внешнему виду изделия, которое несомненно будет отмечено одной из полиграфических премий. Цена, разумеется, свободная и изменчивая, но живо ассоциирующаяся с размерами месячных пенсий знакомых старушек. Но на то и «сертификат»: кроме возможности мусических наслаждений покупатель приобретает еще и прагматическую мечту... Название — по-детски эгоцентрическое: **Евгений Евтушенко. «Строфы века».**

Таковы исчерпывающие, на мой взгляд, тактико-технические характеристики Царь-книжки, дополнившей собою вернисаж наших национальных диковин. Царь-пушка так и не выстрелила, Царь-колокол так и не зазвонил. В равной мере и функциональность Царь-книжки кажется мне крайне сомнительной. Того, чего мы вправе ожидать от книги — «источника знаний», если угодно, или источника эстетических удовольствий, — в Царь-книжке мы с вами не обнаружим.

Проблемы начинаются с экстерьера, с полной неясности, как ею, евтушенковской суперкнигой, пользоваться — в чисто физическом, в чисто физиологическом смысле. В руках держать — титанический труд, положить на колени — больно... Издатели — а им, подозреваю, грезился хрупкий отрок, вдумчиво склонившийся над предательски отсвечивающими мелованными страницами, — не догадались снабдить фолиант еще и прочным пюпитром, что было б весьма кстати.

Это ведь не «Британская энциклопедия», которую никто никогда не читает насквозь, а стихи. Стихи же, сообщу по секрету, в читальном зале воспринимать вообще нельзя. Они необходимо требуют одиночества и раскованной позы, о чем знали поэты прошлого (Пушкин: «Зорю бьют... из рук моих / Ветхий Данте выпадает...», Анненский: «Всё, — но только не глядеть / В том, упавший на колени»), но словно не догадываются нынешние...

Я вовсе не к формальной стороне дела придираюсь, а к сущностной. «Строфы века» не соответствуют гештальту стихотворной антологии, нашему ожиданию. А как жить без гештальтов? Вам, например, говорят: «Вот стул, садитесь, пожалуйста». Но то, что вы видите перед собой, — вовсе не стул, и сесть на это немислимо...

Царь-книжка создана не для домашнего/дачного одиночества. Но и не для читального зала, поскольку читатель, мужественно добравшийся до публичной библиотеки, вне всякого сомнения, предпочтет иные, более представительные и квалифицированные, более содержательные и полезные в качестве «источника знаний», издания стихов. Но тогда для чего эта неупотребимая «вещь в себе», этот «артефакт» евтушенковского самовыражения? Только для самовыражения? Ведь с какой бы стороны мы ни подошли к диву гигантомании, какой бы аспект ни попробовали рассмотреть — за исключением именно очень понятного аспекта составительских и книгоиздательских амбиций, — недоумение наше не исчезает.

Признаюсь чистосердечно: не люблю антологий. Они омертвляют реальный живой и изменчивый мир искусства, тщатся его расчленивать, «подморозить» и засушить. Популяризаторский и педагогический подходы к поэзии, как мне кажется, зло — пусть даже необходимое. Но необходимое зло должно быть по возможности меньшим. Поэтому антологии пристало быть скромной.

Слово «антология» происходит от греческого «собирать цветы». Что есть результат такого занятия? — Букетик, букет, кошница со срезанными растениями, мнимая радость на день-другой. Кто не знает, куда отправляется эта непрочная, убитая красота, простояв в вазе несколько суток? — В мусорное ведро. Наивно думать, будто подведенный Евгением Евтушенко стихотворный итог века — даже если он больше похож на сеновал, нежели на венок, — сколь-нибудь долговечнее.

Дело в том, что остановленное, срезанное стихотворение — стихотворение самое гениальное, но извлеченное из подлинного живого контекста и помещенное в контекст рукотворный, — это мертвый цветок. Так же, как и цветы, стихи бывают трех категорий: живые, мертвые и бумажные. Точней — настоящие и искусственные. Но здесь есть одна тонкость, которую следует не упускать из вида: цветы настоящие, кажущиеся подчас мертвыми, на самом деле бессмертны. Сошлюсь на лирический первоисточник, в данном случае — на Анненского:

И, взоры померкшие нежа,  
С тоской говорили цветы:  
«Мы те же, что были, всё те же,  
Мы будем, мы вечны... а ты?»

Это словно бы блоковская «Незнакомка» и пастернаковский «Марбург» вопрошают какого-нибудь сорвавшего их составителя антологии. Мы срезали

в нашем саду фиалку и розу, прибавили к ним есенинский василек, и хлебниковский репейник, и бумажный цветок — текст, скажем, Александра Балина, с его графомански безумной, но, ваша правда, Евгений Александрович, с отрочества застрявшей в мозгу строчкой — «Четыре тыщи голых мужиков»... Поставим все это в вазу. А через год — глядь: и фиалка, и роза, и василек, и репейник — все на своих природных и законных местах: в саду, в поле, в канаве... Нет только нашего с вами букета. И искусственного цветка. А ежели засохшее и покрытое паутиною нечто и стоит еще на шкафу, то этот скелет Пегаса ничего, кроме досады и неприязни, вызвать не может — как, например, «День поэзии» двадцатилетней давности.

Вот-вот, «Строфы века» всею своей эстетикой и структурой странным образом напоминают такой приснопамятный «День поэзии», только расширенный на размер столетья. Кстати сказать, тем эта книга и занимательна.

А любопытна она прежде всего как представительное собрание второсортной, условно говоря — плохой, советской (антисоветской) поэзии середины и второй половины XX века — всего того, ради чего точно уж не пойдешь в Ленинку и Публичку, не станешь перелопачивать пыльные залежи соцреалистической и эмигрантской периодики. Любопытна — как собрание образчиков отработанной и пустой стихотворной породы. В самом деле: Ахматову, Кузмина, Мандельштама, Багрицкого мы почитаем и без помощи Евтушенко, они все равно выветрятся и ускользнут из «Строф века», словно живые цветы с простоявшего год кладбищенского венка, а вот пластмассовые розаны никуда не денутся, там и останутся.

Будущие историки литературы, думаю, поблагодарят составителя за созданный им дайджест неживого, за его старательский труд по выбору наиболее жизнеподобных рукотворных псевдорастений. Впрочем, кто знает? Будущее многовариантно, а ни у кого из нас нет патента на истину, — и, может быть, в книге, которую мы сегодня обсуждаем, и впрямь преобладают шедевры? Но мне кажется, что составительский вкус Евтушенко отличается поверхностностью, вернее сказать — феноменологией, что и способствует, между прочим, отмеченному нами достоинству антологии.

Эстетика Евтушенко демократична. Для него важна феноменальная, внешняя, а не ноуменальная, внутренняя, сторона художественного произведения. Ему нравится броское и сразу видимое. Он игнорирует тот факт, что подлинные стихи — сокровенны, что их тайна познается не сразу, не всеми и не всегда, что тайна эта зыбка и изменчива — и наше сегодняшнее понимание той или иной строки не равно завтрашнему и вчерашнему. Иногда кажется, что Евтушенко собирает и не сами стихотворения, со свойственными им смысловыми и содержательными объемами, а их имиджи, их полые оболочки.

Подчас для него важны просто имена и фамилии знаменитых и интересных людей, чьи невзрачные строчки выступают тогда как оправдание присутствия этих имен на страницах «Строф». Так обстоит дело, например, со стихами Ильи Кричевского, — и это, каюсь, кажется мне профанацией — и антологии, и памяти трагически погибшего юноши.

При таком подходе к поэзии среди океана отечественной опубликованной и неопубликованной графомании действительно отыскиваются очень забавные, чем-то влекущие к себе псевдопоэтические феномены. «Четыре тыщи голых мужиков». Или история о том, как мужик (опять-таки!) разрубил топором совращавшую его русалку: бабье в море кинул, а рыбье по-хозяйски «до дому попер» (Виктор Максимов)... Ох, талантлив и хитроумен русский народ! И остроумен! Но поэзия все-таки не анекдот и не острословие, а нечто иное...

Было б нелепо спорить с кем-нибудь о дальнобойности Царь-пушки. Столь же нелепо предъявлять составителю «Строф века» какие-либо претензии по содержанию и объему подборок тех или иных поэтов, изумляться и вопрошать: почему так ничтожно представлены Иван Бунин и Вячеслав Иванов, почему так пугающе много при этом не только Волошина и Багрицкого, но даже Агнивцева, Оболдуева и Дона Аминадо (поэты-фельетонисты у Евтушенко в особой чести)?.. Ответ прост: по составительской прихоти, справедливо провозглашенной инструментом отбора в евтушенковском предисловии.

Справедливо, ибо любая выборка — плод прихоти выбирающего, писание вилами по воде, гаданье. Говоря проще, частное дело выборщика. Может быть, Евгений Евтушенко в данном случае предпринял некое компенсацион-

ное самоутверждение за счет русской поэзии XX века — в причинах этого пусть разбираются психоаналитики.

Не это, право же, отталкивает меня от фолианта творца «Братской ГЭС», а трогательное желание составителя защитить самую толстую свою книгу от любой критики, ущучить потенциального рецензента, если таковой, не дай бог, версифицирует или когда-либо версифицировал: «...эта книга, надеюсь, будет не менее ошеломляющим открытием не только для юных читателей поэзии, но и для многих собаку съевших в этом деле знатоков. Наверняка я вызову недовольство многих живых авторов и моим выбором, и количеством строк, и комментариями и смертельную обиду тех, кого я не включил вообще. Предоставляю им полное право включать или не включать меня в их антологии (если, конечно, они найдут время для их составления)...» К чему бы такое горькое и заведомое самоотвержение?

«Научный редактор» издания (кавычки здесь не несут иронического оттенка, а поставлены для точности определения) Евгений Витковский, тоже торопящийся упредить и диффамировать грядущего оппонента («Суди меня, судья неправедный!»), к тому же еще и уверяет читателя, что перед ним вовсе и не антология, как это напечатано на титульном листе, а «книга для чтения», — и предусмотрительно устраняется от всякой ответственности за «вкусы составителя».

И я его понимаю. Стоит лишь заглянуть в составительское предисловие, смущающее фантастическим эгоцентризмом и неожиданной глухотой к слову, где «элегантные *строители* (курсив мой. — А. П.) башни из слоновой кости, пахнущие духами „Коти“», сменяются «кусочками русского национального духа». «Лермонтов, — пишет поэт-составитель, — родился не от женщины, а от пули, посланной в сердце (? — А. П.) Пушкина». Ну и так далее. Примерно таков же и уровень «комментариев» — составительских врезок к стихотворным подборкам.

Что еще можно сказать? Царь-книжка, конечно, — клад. В ней много золота и серебра, еще больше вышедших и пока не вышедших из употребления банкнот, есть фальшивки... Между прочим, наша биметаллическая метафора наводит на тревожные мысли о нынешнем состоянии русской поэзии. И не случайно заключительные разделы «Строф века» самые смутные и подозрительные. Но ведь другого и нельзя ожидать.

Лет через пятьдесят завершающие главы «Строф века» можно будет сравнить с более или менее успешным опытом Ежова — Шамурина. А пока пусть стоит. Никому ж не мешает, ни в кого не стреляет.

С.-Петербург.

---

ВЛАДИСЛАВ КУЛАКОВ

\*

## ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ ИТОГИ

**Е**втушенко напрасно сравнивает себя с Ежовым и Шамуриным. Их антология была научной. Антология Евтушенко — чисто авторская, то есть по сути своей не антология. Точно так же обстоит дело с многотомной «тамиздатской» антологией К. Кузьминского «У Голубой Лагуны» (о ней я писал в «Новом литературном обозрении», № 14). И Кузьминский и Евтушенко сознательно отвергли «академический» стиль. Это естественно: они — поэты, а не филологи. Но позиция Кузьминского гораздо более обоснованна. Он издавал неофициальную поэзию 50 — 80-х годов, которой никакие филологи (за исключением западных славистов) не занимались. Евтушенко, очарованный идеей собрать «под одной обложкой» и «красных» и «белых» поэтов, и эмигрантов, и всех-всех-всех, все же мог бы учесть, что, скажем, серебряным ве-

ком занимались и после Ежова — Шамурина. И зачем с такой настойчивостью апеллировать к «грядущим литературоведам», когда есть нынешние — прекрасные специалисты по серебряному веку? Тут Евтушенко явно преувеличивает свою роль первооткрывателя и фальсифицирует современную культурную ситуацию.

Зачем вообще ломиться в открытую дверь, сея панику по поводу стремительной «макдональдизации» всей страны и «дамоклова меча цензуры равнодушия»? Да, поэтическое поколение Е. Евтушенко (вернее, лишь часть его, о чем Евгений Александрович почему-то забывает) — последнее поколение «профессиональных поэтов, живущих на эту профессию». Что ж, пора овладевать смежными профессиями — например, переводить детективы Макдональда. Или торговать в «Макдональдсе». Что тут такого трагического? Профессионализм в поэзии вовсе не в том, чтобы «жить на эту профессию». Да и вообще «профессиональный поэт» — чисто советское явление. (Выпускник философского факультета Ю. Карякин сказал как-то в телеинтервью: «У нас в дипломах написана страшная вещь — „философ”».) Поэзия, освобождаясь от соблазнов литературной карьеры, по-моему, только выигрывает. Это ведь лишь в советском государстве поэтам (опять же лишь некоторым) жилось, как поп-звездам. И нечего обижаться на нынешнее «равнодушие» публики. Те, кому стихи действительно нужны, не исчезли, и количество их не уменьшилось. «Равнодушными» оказались только те, кто видел в поэтах поп-звезд (и не по своему недомыслию, а в силу тоталитарной специфики советской культурной ситуации). Стоит ли жалеть об утрате подобной аудитории? А настоящих читателей за поэзию агитировать не нужно. «Немногие недевальвированные ценности» никуда не денутся — на то они и «недевальвированные».

Беда Евтушенко в том, что он никак не освободится от советско-государственного литературного менталитета. Он по-прежнему вещает с эстрады — но уже перед пустым залом. Идея собрать под одну обложку всех русских поэтов XX века — конечно, правильная идея. Но нужно ли было ее осуществлять с такой поспешностью и так непрофессионально? Бюрократический принцип расположения поэтов по «метрике», по «свидетельству о рождении» (кстати, непонятно, почему он не выдержан до конца: ведь и «погодков» можно было выстроить по старшинству) отнюдь не способствует созданию цельной картины поэзии XX (как и любого другого) века. «Век» в литературе вообще понятие относительное. Серебряный век, как ни крути, пришел не с новым, 1900 годом (да и XX век начался, строго говоря, только 1 января 1901 года), а в предыдущее десятилетие. Аргументы научного редактора Е. Витковского в пользу 1900 года (порой неожиданно некрофильские: К. Случевский «умрет лишь в 1904 году», А. Жемчужников — «зажившийся реликт») выглядят крайне странно. При чем здесь вся эта арифметика? Поэзия серебряного века — безусловно поэзия XX века, но не в буквальном же смысле!

Понятно, что, выбирая столь формально-хронологический принцип для книги, составитель стремился к максимальной объективности в представлении авторов читателю, стремился подчеркнуть единство русской поэзии. Цели своей он, однако, не достигает. Получается не объективная картина, не единство, а «куча-мала», и руководители советских писательских организаций Щипачев («большой человек», но «не самый большой поэт») с Сурковым оказываются «детьми золотого века», то есть чуть ли не самого Александра Сергеевича Пушкина. (Вообще вся эта «роддомовская» периодизация неуклюжа чисто стилистически, что, видимо, повлияло и на научного редактора в его очень смешном пассаже о том, кому сколько было лет в 1900 году: «Мандельштаму — девять, Цветаевой — восемь, Маяковскому — семь...» Вот вам и «дети страшных лет России» — и впрямь детишки, младшеклассники.) Единства в куче не бывает, единство есть результат определенного осмысления всех его составляющих, выявления его органической природы, осознания его внутренней логики. Романтик Евтушенко ничем подобным не озабочен. Для него текст говорит сам за себя. Это так, но только тогда, когда ты знаешь правильный контекст. И стихам не все равно, на каком месте они стоят в книге, кто их соседи. Отказываясь от каких бы то ни было попыток художественной типологизации представляемых авторов, составитель антологии отказывается от решения собственно антологической задачи, тем самым сильно облегчая себе жизнь — за счет читателя.

Спору нет, художественная типология — штука тонкая, чреватая многими опасностями. Каждый поэт уникален и требует к себе особого подхода. Искусство вообще и поэзия в частности не нуждаются в чрезмерной инвентаризации, в наклеивании ярлыков. Но если мы хотим по-настоящему понять уникальность поэта, без типологии тоже не обойтись. И что касается серебряного века и поэзии 20 — 30-х годов — тут наработан уже достаточный опыт адекватного понимания большинства художественных явлений. Странно, что Евтушенко этот опыт игнорирует. В качестве примера того, чего так не хватает книге Евтушенко, можно привести хотя бы последнюю антологию «Русская поэзия «серебряного века», 1890 — 1917» («Наука». 1993) под редакцией М. Гаспарова и И. Корецкой. Составители удивительно бережно обращаются с авторами, группируя их действительно так, как они сами бы, наверное, того хотели. Разделы помечены только цифрами — никаких ярлыков, даже столь общепринятых, как «символизм», «футуризм», «акмеизм» (о них говорится лишь в предисловии). Да, дело не в названии, не в этикетке. Но и границы между разными художественными явлениями, при всей их относительности, — реальны. И единство возникает именно благодаря осознанию реальности и смысла этих границ. Это единство есть в антологии «Русская поэзия «серебряного века», 1890 — 1917», и его нет в антологии «Строфы века».

Конечно, если мы уже более-менее понимаем, в чем единство серебряного века (хотя процесс этот бесконечный, и каждое поколение будет приходить со своим пониманием), то единство всего XX века нам еще только предстоит понять. (Этой цели, собственно, и призван служить весь помпезный проект «итогов века», в рамках которого осуществлено издание антологии Евтушенко.) И тут остро встает вопрос с поэзией 50 — 80-х годов, с «бронзовым веком». Наука, как уже говорилось, данной темы практически не касалась. Максимально полная антология «бронзового века» действительно нужна как воздух. Собственно, книга Евтушенко тем и интересна, что в ней присутствуют очень многие (хотя и далеко не все<sup>1</sup>) современные поэты, в советское время не печатавшиеся. Само по себе введение этих имен в общий историко-литературный ряд, безусловно, весьма важно. Но это лишь необходимое условие искомого единства, а никак не достаточное. Евтушенко ввел и м е н а, но не п о э з и ю. Что это за поэзия, была ли она на самом деле — из книги неясно. Для того, чтобы увидеть поэта, нужны представительные подборки, а не просто разрозненные стихи из тех, что приглянулись лично составителю. Дело даже не в количестве строк (книга-то и правда не резиновая): представительная подборка может состоять и из двух-трех стихотворений — если они действительно антологические. И главное, нужен ключ к пониманию текста, антологии нужна концептуальная структура (хоть какая-то самая начальная, в первом приближении). В этом смысле гораздо более плодотворна работа Кузьминского. Он тоже крайне невысокого мнения о всех существующих в славистике и отечественной критике концепциях «бронзового века». И он действует в этой ситуации единственно возможным методом: группирует поэтов по самым конкретным, очевидным признакам — городам, поколениям, принадлежности определенному кругу общения. А эти признаки, как правило, играют далеко не последнюю роль и в художественной типологии (конечно, не сами по себе, а как внешние факторы). Кузьминский, так же как и Евтушенко, не признает политических (и государственных) границ в поэзии. Но он точно чувствует границы х у д о ж е с т в е н н ы е, и «Лагуна», при всей своей подчеркнутой субъективности, «авторизованности», гораздо больше способствует созданию объективной картины русской поэзии второй половины века, чем книга Евтушенко. Остается только пожалеть, что антология Кузьминского совершенно недоступна российскому читателю.

В общем, «итоги» Евтушенко явно несколько преждевременны. Путь к «единству» только начат. Конечно, «Строфы века» — важный шаг на этом пути. Но шаг далеко не «итоговый» (и, что тоже важно, не первый — пионером тут, безусловно, нужно считать Кузьминского). Возможна ли сейчас науч-

<sup>1</sup> Из «зияющих» отсутствий — М. Еремин, М. Соковнин, Е. Сабуров, В. Казаков, Г. Айги (это только из старшего поколения). Доводы Витковского о «нерусскости» Г. Айги могут вызвать лишь тихое изумление.

ная, «академическая» антология «бронзового века»? Думаю, возможна. Хотя бы на уровне тех же Ежова — Шамурина. Хочу подчеркнуть, что дело не в «академическом стиле». Проблема — в отсутствии реальной концепции. Сама идея единства — еще не концепция. «История через поэзию» — это, конечно, тоже может быть концепцией. Но только после того, как мы пойдем саму поэзию, логику ее художественного развития, «поэзию (точнее — поэтику) через историю». При всей спорности, острой полемичности вопросов художественной типологии современной поэзии есть вещи вполне очевидные (те же внешние факторы, как у Кузьминского). Не худо бы, в конце концов, поинтересоваться и мнением самих авторов, уточнить исторические реалии. Поэтика возникает в конкретном времени-пространстве, и этот, так сказать, хронотоп обязателен, априорен, тут не о чем спорить. Так давайте же наконец проявим всех (по возможности) авторов по-настоящему — не в «куче-мале», а на фоне конкретного времени-пространства. И потом уже будем спорить об их сравнительных достоинствах и значимости для безусловно единой, безусловно великой, безусловно «недевальвируемой» русской поэзии XX века.

*P. S.* Не знаю, отмечалось ли в многочисленных рецензиях, что в подборку Игоря Холина попало не принадлежащее ему стихотворение. Пользуясь случаем, вношу поправку: стихотворение «Пушкин», напечатанное в подборке Игоря Холина, на самом деле принадлежит перу другого участника этой антологии — Сергея Чудакова.

---

М. Л. ГАСПАРОВ

\*

## КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

**В** этой большой книге есть одна небольшая, но важная обмолвка. Она сделана составителем на первой странице и исправлена научным редактором на шестнадцатой. Е. Евтушенко дал книге подзаголовок: «Антология русской поэзии». Е. Витковский поправил: не антология, а книга для чтения. Это правда так. Антология — это отбор, это канон, это организация вкуса. А книга для чтения — это книга для чтения: на всякий вкус, чтобы каждый нашел в ней что-то для себя. Как книга для чтения это издание великолепно. Дети называют такие книги «книжка про все-все-все». Она большая, читать ее — все равно что ходить экспедициями по целому континенту: он велик, и при каждом новом чтении попадаешь в местности, не похожие на прежние. Кому не понравится одно — понравится другое. Эта книга будет «ошеломляющим открытием» для многих — объявляет составитель в предисловии. Ошеломляющим или нет — это зависит от темперамента каждого отдельного читателя; но спасибо составителю скажут, наверное, все, кто любит поэзию. Я нашел здесь очень много для себя нового в последних разделах книги, другие, вероятно, найдут больше в начальных, — и если им это доставит такую же радость, как мне, то Евтушенко по праву сможет гордиться этой книгой. А кто любит не искать новое, а перебирать старое и обидится, не найдя чего-то знакомого и любимого, пусть попробует сам составить такую книгу для чтения, положив на нее двадцать лет.

Как антология это издание тоже очень интересно, однако, может быть, не тем, чем кажется составителю. Я сказал бы, что эта книга, безоговорочно прогрессивная по мысли и благородная по чувствам, — лучший монумент культуры сталинской эпохи. По крайней мере по трем признакам.

Во-первых, гигантомания. 875 поэтов, 1050 страниц, а сколько стихотворений — я не считал. Меловая бумага, цветные иллюстрации, несколько килограммов веса. Это не упрек составителю. Вероятно, такое оформление в стиле «Книги о вкусной и здоровой пище» задано серией («Итоги века. Взгляд из

России»). Но, право же, оба образца Евтушенко — «Русская поэзия XX века» И. Ежова и Е. Шамурина (1925) и «Чтец-декламатор» Ф. Самоненко и В. Эльснера (1909) — выглядели скромней, и это было им на пользу.

Во-вторых, идеологичность. Я тоже думаю, что было бы лучше, если бы Россия в XX веке могла обойтись без революции, советской власти, сталинского террора и шельмования Пастернака. Но я остерегся бы упоминать об этом на каждой второй странице — хотя бы потому, что самые правильные высказывания, примелькавшись, не замечаются, а навязываясь, раздражают. Отбирать стихи по их оппозиционности — ничуть не лучше, чем отбирать стихи по их верноподданности, как это делалось в неудобозабываемое время. Начинать биографическую справку словами «из дворян» умели и семьдесят лет назад; тогда это считалось хулой, теперь хвалой — только и всего. Да, конечно, поэт в России больше чем поэт; но почему из этого получается, что поэзия в России меньше чем поэзия? «Печальный пример того, как поэт ставит политику выше поэзии и, переставая быть поэтом, не становится серьезным политиком» — эти слова Евтушенко на стр. 256 относятся не только к С. Родову. А слова на стр. 28: «В его поэзии боролась искренняя, но вульгарная гражданственность с истинно лирическим началом» — не только к Н. Минскому.

В-третьих, эгоцентризм. Конечно, эгоцентрична каждая культурная эпоха, но сталинская была откровеннее всех, объявляя всю мировую историю лишь предисловием к бесклассовому раю. Так и здесь создается впечатление, что вся русская поэзия XX века была лишь пьедесталом для поколения 30-х годов рождения и лично для Евг. Евтушенко. Из заметок о самых разных поэтах мы узнаем и его генеалогию (дважды), и благодарный перечень тех, кто помогал ему и его сверстникам (длинный), и что «формальные поиски Елагина были близки к Евтушенко и Вознесенскому», и что стихотворение А. Коренева 1944 года «вообще евтушенковское», и что Арсений Альвинг интересен только тем, что у него учился Генрих Сапгир, а Вячеслав Иванов вообще неинтересен. Вряд ли это намеренно: просто здесь, как у неумелого фотографа, искажается перспектива и то, что ближе, кажется и больше.

Все это не укор, а констатация. Три четверти XX века мы прожили в советской культуре, и если эстетика наших «итогов века» вся оттуда, то это только естественно. А «книгу для чтения» это не портит. Ее гигантским масштабам мы, читатели, обязаны тем, что находим здесь столько нужного нам. А постоянно слышимый комментарий автора придает единство материалу огромному и очень трудно объединяемому. Пусть все меридианы на этой карте сходятся на поколении 30-х годов рождения — по материку поэзии все же легче ходить с такой картой, чем без карты. А удастся ли сделать такую же монументальную антологию следующему поколению — скажем, 50-х годов рождения, — это мы еще увидим.

Я бы предложил переиздавать эту книгу каждые двадцать пять лет, всякий раз с переработкой. Тогда мы увидим, как выравнивается перспектива и перестраивается система поэтических ценностей. Я думаю, что составитель не стал бы против этого возражать.

Но если ее будут переиздавать даже без переработки, я прошу исправить в ней два недоразумения: на стр. 30 и 255. Стихотворение О. Чюминой «Кто-то мне сказал...» — это перевод стихотворения Метерлинка (очень известного), а стихотворение Н. Минаева «Когда простую жизнь...» — это пародия на стихи Георгия Иванова («Я не пойду искать...» из «Садов»). А ведь ни переводы, ни пародии — по программе издания — в антологию не включаются. Разве что невольные.





---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



## ОТЧЕГО ДРОЖИТ РУКА?

**З**наете ли вы, что такое современный публицистический стиль? Нет, вы не знаете, что такое современный публицистический стиль. Вот почитайте: «Да, господа приматы, членистоногие, парнокопытные, земноводные, пресмыкающиеся, вот она, моя слабость, почти болезнь, — у меня есть принципы!» Это Евгений Туинов — «Думские дни. Злая книга» («Аврора», 1995, № 3 — 4). Так он, российский парламентарий и литератор, обращается к своим политическим (парламентским!) противникам. Хочется цитировать еще и еще: «Откуда силы берутся?.. Да от сознания того, что изнасилованная павианами, орангутанами и прочими макаками моя любимая (не пугайтесь! — Н. Е.) Родина на краю, а похоже, — спаси Бог! — уже падает в пропасть под визг, гогот и улюлюкание всей этой околокормушечной, толкающейся локтями, бьющей копытами, жалящей и кусающей живности».

Вспоминается бессмертный «Поток-богатырь» А. Н. Толстого:

Шеромыжник, болван, неученый холоп!  
Чтоб тебя в турий рог искривило!  
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,  
Чертов сын, неумытое рыло,  
Кабы только не этот мой девичий стыд,  
Что иного словца мне сказать не велит,  
Я тебя, прощельгу, нахала,  
И не так бы еще обругала!

«Девичий стыд» не для литератора, охваченного негодованием. Судите сами: «Вдруг моя одурманенная Родина очнется, отверзнет очи, узрит эти жалкие оскалы, эти крашенные коготки, эти алчные глазенки, услышит чавканье и чмоканье этих паразитов на могучей своей груди...»

Любопытно, видится ли воображению Е. Туинова то, что он пишет? Как он представляет себе изнасилованную павианами и макаками Родину, на груди у которой чавкают и чмокают паразиты? На ум поневоле приходят утешающие слова Венедикта Ерофеева: «Да мало ли отчего дрожит рука? От любви к отечеству...»

Впрочем, о любви или, скажем, добре в книге Туинова речи нет. Предупреждено подзаголовком, подтверждено эпиграфом к первой главе («Ненависть — самый чистый источник вдохновения». Александр Блок). Можно было бы и Некрасова вспомнить: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», — но, видно, репутация у этого поэта нынче неважная, поэтому и выбран Блок. «Черная злоба, святая злоба... Товарищ! Гляди в оба!» В первой главе книги Туинова есть подобный совет: «Ненавидишь? Хорошо! — все же ответил я парню. — Только не в том направлении. Неправильно ненавидишь. Не в ту сторону». Видели, слышали: революционный агитатор разъясняет темным крестьянам, кого им следует ненавидеть. «Наука ненависти». «Если враг не сдастся — его уничтожают». Можно все-таки усомниться: а так ли чист этот «источник вдохновения»? Может быть, наоборот, он один из самых мутных — даже для политика, тем более — для литератора. Ведь литература — всегда диалог. С оппонентом, с противником, с отвратительным Смердяковым, с убийцей Раскольниковым... Открытая ладонь, а не сжатый кулак — вот что свойственно литературе.

Богров, убийца Столыпина, ненавистен Солженицыну, но перечитайте «Август четырнадцатого»: есть ли там место для ругани наподобие «парнокопытных» или «членистоногих»? Наоборот, в какой-то момент ловкий, циничный, умный Богров начинает выглядеть значительным

Маяковский не испытывал нежных чувств к Врангелю, последнему белому генералу, но вспомните известный эпизод из поэмы «Хорошо»:

Хлопнув  
дверью,  
сухой, как рапорт,  
из штаба  
опустевшего  
вышел он.  
Глядя  
на ноги,  
шагом резким  
шел  
Врангель  
в черной черкеске...  
Трижды  
землю  
поцеловавши,  
трижды  
город  
перекрестил.  
Под пули  
в лодку прыгнул...

Настоящая литература всегда преодолевает «злое» задание, и внезапно в агитке, злой, злорадной агитке того же Маяковского («Император»), появляются строчки:

Здесь кедр  
топором перетроган,  
зарубки  
под корень коры,  
у корня,  
под кедром,  
дорога,  
а в ней —  
император зарыт...

Хороший писатель преобразует свое неприятие, свою неприязнь. Набило оскомину рассуждение о том, как из пародии на рыцарские романы получилось трогательное и печальное прощание с рыцарством. Есть и куда более удивительный пример — «Похождения бравого солдата Швейка». После гекатомб XX века кто будет читать эту книгу как книгу разоблачительную? Австро-Венгерская империя, которую дурит Йозеф Швейк, столь же добродушна, как и ее противник.

Я говорю о литературе, и только о литературе. Политика и идеология интересуют меня в той степени, в какой они касаются ткани литературы, ее дыхания. Интересно: давая подзаголовок «Злая книга», помнил ли Туинов о «Злых заметках» Николая Бухарина? Эта неожиданная переключка могла бы насторожить антикоммуниста и русского патриота, каковым рекомендует себя Евгений Туинов. Мне-то, давно твердящему: «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды», — простибельны отсылки в текстах хоть к Бухарину, хоть к Троцкому, хоть к «большевизану» Бердяеву, но неистовый ненавистник большевизма как этакое не заметил? А потому и не заметил, что ненавистник; потому, что «черная злоба, святая злоба» застит глаза, — и вот что получается: «...мощное, до боли в сердце острое чувство своей несчастной страны, своего обманутого бездарными правителями, обобранного, брошенного на произвол судьбы народа, с которым я был все эти думские дни...» Снова не замеченный автором парафраз. На этот раз из Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Но вместо ахматовской четкой лапидарной формулировки у Туинова — комическая нелепость: получается, что со своим народом он был именно в думские дни...

Тот же Александр Блок советовал: «Твой взор — да будет тверд и ясен». Вот бы этим советом воспользоваться. Не взвинчивать себя. Тогда у русского писателя не появлялись бы такие, например, фразы, как эта: «Выяснилась вообще любопытная вещь, о которой ни старейшина Думы Лукава, ни я, человек в прошлом далекий от большой политики, даже не подозревали: частично в зале вообще сидели не совсем люди». Зачем подавать повод досужим критикам подсчитывать, сколько раз

повторяется энергичное словцо «вообще»? Зачем провоцировать каверзный вопрос: что означает «частично... сидели»?

Ненависть превращает человека в солипсиста. Человек видит и слышит только то, что хочет увидеть и услышать. А с другой стороны, не может без «группы поддержки». От врагов — только ложь и пропаганда, от друзей — только правда, и ничего, кроме правды. «Я прекрасно помню, как выступал энергичный небольшого роста шуплый человек, Георгий Григорьевич Лукава. Нет, он не летчик, как привычно солгали газетчики, он — философ. А форма? В Московском государственном техническом университете гражданской авиации есть и такой предмет — философия. Вот Лукава и преподает ее там, даже заведует кафедрой...» Е. Туинов, чуть ли не на каждой странице проклинаящий коммунистов и марксистов, не считает нужным поинтересоваться философскими трудами своего соратника по партии. Что ж, приведу выборочный список этих трудов не летчика (грязная ложь продажных газетчиков!) — философа (!) Г. Лукавы: 1) «Актуальные вопросы советского военного строительства в свете решений XXIV съезда КПСС». М. 1972. 40 стр.; 2) «В. И. Ленин, КПСС о материальных основах укрепления обороноспособности страны и боевой мощи советских вооруженных сил. В помощь пропагандистам». М. 1974. 54 стр.; 3) «Логико-методологический анализ боевых уставов и наставлений». Учебное пособие. М. 1972. 49 стр.; 4) «В. И. Ленин о защите завоеваний социализма». М. 1986. 110 стр.

Чего уж там, Е. Туинов — настоящий партиец-агитатор, обучающий не пониманию, а ненависти. Он пишет р-р-разоблачительную книгу. Он заранее предупреждает: его разоблачения будут настолько ужасны, что разоблачителя «уберут», «убьют», «уничтожат»: «...чуть не забыл (а зря) о возможных угрозах и расправах, о ночных телефонных звонках, о мальчиках-шкафчиках в полутемном подъезде, о провокациях на улице, в метро, в магазине, об автомобильных авариях, о мнимых самоубийствах, когда ни с того ни с сего сигают с одиннадцатого этажа или вешаются на собственном галстуке...» (После такого зачина хочется прочесть текст бесстрашного автора!) Какие же тайны кремлевских «террариёв, вивариёв, инсектариёв» открыл Е. Туинов жаждающим сенсаций читателям?

Привел список «гайдаровской команды» и обратил внимание на возраст этих людей: годы рождения — 1951 — 1960. По мнению Туинова, таким молодым людям нечего делать в большой политике. (Встает резонный вопрос: а что же сам Туинов Е. А., 1954 года рождения, поделывает в этой треклятой большой политике?)

Что еще? Рассказал о том, как то ли хотел, то ли не хотел дать пощечину Рыбкину, а телохранители спикера перестарались и попридержали ретивого парламентария. Обозвал депутата Осовцова «бородатым бугаем». Сообщил, что латышские писатели, музыканты и художники никуда не годятся (?!). Переписал стенограмму думских заседаний, расцветив выступления депутатов собственными комментариями. Что-то маловато для «мальчиков-шкафчиков» и «ночных телефонных звонков»...

Единственное политическое разоблачение, которое сделал Е. Туинов, касается его собственной партии. «Пусть не обижаются на меня коммунисты и аграрники, но ключевые ходы в двух первых (разыгранных думой. — *Н. Е.*) партиях (базовая цифра для формирования депутатских групп и создание Совета Государственной Думы) были сделаны Жириновским и Травкиным. Убежден, что существовала договоренность между Владимиром Вольфовичем и Николаем Ильичом. Ведь недаром же наш депутат Марычев на заседании фракции ЛДПР за бездумное замечание, сделанное Травкину по какому-то пустяку, получил серьезный выговор от Жириновского». Вот те на! Николай Ильич где только можно открещивался от Владимира Вольфовича, а выходит, у них договоренности, да еще тайные договоренности — тайные даже от членов собственных фракций.

Характеристика, данная Жириновским Марычеву, тоже весьма показательна, весьма... разоблачительна: «А это — наш либерально-демократический Киров. И кончит, видимо, так же». Какие задорные, чекистско-уголовные шутки, какие образцы для подражания!

Одна из главок книги называется «Зачем?». Автор растолковывает в ней, «зачем» он пишет.

А я-то зачем пишу? Может быть, я хочу, чтобы русский писатель Е. Туинов следил за своей русской речью, чтобы не получались такие вот ляпы: «...сквозь жирную зелень растений могуче лежало море, мыльно пенясь пеньюарным кружевом приборя». Представляете себе, что означает «лежать сквозь»? Наверное, это

подстрочник... Уж не «с латышского» ли? Может быть, я хочу, чтобы русский политик Е. Туинов научился азам цивилизованной политики? «По ту сторону» — люди, а не членистоногие, даже если люди эти совершают нелюдские поступки: например, срывают крест со священника, во времена оны уже пострадавшего за этот крест, или бьют женщину. Но ведь это неосновательные, нелепые «хотения», глупые надежды...

Страшно, знаете ли, и одновременно смешно. Удивительный эффект. Пушкин его достиг в «Бесах». Романтический ореол метра помог или что другое, но какой залихватский, разухабистый мотивчик, какое веселье бесшабашное, чуть не частушечное:

Еду, еду в чистом поле;  
Колокольчик дин-дин-дин...  
Страшно, страшно поневоле  
Средь неведомых равнин... —

и какая тоска, какой неподдельный страх в последних строчках:

Мчатся бесы рой за роем  
В беспредельной вышине,  
Визгом жалобным и воем  
Надрывая сердце мне...

А ведь Пушкину-то бесов, пожалуй, жалко.

С.-Петербург.



## СЕСТЬ НА РЕЛЬСУ!

(Ксива старому кирюхе)

Чабуа Амирэджиби. Гора Мборгали. — «Знамя», 1995, № 7 — 8.

**З**а истекшие сорок пять, Чабуа, со времени первой встречи дружеский долг перед тобою, Чабуа, я исполнял не за страх, а за совесть.

Вижу: романом «Гора Мборгали» ты подбиваешь итоги. Вроде бы в девяносто пятом и я подвел наш с тобою итог, сначала поместив в «Мемориал-Аспекте» (№ 13) отрывок из романа и тотчас же, в июне, до выхода журнального варианта в «Знамени», напечатав другую главу — в «Обозревателе» (№ 6).

«Мемориал-Аспект» — газетка неподписная и непродажная, с огорчительно скромным тиражом. Надеюсь, однако, что ты знаешь: ее на разных широтах читают бывшие зеки — контингент для тебя небезразличный. Если «Мемориал-Аспект» выглядит голодранцем и останется нищим до последних дней, то роскошный, вылетающий в свет из финской типографии «Обозреватель» распространяется на сотню-полторы стран, в аэропортовских киосках продается за восемь и за десяток тысяч. За рекламу дерет столько же — но уже не рублями, а зелененькими, СКВ. Ты где-нибудь видел свою фотку, исполненную столь мастерски, крупно, импозантно? Свой текст, сопровождаемый фрагментами из работ Пиросмани? Неужто недоволен?

Но ты верно понял: во вступительных заметках к опубликованным в газете и журнале отрывкам, выдержанным в жанре грузинского госта — «Будь здоров, Ч. А.!» — я поведал о крутых поворотах твоей судьбы, о давних побегах и нынешних должностях, о фантастичности успеха, словно разверзшегося, когда «Дата Туташхиа» пробился к читателю общесоюзному и всемирному, завоевал экраны всех континентов. Упомянул я и о том, что, взяв вершину, ты так увлеченно перекуривал на Олимпе, что по долинам и взгорьям Грузии пополз «шолоховский» слушок: разве это Чабуа написал «Тихий Дон», то бишь «Дату Туташхиа»? Быть не может!

Получив известие, что «Гора Мборгали» завершен, я испытал и радость, и облегчение, будто сам сбросил «Гору» с плеч. Разумеется, в обеих заметках я отметил, что трехтомный труд вышел на грузинском, что журнальный вариант подготовлен к печати «Знаменем» — однако же во вступительных этих строчках от оценки романа уклонился.

Вникни в мои «душевные переливы», как говаривал Костя-капитан в погодинском фильме «Заключенные». На одной чаше весов — трагедия Грузии, твое отцовское горе, нескончаемая цепь бедствий, разрушивших вчера еще благословенные края. На другой чаше — казалось бы, ерунда, мелочь: невозможность уйти «в глухую молчанку», отделаться наигранно-бодрыми или процеженными сквозь зубы похвалами: дескать, молодчик, посадил в самое яблочко, жми дальше. Невозможность, объясняемая не тем, что я не в силах составить дежурный набор из корректно-успокоительных, ни к чему не обязывающих фраз. Кодекс вежливости я с трудом, но выучил. Однако с тобою, Чабуа, я общаться с оглядкой на диппротокол не вправе. Слишком многое позади. К тому же нам хорошо известно, что святое искусство — дело жестокое. Писатель, отважившийся вложить в роман собственную судьбу, обречен на суд публики, не ведающей пощады. Почтенная публика в покое тебя не оставит. А сдержанность серьезных ценителей ты воспримешь как ледяное и постыдное равнодушие. Ты решишь, что друзья тебе изменили, потому что Москва и Тбилиси не очень в ладах, потому что кончились банкеты, — разве критика может быть благодарной?

Примыкать к молчащему суду присяжных, тая хамство в душе, значило бы вырвать из летописи нашей жизни страницы, которые, представь, мне дороги.

Отчего эту ксиву я решил отнести в «Новый мир»?

Напряги память: когда я чудом и самолетом перенесся из Кенгира в Москву, а ты еще загорал в Тайшете, вместе с харчами и снадобьями в посылку была вложена книжка «Нового мира». Ноябрьская, за 1956-й. Как я в ту осень дуриком, хлопая ушами, стал вдруг индологом и понес в «Новый мир» и «Театр» заметки о Калидасе — сюжет для Марка Твена, который, как известно, редактировал сельхозгазету. Тебя «Калидаса» оглушил: еж твою вошь, вчера в одном бараке! Через двадцать два года, рецензируя в «Литгазете» (1988, 13 июля) том «Избранного», к которому я написал предисловие (Гослит опоздал с «Избранным» Олега Волкова к юбилею Олега Васильевича на два года), ты, растрогав меня, упомянул иные из подробностей отдаленного уже прошлого. Упомянул и посылку со статьей о древнеиндийском Шекспире — Калидасе: «Что было со мной — не в силах, отказываюсь передать». Рассказал, что, закончив «Дату», привез четыре папки — тысяча двести страниц на машинке — в Москву, потолкался с рукописью по редакторским кабинетам и с «грустью покинул столицу».

Ты не скрыл, что «долгие хлопоты и заботы о рукописи» переложил на меня. Нескромно продолжу цитату: «Когда же чудо свершилось и роман вышел, пустился в пляс, приговаривая: «Ай да Марлен Михайлович! Ай да друзья мои дорогие. Кланяюсь им всем в ноги».

Выхватываю из той поры еще штришок-другой. Четыре папки твоих я обрушил на головы славных новомирских редакторов Аси Берзер, Инны Борисовой. А кому же еще, если именно их приговор был для меня Инстанцией. Был рад, что расхождений в оценке «Даты» у нас не возникло. Однако Косолапов, понимавший, что после низложения Твардовского пост главного он занимает временно, печатать «Дату» не решался. И Сергей Наровчатов, придя в журнал, поначалу тянул, осторожничал. Ждать надоело. Перевод, отредактированный Инной Борисовой, я оттащил в «Дружбу народов» с внутренней рецензией, в которую вбивал один за другим доводы «за». Сергей Баруздин, хвала ему, оказался смелее. Позднее, когда «Дата» завоевал бесспорный успех, «Новый мир», признав совершенный просчет, заказал мне отклик на роман. Я не корчил из себя обиженного. Сомневаюсь — и все-таки надеюсь, что на полках твоих сохранился июньский номер за 1978-й. Открой на досуге. Любопытно, какова сегодня на вкус статья «Сын Грузии».

А теперь наберись терпения и завари чаек. Надоест дымить, просиживая штаны и нары, — прогуляемся, как встарь, за барак. До отбоя. Времечко пока есть.

Для «Горы М.» ты выбрал жанр авантюрно-приключенческий. Без пяти минут плутовской. Не только «законный» — классический. Литератору, не забывшему курс на филфаке, не составило бы труда бросить взгляд на историю жанра, начиная с античности и кончая нашими днями, когда по причинам уважительно-социальным жанр достиг расцвета, совершенно немыслимого прежде. Но мне достаточно отметить, что ты примкнул здесь к мощной традиции, кровно тебе близкой: «Дата» тоже ведь роман авантюрный. Не установка на успех, не углубление в теорию, вообще не расчет и рассудок побудили тебя избрать приключенческий жанр, а прежде всего натура.

На воле различают людей по возрасту, профессии, внешности, национальности. Критериев множество. В арестантских досье бытует и дополнительный: «Склонен к побегу». За тюремными стенами и лагерной проволокой порода беглецов обстругивается и обтачивается. В «Архипелаге» использована рукопись Георгия Тэнно, которого привезли в Майкудук, когда тебя, если память не изменяет, уже угнали. Так же, как Тэнно, ты беглец по убеждениям и по крови.

Известно, что роман — форма емкая. Ему не заказано совершать крен в философию, в психологию, поворачивать в русло истории. Роман, но не подбитый лишь ветерком интриги, легкой, как плащ из синтетики, а сшитый добротной, по старинке, как зимняя шуба на меху и шелковой подкладке событий, пережитых автором лично, — такой роман обречен плыть по течению истории, следуя за ее поворотами. Твой, приключенческий, тяготеет к мемуарам. Под романном покровом прячется исповедь. Что ж, есть о чем погутарить.

Из всех твоих экскурсов в философию мне больше по сердцу философия побега. Если разбросанные по тексту раздумья о беглецах свести воедино, то взору предстанет довольно стройная теория. Самобытная — потому что испытанная на шкуре. Глубокая — потому что обобщает опыт, накопленный ГУЛАГом. Хорошо, что теория полемична по отношению к расхожим предрассудкам. Согласен с тобой: сводить причины побегов к жажде свободы наивно, поверхностно. Насчет свободы в сталинскую пору толковать следует с большими оговорками.

На что мог рассчитывать крестьянин без паспорта, рабочий без прописки? Начальников держала на прочной цепи партийность. Оковы и путы рабства, сгибавшие в три погибели граждан-товарищей, надежно скреплял страх перед ЧК — НКВД — КГБ... Отчего же и зачем бежали, почему при мысли о побеге учащенной бились зековские сердца?

Протест против несправедливости — тоже мотив не слишком серьезный. Для него надо прежде всего уважать справедливость и сохранять в нее веру. Между тем зек с трезвою головой отлично знал, что, рванув на волю, он обречен совершать насилие, в худшем случае — идти даже на убийство, в лучшем — подвергать опасности людей неповинных, врать другу... Ведь случайно или нет, но друг проговорится, так зачем же подводить его под монастырь?..

Одних беглецов ты относишь к разряду честолюбцев, которым надо убедить окружающих — и нередко себя самого, — что покорность — черта слабаков, неспособных изменять обстоятельства и свою участь. Не слишком жалуешь ты «прагматиков», использующих славу беглеца, чтобы добыть у повара миску баланды, разжиться шматком сала у зека, получившего посылку. Не в чести у тебя «кузнечики»-беглецы, которые не в силах переносить однообразие арестантского быта и шастают из бригады в бригаду, меняют друзей, от отчаяния решаются на побег. Ты скептически смотришь на «мазохистов» — искателей острых ощущений, на «борцов», в которых клокочет дух противоречия. Их хлебом не корми — дай только выкинуть коленце наперекор. Открой перед ними ворота лагеря — упрутся, не пойдут. Кусать им охота только запретный плод.

Пожалуй, единственный разряд, который ты ценишь всерьез, — это «вершители». Им ведомо, что карательный механизм империи налажен, колеса сыскной службы крутятся, паспортный режим строг, и как раз поэтому «уход с концами» для них — дело жизни, свершение. У них запас сил, необходимых, чтобы вступить в схватку, и достаточных, чтобы в неравном сражении рухнуть с честью, как воин.

Не уверен, что эти страницы безупречны в каждом оттенке (разряды у тебя переходят один в другой, наблюдения иногда приблизительны), но итоговые раздумья Горы принимаю всей душой. Тяжкий путь по снегам Заполярья, предпринятый, чтобы «сесть на рельсу» — достичь цели, — действительно модель жизни. Твоей, моей, любого, кто близко не подходил к лагерям и в мыслях не держал «уйти с концами». Верно, Чабуа, жизнь — это и есть побег. Двухногому кажется, что за ним идет погоня, и действительно он с рожденья в бегах. День за днем уходит он от напастей, рвется «сесть на рельсу».

Догадываюсь, отчего в философический эпилог с лирическим настроением вторгается у тебя Испания. Та самая, где роскошные отели и Прекрасная дама. Промысл наградил тебя туристскими впечатлениями, и не пристроенные в печать заметки о корриде ждали часа в ящике письменного стола. Не так ли? Схватка тореадора с быком под рев то ликующей, то разгневанной толпы, короче, игра со смертью не раз обретали в мировой прозе значение поэтическое, высокий ранг Символа Бытия. К сожалению, недосуг погружаться сейчас в глубины символики. До любимых мест Эрнеста Хемингуэя Гора М. не добирался, и, значит, я обязан принять как должное вторжение в текст автора, часто забывающего о своем герое.

Твое раскованно-княжеское присутствие в романе я оцениваю двойственно: по-читательски — отвергаю, по-дружески — приемлю. Спасибо за все, что не забыл.

Как Абрек Батошвили притащил к тебе на улицу Павлова, 35, барана и в поте лица утрясенный график полетел в тартарары, помнишь? Марья Михайловна была еще жива. Рад, что ты упоминаешь Абрека.

Как ездили с тобой в больницу к Амирану Морчеиладзе и как Тбилиси хоронил его — никогда не забуду. И Зураба Какабадзе не забуду, Левана, Норочку — да что говорить.

Кстати, отчего ты не обмолвился о Сашке Давлянидзе, слова не сказал про... — впрочем, дело твое.

В углу барака на двухъярусной железной койке, понятно, на нижнем месте, оставляя верхнее свободным, почивал Никола Васильев. Вслед за ним на деревянной вагонке — не забытый тобою Коля Кобжицкий. Когда тебя ветерком надуло в Майкудук, третьим от Николы посапывал я. С той поры большинство рассказов, лагерных баек, новелл, вливающих в поток воспоминаний Горы, я многократно слышал из уст Чабуа. В Караганде, в Тбилиси, в Москве. Ты исполнял свои рассказы не только по той причине, что долг тамады — направлять застолье и запол-

нять души гостей, так же как их желудки. Повторяя байки, ты настойчиво шлифовал подробности и выверял повороты интриги. Понимаю: творческий процесс. Но как прикажешь относиться теперь к повествованию: это роман о Горе Мборгали, в котором высшие права у художественного вымысла, или документ мемуарный, где господствует Чабуа?

Спору нет, известны творения, в которых факт и вымысел не вступают в противоборство, а образуют сплав. Случается, образ автора пребывает в мирном согласии с образом героя, чутко поддерживает его. Великое достоинство такого произведения — гармоничность. Целостность. В первую очередь она зависит от характера главного персонажа...

Не гневайся, что я твержу аксиомы. Хочу, чтобы ясны были ход мысли, позиция. Как характер Гора вызвал к себе поначалу доверие. Давненько я не встречал столь прожженного, ушлого, искушенного зека. Палец в рот ему не клади — вокруг пальца его тоже не обведешь.

И майору Пронину, и комиссару Мегрэ Гора дал бы десяток очков вперед. Шутя обошел бы множество детективов на первом же крутом повороте — если бы... Если бы образ его на глазах не распался. Из самоцели Гора стал вьючным средством для воспоминаний Чабуа. Именно для того, чтобы он, навьюченный, не рухнул, ты тащишь его за руку, облегчаешь ему побег. Заботливо подкидываешь ему снаряжение, ночлег, вольных и невольных помощников. Именно в их числе Митиленич! Вроде бы он преследует беглеца на вертолете, отправляет за ним подчиненных, следит за каждым шагом — однако настичь-то его не желает. По сути, оберегает от напастей, бережет как зеницу ока.

Неужели тебя не тревожит искусственность конструкции, Чабуа?

В поединке Горы и Митиленича слышится эхо противоборства Даты Туташиа и Мушни Зарандиа.

В сущности, ты вернулся к сценарию, из которого вырос первый роман. Но Дата, переброшенный по мотивам тактическим на рубеж XIX и XX столетий, к условному Пятому году, сегодня, на рубеже тысячелетий, прописан в современности. Соответственно и бывший страж монархического порядка, Мушни Зарандиа, сменил жандармский мундир на форму офицера внутренних войск. Что ж, переброс многообещающий.

Странное, однако, дело. Чем дальше забирался я в текст, тем сильнее охватывало меня грустное чувство: результат поединка Горы и Митиленича полемичен по отношению к итоговым сценам романа-источника.

Гибель старого абрага подлинно трагична, неизбежна. Нравственная гибель жандарма, истово служившего идее Державной власти, тоже закономерна. А вот последние сцены «Горы» рождают большие сомнения в их оправданности. В министерствах внутренних дел не было, нет и быть не может такого поэта и рыцаря уголовного сыска, как Митиленич. Шутка сказать, кошке под хвост швырять миллионы (почем часок прогулки на вертолете, известно), вместе с миллионами растрачивать время и силы, забросить дела служебные, семью — и все ради того, чтобы в спальном вагоне бросить взгляд на Гору, который в купе читает уведомление о реабилитации?

К слову, что за реабилитация, если Гора досиживал срок как бытовик, уголовник?

По замыслу сцена в вагоне должна нести на себе философско-трагическую нагрузку. Она и несет. Но какую? Побег, заверченный победой, достигнутый талантом и волей, постановлением о реабилитации лишается смысла. Теряет смысл и подвиг Митиленича. В первом романе шла беспощадная схватка человека, рожденного для свободы, абрага по сути своей и призванию, с бесчеловечной Системой. Во втором романе вдруг подобрешая Система одаряет свободой почти задушенную жертву. Теперь орудие Системы, фанатик службы Митиленич, испытывает привязанность к убежденному противнику. Схватка не на живот, а на смерть превращается в беллетризованную игру, пусть остроумную, с детективными ходами, но все же в игру, и не по правилам. Оттого Гора, а вслед за ним Митиленич и рухнули как характеры. Гора, повторю, превратился в шампур, на который ты, Чабуа, нанизываешь кусочки, готовя шашлык читателю.

Не буду начинать, верней, продолжать здесь спор о судьбах старых и новых империй. Касаться истории Грузии, завязанной в тугой узел с историей России, Кавказа, Запада, Востока, позволить себе не смею. Проверено, что не только не-



доброжелательное или, мягче, неосторожное, легковесное, но даже строго выверенное слово срывает корку с плохо заживающих ран.

Но самый крупный на шампуре кусок я никому не уступлю. Не потому, что хочу отнять его у дорогого соседа. За нашим пиршественным столом маловато теперь едоков, которые в силах его прожевать. Речь идет о главах романа, посвященных особым, или режимным, лагерям на рубеже 50-х. Конкретнее, лагерям казахстанским, еще конкретней — карагандинским.

Отрадно твое убеждение, Чабуа, что как раз в этих краях сформировался контингент, сыгравший первостепенную роль в сопротивлении и Севера, и Дальнего Востока.

Твое убеждение тем весомей, что срок свой ты начал на исходе войны, а простился с ГУЛАГом на пороге 60-х. За плечами у тебя и Закавказье, и Казахстан, и Таймыр, и Колыма, и Тайшет, и Мордовия. Кроме количества отсиженных лет существует и качество. Одно дело — отбывать срок, хитромудро или счастливо пристроившись к хлебрезке, конторе, санчасти, и совсем другое — рваться в побег, а когда пять из шести попыток срываются, «доходить» в бурах и карцерах, на закусь — принимать участие в восстании. Тем больше вопросов вызвали у меня страницы о людях и событиях, которые худо-бедно, а мне тоже знакомы.

Поверь, я сгибаюсь под грузом этих вопросов. Прежде казалось, что к тебе они у меня возникать не должны. Мы понимали друг друга без слов, в худшем случае — с полуслова.

Последний раз мы видались четыре года назад. В списке Гамсахурдиа на арест ты шел строго по алфавиту — первым. Перед выборами тебе и дружкам твоим досталось от наемных амбалов. Через неделю-полторы начнутся бои в Тбилиси, превратятся в развалины Театр Руставели, Дом правительства. Самое время праздновать юбилей в бывшем Доме политпросвещения. Но семьдесят автору «Даты»! Кое-кто из Москвы успел прилететь. И убедиться, что бывшие зеки не скрылись, не притаились. В живых, правда, осталось — пальцы загигать страшновато. Но в тот вечерок мы, случайно живые, понимали друг друга отлично.

Но довольно лирики. Вернемся к прозе.

Вспоминая Владимира по прозвищу «Нос», ты называешь его организатором карагандинского сопротивления. Подчеркиваешь, что все его любили, все уважали и знали «в политическом мире ГУЛАГа». Даже «чекисты питали к нему почтение».

Однако Нос вождь карагандинского движения не был и, главное, быть не мог. В Песчанлаге и других управлениях возникали в ту пору национальные группы, группки, группировки, непременно выдвигавшие собственных авторитетов. Общий «генсек» для русаков и бандеровцев, ингушей и литовцев исключался. Заботами начальства группировки постоянно меняли свой состав, подолгу на высоте авторитеты удерживались редко. Баланс между ними сохранялся с трудом, разборки шли постоянно — и это закон не только Караганды.

Твои выкладки — как бы это помягче? — кустарные — поражают меня психологически. В который раз убеждают: два зека — две реальности, хотя лагпункт один и тот же. Объективность — сухая ложь, уверял Генрих Гейне. Надо, значит, писать «свою Караганду», чтобы тебя убедить?

Как ты доказал, совершить побег из лагеря трудно, но можно. Из плена времени не сбежать никому никогда. Ты же словно пренебрегаешь тем, что на дворе 1995-й.

Уже или еще, но архивы приоткрыты. Представь, Чабуа, и я захаживал на Пироговку, где находится Архив Российской Федерации — бывший ЦГАОР. Я добросовестно корпел над папками документов, помогающих заново осмыслить восстания в Речлаге, Горлаге, Степлаге. Слетал я и в Кенгир, пробивался в архивы Алматы — поначалу с большим, а затем с переменным успехом.

Что же касается Норильска, то твой рассказ о восстании у дельных историков ГУЛАГа породит вместе с интересом немалые претензии. У тебя получается, что именно восстание в Норильске заставило Москву срочно отдать приказ по ГУЛАГУ: в бараках решетки с окон снять! Бараки на ночь не запирайте! Номера на одежде отменить! Лимит на переписку зачеркнуть!

Ты делаешь осторожную оговорку: «В моем рассказе возможны упущения, неточности. Не суть важно. События, о которых шла речь, так значительны, что они найдут своих летописцев». Важно, Чабуа, очень важно. События, о которых ты повествуешь, уже нашли своих летописцев. Результаты их разысканий отбросить нельзя. Норильск был важным звеном в цепи восстаний, но не единственным. Не

будь этой цепи, ЦК и ЧК проводили бы реформу ГУЛАГа иначе. Если бы проводили.

Солженицын венчает «Архипелаг» главой о восстании в Кенгире, бунтом в Новочеркасске. Чтобы так выстроить трехтомный «опыт художественного исследования», имелись веские исторические основания. И понадобилась разработка философско-политической концепции развития карательной системы. Есть глубокий резон в том, что именно глава о Кенгире стала вершиной «Архипелага», кульминацией.

В «Горе Мборгали» места для мемуарных отрывков, в том числе для «Норильска», отводятся по наитию. Отрывки можно переставлять — без особого ущерба и, боюсь, без особого выигрыша для текста. Части в целом ты связываешь одним и тем же приемом:

«Повспоминаем об этом. С чего начнем?»

«О чем поразмышлять? Вспомним, на чем остановились»

«Что будем делать? Что-нибудь вспомним?»

«А не вспомнить ли нам Желтый оазис? Еще бы, конечно»

«Давай-ка вспомним еще одну историю...»

«О чем завтра будем вспоминать?»

«Нечего портить себе настроение, а через него и организм, поразмышляем о приятном».

Поначалу я искал оправданий. Дескать, ледяное безмолвие. Одиночество. С кем еще разговаривать беглецу? К тому же Гора немолод, у человека в годах появляется потребность высказывать мысли вслух — с умным человеком потолковать приятно. Но... для эксплуатации всякого приема существуют пределы. Назойливость разрушительна.

Никуда не денешься, придется говорить о переводе. Как уверяли знатоки грузинского, «Дата» в русском его варианте терял аромат диалектов, на которых изъяснялись персонажи из Картли, Кахетии, Имеретии — из регионов Грузии, еще сохранивших самобытность уклада и речи. Знатокам верю на слово, но убежден, что в переводе на любой из языков — на шведский, польский, испанский — спасти многоцветие грузинских диалектов было в принципе невозможно. К русскому переводу «Даты» у меня поэтому никаких претензий.

Читая через двадцать лет «Гору», переведенного на русский тобой же, я спотыкаюсь, как пьяница на лестничном марше: «Один зывал к маме, другой к мамочке, третий поминал крепким словцом маменьку вкупе с бабенькой»; «после Оби пошли места, чреватые встречами с людьми»; «Митиленич встал, обнял жену, улыбочиво глядя ей в глаза»; «процветало чужое семя».

На стройке, куда Нос водил свою бригаду, панель сорвалась с подъемника. Бригадир скончался на месте. «Такая личность — и такой тривиальный конец». Позволь уточнить: что такое здесь «тривиальный»?

В тексте задевают и места, которые не отнесешь к небрежностям стиля.

У нас, как ты помнишь, разрешалось отсылать письма дважды в год. Естественно, зеки искали пути незаконные, левые. Ты завершаешь отрывок об этом фразой: «Дойдет — хорошо, нет — туда ему и дорога!» То есть как «туда и дорога»?! Отваживаясь передать весточку зека, вольный человек рисковал, и порой очень крупно!

Через страницу. Ты пишешь, что в Карагандинском лагере «случалось особенно много смешных несуразностей». Так расскажи хоть одну! Где они? Мы-то с тобой оба вспоминаем другое. Когда ваш этап гнали в Норильск, ты загибался в карцере без курева и жратвы и вопреки всему получил хлебушек и махорочку — тебе стало «смешно»? А перед моим этапом твой любимец Удодов (не лейтенант, а капитан) предъявил мне счет: у меня 180 (сто восемьдесят) суток бура и карцеров. Обхохочешься, правда, Чабуа?

Как убедился Гора, Полина Цезарева — «стерва». Случается. Но когда-то их влекло друг к другу? «Стерва Лина» равнодушна к Горе и теперь. Он принимает из ее рук чемодан тряпья. Зачем же прежнюю даму сердца так вываливать в грязи?

Но согласимся, Лина — «редкая стерва» и ничего, кроме грязи, не заслужила. С горы виднее А «мимолетных» Валеков, «их скопилось целых шесть», — за что? Потому что «мусор нужно сгребать в кучу»?

Нет, сердечный, ты можешь двадцать раз подчеркивать рыцарство и благородное происхождение Горы, однако веры моей в него уже не восстановишь. Может,

дворянам и князьям простительно так вспоминать о шлюхах, но я — жалкий смерд, презрение к Валькам мне не по нраву.

«Знамя» верно сделало, без проволочек напечатав роман. Слишком долго ждали его читатели. (И теперь, быть может, скорей дождутся в варианте книжном.) Притом на фоне грузинско-российских, абхазских, чеченских, таджикских, прибалтийских событий нежелание Москвы поспешить с книгой Чабуа Амирэджиби получило бы привкус политический. Ведь «Дата» вошел в классику грузинской прозы. В тот почетный ряд произведений словесности, которая раньше называлась советской, затем отечественной, но как бы ни называлась, а, вбирая в себя вершинные достижения национальных литератур бывшего Союза, вносила немалую лепту и в культуру всемирную!

Позади у нас с тобой жизнь, Чабуа, а впереди обрыв. Мой лимит на старинных дружков исчерпан. Нет в запасе еще одной половины века. Но если все-таки есть у нас еще какой-нибудь срок, пускай день, неделя, — вкалывай. На плечах твоих ответственность перед Грузией. Перед старинным родом. Перед искусством и друзьями. Перед талантом. Ответственность эстетическая, нравственная, национальная... Задача одна: «сесть на рельсу!».

Прости, тамада, что в ксиве я отступил от законов тоста. Кончаем прогулку вокруг барака. Отбой.

Марлен КОРАЛЛОВ.



## ГИБЕЛЬ В ПУТИ, ИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЙ КАМЮ

Альбер Камю. Первый человек. Главы из романа. — «Иностранная литература», 1995, № 5<sup>1</sup>.

И тут кончается искусство...

**Р**укопись, найденная в дорожной сумке Камю, разбившегося в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года, совсем не случайно пролежала столько лет у его наследников. Они, конечно, понимали, что Камю, по многу раз переписывавший свои произведения и ревниво оберегавший от посторонних глаз свою писательскую кухню, не разрешил бы эту публикацию. (Вдова знала, что он был недоволен своей работой и собирался уничтожить рукопись. Впрочем, он и «Чуму» едва не бросил на полпути, сочтя сокрушительным провалом.) Как бы то ни было, прочитав «Первого человека», друзья и близкие Камю решили, что этот несовершенный текст — направленный черновик незаконченного автобиографического романа — не прибавит ему славы, а лишь даст новый повод для нападок и насмешек недоброжелателей, не устававших твердить, особенно после присуждения ему Нобелевской премии, что он исписался. Действительно, в последние годы Камю почти ничего не писал, и «Первый человек», к которому он только-только приступил, преодолев мучительно затянувшийся кризис, достаточно уязвим для критики. Лишь в 1994 году дочь Камю решилась издать этот несостоявшийся роман, который стоит прочитать всем тем — и может быть, только тем? — кто любит Камю. В этой книге, вдруг вынырнувшей из другой эпохи и прибитой к нашему берегу (подобно тем мифическим бутылкам с прощальным посланием, которые бросали в море терпящие бедствие), есть нечто большее, чем литература. Сквозь толщу лет она донесла до нас странно живой, незнакомый и все же узнаваемый голос Альбера Камю, пожалуй впервые представшего перед нами таким, как есть, без личины, скрывающей лицо художника, без защитных условностей искусства.

Однако впечатление безыскусственности (или неискренности?), поддерживаемое неотшлифованностью текста, торопливо набросанного как писалось, подчас без знаков препинания, во многом обманчиво. За ним стоит сознательная художественная установка — «освободиться от всякой заботы об искусстве и форме» (из записной книжки Камю), поиски другого, «непосредственного» языка, противостоящего намеренной безличности и холодноватой отстраненности «Посторон-

<sup>1</sup> Полностью роман выходит в издательстве «Фолио» (Харьков), в том же переводе.

него» или «Чумы» и позволяющего восстановить «прямой контакт» — с жизнью, с читателем. Конечно, рискованно делать выводы на основании черновика, запечатлевшего рабочий процесс, а не результат исканий, но все же и черновик дает представление об этом новом стиле, сочетающем простоту обыденной речи с открытым лирическим звуком, бытовую достоверность, прозу жизни с душевными излияниями и поэтическими взлетами<sup>2</sup>. Именно на такой исповедальной ноте обрывается рукопись: «...и у него оставалась лишь одна слепая надежда, что та неведомая сила в темной глубине его существа, которая на протяжении стольких лет поднимала его над будничным течением дней, питала не скупясь и не изменяла даже в самые страшные минуты, не оставит его, когда придет время, и с той же неиссякаемой щедростью, с которой дарила его жизни смысл, подарит ему примирение со старостью и смертью». Возможно, волнение, с которым читаешь эту мольбу-заклинание, вызвано не столько литературными достоинствами текста, сколько тем, что мы знаем: это последние слова, написанные Камю, и времени у него больше не оставалось. Но как отделить одно от другого, когда все так фатально переплелось? Смерть, поджидавшая Камю на скользком от дождя шоссе, поставила точку в судьбе, которую он не успел дописать в романе, навсегда пометив его трагическим знаком абсурда. Кто бы мог подумать, что послание, дошедшее до нас с опозданием в тридцать пять лет, позволит внести поправку в этот, казалось бы, исчерпанный сюжет?..

В письмах и разговорах с друзьями Камю не раз и по-разному формулировал замысел «Первого человека»: называл то своей «Войной и миром», то романом воспитания, но без воспитателя, то «сагой о черноногих» (так прозвали во Франции североафриканских французов). В записных книжках перечислены темы: мать, Алжир, детство и отрочество, политическая борьба, Сопротивление, «Комба» (подпольная газета, которую возглавлял Камю и после освобождения), зрелость, любовь, женщины, арабская проблема, судьба Запада и т. д. Словом, задумана была книга «о времени и о себе», а зная биографию Камю, можно предположить — о трагедии человека, который пытался не только «претерпевать», но и делать историю, не вступая в компромиссы с совестью, сохраняя верность себе и потерпевшим (к коим принадлежал по факту рождения, кровно, в отличие от большинства «делателей»). Хронологические координаты романа обозначены двумя войнами: первой мировой, которая отняла у Камю отца (погибшего за тридевять земель от дома за неведомую ему Францию), и войной в Алжире, которая угрожала жизни его матери.

Камю успел написать только первую часть и начало второй, контуры этого грандиозного замысла даже не намечены, но все же угадывается изначально заданный масштаб. В первой главе описано рождение Жака Кормери (Камю дал герою фамилию своего прадеда); во второй, минуя десятилетия, автор выводит на сцену уже сорокалетнего Жака, который едет в Алжир навестить мать и по пути посещает кладбище, где похоронен его отец. Затем повествование разворачивается попеременно в двух временных пластах: в «настоящем» (1953 году) и в прошлом, которое возникает в воспоминаниях плывущего к родным берегам Жака и постепенно завоевывает все пространство романа. Свидание с матерью, с «родиной души», куда он всегда возвращался с ликованием человека, совершившего удачный побег из тюрьмы, с первых же мгновений омрачено трагической реальностью колониальной (или, с другой стороны, национально-освободительной) войны. Так История в очередной раз вторгается в семейную жизнь Кормери: взрыв бомбы под окном материнского дома, истошные крики, топот бегущих куда-то людей, застывшее от ужаса лицо матери, гудки «скорой помощи» и ярость толпы, готовой растерзать первого подвернувшегося араба, которого спасает от расправы подоспевший Жак... «Он не виноват», — пытается объяснить Жак; но те, от кого осталась лишь вопящая каша на мостовой, тоже не виноваты. Так наглядно, без обиняков и высоких слов излагаются исходные данные «проблемы выбора», к которой был приперт Камю. Для человека, считавшего своим долгом отстаивать справедливость и свободу (напомним, еще в 30-е годы, начинающим журналистом, он навлек на себя гонения статьями в защиту арабов), на этот раз выбора не оставалось. Фраза, вы-

<sup>2</sup> Эта неустоявшаяся смесь представляет немалые трудности для перевода, которые героически одолела И. Кузнецова.

рвавшаяся у писателя в одном из интервью: «Между справедливостью и матерью я выбираю мать» — и ужасно шокировавшая всех тех, кто ставит принципы выше человеческой жизни (разумеется, чужой), не совсем точно выражала его позицию. В гражданской войне, расколовшей надвое страну, он был на стороне всех безвинно страдающих — французов и арабов, жертв террора или полицейских репрессий, метался между озверевшими имперскими патриотами и алжирскими националистами, взывая к милосердию и здравому смыслу, то есть, выражаясь политическим жаргоном, пытался быть «над схваткой» или «по обе стороны баррикады» одновременно, а этого, как известно, не прощает никто. В 1956-м он приехал в Алжир, пытаясь убедить противников заключить «гражданское перемирие», попросту говоря — не убивать мирное население, и, конечно, ничего не добился. Это была его последняя попытка вмешаться в историю, последнее проигранное сражение. Но алжирская война, державшая его в постоянном изнурительном напряжении («Я болен Алжиром, как болеют туберкулезом»), стала, по-видимому, одной из причин душевного кризиса и творческой немоты, надолго поразившей Камю. Почва, всю жизнь питавшая его душу и искусство, уходила из-под ног, и это отразилось, как в двойном зеркале, в романе: напрямую — открытым текстом авторских признаний и метафорически — в поисках отца, предпринятых героем.

Вскоре после приезда в Алжир Жак отправляется в Мондови, где он родился и откуда был мобилизован отец, надеясь что-либо разузнать о нем. Затея эта поначалу кажется довольно надуманной: мыслимое ли дело отыскать след человека, сорок лет назад «сгинувшего в мировом огне» и забытого даже своей вдовой, давно изжившей то старое горе? Однако за этой поэтической условностью стоит безусловно подлинное переживание — давняя сиротская тоска об отце, естественно данном каждому учителе жизни, защитнике и друге, на чью сильную руку можно опереться, и тоска неукорененности, связанная не только с сиротством героя (и самого Камю) Потомок эмигрантов-переселенцев, сын француза и испанки, выросший на африканской земле, он обречен быть — или чувствовать себя — «посторонним» везде «Первый человек» дает ключ к психологическому феномену «Постороннего» Но странная драма странного молодого человека, описанная молодым Камю, была неожиданно растиражирована Историей в излюбленном ею жанре массового бедствия Сотни тысяч «черноногих» вдруг оказались чужими в стране, которую считали своей родиной, и опять, как некогда их деды и прадеды, сорвались с насиженных мест, потекли в путь новые изгнанники и беженцы, кочевники XX века.. (Так на конкретном историческом уровне реализовалась тема метафизического изгнанничества, с юности преследовавшая Камю.) Жак опоздал со своим паломничеством к истокам — из Мондови эвакуируют колонистов, и старый фермер яростно выкорчевывает виноградники, которые выращивал всю жизнь: «Коль скоро все, что мы здесь совершили, — преступление, то надо его искоренить». А закончив свой разрушительный труд, советует батракам-арабам податься к партизанам: «Они победят» (Они победили, и бомбы новых террористов по-прежнему рвутся на улицах Алжира. )

Камю посвятил «Первого человека» своей матери: «Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу» («Больше всего на свете ему хотелось», чтобы мать узнала все, «что было его жизнью», но она не умела читать). Образ этой странной, молчаливой женщины, отгороженной от окружающих глухотой, стойко и безропотно несшей долгие годы бремя изнурительного труда и беспросветной нужды, не зная надежд, а потому и недовольства, кроткой, благожелательно-рассеянной и невозмутимой, излучает некий тихий, таинственный свет. Но, вглядываясь в ее нежное и ускользающее (несмотря на изящную четкость рисунка) лицо, начинаешь постепенно понимать, что свет этот — отраженный. Его источник не в ней, а в той безнадежной, неутоленной любви, которая живет в душе ее сына, с детства раненного непостижимой отрешенностью матери. Обиды, которые Камю не сумел скрыть в своих ранних произведениях, с годами прошли, а любовь осталась и расцвела в «черством сердце творца», тем более благодарного матери за этот невольный дар, что он-то считая себя неспособным любить. Он воздвиг ей памятник из простых и светлых слов, проникнутых печалью и состраданием, наполнил сокровенным смыслом ее молчание и вложил в дремлющую душу «тайну», которую тщетно пытается разгадать. Мы видим Катрин Кормери с ее убожеством, женской прелестью, детским умом и эмоциональной недостаточностью одновременно такой как она была, и такой, как ее видит сын, — глазами любви, которая есть не

просто факт авторской биографии, а художественная реальность, во многом определившая атмосферу и стиль романа.

В таком же двойном освещении предстает все, что связано с нищим и счастливым детством. Камю вспоминает о нем с нескрываемой ностальгией, однако изображает без прикрас. Подробности быта и впечатления бытия, житейский сор и неистовая радость жить, весомая материя вещей и смутное томление души, физиологические отправления и восторг перед лучезарной красотой неба и моря, который можно выразить лишь ликующими воплями, сосуществуют в книге почти на равных, без привычной иерархии высокого и низкого. А господствуют над всем два божества — нищета и солнце, две реальности, под знаком которых сложилось мировоззрение Камю: «Нищета помешала мне уверовать, будто все благополучно в истории и под солнцем, солнце научило меня, что история это еще не все». Но эти уроки будут усвоены позднее, а в «Первом человеке» даже нищета озарена солнцем и представляется маленькому Жаку таким же неотъемлемым условием его существования, как море, в котором он купается голышом, бездонное небо над головой и другие бесценные сокровища, отданные ему в бессрочное владение щедрой на дары Африкой. Этот солнечный мир «утраченной бедности», о котором тоскует Камю, мир невинных детских игр и простых радостей, где живет в гармоническом согласии с природой, не ведая добра и зла, «первый человек», — конечно, не что иное, как персональный вариант утраченного рая. Парадокс в том, что Камю сохраняет трезвый взгляд на действительность, из которой выстраивает свой Эдем, а разрыв между мифом и реальностью преодолевает силой чувства, не нуждающегося ни в каких рациональных оправданиях.

И все же отношение Камю к дому, к семье, из которой он вышел, требует объяснений. Стороннего наблюдателя поражает не столько нищета, сколько «упрямое невежество» и какая-то первобытная тьма, царящие в этом доме. Неграмотная деспотичная бабушка (которая лишь под напором учителя<sup>3</sup>, добившегося для Жака стипендии, разрешила внуку учиться в лицее: «Это не для таких бедняков, как мы»); неграмотная полуглухая мать, не понимающая даже таких слов, как «отечество» или «библиотека»; глухой дядя, изъясняющийся в основном жестами, гримасами и выразительным мычанием (но, по крайней мере, веселый и добродушный)... Камю пишет об их «смиренном страхе перед жизнью» и «животной» любви к ней, о «душевном износе», порожденном бедностью, о существовании «на уровне физических ощущений» и повседневных нужд, без прошлого и без будущего, без надежд и без Бога. И рядом, на полях: «Выходит, они чудовища. (Нет, это он ч.)». Это противопоставление — и всегда не в пользу авторского alter ego — то и дело возникает в романе и записных книжках Камю. Жак, поднявшийся над убогой бедняцкой долей и добившийся всего, что хотел (но «только в земных делах»), уверен, что «стоит меньше, чем самый обездоленный из людей, и уж просто ничто перед своей матерью»; «они были и есть выше меня». Но почему? Какую «истину» отыскал он в этой тьме? Слова Клоделя, которые Камю сперва намеревался поставить эпиграфом к «Первому человеку»: «Ничто не сравнится с жизнью смиренной, невежественной, упорной», — проливают некоторый свет на авторскую позицию.

Камю с юности метался «между ДА и НЕТ» (так называется один из его самых ранних автобиографических очерков) — между бунтом против «смертного приговора», вынесенного всем нам, и примирением с жизнью, с неизбежной судьбой; между соблазном самоубийства и земными соблазнами; между невозможностью жить без высшего смысла и неспособностью поверить в Бога, нежеланием склонить голову перед Верховной волей, допускающей страдания невинных (не зря Иван Карамазов, которого Камю играл в своей театральной молодости, был его любимой ролью). Неужто смирился гордый человек? Или тут другое: заложник долга Сизиф, которого молодой Камю хотел «представлять себе счастливым» (ибо «одного восхождения к вершине достаточно, чтобы наполнить до краев сердце человека»), устал толкать свою глыбу и потянулся к обыкновенной, простой и непритязательной жизни в низине?..

Роман не дает ответа — ведь все, что произошло с героем после лицея, осталось за пределами текста, и нам придется ограничиться почти риторическими вопросами-предложениями. Но тайна (вина, беда?) Жака, которого автор упорно — и без видимых оснований — называет «чудовищем», дразнит воображение, и мы мо-

<sup>3</sup> Камю посвятил г-ну Луи Жермену свою Нобелевскую речь.

жем попытаться разгадать ее, обратившись к первоисточнику. Камю не вел дневника, но в записных книжках писателя попадаются и сугубо личные заметки, которые позволяют проследить перипетии мучительной внутренней драмы, во многом напоминающей толстовскую. Тот же ужас перед смертью, «отказ исчезать из этого мира», отвращение ко лжи, ко всему показному, нравственный максимализм, жажда невысказанного совершенства и беспощадность к собственным слабостям. Первые правила практической морали (исключительно для персонального употребления) появляются в записных книжках молодого Камю еще в то время, когда он делал самые крайние теоретические выводы из абсурда бытия («все позволено»). С той поры — и до конца жизни — Камю воспитывал, переделывал и ограничивал себя разными запретами и моральными предписаниями: «научиться судить себя... отдаться двойной работе по освобождению от власти денег и собственного тщеславия и малодушия»; «в каждом человеке видеть прежде всего то, что в нем есть хорошего»; «обращаться с самим собой по всей строгости... Аскеза»; «совершать на самом неблагородном поприще только самые благородные поступки»; «освободиться от этого рабства — влечения к женщинам» и т. д. и т. п. Иной раз, устав, он мечтает о передышке: «Как сладостно, как соблазнительно было прекратить переделывать себя и бросить этот труд и эту маску, которую мне так нелегко было вылепить», — и опять принимается за свой нескончаемый труд, чтобы вдруг сорваться, впасть в отчаянье, убедившись в бесплодности многолетних стараний. «Я не хотел быть человеком бездны. Я стремился к нормальной жизни изо всех сил — и ничего не добился. Вместо того, чтобы мало-помалу приближаться к цели, я с каждым днем подхожу все ближе к краю бездны...» И снова, собравшись с духом, заставляет себя встать и идти, твердо зная «лишь одно: я хотел бы стать лучше» (1956).

Люди, имевшие дело с Камю, видели в нем «великолепное совпадение личности, действия и творчества» (как писал его бывший друг Сартр). Но сам Камю считал, что не достоин своей репутации — именно из-за несоответствия между видимостью, точнее, видимой окружающим, воплощенной в слове и деле частью своего «я» и сокровенной, скрытой от посторонних глаз; между вылепленной усилием воли «маской» и неукротимым «черным огнем», горевшим в глубине его существа. («Каждый раз, когда мне говорят, что восхищаются мною как человеком, у меня такое чувство, будто я всю свою жизнь лгал».) В предисловии ко второму изданию «Изнанки и лица» (1954) Камю с несвойственной ему откровенностью вынес на публику свою тайную драму: «Как все, я пытался хоть как-то исправить свою натуру посредством морали. Увы... Обладая энергией — а у меня она есть, — можно иной раз добиться того, чтобы поступать нравственно, но — не быть нравственным. А мечтать о нравственности, будучи человеком страсти, значит обречь себя на несправедливость в то самое время, как проповедуешь справедливость... Но в тот день, когда установится согласие между тем, что я есть, и тем, что я говорю, в тот день, может быть, — я едва смею это написать — я смогу создать произведение, о котором мечтаю. Речь в нем пойдет о...» — и дальше намечены основные темы и лица романа, да-да, того самого, который получил потом название «Первого человека». Значит, сбылось?.. Еще один вопрос без ответа. Мы никогда не узнаем, действительно ли все произошло так, как было задумано, и приблизился ли Камю наконец к заветной цели, но если да, то «Первый человек» мог бы стать его главной книгой.

Среди набросков к роману есть запись: «Книга должна быть незаконченной (выделено автором. — М. З.). Например: И на пароходе, увозившем его обратно во Францию...» Боже мой, просто оторопь берет от этих почти буквальных и двусмысленных совпадений! Слово судьба нарочно подыграло автору, чтобы злобно посмеяться над ним. Ведь открытый финал романа, по определению, открыт в будущее и предполагает некую перспективу, возможность продолжения. В данном случае подразумеваемое обещание относилось в равной мере к герою и к автору. Но... «машина, увозившая его обратно в Париж...». Конец. Все же, прежде чем поставить точку, я хочу еще раз предоставить слово Камю: «Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается нам уже сотворенной. Она творится на земле, в течение всей жизни. Сама жизнь — не что иное, как долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и страданию, завершается, приходит смерть».



## ГАРИ-АЖАР, ЕДИНЫЙ В ДВУХ ЛИЦАХ

Ромен Гари. Избранное. Перевод с французского. Рига. «Полярис». 1994. 655 стр.

Эмиль Ажар. Голубчик. Перевод с французского Н. Мавлевич. — «Иностранная литература», 1995, № 7.

**Д**авно известно: любое произведение искусства, чтобы быть в полной мере понято, требует своего рода рамы — то есть контекста. Какого именно, выясняется в каждом конкретном случае. Иногда бывает достаточно общекультурных знаний; подчас необходимо подробное знакомство с материалом, который использует художник: с источниками цитат, скрытых или откровенно закавыченных, с реалиями и идеями времени и прочая. И это нормально, это естественное условие восприятия культуры, особенно обращающейся на самое себя и в себе находящей истоки дальнейшего развития. Хуже, когда возникает нужда в биографии автора, в подробностях жизненных сюжетов и мотиваций. Хуже потому, что искусство в таком случае оказывается слишком личным делом художника, слишком впрямую связано с его личностью — которой, право слово, куда правильнее было бы оставаться просто «душой в заветной лире», а не внедрять в текст свои человеческие («слишком человеческие», опять же) свойства и замашки. Конечно, с реальностью не поспоришь, а литературная реальность в данный момент — то есть в последние два столетия — идет решительно наперерез нашим (моим именно) представлениям о правильном. Но в то же время и укрепляет оные. Поскольку сюжеты, в которых искусство и жизнь переплетаются слишком тесно, смешиваются, меняются своими законными местами, сюжеты, в которых стирается грань между персонажем и автором и творец оказывается во власти собственного творения, до добра, как правило, не доводят; конечно, коль скоро речь идет о серьезном подходе к творчеству. История Гари-Ажара — достойное тому подтверждение. Достойное, ибо от этого романа между литературой и действительностью родился писатель, которому принадлежат, может быть, самые яркие страницы французской прозы последних десятилетий; подтверждение, ибо точку в нем поставил pistolетный выстрел.

Но начнем с начала. Только вот вопрос: а когда именно все началось? Может быть, в 1974-м, когда парижская пресса восторженно приветствовала роман «Голубчик» — первый из четырех, опубликованных под именем «Эмиль Ажар», — и журналисты бросились на поиски этого псевдонима, этого неуловимого невидимки, загадочность коего подогревала интерес к книгам? А может быть, в 60-х, когда Ромен Гари, уже немолодой, маститый и плодовитый литератор, признанный, неоднократно награжденный — в том числе самой престижной во Франции Гонкуровской премией, — почувствовал, что ему надоело быть Роменом Гари, мэтром, которого уважают, но от которого не ждут уже ничего нового, и стал лелеять мечту о другой литературной биографии, о создании, сотворении, рождении другого писателя — молодого, со свежим голосом, совсем не похожим на его собственный... Или все началось еще раньше — в 1914-м, когда на свет появился мальчик, Роман Касев, наделенный не только незаурядным литературным даром, но и неутолимой жадью жизни, страстью, требующей максимального самопроявления — и этим максимумом не удовлетворяющейся? Русский по происхождению, он стал французом и европейцем; был летчиком — героем войны — и дипломатом, занимающим высокие государственные посты; написал три десятка книг, причем пять по-английски, а ведь другой язык для писателя — это в каком-то смысле другая судьба. И всего ему было мало. «Я читал на обороте обложек своих книг: «...несколько насыщенных человеческих жизней в одной...» Ничего, ноль, былинки на ветру и вкус бесконечности на губах. На каждую из моих официальных, если можно так выразиться, репертуарных жизней приходилось по две, по три, а то и больше тайных, никому не ведомых, но уж такой я закоренелый искатель приключений, что не смог найти полного удовлетворения ни в одной из них». Это слова из последнего произведения Гари — эссе (а вернее, исповеди) «Жизнь и смерть Эмиля Ажара», опубликованного спустя полгода после самоубийства автора, — чтобы понять начало, приходится заглядывать в конец. «Начать все заново, еще раз все пережить, стать другим — это всегда было величайшим искушением моей жизни... В таком психологическом контексте рождение, короткую жизнь и смерть Эмиля Ажара, быть может, объяснить легче, чем мне самому поначалу казалось. Это было



для меня новым рождением... У меня была полная иллюзия, что я сам творю себя заново».

Но современное бытование в литературе требует не только текста и имени — оно требует лица, которое в случае успеха появляется на первых полосах газет и журналов; оно требует конкретной личности, у которой можно взять интервью, спросить о планах и целях творчества — как будто эти цели не обозначены в книгах! А Гари не хотел раскрывать инкогнито: возможности новой жизни и новой манеры были далеко не исчерпаны и не осуществилась еще мечта о «тотальном романе, охватывающем и персонаж, и автора». Притом, мистификатор и насмешник, он «славно повеселился», следя за долгими дискуссиями на тему, кто такой Ажар — Луи Арагон? арабский террорист? плод коллективного труда? — дискуссиями, в которых его собственное имя поначалу почти не фигурировало. «Ромен Гари никогда бы не смог такое написать... Гари — писатель на излете...» Между тем вторая вещь, «Жизнь впереди», имела успех столь оглушительный, что автор ее уже не мог оставаться безликим; вдобавок ее выдвинули на Гонкуровскую премию, которую, по уставу, не присуждают псевдониму. И тогда Гари, все еще «посмеиваясь в кулак», подставил журналистам своего племянника, Поля Павловича, тоже что-то такое пописывающего. Уговор был определенным: продемонстрировав себя «во плоти» и дав прессе вымышленную биографию, псевдо-Ажар должен был снова немедля исчезнуть, «растаять в тумане тайны». Его создателю казалось, что «это укрепит миф». И больше того: «Я тогда счел, что мне остался всего один шаг до «тотального романа», обрисованного на четырех с половиной сотнях страниц эссе «В защиту Сганареля», и надо лишь пойти чуть-чуть дальше, сделать выдумку еще правдоподобней и дать жизнь этому персонажу, одновременно автору и персонажу, которого я там описал».

Имеет смысл уточнить, что эссе было опубликовано в 1965 году. То есть мечта об авторе-персонаже родилась задолго до «рождения» Ажара и настолько манила Гари, что он посвятил ей не одну сотню страниц — труд немалый даже для плодовитого писателя. Значит, речь идет не просто о литературной игре, о шутке, об остроумной мистификации, но именно о смешении искусства и жизни. О внедрении вымысла — в реальность. И о подчинении реальности — творческой фантазии. Увлеченный своей великолепной «фантастической эпопеей», Гари предложил племяннику принять в ней скромное участие — не опасаясь, видимо, что тот захочет большего. Павлович захотел. Он предъявил журналистам свою настоящую биографию, принялся давать интервью, мелькать в светско-литературном бомонде; он потребовал «ажаровские» черновики — чтоб «не зависеть» от дяди. И что было для Гари хуже всего, он «слился с персонажем. Его «ажаровская» внешность, лукавство, темперамент... всех убедили... Материализовавшись, Ажар вытеснил меня из мифа». И это был конец так блистательно начатой новой жизни...

Ни в какой мере не оправдывая Поля Павловича, скажу все же: его можно понять. Человеку вообще трудно устоять перед искушением славой; тем более если он — литератор, тем более — неудачливый. Эту элементарную человеческую слабость Ромен Гари не принял во внимание — а должен был бы: во-первых, как художник, привыкший разбираться в помыслах и поступках, во-вторых, как человек, сам не вовсе чуждый тщеславия. Но в том и дело, что он — как писатель исключительно одаренный и «прожженный профессионал» в придачу — был, видимо, уверен в своей власти над материалом. Что до слова — оно слушалось беспрекословно. Когда же речь зашла о жизни, о живом человеке — произошла катастрофа...

Конечно, самоубийство Гари не объясняется стремлением восстановить свои авторские права единственным достойным способом. Да, достоинством он дорожил — и никак не мог при жизни выступить со скандальным разоблачением того, кого сам же втянул в игру. Его предсмертная исповедь вообще предназначалась не современникам, а потомкам (и лишь волею обстоятельств была опубликована так скоро). Но коли речь шла как минимум о десятилетиях, зачем было торопиться и сводить счеты с жизнью, не дожидаясь ее естественного завершения? Думается, виной тому «тотальный роман», получившийся-таки — но получившийся не таким, каким задумал его автор, — и потребовавший «тотального» финала. Писатель-персонаж, замечательное создание творческой фантазии, хоть и зажил самостоятельной жизнью, а все ж оказался неотторжим от жизни своего создателя. И, решив покончить с Эмилем Ажаром, Ромен Гари покончил с собой.

С Полем Павловичем, в сущности, тоже. Не сумев написать ни фразы на «своем» прежнем уровне, он вынужден был раскрыть тайну — что и вызвало преждевременную публикацию хранившейся в издательском сейфе рукописи Гари. Все точки над «і» были проставлены, все мотивы раскрыты, роль псевдо-Ажара прояснена — и мне его жаль, как ни странно. Вытащенный из неизвестности и снова в нее выброшенный, он на самом деле заслужил хотя бы печальное право — стать героем романа. Романа о том, как опасно переносить романы в действительность. Впрочем, про это писали уже — см. Флобер, «Мадам Бовари».

А Гари... Гари жалеть не стоит. Он умер пятнадцать лет назад, но книгам его смерть пока не грозит. А значит, жив и он — как подобает писателю: «душа в заветной лире». И хватит о рамках, о контекстуальных сюжетах и околотитературных романах. Поговорим наконец о литературе.

Когда читаешь все это сейчас, кажется просто невероятным, что критики могли быть так слепы, чтобы по первой же вещи Ажара не установить авторство Гари. Не зря в своей исповеди он обращает в их адрес столько горьких и язвительных слов. Ведь если б «эти дамы и господа» действительно занимались своим «прямым делом» — анализом текстов, они сразу же обнаружили бы то, что сегодня бросается в глаза: что роман «Голубчик» и в главной идее, и в побочных темах, и в проходных мотивах буквально повторяет «Корни неба», вещь, получившую в 1956 году Гонкуровскую премию и хотя бы поэтому известную литературоведам. Впрочем, легко судить, легко сравнивать и находить черты сходства — когда знаешь. А если не знать, то близость мысли может оказаться заслонена совершенной несхожестью манеры, стилистики — а французы ведь издавна считают, что «человек — это стиль». В таком случае, «Корни неба» и «Голубчик» впрямь написаны разными людьми. Первый из них серьезен, склонен к патетическим интонациям и декларативности, он говорит громко и открыто, не стесняясь высоких слов: «Я верую в личную свободу, в терпимость и в права человека. Быть может... речь идет об анахронизме... о громоздком пережитке ушедшей геологической эпохи — о гуманизме... Возможно, что я обманываюсь и моя вера — лишь простая уловка инстинкта самосохранения. Тогда я надеюсь погибнуть вместе с ними. Но не раньше, чем попытаюсь их защитить всеми силами... Никакая ложь, никакая теория... никакая идеологическая маскировка не заставят меня забыть их простодушного величия». И весь его роман, как по идеям, так и по стилю, есть утверждение этих «простодушных» и прекрасных гуманистических ценностей, торжественный гимн благородству, достоинству, братству, свободе — «бесконечно разнообразным корням, которые небо пустило на земле, а также в глубине человеческих душ»... Второй — автор «Голубчика» — считает высокие слова «шелухой», хотя также предан высоким смыслам. Свою любовь и страстную жалость к миру он маскирует мрачноватым и неукротимым юмором, насмешливым острым гротеском, который кружным путем описывает реальность. «Прикрытием» служит и язык — щегольская, отточенная и точная словесная эквилибристика, виртуозная игра (в русском тексте великолепно переданная Н. Мавлевич). Броски и изгибы его фразы, прихотливые, непредсказуемые и безупречно изящные, имеют намеренное сходство со стремительными и гибкими змеиными извивами — своеобразная дань заглавному персонажу, питону по имени Голубчик... Герои первого (Гари) — это именно герои, крупномасштабные личности, несгибаемые борцы за человечность. «Герой» второго (Ажара) — несчастный, никому не нужный человек, живущий беспросветно серой и скучной обывательской жизнью... Первый — реалист по способу письма и романтик по отношению к миру; второй далек от реализма так же, как от романтического пафоса. И все-таки...

«Обе эти книги — один и тот же вопль одиночества», — говорил сам Гари. Положим, одиночество — тема, вообще очень распространенная в литературе XX века. Но здесь она развернута в совершенно непривычном направлении, исходя притом из привычного, по жизни знакомого сюжета: одинокий человек, нуждаясь в общении, заводит какую-нибудь отзывчивую зверюшку. Только место всегдашних четвероногих друзей занимают экзотические, не подходящие для такой роли существа: Морель («Корни неба») отдает свою душу слонам, Кузен обвивает себя удавом. Однако ж причудливость этого сердечного выбора — не причуда одиноких чудаков: одиночество героев столь непомерно и душевная жажда столь велика, что обычными домашними средствами не заполнить и не утолить. «Собак нам уже недостаточно. Требуется что-то более крупное, более могучее...» Что же, слоны — впрямь достаточно крупный, поместительный объект привязанности, да и

удава длиною в два с половиной метра мало не покажется; но суть, конечно, не в том. «Физическая» величина избранников души — лишь зримый образ, знак, указующий на огромность запасов никем не востребованной любви, стремящейся излиться на весь мир. Но начиная притом — с обездоленных: и мужественный Морель, и робкий Кузен предлагают дружеское участие в первую очередь тем, кто, как кажется, более прочих нуждается в этом. Слонам грозит истребление. Питонов просто «никто не любит» (потому, что они «инородны и неудобоваримы», потому, что, «не имея никаких оправданий в виде интеллекта, рук или ног, а также исторических традиций и научного багажа, все равно живут в неволе», потому, наконец, что «они прирожденные пресмыкающиеся и ползают гораздо лучше нас»); и никто — кроме, может, зоологов — не пожалеет, если они исчезнут.

Так тихая, камерная тема одиночества неожиданно, но вполне логично для Гари смыкается с глобальной темой охраны природы. В «Корнях неба» герой жаждет отдать слонам свой «долг»: в фашистском лагере мысль об этих прекрасных великанах, «вольно несущихся по громадным просторам Африки», помогла ему спастись — и теперь он стремится спасти их, остановить массовое уничтожение. Словесные обращения, воззвания и петиции оказываются бездейственны — и, поддерживаемый горсткой других, имеющих столь же обширный опыт страданий и одиночества, Морель от слов переходит к делу: к бою. Он никого не убивает («Разве человека чему-нибудь научишь, если убьешь?»), но сжигает склады и мастерские по обработке слоновой кости, ранит охотников и отбирает у них оружие. В общем, становится чем-то вроде «благородного разбойника», готового, если закон об охране слонов будет принят, немедля сдать власть... «Голубчик» в первом варианте заканчивался тем, что Кузен, превратившись в питона, взывал к людям с трибуны экологического митинга. Издатели, не склонные церемониться с «молодым автором», выбросили финальную главу, и сам Гари признал впоследствии, что ее «программность» действительно «выбивалась из общего тона книги». Тем более что и без откровенно «экологической» концовки идея защиты жизни звучит здесь столь же отчетливо, как и в «Корнях неба».

Однако и она — не самая главная; а впрочем, что главное, что побочное — в точности не определишь: так тесно все сплетено. Слоны для Мореля — не просто земные твари, беззащитные, несмотря на всю их огромность и силу. Они — символ: свободы, простора и величественной красоты. Потому-то мысль о них — о том, что в мире еще осталось место для свободы, — помогла заключенному концлагеря спасти не только жизнь, но достоинство, без которого он не мыслит жизни. И коль скоро оно спасено, его надо хранить — охраняя слонов и таким образом оберегая вечные ценности, те самые «корни неба», отрываясь от которых человек перестает быть человеком. Но если они прорастут свободно по всей земле, то не будет больше одиночества и всех свяжут братство и любовь... Несмотря на свое близкое знакомство с человеческими мерзостями, герои Гари настойчиво сохраняют убежденность в том, что это возможно и реально. Нужно лишь «поверить в себя» — и тогда «скрытая весна, таящаяся в глубинных корнях, выплеснется наружу с... неукротимой силой». За то и сражаются.

Так же решительно верит в человечество и не способный ни на какие решительные действия Кузен. Сам изнемогающий от «застоя любви», он не сомневается, что это чувство разделяют все живущие на земле. «Люди страдают от перенасыщения добром, которое не могут излить на головы ближних — не позволяет общественный климат, засуха в социуме». От ужасающей «нерастраченности» задыхаются не только двуногие. Вчувствываясь в своего Голубчика, задыхаясь от удушающей нежности крепких удавчих объятий, согревая эту хладнокровную по природе тварь своим теплом, Кузен приходит к неопровержимому и точному выводу: его любимец грезит о любви. И мечтает о «разрешении этнического конфликта между удавами и белыми мышами». Каковое — «в руках великой реки Амур», к несчастью протекающей где-то «на краю географии»; иначе бы давно уже удалось покончить со всеобщим взаимопожиранием и вообще преодолеть природу.

И здесь надо заметить, что, в отличие от гуманистов прошлого, Гари-Ажар все не склонен питать иллюзии насчет природы — человеческой в частности. Напротив, он оценивает ее вполне трезво, то есть пессимистически, — но не теряет притом оптимизма. Ибо главная (на сей раз, кажется, действительно главная) мысль обоих романов заключается именно в том, что эволюция не закончена еще и что все впереди. В «Корнях неба» мысль эта появляется в преддверии финала и по мере приближения к нему звучит все громче и торжественней. «В конце кон-

цов, мы несколько миллионов лет назад выбрались из тины... и когда-нибудь восторжествуем над жестоким законом, который был нам предписан, потому что этот закон давно уже пора изменить»... Автор «Голубчика» обходится, естественно, без высокой риторики, доверяя своему скромному герою-повествователю высказать ту же идею под видом простенького парадокса: законы природы — «каждый знает по себе» — суть «не что иное, как сплошное извращение». Люди, в представлении Кузена, по большей части всего лишь «недородки», «прелюдии» к человеку, томящиеся от «неоскудевающего чувства собственного недобытка». Как томится и сам герой, всем сердцем жаждущий родиться целиком и полностью. Что для этого нужно делать — кроме как любить, — он не знает. Но надеется. И эта надежда в равной мере вдохновляет писательский труд Эмиля Ажара и Ромена Гари.

...А жаль, пожалуй, что издательство «Полярис» решило объединить «Корни неба» не с первой, а со второй «ажаровской» вещью. Хотя причина такого выбора понятна: два «гонкуровских» романа, встретившись под общей обложкой, создают внутри книги свой собственный, как бы дополнительный, сюжет — ведь Гонкуровская премия, по правилам, не присуждается одному автору дважды, а Гари, став Ажаром, эти правила обошел. Вдобавок «Жизнь впереди» — действительно лучшее произведение писателя (или даже обоих), полное такого горького, такого неистребимого юмора, такой щемящей и пронзительной силы, такой судорожной, такой отчаянной нежности, что прошибает насквозь... Да и идеи — вернее, идеалы — в сущности, те же, и та же любовь. Но все-таки «Голубчик» ближе, родственнее «Корням неба»: слонов с питонами сближает общая родина. И даже стилевые различия между двумя романами можно определить через различия между двумя природными тварями. Слон огромен, величествен, исполнен тяжеловесной мощи — как «Корни неба»; его медленная поступь и трубно-торжественный голос рождает невольное почтительное восхищение. А удав — эдакая ухмылка природы; существо, при непосредственном контакте, говорят, вызывающее ужас, но все же несколько комическое и в безопасной клетке текста кажущееся лишь гротеском, причудливым клубком узлов и петель. Впрочем, иногда он напоминает «симпатичный слоновий хобот» — как полагает его хозяин Кузен (его создатель Ажар). И конечно, этот отдельный, свободно болтающийся слоновий хобот выиграл бы от близкого соседства со слонами; и читатель получил бы возможность отчетливее увидеть, как из «корней неба» прорастает Голубчик.

Тем более что принципиальная, так сказать, основа ажаровского творчества описана все там же, в первом «гонкуровском» романе: «юмор — бесшумный, вежливый динамит, который позволяет взрывать ваше положение всякий раз, когда оно вам уже невтерпех». Собственно, наше положение (то есть удел человеческий) всегда представлялось Гари нестерпимым. Именно депрессия от жизни, длившаяся, по собственным его словам, всю жизнь, и помогала «достойно заниматься литературным ремеслом». Вначале это было почти наивное в своем пафосе, возвышенно-романтическое обращение к человечеству, откровенное, как призыв трубы, поднимающей на бой. «Я так хотел... вернуть Землю тем, кто питает ее мужеством и любовью»... И желание это с годами не ослабевало — но, быть может, слабели легкие, и чистый, сильный, открытый звук не давался уже. Или, может, набравшийся опыта боец понял, что сама патетическая медь утратила действительную силу, что «законы природы — это такая мразь», которую в честной борьбе не одолеешь, и решил стать «террористом», сменив прежнее оружие на «динамит» юмора? Ажаровская поэтика — действительно «взрывная»: распотешив остроумиями и словесными шашнями, заморочив парадоксами, закрутив причудами стиля и ошеломив причудами изображаемой «жизни», он вдруг обрушивает на наши головы такую лавину любви, что не ожидавший удара читатель попадает в плен, не успевши даже понять, как это произошло. А неуловимый террорист, спрятавшись под маской старого серьезного писателя, «посмеивается в кулак».

Впрочем, законы природы оказались все же непобедимы, и полностью прожить начатую заново жизнь Ромену Гари не удалось (см. выше). Пусть так. Но непобедимой оказалась и безупречная вера, завещанная ему всей гуманистической культурой и — непосредственно — нежно любимой матерью, которая в 1940-м, после капитуляции Франции, прощаясь со своим не сложившим оружие сыном, кричала патетически и отчаянно: «Мы победим!» «Этот последний, несуразный крик наивнейшего человеческого мужества вошел в мое сердце и остался в нем навсегда, став моей *сутью*. Я знаю, что он переживет меня»... Пережил.



## ЧЕЛОВЕК НЕПРАВДОПОДОБНОЙ ДОБРОТЫ

Вопросы теоретической физики. Составитель В. Я. Френкель. Отв. редактор Ж. И. Алферов. СПб. Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН. 1994. 262 стр.

**Н**есмотря на внешне отпугивающее специальное название, книга эта вполне доступна непосвященному. Причина проста: основными действующими лицами ее являются вовсе не «вопросы теоретической физики» сами по себе; главный ее герой — человек, эти вопросы ставящий и по мере своих сил и возможностей разрешающий. Это — выдающийся физик-теоретик и педагог, член-корреспондент АН СССР Яков Ильич Френкель (1894 — 1952), столетию со дня рождения которого и посвящен сборник очерков и статей, подготовленный петербургским Физтехом, где Я. И. Френкель работал с 1921 года до конца жизни.

Увы, жизнь его была сравнительно недолгой — Яков Ильич ушел из нее на пятьдесят восьмом году. Но, как говорится в подобных случаях, одной такой жизни вполне могло бы хватить на несколько, столь оказалась она удивительно продуктивной и творчески насыщенной, изначально заряженной энергией мощной взрывчатой силы. В этом видится нечто, самой судьбой предопределенное: рождение и раннее детство Я. И. Френкеля совпали со временем, когда эволюционное развитие физики сменилось революционными событиями, положившими основания новой эре в ее истории: открытием рентгеновских лучей (1895), естественной радиоактивности (1896), началом создания квантовой теории (1900).

Книга примыкает к ранее изданному сборнику «Я. И. Френкель. Воспоминания. Письма. Документы» (Л. 1986), дополняя его новыми ценными материалами, в том числе архивными. Родные, друзья, ученики и коллеги, историки науки, в ней рассказывают о Я. И. Френкеле как человеке, семьянине, друге, его педагогической и научно-популяризаторской деятельности, вкладе его, в ряде случаев непреходящего значения, в ядерную физику, теорию поля, классическую и квантовую механику, электродинамику и теорию относительности, статистическую физику и кинетику, теорию твердых и жидких тел, геофизику, астрофизику, теорию электронного парамагнитного резонанса, физическую химию, биофизику...

Подобно Н. Бору, М. Планку, А. Эйнштейну, Я. И. Френкель был физиком-универсалом и мыслителем, своим творчеством совершавшим, казалось бы, невозможное, возвращавшим науку к ее древнейшим истокам, к временам натурфилософии Демокрита и Аристотеля, познанию природы в ее органичном единстве и целостности. Не случайно столько внимания он уделял общим проблемам физического знания (метод аналогий, взаимоотношение живого и неживого, принцип причинности и др.). Благодаря и его усилиям в 20 — 30-е годы отечественная физика вошла на равных в мировую науку, получила широкое признание за рубежом. В этом отношении творчество Я. И. Френкеля сыграло такую же роль, как и труды П. Л. Капицы, Л. Д. Ландау, В. А. Фока и других. В зарубежных изданиях по настоящее время продолжают ссылаться на его книги и статьи 20 — 40-х годов, а в нашей стране переиздаются его труды, обнаруживаются работы, ранее не публиковавшиеся. В серии «Классики науки» вышла в свет монография Я. И. Френкеля «Кинетическая теория жидкостей», написанная в суровые военные годы и получившая Сталинскую премию I степени, а сборник его очерков и статей «На заре новой физики» издан в серии «Научно-популярные работы классиков естествознания». С 1917 по 1950 год он систематически работал над учебными трудами и стал автором первого в мировой научно-педагогической литературе полного курса теоретической физики. Литература, посвященная жизни и трудам Я. И. Френкеля, насчитывает ныне более 250 названий.

Наиболее плодотворный период творческой деятельности Я. И. Френкеля пришелся на самое трудное для отечественной науки время. Это было время сменявшихся друг друга идеологических кампаний и проработок, приводивших к одинаково печальным результатам, вплоть до прямых репрессий и физической гибели ученых, независимо от того, велась ли борьба «за» что-то или «против» чего-то: за внедрение в науку диамата, большевистской партийности, бдительности и принципиальности или против идеализма, механицизма, космополитизма и т. п. Спокойно, с достоинством истинного российского интеллигента Я. И. Френкель отстаивал

свои убеждения, а с ними и интересы науки. В 1931 году, выступая на VIII Всесоюзной конференции физико-химиков, он говорил: «Нахожу, что теория диалектического материализма не является тем венцом человеческой мысли, который может удовлетворить мыслящее человечество. Независимо от того, насколько она необходима для обоснования социализма, диалектический метод не имеет права претендовать на руководящую роль в науке... Я совсем не младенец в философии. То, что я читал у Ленина и Энгельса, не может заменить моих гносеологических взглядов. Это мое мнение, и я от него не откажусь». Благодаря принципиальной позиции, занятой В. А. Фоком, М. А. Марковым, И. Е. Таммом, Я. И. Френкелем и другими ведущими физиками, в 1949 году, несмотря на все усилия партийно-академической бюрократии, была сорвана инспирированная свыше попытка фактического разгрома отечественной физики (под предлогом борьбы с «физическим идеализмом» и «космополитизмом»), подобного тому, какой произошел годом раньше в биологии.

Отношение Я. И. Френкеля к официальной философской доктрине окрашивалось нередко в юмористические тона. Это помогало в какой-то мере психологически смягчить давление идеологического пресса. Однажды, прочитав одну из бесчисленных брошюр, посвященных толкованию «Материализма и эмпириокритицизма» В. И. Ленина, Френкель так суммировал свое впечатление: «Это какой-то «Материализм и эмпириокретинизм!»» Переставив всего две буквы в слове «марксизм» («мраксизм»), он в своей интерпретации прочитывал название журнала «Под знаменем марксизма», в 20 — 30-е годы наряду с «Большевиком» выполнявшего роль главной идеологической дубинки.

«Отец обладал прекрасным чувством юмора, прежде всего активного, т е был человеком остроумным и молниеносно реагирующим на стимулирующие реплики собеседников», — свидетельствуют сыновья Френкеля профессора В. Я. и С. Я. Френкели. Некоторые примеры стоят того, чтобы их воспроизвести.

В 1918 — 1920 годах Я. И. Френкель преподавал курс физики в Таврическом университете в должности приват-доцента. Обстоятельства сложились так (о них Френкель рассказывает в публикуемых в книге автобиографиях), что в 1919 году ему пришлось провести полтора месяца в деникинской тюрьме, откуда он писал матери: «От тоски меня избавляет оптимизм и философское настроение. Если не предаваться мыслям о том, что было бы, если бы и т. д., чего я стараюсь не делать, то можно жить припеваючи, как в санатории. Вся разница в том, что в санатории бывают комнаты, которые закрываются изнутри, а в тюрьме — камеры, закрывающиеся снаружи».

В 1920 году в письме к родителям Френкель пишет о том, что большинство студентов, пришедших к нему на экзамен, ему пришлось отпустить ни с чем «Одному из них, который ссылался в оправдание на произведенный у него обыск, могущий на днях повториться, я пожелал, чтобы власти нашли у него по интересующим их вопросам столько же, сколько по интересующему меня вопросу нашел у него я».

В конце 30-х годов на заседании кафедры теоретической физики Ленинградского политехнического института, которой заведовал Френкель, между ассистентами возникли дебаты по вопросу о том, этично или неэтично, когда преподаватель приглашает свою студентку в кино. Попросили высказаться по этому поводу и заведующего. Он сказал: «Если студентка — хорошенькая, то этично».

Из высказываний Я. И. Френкеля о физиках. О Нильсе Боре: «Это Кеплер ныне развивающейся квантовой механики» (1927). О Д. А. Рожанском: «Дмитрий Аполлинариевич всегда стремился оставаться в тени, и тем не менее, где бы он ни находился, он всегда становился источником света» (1936). Об одном незадачливом физике: «Он так глуп, что даже не понимает, какую хорошую сделал работу» (1948).

Из других высказываний: «Особенностью нашего государства является его удивительная неблагодарность», «Мы все засекаем, чтобы «они» не знали, что неизвестно нам», «Настоящий подлец это не тот, кто совершает подлый поступок а тот, кто испытывает при этом удовольствие»

Припоминаю еще один, не вошедший в книгу, эпизод, о котором несколько лет тому назад мне рассказал профессор В. Я. Френкель. В 1920 году, находясь в Крыму, Яков Ильич стал свидетелем развязанного там большевистской властью кровавого террора. Одним из вдохновителей его была Р. С. Землячка (Залкинд). В январе 1947 года «пламенная революционерка» скончалась. Сын принес отцу газе-

ту с посвященным ей некрологом. Мельком взглянув на текст, Я. И. Френкель сказал: «Было бы лучше, если бы эта дама скончалась в раннем детстве!»

Высказывание по поводу некоего X, пожалуй, наиболее точно высвечивает изнутри «натуру» Френкеля: «Он такой противный, что никто не хочет ему помочь. Не пропадать же ему! Вот я и вожусь с ним!» Глубинной не столько чертой, сколько самой сущностью личности Якова Ильича была доброта. С редким единомышленником это отмечалось всеми, близко его знавшими. Академик И. Е. Тамм: «Он... был на редкость добрым человеком, в подлинном, самом лучшем смысле этого слова». Академик Н. Н. Семенов: «Яков Ильич был человеком неправдоподобной доброты».

Доброта Я. И. Френкеля выражалась не просто в сочувственно-благожелательном отношении к окружавшему неисчерпаемому миру культуры и науки, миру, в который сам он был погружен как его малая частица, хотя такое отношение, конечно, являлось у него, как и у многих, исходным и определяющим. Яков Ильич стремился идти дальше, стремился придать доброте своей активной, созидательный характер даже и в том, что выходило за пределы его собственно научных интересов. А за их пределы выходило многое, слишком многое... В 1931 году он писал жене: «По своей натуре я не склонен сосредоточиться на одном каком-нибудь деле. Попытки сужения сферы моей деятельности всегда создавали во мне чувство острой неудовлетворенности... Я люблю науку, мне знакома радость творчества. Но я люблю и многое другое. Зачем же мне выбрасывать его из жизни? Тем паче, что чрезмерное самоограничение научной работой, опустошая мою душу, радость творчества превращает в муку».

Как нетрудно догадаться, следуя многим классическим примерам, главной сферой вненаучных интересов и любви Я. И. Френкеля было искусство — та область, в которой, вслед за наукой, деятельное его жизнелюбие проявлялось особенно ярко и полно. Он не только любил, знал и ценил искусство, но и сам писал лирические и юмористические стихи, проникновенно играл на скрипке, не расставаясь с ней ни в длительных командировках, ни в дни отдыха; из-под его кисти и карандаша нередко выходили произведения по-настоящему талантливые. К шахматной игре он также подходил как художник, ценя в ней прежде всего красоту замысла, изящество комбинации. Длительные размышления во время игры свидетельствовали о серьезности его отношения к ней. «Сильным шахматистом был и Яков Ильич Френкель. Но он очень подолгу размышлял над каждым ходом. С ним можно было целый день играть одну партию. Помнится, одно воскресенье он мне таким образом испортил» (Гродзенский С. Я. Шахматы в жизни ученых. М. 1983, стр. 103). Скорее всего, новые веяния в шахматах, с их быстрой и сверхбыстрой игрой, не встретили бы у него сочувствия, как не были они приняты покойным М. М. Ботвинником, давним другом семьи Френкелей.

Интересны и поучительны суждения Я. И. Френкеля о литературе, о взаимоотношениях искусства и науки и т. п. Вот некоторые из них, относящиеся к 1933 году: «До сих пор литература занималась главным образом изучением взаимоотношений между людьми; природа служила только фоном, скучными страницами, которые пропускал нетерпеливый читатель. Сейчас, когда мы подходим к показу взаимоотношений людей и природы, взаимоотношения людей могут оказаться только фоном... Писатель — жертва старого отношения к естественным наукам. Считалось, что человек, окончивший юридический или филологический факультет, всесторонне образован, в то время как естественный или физико-математический факультет дает только узкую специализацию... Когда мы говорим о научной тематике в литературе, нужно говорить о расширении познаний самих писателей».

Широта Я. И. Френкеля в его научном творчестве проявлялась и в склонности к метафорам, неожиданным ассоциациям и сопоставлениям, к словотворчеству, изобретению новых, непривычных для консервативного ученого уха терминов и словосочетаний. Все это подавалось на пиршественный стол физики нередко также сдобренным своеобразной юмористической приправой.

Так, в процессах диффузии в твердых телах пустой узел в кристаллической решетке, оставленный перешедшим в междоузлие атомом, Френкель предложил назвать словом «дырка». Концепция «дырки» оказалась чрезвычайно плодотворной и получила права гражданства, а сам термин включен ныне не только в специальные физические справочники и энциклопедии, но и в некоторые обычные словари. Энергию, потребную для создания пары из «дырки» и соседствующего с ней атома,

Френкель остроумно назвал «теплотой парообразования», используя этот же шуточный термин в своих лекциях в Политехническом институте для обозначения энергии, потребной для возникновения электрон-позитронной пары. С его легкой руки в описании появления электронного газа используется (включая английскую физическую литературу) образное выражение «коллективизация электронов». В одной из своих послевоенных публикаций Френкель, обозначая особый тип проводимости под воздействием внешнего давления, применил словосочетание «принудительная коллективизация электронов». В начале 50-х годов на заседании ученого совета ленинградского Политеха это послужило основанием для обвинения Френкеля в издевательстве над колхозным строем.

К подобным и иным, менее «сильным», щипкам Я. И. Френкель относился с добродушным спокойствием. Физик-теоретик, отмечал он, подобен художнику-карикатуристу, которому важно выявить и подчеркнуть отнюдь не все, но некоторые наиболее характерные черты, подразумевая, видимо, при этом, что материалом для словесно-образных средств ученому служит окружающая реальность, он сам и собственный его опыт общения с этой реальностью, но все, вместе взятое, далеко не всегда радует глаз и ласкает ухо. Гораздо важнее не утонуть в деталях, не запутать других и не запутаться самому в паутине математических выкладок. А потому давайте искать наиболее простые пути и не растрачивать попусту нашу умственную энергию. Парадоксально, но факт: «Не только усилие двигает науку вперед, но и лень». В подтверждение ссылался на собственный опыт: «Хорошие мысли приходят в голову не обязательно за письменным столом. Моя теоретическая специальность дает мне возможность предаваться лени под благовидным предлогом глубокомысленных размышлений».

Вероятно, читатель согласится с тем, что неправдоподобность доброты Френкеля состояла в ее удивительной универсальности. Он был добр во всем, в отношении ко всему, к себе самому в том числе. И в заключение сказанного выше невольно хочется воскликнуть:

— Побольше бы нам сегодня таких «ленивых» добряков!

И. МОЧАЛОВ.





---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## СЕМЬ ЛЕТ РЯДОМ СО ЛЬВОМ ГУМИЛЕВЫМ

**Н**есомненно, одним из самых моих светлых жизненных воспоминаний была встреча в 1949 году с замечательным русским ученым и яркой человеческой индивидуальностью Львом Николаевичем Гумилевым. Встреча эта произошла в обычных для той эпохи местах встреч миллионов людей, а именно: за колючей проволокой гулаговской империи в поселке Чурбай-Нура близ Караганды. Судьба милостиво предоставила мне возможность в течение последующих семи лет, вплоть до нашего освобождения в 1956 году, жить в одном лагерном бараке бок о бок, а порой и на одних нарах. Поэтому не могу отказать себе в удовольствии и, более того, считаю своим долгом рассказать о том, что сохранила моя память о жизни этого выдающегося человека.

Во всякого рода жизнеописаниях полагается начинать с первой встречи и с первых впечатлений. Но, увы, таковых не было. Ибо разве может сохранить память бесчисленные этапы из лагеря в лагерь в толпе мельтешащих перед глазами одинаковых серых фигур, ни с одной из которых не успеваешь перекинуться даже двумя-тремя словами? Лишь после того, как Судьба, материализованная в виде чекистского начальника с блеклым лицом и водянисто-бесцветными глазами, предназначает заключенному место среди десятков других таких же, как и он, наступают время человеческого знакомства и определения, в какую же компанию ты попал и с кем тебе впредь придется коротать время.

Как-то один из моих соседей по нарам, придав своему лицу выражение значительности, прошептал мне в ухо сдавленным шепотом:

— А вон глянь на мужика на том конце стола! Это сын Гумилева и Анны Ахматовой!..

Я глянул в указанном направлении, но там сидело несколько «мужиков», и кто же из них сын Гумилева и Ахматовой, определить было трудно. Впрочем, мне это ни о чем не говорило: обе фамилии я слышал впервые в жизни.

Мое невежество объяснялось очень просто. Я учился в обычной советской средней школе, и эти фамилии никогда там не упоминались — ни на уроках литературы, ни в учебниках по литературе. На них был наложен запрет. Теперь в это трудно поверить, но в те времена вся жизнь советских людей была густо нашпигована такого рода табу. На людей, на жизненные обстоятельства, на исторические факты. Для «забывчивых» советская власть предусмотрела статью уголовного кодекса 58, пункт 10 со сроком наказания — десять лет лагерей. Миллионы таких «забывчивых» или наивных людей заплатили за свою непонятливость собственной жизнью, ибо времена были суровые и домой после десяти лет заключения редко кто возвращался. Зато для других, понятливых, это служило хорошим уроком. К примеру, в школьном коридоре годами висели портреты героев гражданской войны. Тухачевский, Блюхер, Егоров и другие. О них же писалось в учебниках истории, в романах, стихах, множество раз их имена звучали по радио или мелькали в газетах. Но вот однажды все приходят в школу и видят, что их портреты со стены исчезли. Всё! Во всех учебниках ученики старательно вымарывают жирными чернилами их фамилии, фотографии заклеивают бумажками, любые факты, связанные с этими именами, выбрасывают из головы. Ибо уже в раннем возрасте советский человек хорошо знал, что такое табу, и соблюдал его неукоснительно.

Впрочем, все вышеописанные обстоятельства, так же как и имена родителей Льва Николаевича, к моему с ним знакомству не имели ни малейшего отношения. Просто так получилось, что во всех последующих лагерных перемещениях я и он оказывались в одном этапе, а потом в одной бригаде и в одном бараке. Чисто случайно. Вообще-то чекистскому начальству постоянно мерещились среди заключенных всякие заговоры, групповые побег, создание каких-то организаций, и для пресечения всего этого зеков перевозили с места на место, тасуя их, как колоду карт. Но то ли наши две карты слиплись, то ли у чекистов просто не хватало рук

для более тщательной перетасовки колоды — нас это не коснулось. И теперь мне есть что вспомнить...

Одна из особенностей человеческих взаимоотношений в лагерной среде состояла в том, что каждый человек там как бы нравственно раздевался донага. Все прошлое с него удалялось, как одежда в предбаннике. Прошлый социальный статус, положение на служебной лестнице, профессия исчезали, как легкое облачко пара с раскаленной сковородки. Нравственное лицо заключенного как бы начинало рисоваться сызнова. И личный авторитет среди всех остальных тоже. И в этом отношении, казалось бы, у Льва Николаевича могли возникнуть трудности. В частности, из-за его физических данных. Рост — средний. Комплекция — отнюдь не атлетическая. Пальцы — длинные, тонкие. Нос с горбинкой. Ходит ссутулившись. И в дополнение к этим не очень убедительным данным Гумилев страдал дефектом речи: картавил, не произносил буквы «р». Это теперь на такую индивидуальную особенность могут не обратить внимания. В те же далекие времена, когда кругом на государственном уровне искали «врагов народа», когда каждого человека изучали на предмет выяснения, а кто он такой, не замаскировавшийся ли контрик, не чуждого ли классового происхождения, картавость привлекала внимание и наводила на ассоциации, опасные для картавящего. И в самом деле. Кто картавит? Из какой социальной среды происходят картавые? Объяснение, что человек картавит по вине родителей, вовремя не пригласивших логопеда и не исправивших речевой дефект, отметалось с порога. Ибо всему на свете в те времена давалась политическая оценка. Так что с такой точки зрения означала картавость? Во-первых, принадлежность к дворянскому сословию. Именно дворяне чаще остальных не выговаривали букву «р». А раз так, то картавящий относился к числу «недорезанных буржуев», случайно упущенных в предыдущие десятилетия «революционного романтизма». То, что сам Ленин откровенно картавил, никак не отражалось на судьбе остальных картавящих. Тысячи их были расстреляны на месте на улицах городов патрулями революционных солдат и матросов, другие тысячи сгнули в лагерях, и все только из-за того, что не выговаривали букву «р».

Второй группой населения, страдавшей подобным же дефектом речи, были евреи. И хотя советская власть первые десятилетия своего владычества делала все, чтобы вытравить из общества признаки антисемитизма, на бытовом уровне он все равно оставался, в особенности среди уголовников. И иногда давал о себе знать. Об этом расскажу позже.

И вот, несмотря на такой, казалось бы, внушительный перечень неблагоприятных свойств, Гумилев пользовался среди лагерного населения огромным авторитетом. Во всех бараках у него были хорошие знакомые, встречавшие его с подчеркнутым гостеприимством.

Теперь еще об одной черте характера Льва Николаевича. Конечно, его устная речь была во всех отношениях образцовой русской речью. Интеллигент и петербуржец по рождению и воспитанию, он никогда не допускал неправильных ударений в словах, неправильного произношения или иных отклонений от канонов литературной речи. Приятно было слушать звучание его речи в научных спорах с коллегами, и всегда замечалось отличие его произношения от произношения провинциалов, пускай вполне образованных. Но в то же время совесть искреннего повествователя не позволяет мне уклониться от упоминания о другой особенности языка Льва Николаевича. Он не был интеллигентским чистоплюем и совсем не чурался разнообразия народной речи. Короче говоря, он употреблял матерщину и владел ею прямо-таки виртуозно. Обыкновенному малокультурному человеку матерщина помогает изъясняться и передавать свою мысль при недостатке словарного запаса. Скабрезные слова и обороты употребляются в качестве значков — заменителей недостающих понятий. Слушатель домысливает услышанное, оставляя без внимания прямое значение слов. Лев Николаевич употреблял такие выражения (в тех случаях, конечно, когда считал нужным их употреблять) совсем для другой цели. Матерщина как бы присаливала и приперчивала скучное течение литературной речи, украшала ее некими словесными гирляндами, совершенно неожиданными в своей комбинаторике и вычурности, так что не раз приходилось слышать восторженную реплику слушателя: «Во загнул Лев Николаевич!»

Впрочем, Лев Николаевич очень тонко разбирался в том, в какой аудитории он находится и каким языком с ней можно разговаривать.

Чтобы глубже постичь яркую человеческую индивидуальность Гумилева, стоит сравнить образ его жизни и остальных заключенных. Исходные условия для всех

совершенно одинаковы. Разница в сроках — деталь несущественная, на поведение людей никак не влияющая. Так чем же занимались все зеки весь срок своего заключения? Все, кроме Льва Николаевича? Они «отбывали срок наказания», выражаясь казенным языком. День за днем, неделя за неделей, год за годом... В этом и состоял смысл их существования, а дата освобождения светила им, как маяк в ночи. А чем же занимался Лев Николаевич все эти годы? Он работал над своей научной идеей. Над пассионарной теорией — все семь лет нашей совместной жизни в лагере. Эта идея так его увлекала, так заполняла его жизнь, что окружающая обстановка — решетки на окнах бараков, конвоиры с собаками, забор с колючей проволокой — его не беспокоила. Все это относилось к мелочам жизни.

Ко времени нашего знакомства общая обстановка и условия жизни заключенных в лагере существенно изменились в лучшую сторону по сравнению с прошлыми годами. После прихода с работы и ужина у работяг еще оставались и время, и силы, и желания для разных личных дел, развлечений и, самое главное, для разговоров. Лагерь того времени был полон интересных людей, и каждый вечер в разных углах барака в полутемном пространстве, где верхний ярус нар затемнял свет электрической лампочки, собирались группки людей и вели беседу. Разговоры и споры шли обычно на политические, научные, иногда на литературные темы. Кругом было достаточно людей, которые имели что рассказать, и не меньше тех, кто с радостью и интересом их слушал. Самые регулярные и самые многолюдные кружки собирались вокруг Льва Николаевича. И было из-за чего. Познания Гумилева в области гуманитарных наук были поистине энциклопедические, а память просто феноменальная. В части истории у него, по моему убеждению, не было каких-то секретов или неясностей. Фактическим материалом он владел мастерски. Географические названия, точные даты вплоть до чисел и дней недели, имена и биографические описания участников исторических событий, бытовые детали и разные житейские подробности прошедших эпох, так оживляющие и украшающие рассказы, сыпались на слушателей как из рога изобилия. О походах Чингисхана, об испанской конкисте, о китайских династиях Мин, Тай и прочих до глубокой древности, о викинггах и их походах, о тридцатилетней войне, об индейцах доколумбовой Америки он рассказывал подробно, доходчиво и интересно.

Трудно представить себе, сколько томов всяких Моммзенов, Тойнби, Тацитов, Ключевских он прочитал, и не только прочитал, но и запомнил текстуально, цитируя иной раз из авторов исторических исследований или из «Повести временных лет» и китайских хроник тысячелетней давности. История для Льва Николаевича не была каким-то отвлеченным знанием дат и событий, чем-то давно от нас ушедшим, о чем можно только вспоминать. Нет, он жил в этих эпохах всем своим существом, был непосредственным участником всех давно прошедших событий и к каждой исторической персоне относился, как к своему современнику.

Но не только история была его коньком. Во многих других гуманитарных науках он тоже обладал фундаментальными познаниями. В философии, например, он прекрасно ориентировался в учениях Спинозы, Конта, Френсиса Бэкона и уж не знаю, кого еще. И опять же не как-нибудь поверхностно. Всех их, а также Платона и Аристотеля, он цитировал обширными отрывками. Так что, когда на таких посиделках случалось присутствовать специалистам-философам, в возникавшей дискуссии Лев Николаевич участвовал как равный, а порой даже явно одерживал верх.

Его познания в религиозной догматике тоже были обширны. Он знал и цитировал Ветхий и Новый Завет, рассказывал о содержании Талмуда и Каббалы, хорошо ориентировался в вопросах раскола в православной церкви, равно как и во всяких ересьях, в католическом и прочих западных вероучениях.

Порой среди собравшихся оказывалось больше любителей литературы и поэзии, и в глубине барака начинался литературно-поэтический вечер с чтением стихов. И тут Лев Николаевич не имел себе равных по объему поэтических знаний. Он читал наизусть стихи Н. Гумилева, А. К. Толстого, Фета, Баратынского, Блока, каких-то совершенно неизвестных мне имажинистов и символистов, а также Байрона и Данте. Причем не какие-нибудь отрывки, а целыми поэмами. Так, он два вечера подряд читал «Божественную комедию». Вот только не могу вспомнить, читал ли Лев Николаевич стихи своей матери, Анны Ахматовой... Я могу засвидетельствовать, что и сам Лев Николаевич был поэтом, и очень сильным поэтом. Часами читал он нам (опять же наизусть) стихотворную драму о Чингисхане. Вернее, о трагической судьбе и несчастной любви его старшего сына Джучи. Читал сати-

рическую поэму, которая, по его словам, входила в обвинительный материал во время его первого ареста, еще до войны. Увы! Похоже, он задавил в себе поэта ради ученого-этнографа. А возможно, он был чересчур строг к себе и считал свой поэтический талант ниже таланта своих родителей, а оказаться на вторых ролях не позволяло ему обостренное самолюбие. Во всяком случае, после лагеря я уже ни разу ничего не слышал о Гумилеве-стихотворце...

Для Льва Николаевича эти семь лагерных лет были, повторяю, временем интенсивной работы над своей пассионарной теорией. Собственно, задумал ее он раньше, до лагеря, но именно теперь он ее разрабатывал, уточнял, детализировал, оттачивал в спорах с оппонентами и сомневающимися. Особенно интересно было оказаться свидетелем такого научного спора. Из других бараков приходили профессора истории или философии из университетов Варшавы, Риги, Софии, и разгорался яростный спор. В таких случаях Лев Николаевич входил в раж и швырял в оппонента целыми пачками доводы, доказательства, исторические факты, цитаты из письменных источников или высказывания великих людей. В большинстве случаев оппонент сникал, чувствовалось, что ему нечем крыть, и наконец с кислой миной на лице удалялся... А Лев Николаевич с нескрываемым удовлетворением потирал руки и резюмировал:

— Вот и этот херр профессор ничего не смог возразить по существу!.. Все его несогласия только на уровне эмоций.

При всем при этом необходимо иметь в виду, что, по условиям лагерного режима, ни одной строчки нельзя было записать на бумаге. При частых шмонах любые рукописные материалы чекистами конфисковывались, а их автор в таком случае сажался в карцер. Послабления в этом вопросе появились позднее, за год или за два до освобождения. Волей-неволей Льву Николаевичу приходилось складывать весь получаемый в ходе работы материал в свой природный сейф, иначе — в свою память, чтобы потом, выйдя на волю, использовать его для создания книги. Я прочитал этот капитальный труд с изложением пассионарной теории («Этногенез и биосфера Земли»). В нем пятьсот страниц, и я готов засвидетельствовать: все, что там написано, уже было обдуманно, обговорено и пропущено через сито критических высказываний в эти самые лагерные годы. Но мало того. В те же семь лет Лев Николаевич создал еще один труд — историю древних тюрков и тоже сложил весь полученный материал в свой «сейф», чтобы после освобождения написать книгу.

Невольно приходит в голову мысль, что все это могло бы стать исходным материалом для изучения физиологических возможностей человеческого головного мозга, природы памяти и ее пределов. Тем более что сейчас существует механический аналог этого явления с четкими научными дефинициями и градациями. И кто может победить в этом странном соревновании (если задаться такой целью), еще очень большой вопрос. Тем более что машина просто складывает информацию или, самое большее, производит с ней ограниченное количество наперед заданных тем же человеческим мозгом манипуляций, тогда как сам мозг перерабатывает информацию творчески, то есть в совершенно непредсказуемом заранее направлении, получая совершенно неожиданные результаты.

Естественно, может возникнуть вопрос: а как Гумилев создавал свои книги, пусть и мысленно? Какие для этого у него были исходные материалы? Из каких источников? Откуда черпал необходимое количество фактов? Конечно, основным резервуаром для создания теории служили все накопленные им в прошлые годы знания. Я уже говорил, что эти знания были огромны и заменяли собой целую библиотеку. Но и в условиях лагеря он находил пути пополнять свои знания. Во-первых, это были книги. Само собой разумеется, в лагере никакой библиотеки, тем более научной, не было и в помине. И все-таки в распоряжении Гумилева имелись по крайней мере две книги, очень помогавшие ему в работе. В частности, в создании книги «Хунну». Одна из них — книга нашего ученого-монаха начала XIX века Иакинфа (Бичурина), многие годы возглавлявшего русскую духовную миссию в Китае. Он перевел на русский язык средневековые китайские манускрипты, еще более древние летописи и другие исторические документы. Другая книга — советское академическое издание древних китайских документов. Лев Николаевич, когда вокруг него никого не было, читал то одну, то другую книгу. В тоске по печатному слову пытался сделать это и я, надеясь найти в них что-нибудь интересное. Но не одолел и полстраницы. И написано по-русски, и шрифт хоро-

ший, а ничего не поймешь. Набор слов. С таким же успехом я бы мог взяться и за китайский текст...

Во-вторых, источником новых знаний для Льва Николаевича был сам лагерь. Его обитатели. В лагере жили представители всех национальностей Советского Союза и очень многие из живущих за его пределами. В общем, подлинный интернационал. Чекистская метла подметала всех подряд...

Не знаю, каким образом и на каком языке Льву Николаевичу удавалось устанавливать первые контакты с заинтересовавшими его субъектами, но к нему на посиделки постоянно приходили разные нерусские личности, подчас весьма экзотические. Он угощал их чаем с чем-нибудь из своих посылок и вел неторопливую беседу. После своим соседям объяснял, что он «занимается эксплуатацией иностранных кадров ГУЛАГа». Многие из этих «кадров» остались в моей памяти.

Довольно долго его посещал скромный, тихий и красивый иранский юноша. Видимо, он очень страдал от чуждой обстановки, от чужого языка, которым он так и не смог за прошедшие годы овладеть, ну и, конечно, — от тяжести обрушившейся на него несчастной судьбы. А тут он мог услышать родную речь, поделиться чем-то своим, душевным. Лев же Николаевич с помощью юноши усовершенствовал свое знание фарси, слушал стихи иранских поэтов. Юноша прежде учился в Тегеранском университете... А история его жизни была, можно сказать, абсолютно типичной для тех времен. В 1943 году, во время исторической встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля, одна из тегеранских гостиниц была целиком отдана советской делегации. А там работала знакомая (а может, и любимая) девушка этого юноши. Когда он однажды вечером пришел, как обычно, чтобы проводить ее домой, на него в вестибюле накинули мешок, связали и всунули кляп в рот. Потом куда-то несли, затем долго-долго везли, пока он не предстал перед следователем на Лубянской площади. Ему дали двадцать лет за шпионаж.

— Шпионаж в пользу какого государства? — поинтересовался Лев Николаевич. Юноша растерялся. Он не знал, что шпионаж обязательно должен быть в пользу какой-либо страны. Следователь забыл ему это объяснить, а сам он спросить даже не догадался.

Потом юноша исчез. Внезапно и тихо. Как всегда случалось в ГУЛАГе...

Одно время в число «клиентов» Льва Николаевича входил молодой китаец по имени Чен Чжу, что в переводе, кажется, означает «Золотой бамбук» (за точность перевода не ручаюсь). По-русски он говорил бегло, хоть и с акцентом. Схватили его в Харбине, когда туда пришла советская армия-освободительница. Он владел не то какой-то мастерской, не то конторой, где работали русские эмигранты, отчего и знал русский язык. Свои двадцать лет получил за шпионаж, на этот раз — в пользу американцев. По словам Льва Николаевича, Чен Чжу был образованным человеком, и главное, чем они по вечерам занимались, это просмотром двух уже упомянутых книг, где в изобилии встречались китайские иероглифы. Благодаря этому собеседнику Лев Николаевич уточнял детали подчас весьма важные.

Была среди гостей Гумилева и вовсе экзотическая личность. Настоящий буддийский лама, и не из какой-нибудь Бурятии и даже не из Монголии, а из Лхасы. Трудно было понять, каким образом он очутился в социалистическом отечестве. Русский язык он знал совсем плохо. Очевидно, он паломничал и в качестве паломника остановился в буддийском монастыре в Монголии. Тут друзья чекисты его и схватили. Был он старым, на общие работы не ходил, а дневалил в каком-то бараке. Лев Николаевич относился к нему с подчеркнутым уважением, заваривал чай покрепче и подносил кружку гостю с полупоклоном и каким-то приветствием на тибетском языке, чему был обучен самим же гостем.

Раза два он после ухода гостя потирал руки от восторга и, обращаясь к соседу, говорил:

— Ну, скажите пожалуйста! Когда я, живя в Ленинграде, смог бы встретиться и поговорить за чашкой чая с настоящим буддийским монахом?.. Из самой Лхасы. Да никогда, проживи я хоть сто лет! Так что, если говорить по правде и положить руку на сердце, я обязан по гроб жизни быть благодарным нашим мудрым чекистам за то, что привезли меня сюда из Ленинграда, а этого ламу в это же время — сюда же из Монголии. И он мне только что рассказал интереснейшие подробности о перевоплощениях Будды!..

— Лев Николаевич! — обращался к нему кто-нибудь из соседей. — А как же это вы с ним беседуете? И как находите общий язык? Ведь вы недавно сами гово-

рили, что этот будда по-русски почти совсем не шпрехает, а сами вы и вообще ни бум-бум по-тибетски?

Лев Николаевич залиvisto смеется:

— Дорогой мой! Два ученых мужа всегда найдут общий язык. Это товарищи чекисты с гражданами зеками никогда такого не добьются, а ученый ленинградец с ученым лхасцем сумеют наладить контакт.

Однажды Лев Николаевич привел в барак не то тунгуса, не то эвенка-шамана с Индигирки или Подкаменной Тунгуски. Шаман оказался самым что ни на есть настоящим и знакомил Льва Николаевича с секретами общения со злыми и добрыми духами тайги и другими потусторонними силами. Лев Николаевич этим очень гордился и говорил соседям:

— Вот видите! С вами шаман не делится своими секретами, и правильно делает. Потому что вы все равно ничего не поймете, да вдобавок еще и не поверите. Так зачем с вами время терять? А я ему верю, и он это знает. А рассказывает он, кстати говоря, очень и очень интересные вещи.

Порой шаман входил в раж, выскакивал в проход между нарами и начинал подпрыгивать то на обеих ногах, то на одной, что-то выкрикивать, временами подвизгивать, вертя над головой крышку от посылочного ящика, заменявшего ему бубен. Лев Николаевич в таких случаях не спускал с него глаз, напрягался и подавался вперед, надо думать, мысленно повторяя телодвижения шамана. Прочая публика в бараке в такие минуты бросала свои дела и с любопытством наблюдала за происходящим. Никаких насмешек никогда не было. Народ в лагере деликатный, привыкший порой к самым неожиданным выходкам соседей. Мало ли что может прийти в голову человеку? Свободу у него отняли, так пускай в бараке отведет душу, как ему хочется... Мешать не надо, смеяться тем более.

Лев Николаевич так объяснял пляску шамана:

— Ну что тут особенного? Сотни, а может, и тысячи лет шаманы исполняли ритуальные танцы перед своими соплеменниками. И это было нужное и полезное занятие. А то, что сейчас советская власть всех шаманов переловила и за колючую проволоку посадила, совсем не значит, что тунгусам от этого стало лучше жить... Шаман худо-бедно и от болезни, то бишь от порчи, избавлял, и зверя привораживал. А как тунгусу без удачной охоты жить? Много чего хорошего делал шаман... Вот смотрю я на этот его танец и думаю: чем черт не шутит? Может, и мне пригодится?... Вот его наша родная советская власть из северной тайги — да сюда, в казахстанскую степь, загнала. А там, глядишь, придет время — и меня на высылку из этой степи в северные края определят... Вот и пригодится тогда сегодняшняя урочка. Приобрету бубен и пойду по стойбищам злых духов гонять! Ха-ха! Все кусок медвежатины заработаю!.. Это когда еще советская власть спохватится да посадит меня по новой! Теперь уже по причине религиозного одурманивания масс!..

Но все же самыми частыми участниками всех таких посиделок были историки, журналисты, биологи, астрономы, философы и иной ученый люд, которые приходили, пили чай и вели разговоры. И никогда Лев Николаевич не был пассивным слушателем. Наоборот, он обладал особым даром в любой компании направлять беседу в нужное для себя русло. В основном с пользой для пассионарной теории. Лагерь в ту пору населяло множество интеллигентных, а то и по-настоящему ученых людей, так что недостатка в собеседниках Лев Николаевич никогда не ощущал. Хочется хотя бы коротко рассказать о двух таких, закрепившихся в моей памяти.

Один из них — Борис Тимофеевич Меркулов. Типичный русский интеллигент дореволюционной формации. Спокойный, сохраняющий присутствие духа в любой сложной обстановке, с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Даже в ГУЛАГе было очень заметно, что малообразованные и интеллектуально неразвитые зеки как-то сникают и тушуются в присутствии Меркулова. В том числе и обычно наглые, бесцеремонные урки к нему никогда не приставали. Вкратце его история выглядела так: до революции в Киеве — газетный журналист. Что несут на своих штыках большевики, для него было ясно, потому он эмигрирует в Ригу, где издает газету на русском языке. Но большевистские лапы дотянулись и до Риги, и вот Борис Тимофеевич сидит за колючей проволокой вместе с нами, вполне советскими людьми. В моей памяти он остался в связи с довольно интересным эпизодом. Дело было, уже не помню точно, то ли в декабре 1952, то ли в январе 1953 года. В общем, тогда, когда до нас дошли достаточно подробные известия об аресте кремлевских врачей и объявлении их «вредителями» и «врагами народа» То,

что это событие не является рядовым и означает начало новой серии судебных процессов типа процессов 30-х годов, было ясно всем. Все также заметили, что фамилии в списке врачей почти сплошь еврейские, и это породило недоумение. Неужто Сталин взялся за евреев, как Гитлер? До сих пор в народном сознании эта национальность связывалась с большевиками и советской властью. Евреи в большом числе занимали места на вершине государственной пирамиды, и такое обстоятельство казалось прочным и незыблемым. А тут — на тебе!.. На вечерних лагерных посиделках событие обсуждалось и так и этак. Неужели и Каганович полетит? Как-то раз, в связи с этими разговорами, Борис Тимофеевич в узком кругу высказал совершенно неожиданную мысль:

— Одно могу сказать, дорогие друзья, с полной уверенностью: Сталину недолго осталось жить.

— Как? Почему? Какая тут связь?..

— А связь такая... В истории не раз бывало, когда какое-нибудь государство начинало на своих евреях гонения. И кончалось такое всегда одним: власть, начавшая гонение, очень быстро терпела историческое фиаско. Как минимум можно привести два таких примера: Испания в позднем средневековье и недавний пример — нацистская Германия. Испанская инквизиция изгнала из страны всех евреев — и в исторически короткий срок Испания перестала быть мировой державой. Гитлер взял под нокоть евреев — и мы видим, что произошло с ним и с Германией. Нельзя трогать евреев как нацию. Они слишком сильны во всем мире и такого никому не прощают. И как ни могуч наш Мудрый и Великий, ему даром такое не пройдет. Евреи еще после Освенцима не отдышались, а тут уже новый наклевывается. Нет, такого они не допустят.

Очень странно было слушать такие рассуждения. Странно и жутковато. Всю свою жизнь я прожил со Сталиным и до того привык, можно сказать, сроднился с фактом его существования, что мысль о его смерти просто не укладывалась в голове. Теоретически, разумом я, конечно, признавал такую возможность, но как реальность, которая произойдет при моей жизни, — нет. Уверен, что и большинство тогдашних сограждан точно так же не могли себе представить, что Сталин вдруг умрет. Его фигура переросла свою телесную оболочку и представлялась большинству как нечто божественное, потустороннее и потому смерти неподвластное. Оттого предсказание Бориса Тимофеевича, его спокойная уверенность в этом производили большое впечатление. И это предсказание тем более запомнилось, что осуществилось оно неожиданно скоро...

Другим постоянным собеседником на вечерних посиделках был Георгий Вильямович Ханна. Настоящий англичанин с туманного Альбиона — и при этом британский коммунист. В начале 30-х годов он добровольно приехал в СССР, на родину пролетарской революции, чтобы принять непосредственное участие в строительстве марксистского рая на земле. Немало было в те годы подобных романтиков! Судьба большинства из них была одинаково незавидной. В конце 30-х — арест, тюрьма, лагерь. Тогда им давали «божеские» сроки, то есть пять — семь лет. После войны они оказались на свободе (кто выжил, конечно), но ненадолго. В конце 40-х они «загремели» по второму кругу. Теперь срока́ были десять, пятнадцать, двадцать лет. Иных по 58-й статье уже не существовало. В чем их обвиняли? Да в шпионаже, конечно. Что еще способны были выдумать тухлые чекистские мозги? Зачем приехал из Англии в СССР? Ясное дело: шпионить! Ни за чем другим оттуда сюда никто ехать не может. И следователям в голову не приходила вся убийственность такой логики. Выходило, что в такую страну, как СССР, никто добровольно, по зову сердца приезжать не станет. Выходило, что «родина пролетарской революции» в принципе не могла иметь друзей, единомышленников, бескорыстных помощников. А все, кто себя таковыми называл, на самом деле были врагами. Ох, сколько врагов было у советской власти!..

Имя у Ханны было Джордж Герберт. Отца звали Вильям. И потому он стал Георгием Вильямовичем, а Герберт вовсе исчезло. Внешность у него была чисто британская. Блондин с блеклыми голубыми глазами и тяжелой челюстью. Курил он трубку, и когда сидел на бревнах, попыхивая ею, то очень походил на рыбака с какой-то не то голландской, не то английской старинной картины. Так подошла бы ему зюйдвестка, высокие сапоги с раструбом и морской пейзаж на заднем плане... По-русски он говорил совершенно свободно, но от чисто английского акцента избавиться так и не смог...

До сих пор речь шла о вечерних часах творческой деятельности Льва Николаевича. Но ведь место действия — все же лагерь принудительного труда. Каждый день Лев Николаевич вместе с остальными обязан был десять часов работать «на объекте». У нас такими «объектами» являлись строительные площадки. Не самые худшие места, по лагерным меркам. Шахты, карьеры, лесоповал считались гораздо более тяжелыми местами приложения рабского труда. Так что нам в этом отношении хоть немножечко, но повезло. И все же десять часов дневного времени приходилось заниматься физическим трудом. Вдобавок к этому — дорога туда, дорога обратно, подчас не ближняя. Сюда же надо добавить многократный пересчет наличия заключенных: утром при выходе из жилой зоны и при входе на рабочую площадку, вечером, наоборот, при выходе с рабочей площадки и при входе в жилую зону («Социализм — это учет», — шутили зеки). В дополнение еще поголовный обыск вечером перед воротами жилой зоны. И все это за счет времени нашего отдыха, что было особенно обидно. Всем, но только не Льву Николаевичу. Оказывается, и это время он использовал для работы над пассионарной теорией. Как-то раз в его присутствии я пожаловался на несчастную судьбу нашей бригады. Вон как соседней бригаде повезло: рабочая площадка у них рядом с жилой зоной, уходят они последними, приходят первыми. Сколько дополнительного времени для драгоценного отдыха!..

— Ну, это с какой точки зрения посмотреть на дело, — возразил Лев Николаевич. — Вы сетуете на длинную дорогу, а по-моему, это очень хорошая дорога. Я иду по ней с удовольствием. Представьте себе, что тот же путь мне пришлось бы пройти в одиночестве, без внимательной заботы и помощи со стороны наших друзей чекистов. Чем бы я был занят? Да в первую очередь самой дорогой! Не пропустить нужного поворота, разминуться со встречной телегой или машиной, обойти колдобину, не вляпаться, извините, в коровью лепешку. Да любая пролетающая ворона, собака, бегущая куда-то по своим делам, даже окружающий пейзаж — все это отвлекало бы, притягивало бы к себе мое внимание. Или лесная дорога, по которой мы сейчас ходим. Корневища, сучья, валежник, колея с водой... Гляди да гляди, отвлекайся, принимай решение... А сейчас — благодать! Гражданин начальник выбрал за меня дорогу. Куда идти, куда поворачивать, где останавливаться. Все продумал вышестоящий начальник. И под ноги смотреть незачем. Тот же товарищ раньше меня прошелся по дороге, отбросил сучки, заровнял колдобину, засыпал колею с водой. Обо всем позаботился... И вот я иду в колонне, в среднем ряду, кругом одни спины. Чего на них смотреть? Ритмичные, однообразные колебания, никакого окружающего фона. Идеальные условия сосредоточиться, уйти в свои мысли. Полтора часа туда, полтора обратно. Три часа для творческих размышлений! Это же настоящая удача! Если бы вы знали, сколько интересных мыслей приходит в голову во время этой дороги!.. Нет, дорогой, хороший объект выбрала нам судьба!..

Вот как получается! Для большинства — ненавистный рабский труд, постоянные мысли о пайке хлеба, о миске баланды, о нарах, на которых можно растянуться, да постоянное ощущение бессмысленно потраченного времени, впустую ушедших годов жизни...

Но есть, оказывается, и такие, что живут в другом мире, в другом физическом измерении. Для них существует мир, принадлежащий только им одним. Мир безграничных мыслей и необъятных возможностей, непрерывных открытий и изумительных новостей, неустанных поисков и радостных встреч. Что для них окружающая действительность с ее мелкими заботами и преходящими обстоятельствами? Они вынуждены ее терпеть, поскольку она существует и от нее никуда не денешься. Но при первой же возможности они стремятся в свой мир. Их место там...

Возможно, в будущем этому найдут объяснение. Что-нибудь вроде «эффекта раздвоения личности» какого-либо Паркинсона или «принципа совмещения личности» какого-нибудь Шмальгаузена. Когда одна часть личности живет и тратит свою энергию на видимую часть жизни, а другая составляющая личности обладает своим запасом энергии, включающимся в особые моменты перехода в другую, невидимую, область. Какой же запас жизненных сил и энергии может быть скрыт в одном человеке! Можно ли сделать так, чтобы таких людей стало больше? Именно больше, а не меньше. Потому что, как сократить их количество, очень хорошо знают те же большевики. Среди миллионов расстрелянных, загубленных голодом и непосильной работой сколько их было, этих нестандартных, необычных людей, первопроходцев в неведомое и открывателей нового.



Я уже упоминал о достаточно мирных взаимоотношениях Льва Николаевича с уголовниками. Об этом он сам рассказывал, вспоминая свой первый арест и первый лагерь. Ко всеобщему счастью, при повторном аресте, то есть тогда, когда мы очутились в одном лагере, в режиме содержания заключенных произошли важные изменения. Политических, иначе — 58-ю статью, отделили от уголовников, благодаря чему жизнь в лагере стала относительно сносной. Это особенно хорошо чувствовали и осознавали все те, кто имел за плечами печальный опыт отбывания срока в воровской среде. То был кошмар. Несомненно, разделение «овец и козлиц» благоприятно сказалось на творческих возможностях Льва Николаевича, а значит, появлении на свет Божий и пассионарной теории. Трудно представить себе, как бы он смог повернуть всю эту махину научной мысли, живя в прежних условиях лагеря. Пускай даже и при милостивом отношении к себе уголовников. Так что лубянского начальство косвенным образом помогло науке. Но сделало это, безусловно, случайно, а вовсе не из-за каких-нибудь альтруистических соображений. И очень скоро поняло, что дало маху. Ведь все предыдущие десятилетия гулаговской системы уголовники были верными и незаменимыми помощниками по части осуществления принципа «разделяй и властвуй» в условиях тюремной и лагерной жизни и очень действенным орудием по ужесточению внутрилагерного террора в отношении 58-й статьи. Недаром уголовников иногда называли «социально близкими», каковыми они, по сути, и были.

Начальство решило дать задний ход...

Через какое-то время мы стали замечать, как то тут, то там появляются личности, очень нам хорошо знакомые по прежним лагерям, но совершенно отличные от теперешней массы зеков. Уголовники. Урки. Причем, несомненно, закоренелые. Рецидивисты. Но на переключках по формулярам у них у всех — 58-я статья. Как это понимать? Неужели уголовники нравственно перековались и стали заниматься политикой?.. Трудно в такое поверить!.. Через некоторое время этот «ход конем» лубянского начальства был разгадан.

Во все предыдущие годы, когда уголовник оказывал милиции или другим органам власти сопротивление, включая и вооруженное, его судили по каким-то там статьям Уголовного кодекса (номера статей не знаю), но только не по 58-й. Поскольку все статьи, кроме 58-й, именовались «бытовыми», то такой уголовник на официальном языке числился «бытовиком» и отправлялся к своим однокашникам уголовникам в общие лагеря. Но с некоторых пор советские суды в подобных случаях стали осуждать по статье 58, пункт 8 — «контрреволюционный террор». И такого осужденного отправляли в спецлагерь к «политикам». Правда, получалась небольшая неувязочка. По статье 58, пункт 8 закон определял только одну меру наказания — расстрел. Но советский суд, руководствуясь известным правилом «закон что дышло — куда повернул, туда и вышло», давал срок десять лет, что по тем временам именовался «детским».

Впрочем, и такая пожарная мера, по существу, уже ничего не могла изменить в общей обстановке. Слишком много «контриков» находилось в спецлагерях и слишком мало уголовников могло быть подведено под 58-ю статью. Так что никаких изменений в жизни спецлагеря не произошло. Хотя изредка уголовники и пытались проявить активность, устраивая дебоши. Об одном таком случае с участием Льва Николаевича я и хочу рассказать. Хотя был он достаточно серьезным, в памяти остался событием скорее юмористическим, нежели драматическим.

Дело происходило в Камышлагае, на строительстве города Междуреченска (Кемеровская область). На строительной площадке, где я активничал в должности старшего прораба, имелась канцелярия или строительная контора — необходимый атрибут любого советского производства. Заведение для пользы дела абсолютно ненужное, зато дававшее приют всяким нормировщикам, бухгалтерам, чертежникам и другой интеллигенции, в том числе и Льву Николаевичу на должности геолога. Употребляя классический лагерный жаргон — «придурки» чистой воды. Время шло своим чередом, и никаких особых событий не происходило. Я уже знал, что на стройплощадке работают несколько уголовников, но вели они себя тихо и ничем из общей массы не выделялись. Один из них, Мишка Коротаев по кличке Пан, работал даже бригадиром, и у меня с ним установились вполне нормальные взаимоотношения. Другой был неприятнее. По фамилии Кальченко, по кличке Рябой, он, по слухам, относился к категории, как теперь говорят, лагерных авторитетов, или паханов. Но я тогда этим не интересовался и никаких контактов с ним не имел. Внешность его была неприятной: медвежья комплекция, рябой, с сильно

хрипатым голосом. Хрипатость, довольно распространенное свойство уголовников, — результат их привычки употреблять неразбавленный спирт вместо водки. Была у них такая манера, своего рода молодечество, — выпить стакан спирта без закуски. Последствия этих выходок были разнообразны, и хрипатость можно считать не самым печальным итогом.

День был самым обычным, я ходил по стройке, как вдруг прибегает связной из конторы и сообщает, что Рябой с ребятами бьет там «жидов»... Мало чего понимая в такой формулировке, зову с собой ребят покрепче — и бегом к конторе. Около конторы уже собралась порядочная толпа зеков, а оттуда доносятся крики и какая-то стукотня... Врываюсь в первую комнату...

Тут работают двое. У одной стенки Федоров — крепко сложенный, лет пятидесяти с лишним, бывший есаул кубанского казачьего войска, офицер деникинской и врангелевской армий. При эвакуации белых ему не удалось присоединиться к своим, и позднее вдвоем с братом он бежал в Турцию, на рыбацкой лодке под парусом и веслами переплыл Черное море. В 1946 году в Париже имел глупость поверить клятвенным заверениям советского посла Богомолова о том, что «Родина вас простила», «Родина-мать вас ждет», вернулся в СССР — и тотчас же получил свои двадцать лет... Сейчас его, очевидно, атаковал уголовник по кличке Мыло, но Федоров загородился столом и встретил врага боксерским приемом прямой правой в переносицу. И вот Мыло стоит держась рукой за нос и отупело глядит на капающую между пальцев кровь...

У противоположной стенки профессор славистики из Минска Матусевич уже проиграл начало схватки. Нападающий на него Мишка Коротаев откинул стол в сторону и подобрался к Матусевичу вплотную. Но бывалого лагерника так просто голыми руками не возьмешь. Матусевич встал головой в угол, натянул на голову бушлат и подставил Коротаеву свою ватную спину. Тому не оставалось ничего другого, как молотить кулачищем по бушлату: бум-бум-бум...

Поняв, что здесь ничего страшного не произойдет, устремляюсь в следующую большую комнату. О-о! Здесь дела много серьезней!.. Комната полна народу, несколько столов перевернуты, и по разбросанным по полу бумагам, папкам и книгам топчут ногами две группы борющихся. В центре одной из них — Кальченко. В руках у него топор. Человека четыре его держат. Кальченко дергается руками и всем корпусом, словно медведь, пытающийся сбросить с себя насевшую на него свору собак. А напротив него три-четыре человека держат не кого-нибудь, а Льва Николаевича!.. Схватка Давида с Голиафом! Сам Лев Николаевич олицетворяет собой Ярость и потому достоин кисти фламандцев! Кальченко на голову выше Гумилева. Из его телесной массы можно слепить по меньшей мере двух Гумилевых, но Лев Николаевич в атаке. Он подпрыгивает. Глаза его побелели. Губы искривлены от ярости. Рот ощерился зубами. Обе руки подняты кверху, и согнутые пальцы с порядочными ногтями нацелены в лицо, а может быть, и в глаза Кальченко... Трое с трудом удерживают Льва Николаевича и тем оберегают Кальченко от крупных неприятностей...

Случай этот завершается благополучно. Слишком малы силы уголовников, и, наоборот, подавляющая сила на стороне порядочных людей. Пожар страстей гаснет, не разгоревшись.

Вечером на нарах у того же Льва Николаевича происшествие подробно разбирается. Почему вдруг произошел такой небывалый в нашей жизни случай? Решили, что Кальченко и компания через вольнонаемных шоферов, привозящих на стройплощадку материалы, достали водку, напились и решили покуражиться. Алкогольные пары пробудили в их мозгах былые эмоции и двигательные навыки. Ну а необходимая мотивация оформилась не без влияния кое-кого из политических зеков. Во всяком случае, за годы моей совместной жизни с уголовной публикой в общем лагере я достаточно насмотрелся на всякие эксцессы с избиениями и поножовщиной, но ни разу не было случая, чтобы они сопровождались такого рода лозунгами. Что же касается того, что все закончилось так быстро и так благополучно, то тут сыграло роль не только решительное противодействие окружающих, но и нежелание самих инициаторов стычки слишком обострять ситуацию. Такой мастодонт, как Кальченко, да еще вооруженный топором, смог, если бы всерьез захотел, ох сколько наделать беды! И четыре человека, его державших, ничем бы тут не помогли. Он бы их раскидал, как котят. Но делать этого не стал. Объяснение тут можно дать такое: в общем лагере, где уголовников было много, при вспышке у части из них разрушительных эмоций они, эти эмоции, быстро находили соответ-

ствующий отклик у других уголовников. Как говорят физики, система входила в резонанс, вызывая в итоге разрушительный результат. У нас же, в спецлагере, в нормальной психологической атмосфере нормальных людей получилось наоборот. Окружающая среда погасила, как струей огнетушителя, возникший пожар страстей, ограничив все эмоциональной встряской.

В бараке шла оживленная дискуссия:

— Лев Николаевич! А отчего это они все поперли в контору? А был ли мальчик в конторе, то бишь еврей? Я что-то такого не знал...

— Был, был мальчик. Зовут его Пинкус Ефим Маркович. Он около окна сидит. Когда эта гоп-компания ввалилась в контору, он очень мудро спрятался за шкаф...

— Выходит, разведка у Кальченко сработала как надо?

— И все-таки нападению подвергся не Пинкус, а Гумилев. Где тут логика?

— Да где вы ищите логику? У подобной публики логика и не ночевала. Бей, круши, что под руки попадет. Вот и вся логика.

— Но все-таки, — вставил и я свой вопрос, — все-таки странно. Если они собрались, как утверждают, «бить жидов», так и искали бы этого самого Ефима Марковича. Тем более если хорошо работает разведка. А то ведь напали на самых что ни на есть русских. Должно же быть объяснение такому казусу?

— Нападают, — ответил Лев Николаевич, — не по этническому признаку, а по признаку интеллигентности. Произошел трагический для России сдвиг в общественном сознании так называемых народных масс. До революции если «Черная сотня» собиралась бить жидов, то и громила еврейскую мелюзгу, а интеллигентных евреев не трогала. Интеллигенцию, всякую интеллигенцию, в те времена все уважали. Это после революции большевики извели русскую интеллигенцию до такой степени, что на виду остались преимущественно интеллигенты-евреи. И у людей произошло смещение понятий. Если он видит интеллигентное лицо, то искренне считает, что перед ним еврей. Русскую-то интеллигенцию он не видит. Так вот и получилось в данном случае с Кальченко... Только он получил отпор.

— Ну, такого, как Кальченко, едва ли можно научить хорошим манерам. Может случиться, что он повторит свой маневр.

— Ну уж нет! Если только этот тип еще раз обзовет меня жидом, я ему, — тут Лев Николаевич придает своему лицу зверское выражение, — я ему яйца обог'ву!..

Такая реплика вызывает общий восторг.

— О-о! У-у!

— А вы, Лев Николаевич, духарик почище самого Кальченко!

— Не из воровской ли малины вы сюда прибыли, Лев Николаевич?

— А что? — Лев Николаевич обводит всех торжествующим взглядом. — Я — старый лагерник, и кличка «фраер» ко мне никак не подходит. Так что, к общему сведению, я на три четверти блатной!..

— Правильно, Лев Николаевич! Не посрамям знамя российской интеллигенции!..

Времена в ГУЛАГе изменились до такой степени, что на лагпункте организовали драматический кружок и к постановке приняли не что-нибудь, а «Ревизора» Гоголя. В этом начинании активно участвует и Лев Николаевич. Он выступает в роли зрителя училищ Хлопова. В сцене, когда Хлестаков предлагает ему сигарку, Лев Николаевич, изображая робость и сомнения Хлопова, обращается к зрительному залу:

— Бг'ать или не бг'ать?

И зрительный зал дружно ему отвечает:

— Бе'ги!.. Бе'ги!

...Биографии великих людей пишутся, как правило, много лет спустя после их смерти. Пишутся людьми, никогда в жизни их не видевшими. Это, наверное, правильно. Большое удобнее охватить взором на расстоянии. Совсем по-другому на выдающуюся личность смотрит его современник, в особенности тот, кто, подобно мне, провел с ним долгие годы в одном бараке. Тут на первый план в голову лезут всякие пустяки, каждодневная суতোлка жизни. И никуда от этого не денешься. Впрочем, такой взгляд на вещи тоже правомерен и по-своему интересен. В конце концов, Пушкин остался Пушкиным, хотя и бражничал с друзьями-лицеистами.

**А. САВЧЕНКО.**

---

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Дмитрий Авалиани.** Пламя в пурге. Тексты. М. «Арго-Риск». 1995. 19 стр. 100 экз.

Первая книга поэта, известного своими экспериментами со стихотворными формами. Палиндромы Авалиани «Новый мир» опубликовал в 1994 году, в № 9, подборку стихов — в том же году, в № 12.

**Белла Ахмадулина.** Гряда камней. Стихотворения 1957 — 1992. Составитель О. Грушников. М. «ПАН». 1995. 398 стр. 2500 экз.

**Михаил Веллер.** Легенды Невского проспекта. СПб. «Лань». 1995. 272 стр. 100 000 экз.

**Владимир Гандельсман.** Там на Неве дом... Роман в стихах. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 144 стр. 1000 экз.

**Венедикт Ерофеев.** Оставьте мою душу в покое. Почти все. Составитель Алексей Костанян. М. Издательство АО «Х. Г. С.». 1995. 408 стр. 25 000 экз.

Самое полное собрание прозы, драматургии и дневниковых записей Ерофеева. В качестве предисловия — статья Михаила Эпштейна «После карнавала, или Вечный Веничка».

**Фазиль Искандер.** Стоянка человека. Повести и рассказы. М. СП «Квадрат». 1995. 768 стр. 25 000 экз.

**С. И. Липкин.** Манас Великодушный. Повесть о древних киргизских богатырях. М. «Полярис». 1995. 256 стр. 10 000 экз.

**Жак Превер.** Сена встречает Париж. Перевод с французского Л. М. Цывьян. Составление, послесловие, комментарии М. Яснова. СПб. «Искусство-СПб.». 447 стр. 10 000 экз. (Формат 67 × 96.)

**Тэффи.** Демоническая женщина. Рассказы. М. «Дом». 1995. 272 стр. 15 000 экз.

**Вадим Шефнер.** Сестра печали. Повести, рассказы. СПб. «Библиополис». 1995. 475 стр. 5000 экз.

**Илья Штемлер.** Архив. СПб. «Библиополис». 1995. 510 стр. 8000 экз.

●

**П. Виллари.** Джироламо Савонарола и его время. В 2-х томах. В 1 книге. Перевод с итальянского Д. Н. Бережкова. Репринтное воспроизведение издания 1913 года. М. «Ладомир». 1995. 929 стр. 2000 экз.

**Р. Ю. Виппер, И. П. Реверсов, А. С. Трачевский.** История Нового времени. М. «Республика». 1995. 496 стр. 26 000 экз.

**Е. В. Герцман.** Музыка Древней Греции и Рима. СПб. «Алетейя». 1995. 336 стр. 3000 экз.

**А. К. Горский, Н. А. Сетницкий.** Сочинения. Составление Е. Н. Берковской (Сетницкой), А. Г. Гачевой. Вступительная статья и примечания А. Г. Гачевой. М. «Раритет». 1995. 448 стр. 6000 экз.

Первое издание малоизвестных на родине (немногие публикации в Харбине и Риге относятся к 20 — 30-м годам) русских мыслителей Алексея Константиновича Горского (1886 — 1943) и Николая Александровича Сетницкого (1888 — 1937), «примыкавших к активно-христианской ветви русского космизма». В сборник вошли богословские и историософские сочинения («Смертобожничество. Корень ересей, разделений и извращений истинного учения церкви» /в соавторстве/, «Николай Федорович Федоров и совре-

менность» /Горский/), эстетические «Заметки об искусстве» (Сетницкий) и другие работы.

**Жил в Кижской волости крестьянин...** Сказитель Трофим Григорьевич Рябинин. Жизнь и эпическая поэзия. Составление, биографический очерк, подготовка текстов, словарь Н. А. Кринчиной. СПб. «Кронверк-Принт», «Норма-Пресс». 1995. 214 стр. 5000 экз.

**История теоретической социологии.** В 5-ти томах. Том 1. От Платона до Канта. Предыстория социологии и первые программы науки об обществе. Ответственный редактор и составитель Ю. Н. Давыдов. М. «Наука». 1995. 270 стр. 4000 экз.

**Мелиховский летописец.** Дневник Павла Егоровича Чехова. Издание подготовили А. П. Кузичева, Е. М. Сахарова. М. «Наука». 1995. 266 стр. 5000 экз.

**Т. Тимофеев-Ресовский.** Воспоминания. Составитель Н. И. Дубровина. М. Издательская группа «Прогресс», «Пангея». 1995. 384 стр. 5000 экз.

В основу текста легли магнитофонные записи устных рассказов ученого, сделанные в 70-е годы.

Составитель С. Костырко.



## ПЕРИОДИКА



*«Век», «Волга», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Москва», «Московский комсомолец», «Независимая газета», «Октябрь», «Уральская новь», «Юность»*

**А это осталось за переплетом...** — «Книжное обозрение», 1995, с № 38 по № 46.

Беседа Анатолия Стреляного, главного редактора многотомной книжной серии «Итоги века», с Евгением Витковским, научным редактором поэтической антологии «Строфы века» Обсуждение этой антологии см. также в настоящем номере «Нового мира»

**Академия Зауми.** — «Волга», 1995, № 7.

Интервью с Председателем международной Академии Зауми Сергеем Бирюковым (Тамбов), а также «заумные» стихи Дмитрия Авалиани, Бонифация, Александра Бубнова, Бориса Кудрякова, Владимира Малькова, Сергея Рыженкова, Ры Никоновой, Сергея Сигея, Александра Федулова, Акамицу Танака, Яна Пробштейна, Александра Горнона, Виталия Скородумова и самого Сергея Бирюкова.

**Петр Алешковский.** Владимир Чигринцев. Роман. — «Дружба народов», 1995, № 9, 10

Современный роман с интригой (клад, нечистая сила и проч.) Будет отрецензирован в «Новом мире»

**Дмитрий Бавильский.** Новый футбол Краткое описание — «Уральская новь» (Челябинск), 1995, № 3-4

Посвящается «тридцатилетию творческой деятельности» (!) Вячеслава Курицына «Курицын и есть апофеоз. »

**Андрей Вознесенский.** Парадуша. Стихи. — «Московский комсомолец», 1995, № 189, 4 октября.

«Русские сиапочки», «Смерть Клавдия», «Российско-американский диспут» и другие стихотворения. Целая полоса в самой массовой московской (не литературной) газете

**Валерий Володин.** Время, жить! Баллада о существовании. — «Волга», 1995, № 7, 8, 9.

«Папушка у меня длинный сухощавый и, как я уже намекал, сильный шизофреник мрачноватого пошиба, я же получился короткий сухощавый и, как намекают, вялотекущий шизофреник, но веселого склада натуры». Новое большое сочинение постоянного автора саратовской «Волги»

**Нина Гарина.** Воспоминания о С. А. Есенине и Г. Ф. Устинове. Публикация и примечания Константина Азадовского. — «Звезда», 1995, № 9.

Публикации предшествует статья К. Азадовского «Последняя ночь», имеющая и самостоятельное значение К 100-летию со дня рождения С. Есенина.

**Георгий Гачев.** Ура и увы — Синявскому! Юбилейная речь. — «Независимая газета», 1995, № 100, 17 октября.

«Синявский — это уже человек-миф». К его 70-летию.

**Эмма Герштейн.** Анна Ахматова и Лев Гумилев: размышления свидетеля. — «Знамя», 1995, № 9.

За мемуарной статьей Э Герштейн следует большой блок лагерных писем Л. Гумилева к Э Герштейн 1954 — 1956 годов.

**Олег Давыдов.** Нутро. О военном эпосе Виктора Астафьева. — «Независимая газета», 1995, № 91, 4 октября

Газетный вариант статьи, полностью публикуемой в журнале «Юность» «Конечно, Астафьев не вчера стал певцом чревных типов, он был им всегда, но раньше писатель хотя бы не допускал прямой пропаганды скотства» Тоже критика

«**Есть и у меня поэтическое, прелестное дело...**» Воспоминания Л. Л. Маркова о Л. Толстом Вступление, публикация и комментарии Ю. Д. Ядовкер — «Октябрь», 1995, № 9

Воспоминания педагога Льва Львовича Маркова, датированные 1902 — 1904 годами, о встречах со Львом Толстым и о его яснополянской школе Автор — не толстовец

**Юрий Коваль.** Суер-Вьер. Пергамент. — «Знамя», 1995, № 9.

Последняя книга безвременно ушедшего писателя. Будто бы о морях и островах.

**Борис Кончеев.** Чистая радость. — «Уральская новь» (Челябинск), 1995, № 3-4. К 40-летию Владимира Сорокина. «Его нельзя начитать впрок». Ну уж?

**Иза Кресикова.** Попытка проникновения: мать и сын. — «Юность», 1995, № 9. Семейная драма. Марина Цветаева и Мур — ее сын Георгий.

**Анна Левина.** Брак по-эмигрантски. — «Звезда», 1995, № 8, 9.

Роман живущей в Нью-Йорке писательницы. См. краткую рецензию в следующем номере «Нового мира». См. также ее повесть «Приходите свататься» («Звезда», 1994, № 12).

**Юрий Лотман.** Двойной портрет: Б. В. Томашевский и Г. А. Гуковский. Публикация Т. Кузовкиной. — «Знание — сила», 1995, № 9.

Фрагмент незавершенной статьи, продиктованной тяжелобольным Ю. М. Лотманом в декабре 1992 года.

**Лев Лунц.** Путешествие на больничной койке. Публикация и вступительная заметка Владимира Бахтина. — «Звезда», 1995, № 8.

Грустные германские впечатления 1923 года знаменитого «серапиона». Публиковались в «Новом журнале», № 90 (1968).

**А. А. Любищев.** Понятие великого государя и Иван Грозный. Публикация и вступительная заметка Р. Г. Баранцева. — «Звезда», 1995, № 8.

Первая, внутренне законченная часть задуманного и до конца не осуществленного исследования. Написано известным ученым-биологом в конце 1953 года. По мнению редакции, некоторые страницы, «несмотря на мощную индивидуальность автора, носят на себе явный отпечаток искаженных представлений эпохи». Не считая возможным исключить их из текста, редакция снабдила сомнительные места своими примечаниями.

**Томас Манн.** «Я сделал из своей судьбы роман». Из дневников 1918 года. Предисловие, примечания и перевод с немецкого Игоря Эбаноидзе. — «Дружба народов», 1995, № 9.

Томас Манн вел дневники всю жизнь и большую их часть впоследствии уничтожил. См. аналогичную публикацию его дневников 1950 года в «Новом мире» (1996, № 1).

**Генри Миллер.** Дьявол в раю. Роман. Предисловие и перевод с английского Игоря Куберского. — «Звезда», 1995, № 9.

Поздняя (1957 года) проза Г. Миллера. Без эротики.

**Александр Михайлов.** Поэтические тексты в сочинениях Антона Веберна. — «Независимая газета», 1995, № 96, 11 октября.

Фрагменты доклада на конференции в Московской консерватории в августе 1995 года. Тут же печатаются отклики на смерть автора — филолога, искусствоведа, философа А. В. Михайлова (умер 18 сентября 1995 года). О нем вспоминают С. Аверинцев, С. Бочаров, Е. Иванова, А. Панов.

**Борис Парамонов.** К вопросу о Смердякове. — «Звезда», 1995, № 8.

«В общем, если абстрагироваться от того, что Смердяков — это не реальный человек, а образ художественной фантазии, и постараться все-таки обнаружить его конкретный социальный коррелят... то в нем можно увидеть нарождавшийся тип низового русского западника, если не европейца. Западничество в России на верхах было интеллигентской идеологией, а на низах, то есть как жизненная практика, делалось европеизмом. Тип самостоятельного антрепренера-специалиста (а не крепостного умельца) — это европейский, западный тип. Но Смердяков как раз и хочет быть такого типа человеком — хочет открыть кафе-ресторан в Москве на Петровке, со специальной подачей.

Он и сегодня этого хочет, и открывает, но его обкладывают налогом бандиты-рэкетеры — широкие русские натуры, потомки Мити Карамазова».

**Письма Жоржа Дантеса барону Геккерену 1835 — 1836 годов.** Публикация Серены Витале (Италия). Подготовка писем к печати в России и вступительная статья В. П. Старка. Перевод писем с французского М. И. Писаревой. Перевод фрагментов книги С. Витале «Пуговица Пушкина» С. К. Бушуевой. — «Звезда», 1995, № 9.

Публикуемые письма существенно дополняют картину трагедии, которая не перестает волновать российских читателей.

**Михаил Пришвин.** Дневник 1937 года. Часть вторая. Июль — декабрь. Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. Рязановой. — «Октябрь», 1995, № 9.

«Розанов — послесловие русской литературы, я — бесплатное приложение. И все...» (запись от 30 июля 1937 года). Первую часть пришвинского дневника 1937 года см. «Октябрь», 1994, № 11

**Станислав Рассадин.** Роковая печать. — Газ. «Век», 1995, № 38.

К 100-летию Сергея Есенина. «Есенин — это не только дивные стихи; он — да, да, повторю, и такой, и сякой — еще и образец нравственной неуступчивости. Того, что отнюдь не помогает физически выжить».

**Райнер Мария Рильке.** Завещание. Перевод и послесловие Николая Болдырева. — «Волга», 1995, № 7.

Лирико-исповедальное эссе, написанное весной 1921 года. На языке оригинала опубликовано в 1974 году. На русском языке публикуется впервые.

**Борис Слуцкий.** Из архивов. Стихи. Публикация П. З. Горелика. — «Знамя», 1995, № 9.

Еще одна большая подборка стихов из необъятного наследия умершего поэта вызывает скорее уважение, чем восхищение.

**Владимир Сорокин.** Выход за рамки (интервью брал Сергей Шаповал). — «Независимая газета», 1995, № 130, 29 ноября.

Из интервью современного писателя: «Культурные люди знают, что книга — неодушевленный предмет. Если кто-то думает по-другому, значит, он просто архаический человек. Там нет ни убийц, ни крови — к человеческому телу, как и к этическим проблемам, это не имеет никакого отношения». Еще одна цитата: «Что касается «толстых» литературных журналов, то я их не переваривал уже лет двадцать тому назад. Тогда жизнь в них кипела, они были такими отстойниками квазилитературного гноя. Гной этот просто фонтанировал. Теперь фонтаны напрочь пересохли. И современный процесс в этих братских могилах напоминает мне расковыривание засохших гнойных корок».

**Виктория Шохина.** Вошли трое... О беллетристике в «Новом мире». — «Независимая газета», 1995, № 106, 25 октября.

**Виктория Шохина.** Эффект реальности. Non-fiction в «Новом мире». — «Независимая газета», 1995, № 122, 17 ноября.

**Виктория Шохина.** Фуга, фугетта и Алла Марченко. Перепевы классики на страницах «Нового мира». — «Независимая газета», 1995, № 129, 28 ноября.

Сразу три статьи о прозаических публикациях 1995 года в «Новом мире». В первой разбираются рассказы А. Солженицына, повести О. Богуславской «Окнами на юг» и С. Залыгина «Однофамильцы». Во второй — рассказы В. Березина, «Роман воспитания» Н. Горлановой и В. Букура, роман «Письмо из Солигалича в Оксфорд» С. Яковлева. В третьей — повести Ю. Кувалдина «Ворона» и В. Чайковской «Новое под солнцем».

**Сергей Эрлих.** Россия колдунов. — «Знание — сила», 1995, № 10.

Автор из Санкт-Петербурга отождествляет триаду «интеллигенция, власть, народ» с индоевропейской архаической триадой «колдуны, воины, работники». Первым поколением русских «колдунов» были волхвы, вторым — православное духовенство, третьим поколением — интеллигенция (родившаяся, по мысли С. Эрлиха, 14 декабря 1825 года). Автор остроумно трактует декабристское наследие как «сакральный текст», охраняемый интеллигенцией подобно тому, как волхвы охраняли языческие святыни. Сегодня интеллигенция умерла, считает автор. Какое четвертое поколение «колдунов» идет ей на смену?

Составитель А. Василевский.





# SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yevgeny Rein, Olesya Nikolaeva, Aleksandr Shatalov and Leonid Grigoryan.

We are publishing short stories by Boris Yekimov, Grigory Petrov, Viktoria Frolova, as well as «Olga», a historical narrative by Yuri Volkov.

In the section «New Translations» we are beginning to publish the novel «Heaven's My Destination» by Thornton Wilder, translated by A. Gobuzov (to be ended in Nos. 3, 4)

In the section «Diaries. Memoirs» we are ending to publish the second book of memoirs by Naum Korzhavin, «In Temptations of the Bloody Epoch» (beginning in No 1)

The section «Philosophy History Culture» contains two essays on Russian Euroasianism, one by Pavel Kuznetsov, the other by Dany Savelli (France).

The essay by Igor Zolotussky on Faddei Bulgarin, a Russian man of letters of the 19th century, occupies the section «Writer's Diary».

The section «Literary Criticism» presents a discussion by Yevgeny Lebedev, Aleksei Purin, Vladislav Kulakov and Mikhail Gasparov on the new anthology of Russian poetry «Strophes of the Century» compiled by Yevgeny Yevtushenko.

In the section «By the Way» Nikita Yeliseev criticizes the notes «Days of the Duma» by writer Yevgeny Tuinov, Deputy of the State Duma.

In the section «Book Review» Marlen Korralov reviews a new novel by Chabua Amiredzhibi; Maya Zlobina writes about a novel, unknown before, by Albert Camus; Ale-na Zlobina analyzes the prose by French writer Romain Gary; I. Mochalov writes about famous physicist Ya. Frenkel.

In the section «Editor's Mail» A. Savchenko writes about scientist Lev Gumilev and the years of his being in a concentration camp.

The issue also includes our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

---

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел 200-08-29

---

Сдано в набор 20 10 95 г Подписано к печати 14 12 95 г Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир» Формат бумаги 70x108 1/16 Бумага кн -журн Высокая печать.

Объем 16 п л , 22,4 усл печ л , 22,58 усл кр -отт 28,02 уч -изд. л

---

**Тираж 30700 экз      Зак 4025      Цена договорная**

---

При участии издательства «Известия» Москва, Пушкинская пл , 5

Типография имени И И Скворцова-Степанова издательства «Известия»  
103798, Москва, Пушкинская пл 5

## В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

**СТЕЛЛА АБРАМОВИЧ.** Пушкин и традиция нонконформизма в русской литературе;

**С. С. АВЕРИНЦЕВ.** О слове в Откровении и слове в поэзии;

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман, часть третья);

**В. БОГОМОЛОВ.** Алина (повесть);

**А. БОРОВОЙ.** Мой Чернобыль;

**МИХАИЛ БУТОВ.** Повесть;

**РАЗИЛЬ БУХАРАЕВ.** Дорога Бог знает куда;

**ЛАРИСА ВАНЕЕВА.** Рассказы;

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО.** Роман;

**ИГОРЬ ДЕДКОВ.** Дневники (из наследия);

**СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.** Свобода выбора (повесть);

**ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ.** Путешествие к Набокову;

**ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР.** Мимоза на Севере (рассказ);

**АЛЕКСАНДР КУШНЕР.** Заметки на полях;

**ОЛЕГ ЛАРИН.** С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);

**ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Роман;

**ПАВЕЛ МЕЙЛАХС.** Придурок (рассказ);

**ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ.** Феномен Пушкина и исторический жребий России;

**МАРИНА НОВИКОВА.** Ужасы (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);

**ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Рассказы;

**ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ.** До полной гибели всерьез;

**В. П. ПОПОВ.** Паспортная система советского крепостничества;

**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.** Маканин нового времени;

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.** Медя и ее дети (семейная хроника);

**АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ.** Чехов между верой и неверием;

**АСАР ЭППЕЛЬ.** Рассказы;

а также новые произведения **АНДРЕЯ БИТОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА**, **ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **ИГОРЯ КЛЕХА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА**, **АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА**, **ОЛЕГА ПАВЛОВА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА**, **ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ**, **БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ**, **ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА**, **ДОРЫ ШТУРМАН** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**